Иностранная литература

5

1962

5
1962
Иностранная литература

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

НАРОДАМ АФРИКИ,
РВУЩИМ ЦЕПИ
КОЛОНИАЛЬНОГО
РАБСТВА,
ИХ ЖИЗНИ,
ИХ БОРЬБЕ
ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ
КУЛЬТУРУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЭТОТ НОМЕР.

5

МАЙ

1962

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

СИМФОНИЯ СВОБОДЫ (Стихи)

ДЖОН ОКАЙ — Покуда я дышу! К. К. БАЙДЕН — Африка, земля моя! 4

СЕМБЕН УСМАН — Тростинки господа бога (Роман) 6

ПАТРИОТАМ КОНГО (Стихи)

КР. БЕДЖО — Из глубины взволнованного сердца. УОЛТЕР ЛОУЭНФЕЛС — Говорит Патрис Лумумба 44

ЭЛОЛОНГЭ ЭПАНЬЯ ЙОНДО — Камерун! Камерун! (Стихи) 45

МАЛЕК ХАДДАД — Последний отпечаток (Роман) 51

ЛУАНДИНУ ВИЕЙРА — Асфальтовая граница. Кинзиньо (Рассказы) 108

МУХАММЕД АЗИЗ ЛАХБАБИ — Выше голову, люди! (Стихи) 113

САРА ЛИДМАН — Я и мой сын (Роман) . . 116

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

МАРИАМ АСЛАМАЗЯН — В добрый час! А. КРАСНИЦКАЯ—Сделать далекое близким 208

ДИТЕР ХОЛЛЬ — Приключения Вернера Хольта (Роман. Продолжение) 212

БЭЗИЛ ДЭВИДСОН — От отчаяния к возмущению 235

П ЕВСЮКОВ — Народ Анголы завоюет свободу 242

АБД АР-РАХМАН АШ-ШАРКАВИ — Встреча на берегах Нила 244

ДЖ. КОИНДЕ ВОГЕН — Киноложь об Африке 247

КОНДОТТО НЕНЕКХАЛИ КАМАРА — Поэзия и национальное сознание 251

ГОЛОСА НОВОЙ АФРИКИ

З. Финицкая — Залог грядущего расцвета. ◇ Г. Потехина — Жак Рабемананд-зара — поэт и патриот. ◇ С. Прожогина — К свободе к свету. ◇ А. Полищук — Внук учится писать. ◇ А. Петриковская — Барьеры видимые и невидимые. ◇ С Митина — Африканская сокровищница. ◇ Ал Опря — «Песнь для локоле» ◇ А. Грузинова — Солнце взойдет. ◇ Александр Ревич — Вставай и действуй! ◇ Н Всронель — Путешествие на деревянном коне 257

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 273

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

На обложке: Рисунок художника Н. ДОЛГОРУКОВА «Колонизаторов—на свалку!»

В этом номере помещены две вкладки с многокрасочными репродукциями работ африканских и советских художников.

Мощный вал национально-освободительных революций сметает колониальную систему, подрывает устои империализма. На месте бывших колоний и полуколоний возникли и возникают молодые суверенные государства. Их народы вступили в новый период своего развития.

(Программа
Коммунистической партии
Советского Союза)

Симфония свободы

СТИХИ ПОЭТОВ ГАНЫ

ДЖОН ОКАЙ

Покуда я дышу!

Покуда я дышу!
Покуда я дышу —
Всеми порами кожи
И коленями своими,—
Не мешайте мне петь:
О безмолвии камня
И звоне тыквы,
О тени на луне
И величье зерна,
О пенье урагана
И зелени лугов,
О тайнах семян
И кривлянии червей,
О дрожании теней
И злости осы,
О поступи улитки
И зыбкости травы —
Не мешайте мне петь,
Покуда я дышу,
Как и все на свете!

Покуда я дышу!
Покуда я дышу —
Всей своей головой
И открытым ртом,—
Не мешайте мне смотреть:
На храбрость метлы
И на высоту холма,
На цветенье побега
И на зов трубы,
На пустынность неба
И на голод ястреба,
На кровь ветерка,
И на шаг мотыги,
На сгибанье луков
И на ласку листьев,
На смелость пчелы
И на смех весла —
Не мешайте мне жить,
Покуда я дышу,
Как и первый встречный!

Покуда я дышу!
Покуда я дышу —
Сквозь ногти на ногах,
Сквозь веки на глазах,—
Не мешайте слушать мне:
Колыхание полей
И шуршание шипов,
Шелестение флага
И скрипение ствола,
Бормотание лягушки
И чавканье вола,
Жужжание мухи
И пенье пальм,
Свежесть рыбы
И гладь пруда,
Поединок птиц
И призыв пути —
Не мешайте мне жить,
Покуда я дышу,
Как и все мои друзья!

Покуда я дышу!
Покуда я дышу —
Всею костью лба
И обоими ушами,—
Не мешайте думать мне:
О твердости скалы
И мутности ручья,
О цепкости корней
И росистости рассветов,

О грубости палки
И чуткости уха,
О звоне тростника
И кряканье утки,
О ярости грозы
И прохладе глины,
О поединке волн
И теченье облаков —
Не мешайте мне жить,
Покуда я дышу,
Как и тысячи прохожих!

Покуда я дышу!
Покуда я дышу —
Обеими щеками
И обеими ноздрями,—
Не мешайте мне сказать:
Об остроте копья
И упрямстве мула,
Об извивах дыма
И путях луны,
О нежности земли
И беззвучии гор,
О стыдливости небес
И мягкости ковров,
О крепости соли
И жалобах ветра,
О хитрости кошек
И проворстве рыб —
Не мешайте мне жить,
Покуда я дышу,
Как и все на свете!

Перевод с английского
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

К. К. БАИДЕН

Африка, земля моя!

Поведай мои слова всему миру,
маленький голубь.
Расскажи, что я делал для Африки,
Как я сражался и выиграл сражение
За дорогую моему сердцу Африку.
Печать ее свободы окрашена и моей кровью.
О, Африка, мать Африка!
Я люблю тебя так сильно,
как сильны твои сыны,
Что живут под лучами Семи Солнц,
И оглядывают, и оглядывают
свободные просторы своей земли!
Далеко за Ханааном,
за землей обетованной,
Лежит моя земля;
Сладкая, древняя земля,
земля моих отцов,
Самый большой остров на свете,
Великий в подвигах и в славе!
И когда я устаю рыскать по свету,
О, тогда я снова с тобой, Африка,
Снова там, где в темных хижинах
живет моя душа,
Где лучи твоего солнца
Согревают мое промерзшее до костей тело...
Земля моя отдает мне себя,
свободную и обильную!

Перевод с английского
ЮРИЯ ХАЗАНОВА

СЕМБЕН УСМАН
(СЕНЕГАЛ)

ПРОСТИНКИ ГОСПОДА БОГА

РОМАН

■

Перевод с французского
Л. ГАЛИНСКОЙ и О. ПАВЛОВИЧ

Вам, моим братьям по профсоюзу, и вашим подругам во всем мире я посвящаю эту книгу.

Мужчинам и женщинам, которые с 10 октября 1947 года до 19 марта 1948 года вели борьбу за лучшее будущее и действовали на свой страх и риск, без помощи высокопоставленных лиц и парламентариев с их «цивилизаторской миссией». Пример борцов возымел свое действие: с тех пор Африка шагнула далеко вперед.

АДЖИБИДЖИ

БАМАКО

Лучи заходящего солнца просачивались сквозь зубчатые края облаков, на горизонте медленно расползалось большое марево, а в центре небосвода, на необозримом, ярко-синем озере, обрамленном сиреневой каймой, росло огненно-рыжее пятно. Стены и крыши домов, ощетинившиеся минаретами мечети, огромные деревья-баобольники, даже кирпично-красная земля — все пламенело. Одинокий солнечный луч, прорвавшись сквозь облачную завесу, словно запущенная с неба стрела, упал прямо на белый губернаторский дом, торчавший, как большая сахарная голова, на вершине Кулубы.

Опоясанные холмистыми грядами, саманные строения усадеб, похожие на приземистые обелиски, купались в алых лучах заката. Пылала трава, высушенная полуденным зноем.

Стояла середина октября — конец сезона дождей. Как всегда в предвечерние часы, обитатели усадьбы Бакайоко собрались во дворе. Одни женщины. Каждая из них, занятая своими хозяйственными делами, без умолку тараторила, не обращая внимания на то, что говорят остальные. В стороне, прислонившись к саманной стенке дома, сидела старая Ниакора.

Роман печатается с сокращениями.

Ниакора очень стара. У нее маленький прямой нос, глаза с тяжелыми полуопущенными веками. На губах татуировка — следы кокетства в молодости. Рот суживается в беспрерывном всасывающем движении, при каждом вдохе и выдохе щеки то надуваются, то втягиваются. Можно подумать, что она хочет их проглотить. Голова кажется прикрепленной к туловищу складками кожи, такие же дряблые складки свисают под подбородком. Старое лицо хранит безмятежное спокойствие человека, подошедшего к концу жизни, мудрой и трудовой. Поношенная, выцветшая набедренная повязка свисает почти до щиколоток, из-под нее видны кривые ноги с растопыренными, загнутыми внутрь пальцами.

Старуха краем уха прислушалась к неумолчной болтовне женщин, чувствующих себя свободно в отсутствие мужей. Она приглядывает за ними, как пастух, который наблюдает в сторонке за своим стадом. Обычно она редко принимает участие в их пересудах. Разве только вмешается иногда в разговор, расскажет какую-нибудь историю о прежних временах, когда этих молодиц еще и на свете не было. Но вот уже несколько дней Ниакора выглядит озабоченной, ее что-то тревожит. И тревога растет от того, что никто не поинтересовался причиной ее беспокойства. Мысль об этом не дает ей покоя. Раньше, бывало, молодые ничего не предпринимали, не посоветовавшись со стариками. А теперь они, ни у кого не спросясь, собираются начать забастовку. Да знают ли они хотя бы, что это значит? Вот она, Ниакора, хорошо помнит первую стачку, она сама ее испытала. Это было перед войной. Как ливень, обрушилась на них страшная забастовка, оставив по себе тяжелую память у тех, кому довелось ее пережить. И вот сейчас никто не придет посоветоваться с Ниакорой, а ведь у нее забастовка отняла мужа и одного из сыновей. Что же это, конец прежним обычаям? Даже Ибрагим Бакайоко, ее собственный сын, и тот с ней не поделился!

Ниакора устала от дум, от воспоминаний. Подняв глаза, она посмотрела на женщин, которые, прячась от солнца, устроились под забором. Посреди двора стояла вышка, на которой сушили зерно. На сваях висели связки красного перца и пучки колосьев сорго. В углу играли дети. Тишину нарушил раскатистый смех Фатуматы. «Какой противный голос,— подумала Ниакора,— какой отвратительный смех! Разве станет так гоготать женщина, которая себя уважает? Что только подумают соседи! Бесстыдница Фатумата!»

— Аджибиджи, поди сюда,— позвала она.

Ответа не последовало, и Ниакора снова позвала внучку.

— Она готовит каран *,— сказала, подойдя, Асситан, мать девочки.— Тебе что-нибудь надо, мба **?

— Накали шило.

— Сейчас, мба.

Даже в вечерние часы старая Ниакора не любила сидеть сложа руки. Она то штопала, то чинила что-нибудь, то разукрашивала тыквенные бутылки и сосуды.

— Не пойму, почему у вас так мало вкуса,— часто журила она молодых женщин.— Почему вы не позаботитесь об украшении домашней утвари? Разве вы не знаете, что металлические сосуды, которые вы употребляете, ослабляют мужскую доблесть?

Асситан принесла накаленное добела шило. Выбрав средних размеров тыквенную бутыль, Ниакора зажала ее между коленями и начала уверенно выводить узор. Послышалось легкое шипение. Ниакора внимательно следила за движением руки. Потом, повертев бутыль, она осмот-

---

* Уроки для школы.

** Бабушка.

рела ее, с довольным видом пожевала щеки и принялась выжигать рисунок на другой стороне сосуда.

— Подойди, Аджибиджи. Куда это ты так спешишь?

— На собрание.

Аджибиджи было лет девять, но она выглядела много старше. Она была очень похожа на Асситан, у нее был такой же тонкий нос — среди их предков встречались люди из племен фулани и берберов. Густые волосы девочки разделены на четыре пряди, в которые вплетены четыре амулета толщиной в мизинец.

— На мужское собрание? — повторила Ниакора.— Почему ты вечно околачиваешься среди мужчин? Они готовят забастовку. Это не твоего ума дело.

— Но я должна сегодня отнести эту книгу Фа Кейта.— Девочка держала в руках «Мамаду и Бинета»*.

— Женщине не место на собрании, тем более такой девчонке, как ты.

— Папочка всегда брал меня с собой, кроме того, я там учусь.

— Учишься чему? — Ниакора печально усмехнулась.— Когда я тебя зову, ты, оказывается, занята и тебя нельзя беспокоить. Почему, спрашивается? Ты, видишь ли, учишь язык тубабов **. Зачем нужен женщине французский язык? Хорошей матери он ни к чему. В моем роду, а ведь к нему принадлежит и твой отец, никто не говорит на языке тубабов и никто от этого не умер! Со дня моего рождения — всевышнему известно, как давно это было,— мне ни разу не приходилось слышать, чтобы хоть один тубаб учился говорить на бамбара или другом языке нашей страны. А вы только о том и помышляете, чтобы говорить по-французски! Вы что, хотите забыть родину? Можно подумать, что в нашем языке слов не хватит.

Ниакора на мгновение умолкла, с трудом переводя дыхание. Щеки ее надувались, как подымающееся на дрожжах тесто. Она добавила:

— В мое время женщины учили только несколько строф из корана, чтобы читать молитвы.

Аджибиджи слушала, склонив голову набок, опустив глаза. Переложив книгу из одной руки в другую, она почтительно спросила:

— Мне можно идти?

— Да ты разве не знаешь, что там сегодня идет большой разговор о забастовке?

— Да, знаю.

— Ты никогда не видела забастовки. Папочке твоему пришлось увидеть, он был тогда очень молод. Придут солдаты. Начнут стрелять. А ты будешь метаться среди мужчин, как коза среди верблюдов, разбежавшихся во все стороны! Разве ты не боишься?

— Чего бояться?

— Как это чего? И ты еще спрашиваешь! Да что у тебя в голове?

— Мозг, только мозг,— ответила Аджибиджи, спрятав руки за спину и покачиваясь то на одной ноге, то на другой. На хрупком тельце болталась слишком широкая холщовая рубашка.

Опешив на мгновение, старуха растерянно раскрыла рот. Затем с язвительной насмешкой крикнула:

— Ты ведь даже не умеешь сварить басси ***! Вот что значит околачиваться возле мужчин вместо того, чтобы держаться за юбку матери!

Девочка была задета за живое. Запинаясь от волнения, она возразила.

---

* Учебник французского языка для африканских школьников

** Тубаб — европеец.

*** Басси, или кускус — блюдо из толченого сорго и баранины.

— Сегодня утром я одна стирала белье на реке. Потом ходила на рынок. Вот уже три дня, как у нас толкут просо, и я постоянно работаю вместе со всеми. После обеда я вымыла посуду. Алор *?

Последнее слово девочка произнесла по-французски.

— Алосс, алосс! — сердито закричала бабушка, как бы желая вырвать это слово из уст ребенка.— Ты обращаешься ко мне, матери твоего отца, и говоришь «Алор». Когда тубабы обращаются к своей собаке, они тоже говорят: «Алор»... И ты, моя внучка, обращаешься со мной, как с собакой.

Старая Ниакора никогда не разговаривала с белыми. Но это слово резало ей слух. Сама не зная почему, она считала его грубым, тем более в устах ребенка, который в разговоре с ней должен быть особенно почтителен.

— Алосс, алосс,— повторила она.— Я говорю с тобой на бамбара, а ты мне отвечаешь на языке дикарей!

— Слово сорвалось у меня нечаянно, бабушка.

Аджибиджи была искренне смущена. Она вовсе не хотела огорчать старушку. Из ее миндалевидных глаз потекли слезы.

А Ниакора была не столько рассержена, сколько удивлена. Асситан крикнула:

— Аджибиджи, ведь отец запретил тебе произносить это слово

— Да, мать. Но я не нарочно.

— Поди принеси нгенге.— Асситан поставила на землю веялку, которую держала в руках.

Через минуту девочка вернулась с плеткой в руках и подала ее Асситан. Затем приподняла рубашку, но, прежде чем повернуться к матери спиной, в упор посмотрела на нее и спросила:

— Ты хочешь причинить мне боль или думаешь исправить меня?

Поднятая рука матери застыла в воздухе.

Опешив от вопроса девочки, Асситан машинально поглядела на маленький обнаженный зад, потом медленным движением, точно опуская занавеску, прикрыла его рубашкой. Она обожала Аджибиджи, как, впрочем, и все соседки. Ей никогда не приходилось жаловаться на дочку — та выполняла любую работу по хозяйству, любое поручение, которое мать ей давала. Но в эту минуту она почувствовала, что предпочла бы иметь сына.

— Ступай, — произнесла она,— стань в угол.

■

Дом, в котором размещался профсоюз, находился рядом с тюрьмой. Вот уже несколько дней дом гудел, как улей, двери ни на минуту не закрывались. Без конца приходили и уходили делегаты от рабочих. Железнодорожники собирались объявить забастовку, и каждый понимал, что с этим решением связана и его личная судьба. Толпа становилась все многолюднее. Кто присел на корточки, кто прислонился к стене или ждал во дворе. Люди взобрались на деревья, сидели даже верхом на стене. Скоро двор уже не мог вместить всех прибывших, людской поток растянулся до входа в тюрьму и залил прилегающие площади.

Выйдя за ворота усадьбы, Аджибиджи приподняла свою длинную рубашку и пустилась бегом, поднимая столбы пыли. Она пересекла дорогу на Кати, миновала казармы жандармов. Когда она проходила мимо тюрьмы, какой-то стражник окликнул ее по имени, но она даже внимания на него не обратила. Миновав тюрьму, Аджибиджи натолкну-

* Alors — Так что же? *(франц.)*.

лась на плотную людскую массу, окружившую дом профсоюза. Но девочка уже не раз бывала на собраниях и знала, как надо действовать. Она добралась до входной двери. В помещении, разделенном надвое центральным проходом, толпа стояла плотной стеной вплоть до самой трибуны. Море бритых и курчавых голов, море тел, облаченных в почерневшие от машинного масла отрепья. Все лица слились в одно, казалось, кто-то гигантской резинкой стер с каждого свойственные ему черты, оставив безликий образ толпы. В помещении имелись четыре окна, но и они тоже были облеплены людьми. Было очень душно, клубы табачного дыма висели под потолком.

На стене, за трибуной, висел плакат: «Будь другом тому, кто тебе друг. На хозяина смотри как на врага».

Аджибиджи добралась до подножия трибуны и уселась прямо на земляном полу. Время от времени она потягивала носом, с отвращением поглядывая на грязные, покрытые язвами ноги соседа справа, от которых исходило зловоние. Но тот, всецело поглощенный речью Старика, ее не замечал.

Мамаду Кейта, или Старик, как почтительно называли его рабочие, стоял на левой стороне трибуны. Над тощим телом с длинными и худыми руками, торчавшими из его туники без рукавов, возвышалась гордая голова с чисто выбритым черепом и седой, слегка растрепанной бородой, с которой он, однако, ни за что не хотел расстаться. От лба к подбородку легли бороздкой три шрама, пересеченные мелкими поперечными рубцами. Старик выговаривал слова медленно и отчетливо. Напомнил сначала о том, как рабочие укладывали первые рельсы. Его самого в то время еще не было, но позже он сам видел, как железнодорожный путь был доведен до Куликоро. Потом заговорил об эпидемиях, голоде, захвате железнодорожной администрацией земель, принадлежавших племенам.

Мамаду Кейта на мгновение умолк, разглядывая стоявшую перед ним толпу. Он заметил Аджибиджи и снова заговорил:

— Мы имеем профессию, но она не дает нам того, что должна была бы давать, потому что нас обкрадывают. Наша зарплата настолько ничтожна, что живем мы ничуть не лучше, чем бессловесные животные. Несколько лет назад железнодорожники из Тиеса прекратили работу, за это им пришлось расплатиться многими и многими жизнями. И вот сейчас все начинается сначала: по всей дороге от Куликоро до Дакара проходят такие же собрания. Вы готовы начать забастовку? Да или нет? Но прежде надо подумать хорошенько.

Его прервал со своего места Тьемоко:

— Мы выполняем такую же работу, как и белые. А раз так, то почему они получают больше, чем мы? Потому, что они белые? Почему, когда они болеют, их лечат, а мы и наши семьи пользуемся только правом подыхать? Потому что мы черные? Чем белый ребенок лучше чернокожего? Чем белый рабочий лучше рабочего-негра? Нам твердят, что у нас одинаковые права, но это ложь, ложь и ложь! Только паровоз говорит правду: для него нет разницы между белым человеком и черным. Надо бороться, если мы хотим жить по-человечески.

— Да, да! Надо бастовать! — волновался зал, в воздухе мелькали поднятые кулаки.

Крик перекинулся из помещения во двор, со двора на прилегающие к дому улицы: «Бастовать!» Кругом царил невообразимый гам, каждому хотелось вставить свое слово, выразить свои чувства.

Мамаду Кейта, сбитый с толку шумом, стоял молча. Зал гудел, все старались перекричать друг друга, никто никого не слушал. В толпе на

улице тоже нарастало возбуждение, через окна и двери доносился гул. В этом гаме можно было разобрать только одно слово: «Забастовка!»

Стоявшие возле тюрьмы полицейские приготовили плетки из воловьих жил, солдаты щелкали затворами ружей. Офицеры с тревогой наблюдали за разбушевавшейся толпой.

Воспользовавшись царившим беспорядком, Аджибиджи влезла на трибуну, подошла к Старику и передала ему поручение Фатуматы. Он велел ей подождать у стены под плакатом. Девочка с интересом наблюдала оттуда за происходившим в зале. Вдруг она слегка улыбнулась: ей вспомнились слова папочки, Ибрагима Бакайоко: «Когда у нас еще не было Дома профсоюза, на собраниях все сидели прямо на земле и требовали, чтобы дали скамьи. Теперь же во время споров они встают с мест, словно скамей не существует». Аджибиджи подавила легкий смешок.

Кейта несколько раз пытался восстановить тишину, рев постепенно стих, и ему удалось наконец продолжить свою речь:

— Я не говорил, что возражаю против забастовки, я только сказал, что надо подумать, прежде чем принимать такое важное решение. Среди вас я самый старший, но подобного мне видеть не приходилось. Меня пугает ваше возбуждение. Сейчас полезно было бы присутствие Ибрагима Бакайоко. Мы все прислушиваемся к его словам.

— Эй, вы там! Опоздали немножко, мы уже бастуем! — донеслись голоса со двора.

Трое рабочих с паровоза, в засаленной, покрытой угольной пылью одежде, только что пришли на собрание. Раздались бурные аплодисменты. К вновь пришедшим протянулись руки, их подхватили, протащили через окно внутрь, все восторженно смотрели на них, точно эти трое совершили чудо, немыслимое для простых смертных. Довольные и гордые собой, широко улыбаясь, они охотно принимали дань восхищения.

Их появление положило конец спорам. Перешли к голосованию. Единогласно было принято решение начать забастовку на следующий день утром.

Темнота накрыла землю, словно крышка легла на кипящий котел. Жара не спадала. Днем она обжигала головы, а сейчас поднималась с земли, пробивалась сквозь щели в домах, струилась с террас.

Народ расходился неохотно. В помещении долго еще кипели споры. Зажгли керосиновые лампы, покрытые потом лица блестели в их тусклом свете. В воздухе стоял смешанный запах керосина и разгоряченных тел. Наконец усталость взяла свое: люди, разбившись на небольшие группки и оживленно разговаривая, разошлись.

Аджибиджи взяла Мамаду Кейта за руку, они вместе дошли до дому. На циновках лежали вповалку женщины, тихо напевая окружившей их детворе.

— Благодарение богу, — встретила вошедших Ниакора, — благодарение богу, не было слышно выстрелов.

— Слава аллаху, — в свою очередь поблагодарил всемогущего на арабском языке Старик. — Никто не стрелял, никого не били. Забастовка долго не протянется. Дня два-три, не больше.

Он уселся рядом с Ниакорой.

— Спасибо тебе за заботу, — сказала Фатумата, принеся мужу ужин.

— Спасибо и тебе, жена, за твои хлопоты. Все уже поужинали?

— Да, кроме тебя и Аджибиджи.

Фатумата встала позади мужа, как того требовала вежливость, и стояла все время, пока длилась трапеза. Мамаду Кейта и девочка вымыли руки.

Величественнее пирамид

Сорок веков смотрят на Египет с высоты пирамид. Наш век — век социализма, национально-освободительного движения и крепнущей дружбы народов — смотрит на Египет с высоты Асуанской плотины.

Эта гигантская плотина позволит отвоевать у пустыни миллионы акров земли, создать огромное искусственное озеро и оросить рисовые поля, которые феллахи столетиями поливали вручную, с помощью допотопных приспособлений. Эта плотина уже через несколько лет будет давать ОАР

Нил у Асуана

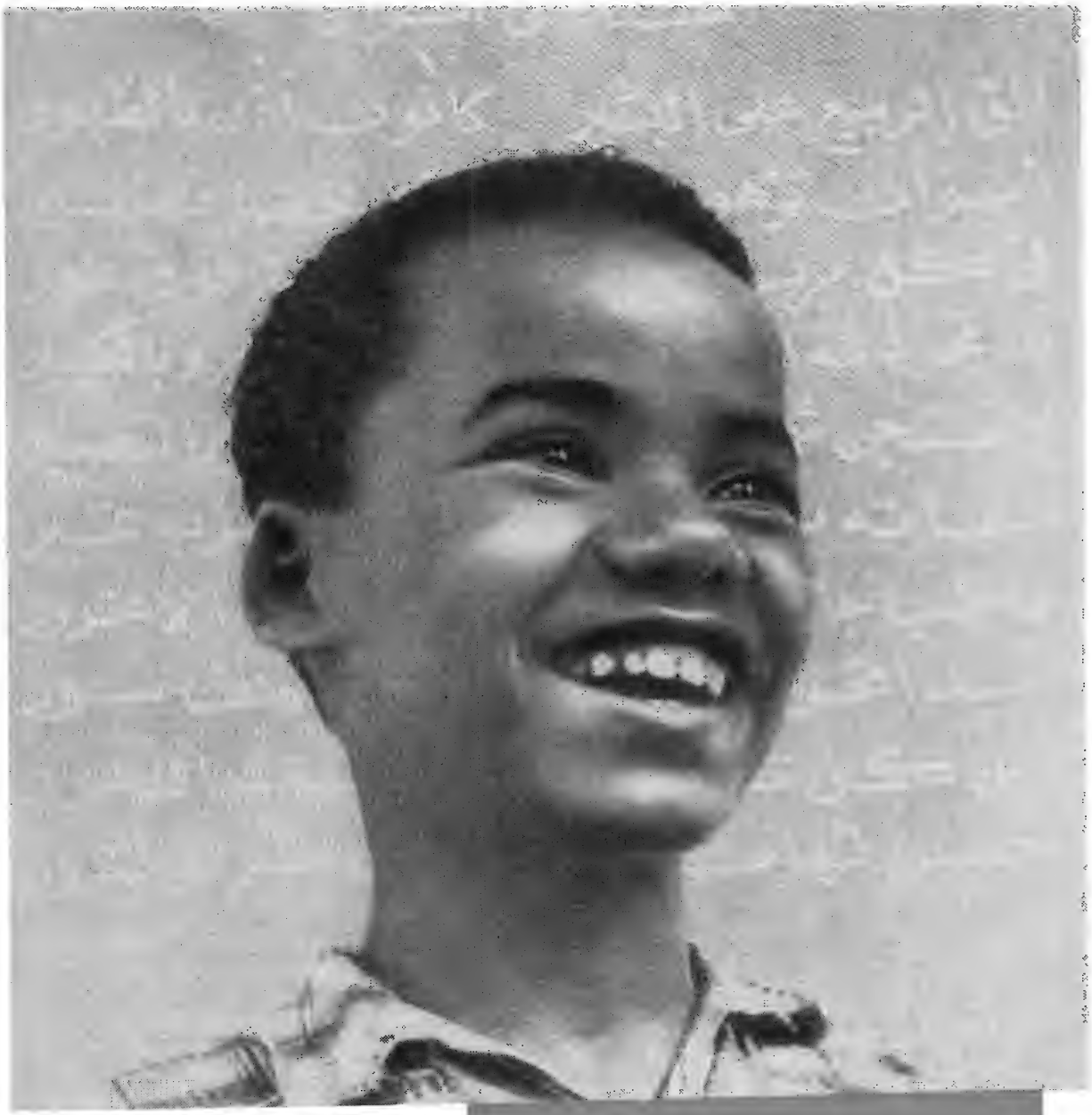
Строители.

Асуанская гидроэлектростанция.

Завод искусственных удобрений в Киме.

миллиарды киловатт-часов электроэнергии. Эта плотина вызовет к жизни сталелитейную промышленность на базе высококачественной железной руды, которой богата Нубийская пустыня, и даст работу десяткам тысяч нубийцев...

Западным державам, которые в ответ на законный акт национализации Суэцкого канала отказали в кредитах Объединенной Арабской Республике, не удалось сорвать строительство этого грандиозного сооружения: помощь пришла из



Школьник из Асуана.

Советского Союза в виде долгосрочных займов, техники и высококвалифкцированных специалистов.

Асуанская плотина, строительство которой будет в основном завершено в 1964 году,— это символ победы египетского народа в борьбе за независимость и свидетельство бескорыстной помощи Советского Союза народам Африки, вступающим на путь самостоятельного национального развития.

Мы публикуем несколько снимков со строительства высотной Асуанской плотины.

После трудового дня.

— Когда должен вернуться Ибрагим Бакайоко? — спросила Ниакора.

— Бог свидетель, не знаю.

— О аллах,— Ниакора, кажется, даже в темноте видела, что творится на душе у Фа Кейта.— Тебе не кажется, что эти дети совершают ошибку? Как ты, пожилой человек, можешь прислушиваться к тому, что говорят младенцы?

— Видишь ли, Ниакора, нам, старикам, тоже не мешает учиться. Уже много месяцев, как я начал понимать это. И с сожалением, можешь мне поверить.

— Уф! Все, что знает ребенок, взрослому известно гораздо лучше.

— Ты не работаешь. Тебе ничего не известно о новых машинах. Мне тоже. А что ты знаешь о завтрашнем дне? Скажи я на профсоюзном собрании то, о чем ты сейчас говоришь, меня бы выставили оттуда!

— Несмотря на твои седины?

— Уважение и знание — вещи разные, и путать их не надо. Помнишь поговорку: «Чтобы поседеть, надо смолоду иметь черные волосы»?

— Чего уж там!

Ниакора снова погрузилась в молчание. Закончив ужин, Мамаду Кейта вымыл руки и поблагодарил аллаха. Взял орех кола, поделил его с Ниакорой.

Аджибиджи ушла.

Старики остались одни со своими думами и опасениями. Вечер не принес им покоя. Глаза отдыхали, зато сильнее работала мысль. На пороге домов люди боязливо прислушивались к звукам бара́. Над суданским городом воцарилась ночь, но в этой тьме казалось, что гулкие удары тамтама доносятся со всех сторон, и беспрерывно стучала мысль в голове, прогоняя сон.

ТИЕС

ПОСЕЛОК

Покосившиеся, расшатанные хижины, разрушенные могилы, тапата * из бамбука или стеблей сорго, железные колья, повалившиеся изгороди. Таков Тиес. Огромный пустырь, куда город сваливает свои отбросы — старые сваи, негодные железнодорожные шпалы, колеса паровозов, изъеденные ржавчиной жестянки, пробитые бидоны, матрацные пружины, помятые и дырявые листы толя; чуть подальше, на козьей тропе, ведущей в Бамбара **, лежат груды старых консервных банок, кучи мусора, горы глиняных черепков, обломки домашней утвари, каркасы вагонов, покрытые толстым слоем пыли, негодные моторы, обглоданные трупы дохлых кошек, крыс, птиц, на которые с криком набрасываются грифы. Таков Тиес. Среди всей этой гнили тянутся кверху редкие худосочные кусты диких томатов, проскурняка, бизаба, плоды которых женщины собирают, когда в доме больше нечего есть. Тут же пасутся козы и овцы с облезлыми боками, со свалявшейся от грязи и нечистот шерстью. Чем они могут тут поживиться? Разве только воздухом? Здесь бегают голые, вечно голодные ребятишки с торчащими лопатками и вздутыми животами, они стараются урвать у хищной птицы остатки падали. Таков Тиес.

Неподалеку отсюда, в Диалаве, деревянные дома. Они, конечно, тоже ветхие, подпертые балками или стволами деревьев, готовые рухнуть при первом же сильном порыве ветра. Но это все-таки дома, с на-

* Заборы.

** Квартал, в котором живут бамбара.

весами из толя, дыры в котором заткнуты тряпьем, картоном, обрезками фанеры, кусками старой жести,— дома с кровлей, на которой для прочности лежат большие камни, или железные брусья, или старые горшки, наполненные землей.

А еще дальше живут счастливчики — те, кому удалось приобрести у управления железной дороги старые товарные или пассажирские вагоны.

От Рандулена до казармы стражников, от большого Тиеса до Диалавы все здесь — дома, деревья и земля — покрыто густым слоем черной сажи, изрыгаемой паровозами.

Тиес — центр управления железной дороги и одновременно центр руководства рабочим движением. От железной дороги зависят все жители.

■

Занимающаяся заря постепенно, одну за другой, гасила звезды на небосклоне, под первыми проблесками солнца оживали окружающие предметы. В это утро рабочие проснулись раньше обычного. Вернее, они всю ночь не сомкнули глаз. Накануне вечером они приняли серьезное решение, сегодня надо было провести его в жизнь, и каждый из них испытывал в глубине души томящее чувство.

Вереницей, как муравьи, потянулись люди по дорогам и тропкам. Встречаясь, они пожимали друг другу руки, обменивались обычными словами приветствия. Притихла даже молодежь, обычно шумная и говорливая, раздававшийся изредка смех звучал принужденно. Никто не решался произнести вслух сверливший мозг вопрос: «Что ты думаешь о забастовке?» — ибо ни у кого не хватило бы духу ответить.

Дойдя до шлагбаума, кузнец Бубакар остановился.

— Глядите-ка,— сказал он,— вот и Живая Газета!

Во главе небольшой группы людей к шлагбауму действительно приближался Самба Ндулугу, прозванный Живой Газетой, потому что он и в самом деле был ходячим источником новостей. Забавный человек Самба Ндулугу, один его вид вызывает улыбку: в старой форме американского солдата, рубашка висит поверх брюк, слишком широкие брюки гармошкой ниспадают на самара *. Он теребит в руках фуражку со сломанным козырьком.

— Не пойму, почему вы растерялись,— сказал он, подойдя ближе.— Вчера вечером надо было высказать свое мнение. Сейчас менять решение уже поздно.

Он сказал это, глядя на тревожные лица стоявших перед ним людей. Бюрократ Баширу, штатный служащий на железной дороге, возразил:

— А может, утро вечера мудренее. Надо смотреть на вещи прямо: наш профсоюз еще недостаточно силен, чтобы начинать забастовку. Мы, возможно, не предусмотрели всех последствий.

— Как это так? Вчера вечером все обсудили, изучили, обдумали. Ты говоришь, надо смотреть на вещи прямо? Ну что ж, прямо перед нами находится депо. Кто страшится крови, тот не в состоянии перерезать горло, а если хочешь мяса к обеду, без этого не обойтись.

— Пустая болтовня!

— А ты не болтовней занимаешься?

— Надо было выступать вчера вечером, а не сейчас! Но дело в том, что вчера тебя не было на собрании. А почему? Могу тебе объяснить: потому что ты в штате, считаешь себя французом. Ты и так везде хва-

* Сандалии.

стаешь: «Я числюсь в штате метрополии». И потому тебе бы хотелось, чтобы забастовка провалилась.

— Ах так? Ты за мной шпионишь? Меня не было вчера на собрании только потому, что...

— Брось, Баширу, ведь ты сам не знаешь, с кем тебе быть заодно. С рабочими? Но тогда тебя вышвырнут из штата управления. С начальством? Но тогда ты окажешься чужим среди нас. Ты чужак! Ты более чужд этой забастовке, чем сам директор железной дороги!

Продолжая спорить, вся группа дошла до рынка.

Рынок раскинулся на привокзальной площади, занял перекресток у шлагбаума, площадь Али Н'гер. Как пчелы в улье, гудела густая толпа, в воздухе носились облака сухой пыли. Здесь можно было найти все: буханки хлеба, целые и разрезанные на части, сигареты всевозможных марок, пачками и поштучно, нюхательный табак и махорку, кремни и зажигалки, изготовленные токарями депо, сахар кусковой и песок, разные местные лакомства. На площади Али Н'гер стояли навесы, под которыми расположились торговки готовыми блюдами. Опрятно одетые, они зазывали клиентов, соблазняя их различными яствами, расставленными на лотках. Тут красовались оладьи, рыбные и мясные фрикадельки, жареные и вареные бататы, дымящаяся похлебка из маиса и сорго; здесь можно было полакомиться клубнями маниоки, испеченными в золе или залитыми соусом, которые торговки подавали в мисках так же, как белую фасоль, арахис и бататы. Любое блюдо можно было приобрести в долг, «в счет будущего месяца», как обычно говорили. Здесь неизменно присутствовали постоянные обитатели рынка — нищие и мухи. Рынок кишел ими. Нищие всех возрастов громко причитали над своей судьбой; большие зеленовато-синие мухи кружили в воздухе, перелетали с изъязвленных лиц, рук, ног нищих и калек на сосуды с пищей. Их отгоняли, они целым роем перелетали на другое место.

Дьейнаба установила свой лоток чуть в стороне от рынка, на углу возле депо. Усевшись на низкой скамеечке, она курила длинную глиняную трубку, внимательно наблюдая за толпой из-под опущенных век. Справа от нее громоздилась куча тыквенных бутылей, впереди стоял огромный сосуд, до краев наполненный горячей похлебкой, а налево — миска, в которой ложки мокли в помутневшей и покрытой пузырями воде. Дьейнаба не зазывала покупателей, она спокойно поджидала своих клиентов. Когда к ней подходил рабочий, она обслуживала его, отмечала его имя в своей записной книжке и ждала следующего.

По соседству с Дьейнабой сидела слепая Маймуна. Обе женщины хорошо ладили между собой. Маймуна не казалась несчастной, наоборот. Словно богиня ночи, она величаво несла свое черное тело с гордой головой и невидящим взором, устремленным ввысь, поверх людей, поверх окружавшего ее мира. Сейчас она кормила грудью одного из своих близнецов, второй копошился у ее ног, загребая ручонками землю. Никто не знал историю этой женщины, но все знали ее голос. Дни напролет она распевала псалмы, и люди останавливались, чтобы послушать. Сейчас она пела легенду о Гумба Ндьяйе — о женщине, которая ослепла после того, как решила померяться силой с мужчинами. Скорбное пение Маймуны покрывало царивший кругом шум.

Подошел Самба Ндулугу с группой рабочих.

— Наконец-то, Самба,— встретила его Дьейнаба,— ты сегодня запоздал. Я уже накормила кузнецов и литейщиков. Возьми-ка тетрадку, отмечай, кто будет есть.

Самба исполнил ее просьбу, а потом подошел к Маймуне.

Слепая сразу съежилась, на гладком лице появилась гримаса, из глазных впадин потекли слезы.

— Не трогай детей,— коротко сказала она.

Самба, не произнеся ни слова, отошел. Дьейнаба удивленно наблюдала за этой сценой. Однако она промолчала. Как и все остальные, она понятия не имела о том, кто отец близнецов.

■

Покончив с едой, мужчины собрались у ограды депо. Обычно рабочие, не задерживаясь, проходили в свои цеха, но теперь они остановились у главных ворот. Здесь стояли путевые рабочие, тяговики, чернорабочие, стрелочники, служащие — словом, все, даже и те, кому не надо было работать в утренней смене.

Ворота главного входа были широко раскрыты, но на центральном дворе депо находился только один человек: старший сторож Сункарэ.

Началось долгое и томительное ожидание. Медленно тянулись секунды и минуты. Каждый перебирал в мыслях свои слова, обдумывал услышанное от других. Постепенно людей охватила тревога, опасения росли, щемило сердце. К страху примешивалась тайная надежда, как это бывает с людьми, которые в бога не верят, но в глубине души рассчитывают на вмешательство свыше. Время текло, власть бегущих минут захватывала их все сильнее, перед глазами маячили широко распахнутые ворота главного входа, как бы приглашая войти.

Тягостное молчание нарушил Бюрократ Баширу.

— Мы много думали,— сказал он.— Момент выбран неудачно. Нельзя начинать забастовку в середине месяца.

— Правильно,— подхватил Сов, только что вставший после болезни,— я, например, даже долги не могу уплатить.

— К тому же не забывайте, вчера нам повезло, и войска не вмешались, но сейчас они могут окружить весь район, и будет потасовка,— подлил масла в огонь рабочий, стоявший рядом, опершись на раму своего велосипеда.

Люди волновались, высказывали свои опасения, засыпали друг друга вопросами. Самба Ндулугу переходил от группы к группе, подбадривая колеблющихся, одергивая трусов. Он подошел к Бубакару, стоявшему у ворот. Толстый кузнец и маленький столяр были большими друзьями.

— Знаешь, старина, я за версту чую предателей. Жаль, что Бакайоко далеко. Будь он сейчас здесь, они бы прикусили языки.

Баширу продолжал разглагольствовать:

— Что будет, если управление откажет по всем пунктам? И насчет увеличения зарплаты, и насчет пенсий и подсобных рабочих? Что мы будем тогда делать? С нашей стороны, безумие упорствовать, просто сумасшествие!

Самба подтянул штаны и помял в руках кепку.

— Почему ты их отговариваешь, Баширу? Потому, что тебя сводит судорога только при одной мысли, что и другие будут зачислены в штат? Завистник, эгоист — вот ты кто! Послушай, Сов, когда ты болел, кто тебе помог деньгами? Уж не твое ли начальство, Баширу? А ты знаешь, что делал Баширу, когда Гайе и Лахбиб работали в ночь? Он недописывал им часы! Он охотно раскошеливается, когда люди собираются почтить память покойника,— еще бы, ведь тут он на виду! Мы решили провести нашу первую забастовку, и мы ее проведем! У Баширу просто от страха поджилки трясутся!

— Я трус? Ничего подобного. Но не надо все-таки забывать о том, что произошло в 1938 году. Подождем, пусть явятся уполномоченные...

— И мы помним 1938 год,— вмешался в спор Бубакар,— но ведь это было еще до войны.

Кузнец до глубины души ненавидел Баширу, его кривлянье, повадки преуспевшей канцелярской крысы.

Самба подошел поближе.

— Мы сумеем выстоять, так как знаем, чего хотим, и для этого нужно крепче держаться друг за друга. Бакайоко недаром говорил, что раб не тот, кого силой схватили, заковали в цепи и продали в рабство; раб тот, кто душой и телом мирится с этим.

— Как же, как же! Твой Бакайоко очень силен в теории, а на деле? Он лишь подстрекает вас. Где он сейчас? Впрочем, меня, по правде говоря, все это не касается, я ведь не принадлежу к низшей касте.— Баширу при этих словах вызывающе посмотрел на Бубакара.

— Ты полагаешь, что я к ней принадлежу? Я потомственный кузнец, но если обстоятельства принуждали моих отцов мириться с жалким положением, то я уж ничьим рабом никогда не буду!

— Что вы ко мне пристали?— крикнул Баширу.

Бубакар подошел к нему, выпятив свой огромный живот:

— Попробуй только мутить воду, от тебя останется мокрое место.

■

Доносившийся издалека неясный гул неожиданно вылился в четкий шаг. По дороге шли войска. Солнце играло на частоколе штыков, которые покачивались над сомкнутыми рядами. Рабочие, не отрываясь, смотрели на подходившую колонну. На рынке, у депо, на дороге — повсюду воцарилась непривычная тишина. Торговцы спешно убирали свой товар, торопливо улепетывали нищие. Только Маймуна, скованная своей слепотой королева царства мрака, осталась на месте. Она пела. Голос Маймуны заглушал стук подбитых гвоздями солдатских ботинок, топот босых ног. Как напуганное стадо, которое ведут на убой, люди метались, сбивались в кучу. Солдаты развернулись цепочкой с ружьями наперевес.

— Идут уполномоченные!— вдруг выкрикнул Баширу, словно и он надеялся, что кто-то еще может спасти положение.

С появлением профсоюзных вожаков толпа немного успокоилась, лица прояснились, разжались кулаки.

Председатель профсоюза Дуду начал говорить, но его голос неожиданно был заглушен воем сирены. И снова всех охватила тревога. Люди стояли с разинутыми ртами, взоры потухли, на лицах и ладонях выступил пот. Сирена выла долго, дольше обычного. Потом стало тихо, так тихо, что страшно было даже думать, не только пошевельнуться.

Ворота центрального входа все еще были широко раскрыты, но никто не тронулся с места. Когда сирена завыла снова, по толпе пробежала дрожь. Людям казалось, что ее вой проникает внутрь, вместе с кровью бежит по жилам. Всю жизнь звук сирены был для них символом повиновения. Еще совсем маленькими они видели, как мчались на ее зов их отцы и деды. Она определяла трудовой ритм их жизни.

Хромой сторож Сункарэ скрылся во дворе депо. Бакари перестал кашлять, казалось, его болезнь как рукой сняло. Трусливый Баширу, кузнец Бубакар, Дуду молча застыли на месте. Магат и его сверстники растерянно смотрели на кучу камней, которые они приготовили и сложили между рельсами. Только Маймуна продолжала петь. Она прославляла жизнь и не заметила, как один из близнецов сполз с ее колен и подбирался к велосипедам.

Первым очнулся от оцепенения Самба Ндулугу. Одним прыжком он вскочил на плечи Бубакара.

— Да здравствует забастовка! — крикнул он и обратился к толпе на языке бамбара.

В этот момент солдаты двинулись на безоружных людей.

Схватка разгорелась сразу. Солдаты действовали прикладами, пыряли остриями штыков, топтали людей своими тяжелыми башмаками, пустили в ход гранаты со слезоточивым газом. В едином вопле неслись крики ярости, гнева, боли. Толпа метнулась назад, разбилась на дрожащие от страха группки, перестроила свои ряды, подалась в разные стороны и отступила. С рынка подоспели женщины под водительством Дьейнабы. Подобно древним амазонкам, они поспешили на помощь, вооруженные палками, железными кольями, бутылками. Подмастерья, стоявшие во главе с Магатом у шлагбаума, встретили неприятеля градом камней. Все, что только можно было подобрать на земле, было пущено в ход. С головы офицера сбили каску, его лоб был в крови. Группа рабочих окружила солдата, тот неистово орал. Дрались повсюду. На рынке были опрокинуты все лотки.

Маймуна больше не пела. Малютка, который соскользнул у нее с колен, играл спицами велосипедного колеса. Пробегавший мимо человек схватил машину за руль и потянул ее к себе. Ребенок закричал, человек оттолкнул велосипед, и тот упал и придавил младенца. Баширу, удиравший от преследовавших его солдат, легко перепрыгнул через лежавший на земле велосипед, но солдаты в тяжелых башмаках наступили на заднее колесо, под которым оказалась голова ребенка. Он слабо пискнул, как смертельно раненное животное, и стоны прекратились. Держа в одной руке второго близнеца, шаря в воздухе другой, Маймуна поспешила на жалобный крик, но в этот момент кто-то, пробегая мимо, сильно толкнул ее. Слепая упала, упершись в землю руками и коленями, прикрывая своим телом ребенка. Рядом два солдата прижали к решетке литейщика Демба и били его прикладами по голове и низу живота.

Магат и его товарищи взобрались на железнодорожную насыпь и продолжали оттуда бросать в солдат камнями. Во всем Тиесе шел бой. С рынка на помощь железнодорожникам пришли рабочие, но с аэродрома и из казармы уже спешили на выручку войскам стражники.

Ближе к полудню бой наконец прекратился, но волнение в городе улеглось не сразу. Бастующие занимали рыночную и привокзальную площади, шлагбаум и подступы к депо. Но само депо и вокзал охраняли стрелки.

ТИЕС

ГОСПОДИН ДЕЖАН

Штаб стачки расположился в помещении инспекции по труду, в небольшой комнате, где была невероятная сутолока. Вся профсоюзная верхушка была налицо — по крайней мере, все, кто не особенно сильно пострадал в стычке с войсками. Самба Ндулугу с увлечением рассказывал, как ему удалось вырвать из рук солдата гранату со слезоточивым газом и как он запустил ею в прежнего владельца. Толстяк Бубакар следил за каждым жестом приятеля, на шее у него подсыхала струйка крови, стекавшая от правого уха. Пришел сюда и старый больной Бакари. Веки у него припухли, грудь разрывал непрерывный кашель. По лицу обильно струился пот, смешанный со слезами, выступавшими при каждом приступе кашля.

Председатель профсоюза Дуду перебрасывался отрывочными фразами со своим заместителем Лахбибом. Ему явно было не по себе. Карими, широко раскрытыми глазами он то смотрел на окружающих, то устремлял взор в окно, на группы рабочих, которые о чем-то спорили в тени деревьев, на ограду и крыши депо, на высокие трубы, на рельсы, свер-

кавшие, как серебро, на жалкие хижины. Дуду понимал, что все ждут его слов. В его душе, как свернувшийся комочком зверь, дремал страх. Он боялся разбудить его. Мысли витали далеко от комнатки, в которой стоял неумолчный шум голосов.

Он вспоминал, что было несколько лет назад, после войны, когда свирепствовал голод и продукты выдавались по карточкам. Именно тогда рабочие решили создать профсоюз и предъявить свои требования железнодорожной компании. Душою движения были он, Лахбиб и Бакайоко, пользовавшийся особой популярностью среди машинистов. Управление дороги с самого начала воспротивилось организации профсоюза, а когда по единодушному требованию рабочих он был все-таки создан, оно отказалось его признать. Дуду отчетливо помнил события того времени. Помнил и о том, что в кассе союза всегда было пусто, потому что никто не платил членских взносов... Но в конце концов пропаганда среди рабочих сделала свое дело, и машина завертелась. Сейчас наступил момент проверить, как она действует. Именно этого и опасался Дуду.

Очнувшись от задумчивости, он огляделся. Рядом сидел, пощипывая усы, Лахбиб. Неподвижно застыл огромный кузнец, похожий на глыбу антрацита. По-прежнему ораторствовал Самба.

— Да, друзья мои, этот день, девятое октября 1947 года, войдет в историю нашего движения...

— Не девятое, а десятое октября,— прервал его Баширу.

Самба Ндулугу посмотрел на перевязанный лоб канцеляриста.

— Уж не повстречался ли ты с самим господином Дежаном, Баширу, или, может быть, ты успел побывать в Мекке?

— Народ ждет, Дуду,— Лахбиб толкнул председателя в бок.

Дуду встал и наконец заговорил:

— Мне кажется, что будет лучше, если мы созовем митинг завтра утром, как, впрочем, и было решено вначале. По-видимому, управление дороги не склонно идти на уступки, по крайней мере сегодня.— Помолчав с минуту, он добавил: — Сейчас надо всем спокойно разойтись по домам. Здесь войска и стражники. Избегайте столкновения с ними. Кстати, сколько у нас раненых и убитых?

— Восемь убитых, много раненых среди мужчин, женщин и детей.

— Завтра после похорон созовем собрание. Лахбиб, сегодня вечером мы пойдем вместе со стариками к вдовам. Есть какие-нибудь известия с других станций?

— В Дакаре тоже было столкновение с войсками.

— Папаша Фа Кейта, ты знаешь что-нибудь о племяннике?

— Перед отъездом из Бамако он писал, что вернется сюда, но вчера приехал оттуда родственник, говорит, что Ибрагима там давно нет. Поезда больше не ходят, одному богу известно, когда мы увидим Бакайоко.

— Будем его ждать,— решил Дуду.— Но надо организовать постоянные дежурства. С сегодняшнего вечера Самба и ты, Бубакар, будете дежурить вместе с Лахбибом. Забастовочный комитет соберется здесь завтра в шесть утра.

Через несколько минут рабочие разошлись. В душе у каждого еще звучали отклики великого ропота, поднявшегося из черной пыли Тиеса.

■

На втором этаже здания управления железной дороги находится кабинет господина Дежана — обширная комната со светлыми стенами, на которых развешаны фотографии под стеклом. Из шести окон открывается вид на депо и мастерские. Под потолком тихо жужжит вентилятор с ши-

рокими лопастями. На столе в углу — макет железной дороги с миниатюрным поездом.

Дежан шагал взад и вперед по кабинету, то нервно закладывая руки за спину, то засовывая их в карманы. Маленький человечек на коротких ногах, с заостренной лысой макушкой и большими очками на толстом носу. В петлице — узкая красная ленточка ордена Почетного легиона.

Двадцать лет назад Дежан приехал в колонию, рассчитывая быстро нажить здесь состояние. Собирался даже начать собственное дело. Он скоро одолел первые ступени служебной лестницы. В то время лишь немногие европейцы соглашались подолгу жить в колонии, а Дежан за все время только дважды ездил в метрополию и лишь раз задержался там на два месяца, да и то из-за женитьбы. В 1938 году, когда он занимал пост помощника начальника отдела, рабочие депо впервые организовали стачку. Дежану удалось быстро подавить движение, после чего его назначили начальником отдела. Когда началась вторая мировая война, французская колония, как и сама Франция, разделилась на два лагеря. Начальник управления был противником Петэна, и когда вишисты оказались у власти, он исчез. Его заменил Дежан, сумевший удержать за собой этот пост.

Дежан продолжал кружить по комнате, как медведь в клетке. Его душила злоба. Утром он отказался принять рабочую делегацию, в ее составе были сыновья тех самых негров, которых он усмирил девять лет назад. Он твердо решил не уступать.

Зазвенел телефон. Дежан поспешил к письменному столу, взял трубку и уселся в кожаное кресло.

— Алло, алло!.. Да, я у телефона... Нет, они еще не приступили. Нет, я их не приму ни сегодня, ни завтра... Чего они хотят? Повышения зарплаты, четырех тысяч подсобных рабочих, пособий многосемейным, пенсий... Простите, я не расслышал... Согласиться на пособия многосемейным, им, этим многоженцам? Да как только у них заведутся деньги, они накупят себе еще жен, а дети плодятся, как муравьи... Уверяю вас...— По любезному тону Дежана было ясно, что с ним говорит важная особа.— Войска? Да, здесь... Есть ли раненые? Да, несколько человек, точно не знаю... Убитые? Нет, убитых нет, ведь солдаты получили приказ только попугать их... Военные подкрепления?.. Хорошая мысль, благодарю вас... Ну, с неграми я справлюсь... Спасибо за доверие... Можете не опасаться, все обойдется как нельзя лучше, как и в прошлый раз... Если они станут упорствовать?.. У нас есть надежный союзник — голод. Я послал своих сотрудников разведать обстановку, жду их, и мы выработаем план. Пардон, я не понял... О, я их хорошо знаю, это же сущие младенцы, уверяю вас. У меня накопилось достаточно опыта за двадцать лет работы в колонии... Да, вы правы, конечно, за всем этим скрываются несколько молодчиков, которые их подстрекают... Эти типы на деньги не падки, им нужны права... Своих африканцев я вижу насквозь, гордецы страшные... Да, конечно, буду звонить вам завтра в это же время. Это не распространится за пределы Тиеса, можете быть спокойны... Договорились, еще раз благодарю за доверие... Нижайший поклон вашей супруге... Да, да, как только покончим с этой историей, обязательно поедем ловить тунцов... Благодарю...

Дежан положил трубку и глубже уселся в кресло. Его взор блуждал по квадрату неба за окном. Снизу глухо доносились шаги часовых. Стражник поливал сад. Над струей воды переливалась крошечная радуга. Солнце медленно опускалось за линию горизонта, словно сожалея о том, что вынуждено покинуть расстилавшуюся перед ним мирную картину, которую представлял собой европейский квартал с белыми виллами, окруженными цветниками, с розовощекими детишками, игравшими на ступеньках веранд.

Дежан протер очки и склонился над папкой, лежавшей на столе. В дверь постучали.

— Войдите.— Голос его звучал резко, отрывисто.

На пороге один за другим появились трое: первый помощник Дежана Виктор, начальник слесарной мастерской, «старый колониальный волк» Иснар и Леблан.

— Присаживайтесь, господа,— сказал Дежан, вертя в руках карандаш.— Что нового?

— Ничего особенного,— ответил Виктор.— Мы окончательно выяснили, что Дуду — главная фигура в профсоюзе, но денег за это он не получает.

— Плевать мне на то, платят ему рабочие или нет, это их дело!..

Виктор продолжал, делая вид, что не слышит.

— Они установили постоянные дежурства в инспекции по труду. В профсоюзе есть еще один главарь, пожалуй, самый опасный,— машинист Бакайоко. Он неплохой оратор. Разъезжает по линии и агитирует. Сейчас он в Кайесе...

— Господа, я только что говорил по телефону с Дакаром. Нам обещана поддержка. Но нужно сделать все, чтобы эта история не затянулась. Мне нужны все сведения, которые удастся раздобыть. Я знаю здешних негров. Уже через несколько дней, может быть, даже раньше, найдутся желающие приступить к работе. Но на случай, если история затянется, надо заранее подумать о том, какие меры принять. И прежде всего надо придержать все продовольственные товары: рис, просо, маис. Лавочники будут предупреждены. А от вас, господа, мне нужны сведения, как можно больше сведений.

Леблан, самый молодой из служащих, заметил:

— Я слышал, что многие негры против забастовки, но Дуду, Лахбиб и Бакайоко — честные люди, их не подкупишь.

Лицо Дежана вдруг побагровело, он крикнул в неожиданном порыве злости:

— Не подкупишь? Да вы просто смешны, мой дорогой Леблан! Вы еще новичок в колонии. Всех негров можно купить, слышите, всех до одного!

Леблан, как провинившийся школьник, съежился на стуле в ожидании, когда минует гроза.

— А вы что об этом думаете, Иснар? Вы-то ведь их хорошо знаете? — в голосе Дежана звучали сердитые ноты.

На Иснаре была легкая куртка, расстегнутая у ворота. Она открывала почерневшую от солнца шею и кирпичные от загара грудь и руки до локтей, покрытые рыжей шерстью. Об этом «старом колониальном волке» рассказывали много анекдотов, причем он сам их усердно распространял. Когда-то с ним произошла история, в которую все считали своим долгом посвятить всякого вновь прибывшего. Однажды вечером к нему кто-то постучался. На пороге дома оказалась негритянка, у которой начались роды. В то время акушеров в колонии не было, добраться до дому женщина тоже не успела бы. Иснар оказал ей необходимую помощь: перегрыз зубами пуповину, вымыл ребенка, дал женщине время оправиться. Повествуя об этом случае, он неизменно добавлял: «...мать и ребенок здравствуют и поныне...»

Иснар выпрямился в кресле:

— Я полагаю, что мы не можем действовать сейчас теми же методами, что в 1938 году. Их требования не лишены оснований. Да и линия железной дороги сейчас велика. К тому же они начали первые — в этом их преимущество. Действовать надо осторожно.

— И удовлетворить их требования? — сухо спросил Дежан.

— Разумеется, нет, но и к крутым мерам лучше не прибегать. Можно было бы подкупить их главарей, если не пожалеть на это денег, или же, обработав нескольких человек, попытаться организовать параллельный профсоюз.

— Проще подкупить главарей,— заметил Виктор.

— Не думаю. Второй план лучше, кроме того, он выгоден еще тем, что годится и на будущее,— возразил Дежан.— А вы, Иснар, знаете кого-нибудь, с кем могли бы договориться о создании второго профсоюза?

— Двое у меня на примете, я с ними уже толковал. И не удивлюсь, если они на это пойдут.

— Прекрасно. Второй вопрос: сколько раненых среди войск и полиции?

— Шесть человек, среди них два офицера, два сержанта-негра. Кроме того, один офицер убит.

— Дикари! Виктор, позвоните на другие станции, пусть ждут указаний. Вы, Иснар, свяжитесь поскорее с вашими двумя молодчиками. А сейчас, господа, прошу прощения, но я сегодня очень занят.

Не успели трое служащих выйти из кабинета, как Дежан схватил телефонную трубку:

— Соедините меня с Дакаром.

■

Солнце медленно садилось. Синеватая тень незаметно накрыла застывшие паровозы и вагоны, затихшие мастерские и депо, белые виллы и саманные дома, хижины и лачуги. Из казармы стражников доносился звук горна.

Итак, в Тиесе началась забастовка. Никто не знал, сколько она продлится, она несла с собой тяжелые испытания и в то же время многих заставила призадуматься. Когда по саванне перестал стлаться дым паровозов, рабочие поняли, что какая-то пора в их жизни безвозвратно ушла в прошлое, та пора, о которой рассказывали старики, та пора, когда Африка была лишь огромным огородом. Теперь сюда пришла техника. И, остановив по своей воле ее движение на расстоянии больше чем в полторы тысячи километров, они осознали не только свою силу, но и свою зависимость от техники. Она сделала их новыми людьми. Не она им принадлежала, а они ей. Они это поняли, когда она остановилась.

Шли дни, и шли ночи. Никаких новостей, разве только те, что каждый истекший час приносил в каждый дом: провизия кончилась, сбережения съедены, в доме ни гроша. Бастующие пытались брать продовольствие в долг, но лавочник всем твердил одно и то же: «Вы мне и так уже должны, мне нечем будет расплатиться за новую партию товаров. Почему вы не прислушаетесь к доброму совету? Почему не приступаете к работе?»

Рабочие закладывали велосипеды, часы. Потом наступила очередь дорогих бубу, которые надевали в самых торжественных случаях, и драгоценностей. Начался голод: мужчины, женщины, дети худели на глазах. Но держались стойко. Чаще собирались митинги, руководители развили усиленную деятельность, каждый клялся выстоять до конца.

Шли дни, и шли ночи. Неожиданно, к всеобщему удивлению, снова пошли поезда. Прибывшие из Европы машинисты вели паровозы, солдаты и моряки стали работать на вокзалах, из них формировали бригады и смены. Привокзальные площади превратились в укрепленные позиции, их окружили проволочными заграждениями, за которыми днем и ночью стояли часовые. И тогда всех охватил страх. Бастующие испытывали чувство боязливого изумления перед силой, которую они сами привели

в движение и которая пока что сулила только неизвестность — то ли надежду, то ли необходимость смириться. Белых тоже преследовал страх. Как может чувствовать себя в безопасности ничтожное меньшинство, оказавшееся среди огромной враждебной массы? Немногие европейцы и негры, поддерживавшие до тех пор между собой дружеские отношения, теперь избегали встречаться. Белые женщины появлялись на рынке только в сопровождении полицейского: нередко бывало, что негритянки отказывались продавать им свои товары.

Шли дни, и шли ночи. Мужчины вначале и не думали о помощи, которую оказывают им женщины,— ведь у каждого было по нескольку жен. Но и тут вскоре все изменилось. Возвращаясь домой с собрания с опущенной головой и пустым карманом, муж замечал прежде всего потухший очаг, опрокинутую ступу, сваленные в углу пустые миски и сосуды. И жены, видя поникшие плечи мужа, его заплетающиеся шаги, начали понимать, что в их жизни тоже наступают какие-то перемены. Они чувствовали, что стали ближе к жизни мужчин.

А дети? Здесь у всех очень много детей, их не принято даже считать. Но сейчас они были на виду, бродили по дворам, цеплялись за набедренные повязки матерей, похудевшие, с торчащими костями, с запавшими глазенками и с вечным вопросом на устах: «Мать, дашь нам сегодня поесть?»

Печально текли дни, и печально текли ночи. Даже мяуканье кошки приводило людей в трепет.

Наконец однажды утром женщина решительно встала, укрепила на талии свою набедренную повязку и твердо сказала:

— Сегодня я сама позабочусь о еде.

В этот день мужья поняли, что если изменились мужчины, то наступили другие времена и для женщин.

ДАКАР

КРАСАВЧИК ДАУДА

Окно с шумом распахнулось. Из него выглянул человек с совсем еще сонным лицом. Он зевнул. Перегнувшись через подоконник, посмотрел направо и налево. Было еще очень рано и пустынно, убирали улицы. Из туземных кварталов подходили переполненные автобусы и уходили обратно без пассажиров. Дакар просыпался.

— Пора,— сказал Красавчик,— вставайте, живо! Сейчас пять минут седьмого, покуда все приберем, будет уже семь. Кстати, запомни, Дён, сегодня ты выставишь свои сандалии за дверь. От них можно задохнуться!

Красавчик вытряхнул одеяло. Эта кличка — его звали Дауда — как нельзя более соответствовала его наружности, которая приятно поражала в этой обстановке неприкрытой нищеты. Четыре месяца назад он окончил профессиональное училище по специальности токаря. На первых порах ему тяжело пришлось в рабочей среде, потому что он везде, при любых обстоятельствах стремился сохранить элегантный вид и весь свой заработок тратил на одежду. Так как у него было хоть какое-то образование, его сделали заместителем Алиуна, входившего в забастовочный комитет от местной профсоюзной организации.

Когда все встали и позавтракали, Дён вдруг заговорил:

— Странно, очень странно, и я никак не пойму...

— Что странно? — спросил Арона.

— Эта история с помощью... Не понимаю... ВКТ нам помогает. Одни европейцы приехали, чтобы сорвать забастовку, а другие посылают нам деньги, чтобы мы могли ее продолжать. Ты не находишь, что это странно?

— Еще любопытнее другое: нам послали деньги рабочие из Дагомеи. Вот этого я никак не ожидал!

— Я тоже, я бы никогда этого не подумал о них, но теперь только ради них мне хотелось бы, чтобы этот негодяй Дежан вынужден был уступить.

В кофейнике ничего не осталось. Арона прислонился к стене. Красавчик молча прислушивался к разговору и только изредка покачивал головой, как бы говоря: «До чего же они глупы, эти двое!» Дён, высыпав остатки табака из окурков и скручивая сигарету, продолжал:

— Раньше я презирал дагомейцев, и знаешь почему?

— Нет,— ответил Арона удивленно, и в этом удивлении сказались его простодушие и бесхитростность.

— Потому что я считал их ниже себя. Помнишь, что говорил Бакайоко о разжигании национальной розни?.. Так вот, сейчас я понял, и мне стыдно. Да, Бакайоко прав, забастовка нас многому учит.

— Бакайоко, Бакайоко,— вскипел Красавчик,— только и слышишь целый день что это имя, точно он пророк!

— А ты спроси у Ндейи Тути...

— Брось свои намеки, Дён! Можно подумать, что вся забастовка на нем только и держится. Начнем с того, что председателем профсоюза является Дуду.

— Ладно уж, ладно, Красавчик, можешь не кричать, это и так всем известно.

Все трое повернулись к двери, откуда раздалась реплика. Там стоял Алиун, местный уполномоченный, вместе с ним пришли несколько рабочих. Алиун, молодой человек почти одного возраста с Красавчиком, был в зеленом сабадоре * и шлеме, который он снял и положил на стол.

— Никаких происшествий за ночь?

— Ничего.

— Скажите, пожалуйста, как везет дежурным!

Красавчик ушел.

— Не выводите его из себя,— сказал Алиун остальным.— Он всего несколько месяцев работает в депо, и, кроме того, его любовные дела с Ндейей Тути тоже идут не очень гладко.

— Так вот почему он не любит, когда говорят о Бакайоко,— догадался Идрисса.

■

Вдоль частоколов, отгораживающих дома от улицы, шла женщина. У Раматулайи была привычка ходить поближе к изгородям. Это давало ей возможность останавливаться у каждого порога, чтобы поздороваться с обитателями дома, все мужчины и женщины отвечали ей, и начинался бесконечный обмен любезностями. Она знала буквально всех по имени и фамилии, знала все родственные связи. Словом, настоящая семейная энциклопедия. Но сегодня Раматулайя шагала вперед, не останавливаясь, вокруг ее сильных ног трепыхалась длинная рубашка, топорщившаяся спереди из-за множества амулетов, надетых на шею; тесемки, на которых держались амулеты, сходились узлом на спине, между лопатками. Руки до локтей были покрыты фетишами — красными, желтыми и черными браслетами.

* Туника.

Раматулайя с самого начала забастовки стала собраннее, даже, пожалуй, суровее. Увеличились заботы, ибо она была старшей в большой семье, состоявшей из двадцати тростинок господа бога *.

Несмотря на то, что было всего лишь девять часов утра, солнце жгло нещадно. Раматулайе встретилась группа дерущихся ребятишек, но она и тут не замедлила шаг. Свернув налево, она направилась к площади Джуми, большому песчаному пустырю, на котором стояла кафедральная мечеть с двумя минаретами. Полумесяцы на верхушках минаретов вздымались далеко ввысь.

Площадь окружали крытые черепицей бараки, незаконченные строения, между которыми пролегали немощеные улицы и переулки. Раматулайя вытерла лицо подолом рубашки. Косынка на голове промокла от пота, ноги были в пыли. Она увидела верующих, которые перебирали четки, сидя на цементной скамье, тянувшейся вдоль стены мечети. Соблюдая правила вежливости, она преклонила колена. Верующие ответили на приветствие и снова погрузились в молчаливую беседу со всемогущим. Раматулайя пересекла улицу и вошла в нгуну **.

Так женщины прозвали лавку мавра Хадраме из-за царившей в ней грязи. Огромный деревянный прилавок был залит маслом. В одном его углу стояли банки со сладостями, залепленные мухами, в другом — в ящике из металлической сетки — лежали буханки черствого хлеба. По стенке ящика бодро полз таракан. На полках лежали навалом всевозможные товары — пестрая ткань виши, ситцы, перкаль, шелка, ящики со свечами, бруски мыла. В узком проходе между прилавком и полками громоздились мешки с рисом и солью, ящики сардин и томатных консервов, тут же стояла бочка с маслом, весь пол вокруг которой был покрыт жирными пятнами. Не довольствуясь, очевидно, торговлей, Хадраме ухитрился втиснуть в лавку трех портных, которые дни напролет кроили, шили и чинили одежду.

Через раскрытые двери в лавку проникло солнце и расчертило цементный пол геометрическими фигурами, но в глубине помещения было темновато. Раматулайя ждала с нетерпением, оглядывая разложенные товары. Взор неожиданно задержался на весах, она хотела положить руку, чтобы проверить их точность, но в эту минуту раздвинулась красная занавеска и в лавке появился Хадраме.

Торговец заметил ее движение, его лицо помрачнело. Раматулайя приступила к делу без лишних разговоров.

— Хадраме, мне нужно пять кило риса. Только рис.

— Только? — повторил лавочник, покачивая головой, на которой в такт закачались его встрепанные волосы.— Я же еще вчера говорил тебе, что ничего не могу сделать для вас, семей стачечников. Не могу даже отпустить вам в долг, мне это запретили под страхом лишить меня товаров, даже мой нгуну собираются закрыть. А я-то должен жить!

— Но ты же знаешь, Хадраме, я всегда платила долги. Кроме того, ты скупил наши драгоценности. Можешь дать хотя бы два кило.

Мавр, не слушая ее, уселся на табурет и с безразличным видом стал чесать икры ног. Раматулайя, облокотившись на прилавок, не спускала глаз с мешков риса. Внезапно их взоры встретились. «Если я останусь тут, — подумала она,— он сдастся. Надо набраться терпения». Ее лицо приняло приветливое выражение.

Время текло, солнечные пятна доползли до прилавка. Вошли и вышли несколько покупателей. Раматулайя застыла на месте. Ее молчаливое присутствие начало действовать торговцу на нервы. Он встал и прошел в заднюю комнату; спрятавшись за дверью, он через щель в за-

* По существующему суеверию, считая людей, называют их «тростинками господа бога», чтобы не укорачивать им жизнь.

** Курятник.

навеске наблюдал за женщиной. Ему казалось, что она своим молчанием заполнила всю лавку. Не выдержав, он высунул голову.

— Не могу, Рама,— жалобно произнес он,— не могу. Здесь все, что ни сделаешь, становится известно.

Раматулайя продолжала хранить молчание.

— Скажите мужьям, пусть приступают к работе,— Хадраме явно было не по себе,— ведь вы подохнете с голоду, ваша стачка напоминает мне войну яиц с булыжниками.

Раматулайя молчала. Хадраме снова взмолился:

— Не могу я, не могу. Закроют мой нгуну. Скажите мужьям, пусть начнут работать!

— Хадраме,— произнесла наконец Раматулайя,— у тебя нет сердца, и память у тебя короткая. Дай одно кило, чтобы хоть обмануть голод.

— Не могу,— повторял торговец, бросая умоляющие взгляды в сторону портных.

Тут в лавку вбежали, запыхавшись, два мальчика. Тот, что был постарше, вежливо поздоровался с Раматулайей и обратился к торговцу:

— Отец послал меня за рисом.

Хадраме взвесил рис и высыпал его в кусок материи, которую мальчик расстелил на прилавке. Когда ребята ушли, Раматулайя снова запричитала:

— Дай мне кило риса, Хадраме, дай бога ради. Не слушай тубабов! Наши мужья бастуют, правильно, но мы-то, матери, при чем мы тут, и малыши при чем?

— Ничего сделать не могу.

Раматулайя, не помня себя от гнева, воскликнула:

— Для нас у тебя ничего нет, а для Мабиге есть, да?

Хадраме скривился, как от боли в животе.

— Вот и иди к нему, он твой брат и квартальный начальник.

— И ты и он, вы оба заодно с тубабами. Но запомни, Хадраме, забастовка кончится, ничего вечного не бывает! Знай, я вернусь сюда, вернусь, если из города нам ничего не принесут, и тогда держись, Хадраме, запри получше свой нгуну, не то я добуду у тебя рис!

Раматулайя заходила ко всем лавочникам, останавливалась около всех водоразборных колонок. Шла и мысленно перебирала в голове события сегодняшнего утра. «Сама не знаю, что со мной делается. Зачем я сказала Хадраме, что вернусь? А если бы и вернулась, что я могу сделать? Я же не стану поджигать его нгуну. Зачем только я грозила ему? Ах, с ума можно сойти, в каком положении мы очутились: ни воды, ни риса. Но не могу же я вернуться домой с пустыми руками, когда на руках такая семья! В прежнее время я сумела бы выкрутиться, продавала бы свечи или еще что-нибудь, но теперь... Как тяжела эта забастовка! Голова кругом идет...»

Разговаривая сама с собой, Раматулайя и не заметила, как очутилась у водоразборной колонки в своем квартале. Солнце было уже в зените, и она шла, наступая на собственную тень.

На крышке колонки сидела девочка, закрывшись от солнца перевернутой корзиной. Это была «сторожиха». Она должна была предупреждать всех о появлении воды. От самого крана шел «хвост» — ряд всевозможной посуды: старые котелки, большие выдолбленные камни, миски, кувшины — по одному предмету на семью. Очередь растянулась метров на тридцать в длину. Вокруг колонки было выложено нечто вроде глиняной площадки, на которой оставались еще отпечатки ног и от которой во все стороны шли небольшие канавки, к усадьбам и во дворы. Все канавки высохли и были полны всякими отбросами, старым тряпьем, дохлыми крысами, разлагавшимися на солнце.

— Все еще нет, Анта? — спросила Раматулайя.

— Нет,— девочка приподняла корзинку и открыла свое лицо, оно было пересечено полосами солнечных лучей, пробивавшихся через ее необычный головной убор.

— Ты не слышала даже журчанья?

— Нет, я все время сижу сверху и, даже если бы вздремнула, все равно услыхала бы.

— Уже за полдень,— заметила Раматулайя, выпрямившись,— не помню, чтобы в это время подавали воду. Вставай, пройдем этой стороной, может быть, увидим Мам Софи.

Девочка послушно пошла за ней вдоль заборов.

■

На костлявую спину лошади дождем сыпались удары. Понукая ее, возница щелкал кнутом и языком. С губ животного падала густая пена, ноздри широко раздувались. Повозка была не лучше коня: оси не смазаны, колеса разболтаны. При каждом толчке возница и пассажиры — три женщины — падали друг на друга, стукаясь плечами. Лошадь тянула изо всех сил, сбруя натягивалась и натирала наболевшие места на ее спине и брюхе, но копыта, как и колеса, беспрерывно увязали в песке. Жара была нестерпимой.

Стремясь выбраться из этого ада, возница снова хлестнул по животу лошадь, которая поднялась на дыбы. С тех пор как они попали в это пекло, все три женщины, сидевшие в повозке, не обменялись ни словом, они лишь одергивали прилипшую к коже, насквозь пропитанную потом одежду.

Мам Софи занимала место рядом с возницей, ее соперница * Бинета и Ндейя Тути сидели спиной к ним, на заднем сиденье. По черному блестящему лицу Мам Софи пот стекал широкими струями. Из открытого ворота ее бубу выглядывали кожаные тесемки, на которых висели амулеты и талисманы.

— Уваи, уваи,— повторила она несколько раз, вытирая рукой лоб. Накрахмаленная косынка, которую она тщательно завязывала на манер «наплевать на свекра и свекровь» и концы которой вызывающе торчали над головой, сползла на сторону.

Она повернулась к Ндейе Тути:

— Что ты думаешь о забастовке, ты же ходишь в училище?

— Но ты ведь знаешь, тетя, я в этом ничего не понимаю.

— Чему вас обучают в училище, раз так?

— Всему, всему, что имеет отношение к жизни.

— Значит, забастовка не относится к жизни? А когда закрывают лавки и воду, это, по-твоему, не жизнь?

Ндейя Тути не отвечала, она была измучена жарой. Мам Софи заговорила о другом.

— Когда вернется Бакайоко? Он по-прежнему хочет жениться на тебе? На мой взгляд, Красавчик — лучшая партия. Красавчик — тот задаст на свадьбе пир горой, а этот... не скажу, что нехорош, но тяжеловат на руку. Кроме того, он уже женат, кажется?

— Да, женат.

— Женатый человек для девушки — это все равно, что подогретое блюдо! — И, обращаясь к вознице:— Заставь твою коняку идти вперед, пока она не расплавилась в собственном поту!— И, опять повернувшись к девушке:— В следующий раз, прежде чем бастовать, мужья посоветуются с нами, вот увидишь! Раньше они кичились тем, что кормят нас,

---

* Вторая жена.

а теперь кормим их мы, женщины! Нашему (Мам Софи говорила «наш», потому что вместе с Бинетой разделяла ложе Дёна, того самого, который дежурил в помещении профсоюза), нашему я позавчера вечером сказала: «Если ты приступишь к работе, не дожидаясь других, я сделаю из тебя евнуха!» И знаешь, что он мне ответил?

— Нет.

— Он спросил: «А как ты это сделаешь?» А я ему говорю: «Очень просто, ты же спишь, как бревно. Подожду, пока заснешь, и хорошим сапожным ножом — чик! — и все тут!»

Ндейя Тути улыбнулась, но Бинета неодобрительно покачала головой:

— Постыдилась бы, Мам Софи!

Повозка тем временем не без труда обогнула яму с отбросами и свернула на боковую улицу. Навстречу шли Раматулайя и Анта.

— Вернулись ли вы с миром? — спросила Раматулайя.

— Только с миром.— Мам Софи с трудом выволакивала свое грузное тело из неустойчивой повозки.

— Вода есть?

— Нет, ни капли. Я велела девочке пойти домой. А как вы съездили, было ли благосклонно к вам провидение?

— Благодарение богу, мы привезли четыре кило риса, коробку молока для Стачки и ракаль *. Все это благодаря нашей «мадмизель» Ндейе Тути.

Ндейя Тути, в свою очередь, вылезла из повозки. Это была красивая девушка лет двадцати, не больше, с гладкой, черной до синевы кожей. От нее веяло силой и здоровьем. Особенно поражали глаза, обрамленные длинными ресницами, и полный красивый рот; нижняя губа, чуть отвислая, была почернена сурьмой. Прическа, над которой пришлось, вероятно, потрудиться целый рабочий день, состояла из двух кос, скрученных на макушке, она хорошо оттеняла выпуклый лоб и чудесные глаза. На девушке была просторная рубашка, стянутая в талии; под материей вырисовывались груди, высоко поднятые слишком тугим лифчиком.

Последней сошла на землю Бинета. Мам Софи заговорила, обращаясь ко всем женщинам сразу:

— Мы окрестим младенца и назовем его Стачкой. Пусть мужчины помирают со стыда!

— А где мы возьмем дров, чтобы развести огонь? Муку, масло, сахар? Мам Софи, не заставляй слепого прыгать через колодезь, не требуй невозможного. Нечего думать о пиршествах. У нас есть дела посерьезнее. Прежде всего надо подумать о том, как бы прожить! — благоразумно возразила Бинета.

Все четыре женщины направились к усадьбам. Следом за ними шла маленькая «сторожиха» Анта.

ДАКАР

ХУДЬЯ-МБАЙЯ

За забором стояло длинное желтое строение на кирпичном фундаменте. Это была усадьба Ндьяйен, в которой жила Раматулайя, отчий дом всего ее рода. К черепичной крыше примыкала крытая оцинкованным железом веранда. Главное здание состояло из трех комнат, по обе его стороны возвышались галереи. На участке находились еще две

* Арахисовый жмых.

крытые соломой хибарки с потрескавшимися саманными стенами, которые для прочности были стянуты старыми рыболовными сетями, и пять хижин из досок и просмоленной бумаги. У входа в усадьбу был устроен заслон из сложенной крест-накрест дранки, так называемый мбаг-гатье *, мешавший прохожим наблюдать за тем, что делается на переднем дворе. Позади дома находился небольшой дворик, специально для женщин, там стоял навес, под которым готовилась пища, защищенный от солнца тремя филаосами и большой древней папайей, уже давно не дававшей плодов; между деревьями были протянуты веревки для сушки белья.

В одной из комнат главного дома Худья-Мбайя, мать маленькой Анты, закрепляла на талии узел набедренной повязки; рядом на железной кровати барахтался Стачка. Кроме кровати, покрытой одеялом из всевозможных пестрых лоскутков, на которой спали дети, в комнате имелись два деревянных сундука, несколько больших тыквенных бутылей и шкаф. Над дверью висели на гвоздиках пояски, браслеты, рога с оставшимися на них пучками шерсти, вырезанные из бумаги фигурки — фетиши, преграждавшие доступ в комнату беде и дурному глазу.

Взяв Стачку на руки, Худья-Мбайя прошла в большую комнату, в которой жила Ндейя Тути. Здесь во всем чувствовалась девичья рука: на стенах увеличенные фотографии, кровать застлана красивым полосатым покрывалом, на столе стопки книг. Свет проникал из двух дверей, одна из которых выходила на передний двор усадьбы, а другая вела на дворик позади дома.

Худья-Мбайя прошла через столовую, мимо занавески, отделявшей комнату Раматулайи, и уселась на веранде. Частые беременности сделали ее грузной. Она одна принесла мужу девять тростинок господних. А теперь она вдова — ее мужа Бадиана убили в одной из первых стычек в начале забастовки. Остальные его жены уехали к родителям, а ей, несмотря на горячее желание вернуться в родную деревню, ехать нельзя было, так как она со дня на день ждала ребенка. Так появился на свет божий Бадиан-младший, которого Мам Софи прозвала Стачкой; имя это, созвучное событиям, так за ним и осталось.

Белоголовая кошка подошла к Худье-Мбайе и, выгнув спину, стала тереться у ее ног. Женщина ее отогнала. Кошка потянулась и лениво посмотрела круглыми желтыми глазами на высыпавшую во двор детвору. Ребятишки и сегодня были неумытые, сухая кожа на их личиках потрескалась, ресницы прилипли к векам. Худья-Мбайя тоже взглянула на детей, ища глазами своего предпоследнего сынишку Ндоля. Малыш топал на кривых ножках, его огромный вздутый и блестящий живот так выпирал, словно шествовал впереди ребенка; казалось, он вот-вот лопнет, как чрезмерно надутый пузырь.

— Ты опять ел землю! —с укором заметила Худья-Мбайя.

Ндоль поковырял пальцем в носу, потом засунул замусоленный палец в рот, предусмотрительно держась на почтительном расстоянии от матери.

— Не смей больше этого делать!

— Я хочу есть! — пронзительно крикнул ребенок.

— Подождите, вернется Раматулайя, вам всем будет что поесть... А почему вы не умылись?

— Нет воды, мама,— ответил старший мальчик Абду, пытаясь поймать кошку за хвост.

— Оставь ее в покое, Абду, она тебя поцарапает. Кроме того, Раматулайя не любит, когда дразнят ее кошку.

---

* Защита от бесчестия.

Абду послушно присоединился к братьям и сестрам, усевшимся в сторонке. Младенец на руках у Худьи-Мбайи притих, она задумалась. Голод, от которого пухли животы детей, худели их ручки и ножки, сгибались плечики, вызывал в ее памяти картины прошлого, картины прежней счастливой жизни.

Худье-Мбайе вспомнились суровые слова Раматулайи, сказанные утром: «Мы действительно очень несчастны, потому что беда не только в том, что ты голоден, беда еще в том, что есть на свете люди, которые не прочь, чтобы ты подох с голоду».

Заплакал Стачка. Худья-Мбайя обнажила плоскую и дряблую грудь. Ребенок жадно схватил ее сжатыми ручонками. Закрыв глаза, он стал яростно сосать, прикусывая грудь деснами, причиняя боль,— матери казалось, что ее тычут булавкой. Худья-Мбайя переменила грудь, но все повторилось снова. Она прекрасно знала, что молоко у нее перегорело: уж слишком много горя причинила забастовка. Она крикнула детям:

— Не ешьте больше землю!

Ребятишки молча уставились на нее ввалившимися глазами, которые особенно выделялись на похудевших личиках. Жара становилась невыносимой, кошка заснула. Стачка тихо плакал. Издалека донесся шум мотора грузовой машины, с трудом выбиравшейся из песка, затем где-то ближе послышалось блеяние Пятницы, барана Аль-Хаджи Мабиге, и наконец у самой ограды раздался крик разносчика воды:

— Кто хочет купить у меня воду?

— Абду,— сказала Худья-Мбайя,— позови сюда тукулёра *.

Абду бросился бежать и у порога чуть не сбил с ног Ндейю Тути и маленькую Анту.

— Сумасшедший! — заметила, входя, девушка.

Она взяла в руки крошечные кулачки Стачки, поднесла их к губам, легонько свистнула, чтобы заставить его улыбнуться.

— У меня для тебя есть кое-что,— сказала она и, протянув Худье-Мбайе банку сгущенного молока, попыталась успокоить раскричавшегося ребенка: — Хорошо, хорошо, не буду тебя трогать, злюка!

— Сегодня провидение было к вам более милостиво, не так ли? — спросила Худья-Мбайя.

— Да, мы привезли рис, жмых и эту банку сгущенного молока.

Детишки, увидев банку сгущенного молока, подошли поближе к матери.

— Это для вашего братика,— сказала она,— но и вас скоро накормим.

На пороге показался Абду, за ним шел разносчик воды. Рослый тукулёр казался еще выше благодаря жбану, который нес на голове. Его фуфайка была пропитана потом, широкие брюки продырявились на коленях.

— Почем продаешь кувшин воды? — спросила Худья-Мбайя.

— Пять монет по пять франков.

— Пять монет? Опять цена повысилась!

— Чтобы достать воду, женщина, теперь надо идти до Пикина. а Пикин далеко.

— За один месяц ты дважды повышал цену на кувшин воды. Это слишком дорого. Дай мне полкувшина за две монеты.

— Но я не могу продавать воду кружками.

Подошли остальные женщины. Усталая, запыхавшаяся Раматулайя

---

* Тукулёры — одно из негритянских племен в Западной Африке.

поставила корзину в углу веранды, уселась и принялась гладить кошку. Внимательно посмотрев на разносчика, Мам Софи сказала ему:

— Иди за мной.

Чтобы пройти по веранде, тукулёру пришлось согнуться чуть ли не вдвое. Направо, в столовой, в миске с песком стоял большой кувшин. Мам Софи подняла плетеную из рафии крышку:

— Лей сюда.

Человек легко поднял высокий жбан, вода блестящей струей полилась в кувшин. Обступившие разносчика дети не могли оторвать от нее глаз. Разинув рты, высунув языки, они толпились вокруг и ждали.

— Спокойнее, дети, спокойнее, сейчас напьетесь.

Разносчик наконец выпрямился.

— Подожди меня минутку... Нет, не здесь, во дворе,— сказала Мам Софи.— Я сейчас выйду. Подходите, дети.

Мам Софи дала всем по очереди напиться. Старая выщербленная кружка беспрерывно путешествовала от кувшина к жадно раскрытым ртам. Потом Мам Софи вышла на веранду и принесла воду изумленным женщинам. Когда все получили свою долю, она повернулась к тукулёру и серьезно, без тени лукавства спросила:

— Ты веришь в бога?

— Кто, я? — Тукулёр был явно обескуражен неожиданным вопросом.

— Да, ты.

— Уай, я верю в бога,— произнес ошеломленный тукулёр.

— Слава аллаху,— с большим облегчением вздохнула Мам Софи,— так вот, я должна тебе пять монет по пять франков.

— Уай, кони *,— машинально произнес разносчик и тут же растерянно пролепетал: — Послушай, женщина, я ведь не говорил, что дам тебе воду в долг!

— Правда, ты этого не говорил, но я должна тебе за воду. Я живу здесь, так что ты меня найдешь. Кроме того, если я не уплачу тебе при жизни, заплачу после смерти, перед тем как попаду в рай.

Торговец водой вконец расстроился:

— Если это шутка, то она мне не по душе. Не заставляй меня тратить время попусту, женщина, отдай мои деньги и кончим на этом разговор.

— Клянусь могилой моей матери и моих предков, что я тебе уплачу. Но не сегодня, у меня не осталось ни гроша. И клянусь поясом моего отца, лучшего из людей, что воду ты обратно не получишь. Ты утверждаешь, будто веришь в бога, как же ты можешь допустить, чтобы эти дети умерли от жажды? — она протянула руку в сторону детворы, державшейся на почтительном расстоянии.

Разносчик воды бормотал про себя ругательства, словно жующий жвачку козел. Его лицо сводила нервная судорога, а Мам Софи, чувствуя, что берет верх, подошла поближе; подбоченясь, с засучившейся набедренной повязкой, из-под которой виднелись ее колени, похожие на две буханки плохо выпеченного ржаного хлеба, она продолжала:

— Говорю тебе, ты получишь свое, но, повторяю, не сегодня!

— Не оскорбляй меня, женщина, лучше уплати! Позволь мне забрать хотя бы остаток воды. У этой женщины,— он кивнул в сторону Худьи-Мбайи,— есть две монеты по пять франков. Пусть она отдаст их мне и возместит то, что вы выпили.

— Дать тебе две монеты по пять франков? А вечером явишься опять требовать деньги?

---

* Междометие.

Мам Софи подошла еще ближе и всплеснула руками перед самым носом разносчика. Тот испуганно попятился назад.

— Прошу господа бога,— со злостью проговорил он,— пусть это будет последняя вода в вашей жизни! Пусть она отравит весь ваш род на сто поколений вперед, пусть поразит ваших потомков проказа, пусть они ослепнут и охромеют!

— Ах ты ублюдок, сукин сын, подкидыш! Будь я тубабом, ты бы у меня каждый день ходил в упряжке! — не осталась в долгу Мам Софи.

На разносчика набросились все, женщины и дети. Бинета схватила его за фуфайку, которая тут же треснула сверху донизу. Мам Софи, не в силах дольше сдерживаться, влепила ему звонкую пощечину и завопила:

— Сюда, скорее все сюда, нас избивают!

На крик тотчас же сбежались соседи и соседки. Тукулёр поспешил убраться восвояси, оставив на месте боя фуфайку и кувшин.

В ликующем семействе Ндьяйен снова воцарился мир. Воды было достаточно для всех, и кружка снова стала путешествовать от жбана к алчущим ртам.

■

Приготовив по указанию Раматулайи молоко для Стачки, Ндейя Тути засучила рукава кофты, верх которой она оставила незастегнутым, и надела на голову зеленую с темно-коричневыми горошками косынку, завязав ее под подбородком. Затем завернулась поверх кофты в набедренную повязку и, задумчиво осмотрев свои сандалии, решила, что они слишком велики для ее ног, длинных и стройных. Ндейя была красива и знала, что нравится всем парням в округе. До забастовки она посещала женское педагогическое училище, это давало ей явное преимущество над остальной молодежью, но зато ей пришлось выполнять роль общественного писца в своем квартале. Составляя любовные письма и жалобы для жителей квартала, заполняя их налоговые листки, она чувствовала, как постепенно отдаляется от них. Она как бы жила в стороне от этих людей; книги, которые она читала, фильмы, которые она смотрела, постоянно уносили ее в иной мир, где уже не было места для своих,— так же, как и в их мире уже не было места для нее. Ее повседневная жизнь протекала как во сне, в мечтах о прекрасном принце, о котором она начиталась в книгах. Ндейя не представляла себе ясно, каким будет этот прекрасный принц, она не думала о том, какого цвета кожи он будет, но твердо знала, что в один прекрасный день он появится и принесет с собой любовь. Окружавшие ее мужчины были многоженцами. И Ндейя довольно быстро поняла, что такие брачные союзы исключают любовь — по крайней мере, такую любовь, какой она ее себе представляла. В книгах, которые она читала, любви сопутствовали празднества, балы, пикники в воскресные дни, прогулки в машине, пышные подарки ко дню рождения, салоны мод, каникулы, проводимые в морских прогулках на яхте. Именно там, мерещилось ей, была настоящая жизнь, а не в убогом квартале, где на каждом шагу можно было встретить прокаженного, калеку или урода. Когда Ндейя выходила из кино, насмотревшись на покрытые снегом домики в горах, на пляжи, где загорают знаменитости, и после этого возвращалась в свой квартал, ее охватывала тошнота; стыд и ярость раздирали ей сердце. Однажды, спутав программу, она вошла в кино, где показывали фильм о негритосах. Она почувствовала себя низведенной до уровня уродливых карликов, ей безумно захотелось выбежать из зала с криком: «Нет, нет, это не настоящие африканцы!»

В другой раз, когда она смотрела картину о развалинах Парфенона, двое мужчин, сидевших позади нее, стали громко переговариваться. Разъяренная Ндейя вскочила и крикнула им по-французски: «Замолчите, невежды! Если вы ничего не понимаете, убирайтесь!» Фактически Ндейя Тути знала Европу лучше, чем Африку. Она не прочитала ни одной книги, написанной африканцем, она была заранее уверена, что это чтение ей ничего не даст.

Подходя к калитке, девушка вдруг услышала, что ее зовут. Ндейя Тути обернулась и увидела спешившую к ней Арам. Они были однолетки, но материнство огрубило Арам, резче стали черты лица, а небрежность в одежде совсем лишала ее привлекательности. На спине у молодой женщины, охватив мать худыми ручонками, сидел верхом ребенок.

— Я пришла в Ндьяйен повидать тебя. Худья-Мбайя сказала, что ты собиралась в город. Возьми его, Анта,— обратилась она тут же к шедшей за ней девочке и, стараясь не отстать от подружки, принялась рассказывать: — Ты должна написать ответ на письмо, которое я получила. Еще месяц назад муж послал мне деньги и...

— Где он?

— На Мадам Каспар*. Он получил чин старшего сержанта, и я должна поехать к нему с детьми.

— Почему же ты не едешь? — не без зависти спросила Ндейя Тути.

— Уай, уай, ты, кажется, думаешь, что это так просто! Я пошла в канцелярию гарнизона получить документы, а они мне заявляют, что по закону тубабов я не считаюсь его женой. Брак господним путем** у них в счет не идет. Их послушаешь, так я просто сожительствую с моим мужем. Посмотрела бы ты на меня! Мне было так стыдно перед тубабами, я вся потом обливалась! Придется идти в мэрию и в канцелярию штаба. Мне дали бумагу заполнить. Поэтому я и шла к тебе. Хочу, чтобы ты написала ему обо всем этом и еще, что детям нечего надеть, что они нездоровы. Что я сама больна. И не забудь написать, что у нас забастовка, ужасная забастовка, что мы едим раз в три дня и что...

— Постой, Арам, не все сразу, я ведь еще не пишу письмо. Я сейчас буду у тебя.

— Нет, не надо, лучше я пойду к тебе. Какой-то военный дал мне бумаги, а марку наклеивать мне, к счастью, не надо.

Ндейе Тути начала надоедать болтовня Арам. Но та продолжала:

— Красавчика видела? Он приходил к тебе. С удовольствием побываю на вашей свадьбе. О, это, наверно, будет шикарная свадьба.— Она широко раскрыла свои круглые глаза.— Ты знаешь, он такой нарядный.

— С чего ты взяла, что мы поженимся?

— Все знают, что он за тобой ухаживает. И, кроме того, он хорош собой, всегда опрятен и богат к тому же.

— Ты порешь чепуху, моя милая.

— Что ты сказала?

— Дара***,— ответила Ндейя Тути на языке уолоф.— Нужно еще, чтобы я была согласна выйти за него.

— Я бы на твоем месте стала его женой. Ты грамотная, умеешь читать и писать, будешь работать, он тоже. Как жалко, что я не ходила в школу. Когда, по-твоему, кончится забастовка? Они не собираются приступать к работе? А ты знаешь человека, этого... ну, этого бамбара? Его имя вертится у меня на языке. Говорят, что если бы он захотел, то мог бы положить конец забастовке. Это верно?

---

* Искаженное название Мадагаскара.

** Брак, совершенный по религиозному обряду.

*** Ничего.

— Не думаю. Его зовут Бакайоко.

— Говорят, он тоже у тебя бывает. Я, во всяком случае, не хотела бы выйти замуж за человека другого племени.— Арам пожала плечами.— Погляди-ка, кто идет! Да это же Красавчик! Ого, он великолепен, правда?

— Хочешь, чтобы я ему об этом сказала?

Дауда, по прозвищу Красавчик, был в совершенно новенькой рубашке в большую бело-черно-красную клетку. Шлем он держал под мышкой.

— Привет, Красавчик,— Арам многозначительно улыбнулась, как бы говоря: «А вот и твоя Дульцинея», затем произнесла, обращаясь к подруге: — Я займу тебе место у колонки.

Она поспешно ушла. Молодые люди остались вдвоем. Они машинально замедлили шаг. В небе по направлению к океану бежали лохматые тучи, было тепло, вдоль канавки тихо играли дети.

Ндейя Тути и Дауда прошли мимо водоразборной колонки; вокруг собрались женщины, молодые и старые. Кто сидел на опрокинутых вверх дном ведрах, кто примостился на каменной кладке колонки, кто стоял. Молодые люди пошли быстрее, продолжая обмениваться ничего не значащими фразами. Они дошли до изгороди, окружавшей ипподром, и остановились у небольшого каменного мостика с перилами. Ндейя Тути уселась. Красавчик встал рядом.

— Ты что, вернулся домой? — спросила девушка.

— Да. С сегодняшнего утра я больше не дежурю в профсоюзе.— Красавчик говорил неуверенно, потом замолчал, разглядывая выщербленную облицовку перил.

Ндейя Тути уселась поплотнее, одернула повязку.

— Что нового в профсоюзе? — спросила она, чтобы прервать молчание.

— Ничего. Вся история с забастовкой — сплошная чепуха! Вот уже два месяца как она длится, а мы все еще на мертвой точке. Эх, если бы я знал... Я говорил об этом Алиуну... Знаешь, я читал в газете объявление, требуется грамотный африканец на должность кладовщика.

— Ты хочешь бежать сейчас? Что скажет Алиун?

— Они пока держатся, но на одной станции, не знаю точно, на какой, снова посадили в тюрьму рабочих. Кроме того, народ подыхает с голоду!

— Что слышно у Дуду в Тиесе и у Бакайоко?

— Бакайоко, Бакайоко! — резко произнес Дауда.— Этот тип начинает действовать мне на нервы!

— Как он может действовать тебе на нервы, если ты с ним даже не знаком? Здорово!

Услышав насмешливый тон девушки, Красавчик потерял самообладание.

— Ты мне так и не сказала, в каких вы отношениях.

Ндейя Тути подняла ноги на парапет, обхватив колени руками, косынка сбилась и небрежно упала вокруг шеи; она смотрела вдаль, на горизонт, туда, где края небесного свода, спускаясь к земле, словно опирались на крыши домов. Над ее головой облака слились в длинное пепельное озеро, чуть подальше маленькие островки облаков, серые с алой каймой, плыли к озеру, подгоняемые ветром. По дороге прошли две коровы, следом за ними шел человек, размахивая палкой. Промчался автобус. Ндейя Тути очнулась от своих мыслей.

— Что ты сказал?

— Я спросил, в каких ты отношениях с Бакайоко?

Девушка улыбнулась, глаза ее на мгновение засветились. Дауда испытывал уколы ревности.

— Знаешь, это трудно объяснить. Ты, например, хотел бы на мне жениться, ты сам мне об этом говорил. А он мне ничего не говорил. Не могу рассказать точно, но хорошо знаю две вещи: я им восхищаюсь и побаиваюсь его. То ли это любовь, то ли болезнь какая-то, сама не знаю.

— Но ведь он уже женат, а ты сама мне не раз говорила, что многоженство внушает тебе отвращение.

Человек и коровы, которых он подгонял, скрылись из виду. Вместо них на дороге показался велосипедист в широком белом бубу, нажимавший на педали голыми пятками. Облака в небе уже слились в сплошное свинцовое море, как бы грозившее поглотить город.

— Я не уверена в своих чувствах к нему,— продолжала Ндейя Тути,— но твердо уверена в том, что никогда не соглашусь делить своего мужа с другой женщиной.

Дауда вертел в руках шлем. Он уселся рядом на перила моста, туфли девушки упирались носками в его ногу.

— Я не просила тебя жениться на мне,— говорила Ндейя Тути.— Но стоит вам, мужчинам, познакомиться с девушкой, как вы сразу начинаете говорить о браке. Если бы ты переспал со мной, тебе, может быть, расхотелось бы жениться!

— Ты слишком много читала, в этом вся беда.

Ндейя Тути громко рассмеялась, обнажив свои крепкие белые зубы.

— По-твоему, я много читала! А Бакайоко утверждает, что я читаю мало, и притом плохие книги!

— Я люблю тебя. Вот устроюсь на новую работу, и через два месяца мы поженимся. Тебя исключили из училища, так что...

— Не торопись, не спеши! Ты мне нравишься, потому что ты красивый парень. Но надо немного подождать.

— Чего ждать? Пока он вернется?

— Глупо... но мне необходимо снова повидаться с ним.

— Чтобы выяснить, намерен ли он на тебе жениться?

— Он тоже против многоженства.

— Значит, он бросит свою жену?

— Насколько я его знаю, этого не случится.

— Но если он не хочет оставить свою жену, если он не хочет быть многоженцем и ты тоже этого не хочешь, как же будет в таком случае? Вы действительно совсем запутались!

Красавчик искренне страдал, к чувству ревности примешивалась боязнь оказаться отвергнутым.

А Ндейя Тути испытывала двоякое чувство: ее влекло к Бакайоко и в то же время она, несмотря ни на что, не хотела причинять огорчение Дауда.

— Я познакомилась с Бакайоко раньше, чем с тобой,— снова заговорила она.— Это было в Сан-Луи, во время пасхальных каникул. Я поехала туда с школьными подругами на свадьбу. Кто его пригласил, понятия не имею, но он был там. Это своеобразный человек, его нельзя не заметить! Вечерами, когда все собирались, чтобы поболтать о самых разных вещах, он заводил речь о положении трудящихся. Он затрагивал множество вопросов: говорил о безработице, о просвещении, о войне в Индокитае, рассказывал о Франции, об Испании, о таких далеких странах, как Америка или Россия. Мы все спрашивали себя, откуда он родом. Именно об этом я спросила при первом же разговоре с ним: «Откуда вы явились?» А он ответил: «Я явился сюда с вокзала». Через два дня после свадьбы мы решили пойти купаться всей компанией, пар-

ни и девушки. Захватили с собой много жареного мяса. Спустя некоторое время мне захотелось побыть одной, я отделилась от компании и ушла. По дороге вижу, он лежит в песке и забавляется с муравьями. Я машинально обрывала лепестки ромашки. Он посмотрел немножко дерзко — мне так показалось, по крайней мере,— и вдруг сказал:

— Эй, сестричка, вам не известно, что в наших местах не принято обрывать лепестки у ромашек?

— Что же приходится делать девушкам в таком случае? — спрашиваю я.

— Заявить: буду с тобой спать или не буду. Это поэтичнее, не так ли?

Он разговаривал со мной, лежа на животе, и даже не повернулся в мою сторону.

Перед отъездом он мне говорит:

— У нас столько своих чудесных обычаев, что совсем незачем заимствовать чужие. Главным образом потому, что там, откуда приходят к нам эти обычаи, мы можем научиться многому другому, гораздо более полезному для нашей страны.

Я тогда не поняла, что именно он хотел сказать, но когда после этого видела в училище ромашку, будь то настоящий цветок или картинка в книге, мои мысли каждый раз возвращались к нему. Потом наступили летние каникулы, он появился у нас в доме в компании Тьемоко, грубияна, которого я не выношу. Ему нужен был Алиун. Но он меня узнал и сказал: «Смотри-ка, вот и моя девушка с ромашкой». А Тьемоко добавил: «А ведь верно говорили, что у нее глаза, как две луны на небе». Теперь мы часто видимся, когда он бывает в Дакаре... Не знаю почему, но я в его присутствии не могу рта открыть.

— Может быть, тут действует какой-нибудь амулет?

— Да нет же, Красавчик, ты просто глуп! Я несколько раз гуляла с ним вдвоем, но не скоро привыкла к его манере молчать, да и к его языку, острому, как бритва. Зато я многое узнала из его жизни, он объяснил мне, при каких обстоятельствах женился.

— Он, следовательно, жениться на тебе не может, как я и говорил... Чего ты смеешься? Тут нет ничего смешного.

— Смех не только признак веселья. Ты не обратил внимания на то, что за все время нашего разговора мы ни слова не произнесли на уолоф?

— И что же?

Ндейя расхохоталась.

— У него есть дочка, Аджибиджи, она все время говорит «и что же» по-французски, а ее бабушка, мать Бакайоко, этим возмущается. Он, кстати, тоже не любит, когда все время говорят по-французски. Ох, знаешь, нелегкий он человек...

— Скажи, Ндейя...— Дауда был в нерешительности.— Скажи...

— Что сказать?

— Ты жила с ним?

— Хочешь знать, девственница ли я? Это имеет для тебя какое-нибудь значение?

Дауда пожалел, что задал такой вопрос. Он смущенно помолчал с минуту, затем встал и, избегая взгляда девушки, сказал:

— Пора идти, надо предупредить Алиуна, что я не буду больше дежурить.

Юноша быстро зашагал прочь. «Что же представляет собой этот Бакайоко,— печально думал он,— можно подумать, что тень его витает в каждом доме, над каждой вещью, в словах людей узнаешь его слова, в их мыслях — его мысли, даже его имя повторяется всюду, словно эхо. Что он за человек?»

РАМАТУЛАЙЯ

Возле колонки собрались усталые от ожидания женщины. Раньше, до забастовки, набирая воду, они пользовались случаем поболтать, посплетничать и даже побраниться. Но былое оживление сменилось тягостным молчанием, усталостью, победившей нетерпение, смутной боязнью, смешанной с ненавистью к машине, которую белые могут остановить, когда им вздумается. Все здесь зависело от белых. В колонке что-то вдруг забулькало, потом даже громко зажурчало. Сразу началась толкотня, маленькая Анта поспешно повернула рукоятку насоса. Тщетно.

— Табубы добиваются нашей медленной смерти,— произнесла женщина, покусывая зубочистку.— Опять ложная тревога. До самого Пикина нигде ни капли воды.

А вокруг все засуетились. Кто держал в вытянутой руке сосуд для воды, кто поправлял на себе повязку или подтягивал кверху соскользнувшего со спины ребенка; у всех разинуты рты, отвисли губы, глаза неотрывно следят за каплей воды, которая, словно жемчужина в птичьем клюве, повисла на кране. Внутри колонки слышалось какое-то движение — то ли воды, то ли воздуха, что-то на мгновение зашумело, потом все стихло.

Женщины снова застыли на месте. С лиц сбежала надежда. Неожиданно появилась Худья-Мбайя, она запыхалась, была вся в поту, дряблые груди вздымались и опускались в такт с тяжелым дыханием.

— Что с тобой? Какая муха тебя укусила? — спросила Раматулайя.

— Кайе, кайе, пойдем, посмотри сама,— произнесла заикаясь Худья-Мбайя.

— Что смотреть?

— Пойдем, говорю тебе.

Раматулайя, не спеша, направилась домой. По пути она успела отчитать Ндейю Тути и Улимату, одну из жен Аль-Хаджи Мабиге: женщины затеяли ссору из-за места в очереди.

— Перестань спорить, Ндейя, а ты, Улимата, стой там, где стояла. Если бы твой муж не наговаривал тубабам про нас, они не закрыли бы кранов. Так что ты помалкивай!

Раматулайя, не торопясь, дошла до дому, но при виде представшего перед ней зрелища чуть не задохнулась от охватившей ее ярости: по всему заднему дворику были разбросаны куски разбитых бутылей, валялись растоптанные зерна риса, загрязненные остатки жмыха. В кухне на погасшем очаге лежал опрокинутый котел. Широкие ноздри Раматулайи раздувались от гнева, она хрипло спросила:

— Кто это натворил?

— Пятница,— ответила Худья-Мбайя.

— Пятница! Пятница! Где он?

— Он был тут, когда я побежала за тобой.

Где-то рядом послышалось блеяние барана. Он, очевидно, находился на переднем дворе. Раматулайя, обычно никогда не ускорявшая шага, как фурия, бросилась туда. Она увидела на веранде барана, который в этот момент спокойно вышел из комнаты Бинеты, жуя кусок полосатой материи. Раматулайя потуже затянула набедренную повязку и поправила косынку на голове.

— Стойте спокойно, не трогайтесь с места,— сказала она собравшимся женщинам и детям.— Абду, принеси большой нож! Да поскорее! Не знаю, чье мясо вам достанется, баранье или мое, но сегодня вечером никто не ляжет голодным!

■

В профсоюзе работы было немного. Дён вскрывал полученные письма, не забывая при этом перебрасываться шутками с Арона. Тот от нечего делать уже в двадцатый раз перелистывал свежие газеты. Алиун готовил отчет, что-то насвистывая; на другом конце стола косоглазый Идрисса пересчитывал деньги, принесенные дежурными сборщиками.

— Набирается сумма,— весело произнес он.— Людям надоело жертвовать, они устали, а все-таки продолжают давать. Даже какой-то тубаб и тот... Я не решался у него просить... Он дал мне сто франков.

— У нас на сегодня одиннадцать тысяч франков. Есть на что купить несколько мешков риса.

— Три мешка риса,— уточнил Дён.— Придется брать три, не меньше,— добавил он смеясь,— Арона ведь заявил, что он один готов съесть десять кило!

Косоглазый Идрисса поглядел на живот Арона:

— Жаль, у меня нет ни гроша, я бы держал с тобой пари, и ты бы проиграл!

В комнату вошел Красавчик Дауда, он подошел к вешалке, повесил шлем и затем поздоровался.

— Я боялся, как бы тебя не взяли во время облавы. В Мботе схватили нескольких товарищей,— обратился к нему Алиун.

— Нет, я был дома.

— Ты хоть поел?

— Да, и повидал Худью-Мбайю и Ндейю Тути. Там все в порядке.

— Все в порядке, все в порядке, а вода? Нам надо придумать что-нибудь, найти какой-либо выход. Я написал Дуду, Лахбибу и Бакайоко, объяснил им положение вещей.

Красавчик, услышав имя Бакайоко, сразу помрачнел, но сдержался. Затем заговорил:

— Я хотел сказать тебе кое-что, Алиун. Я много думал все эти дни. Ты здорово помог мне, когда я закончил профессиональную школу, мне ведь нелегко было освоиться в среде рабочих. Они-то хорошо понимают ход и причины забастовки, я же...

— Опять вы о забастовке?

Красавчика оборвал на полуслове Абдулайе, уполномоченный сенегальского отдела ВКТ, только что вошедший в помещение. Он сказал:

— Дежан и его люди, вероятно, примут вас для переговоров. Ты в курсе дела?

В коридоре зазвонил телефон. Абдулайе вышел и почти тотчас же просунул голову в дверь.

— У телефона Ндейя Тути... Она говорит о Раматулайе, но я не совсем понял, в чем дело. Подойдешь?

Алиун вышел в коридор. Арона не мог дольше сдержать свою радость:

— Слышал, Дён? Дежан примет профсоюзных представителей!

— Слава богу! — воскликнул Идрисса.— Мы получим пенсию, деньги за простой, повышение зарплаты, пособия многосемейным и четыре тысячи подсобных рабочих.

Он перечислял все эти блага, беспорядочно размахивая руками.

— Мне хотелось бы попасть в число товарищей, которые будут вести переговоры,— сказал Дён.— Тебя, Красавчик, возможно, возьмут, да ты наверняка отправишься в Тиес. Встретишься там с нашим бамбара, с Бакайоко. Да, тяжело нам пришлось, но теперь победа за нами.

Он дружески хлопнул Красавчика по спине. Тот подошел к окну и молча смотрел на улицу. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Оставь меня в покое! Даже если вы добьетесь того, чего требовали, мне с вами больше не по пути!

В комнату стремительно вбежал Алиун:

— Идрисса и ты, Дауда, немедленно отправляйтесь в усадьбу Ндьяйен! Раматулайя зарезала Пятницу, барана Мабиге!

— Как она могла это сделать? — испуганно спросил Дён.

— Подробности мне не известны. Дауда, прихвати с собой человек пять. Пройди на рынок Сандага, может быть, найдешь там шофера такси Дёма, скажи ему, что это я вас послал. Он отвезет вас. Живее!

Красавчик нехотя снял с вешалки шлем, следом за ним вышел косоглазый Идрисса.

■

День подходил к концу, темнота постепенно окутывала город. На заднем дворике усадьбы Ндьяйен вокруг большого праздничного котла суетились женщины, бросая в него куски баранины. Прыгающие язычки пламени освещали изнуренные лица детишек. В костер то и дело нетерпеливо подбрасывали поленья, и всякий раз при этом к небу взлетал сноп искр. Голод перестал мучить людей, они знали, что через несколько минут мясо будет готово.

Но в это время на главный двор ворвались полицейские. Неожиданное появление вооруженных людей привело женщин в смятение. В хлопотах они позабыли об угрозе вмешательства полиции. Некоторые из них, растерянные и испуганные, бросились на улицу, но и там натолкнулись на полицейские мундиры. Мам Софи засучила свою повязку и схватила две приготовленные бутылки с песком, ее примеру последовали соперница Бинета, Худья-Мбайя и другие.

К женщинам подошел сотрудник полиции, туземец, служивший переводчиком. Он заговорил повелительным тоном:

— Мы хотим поговорить с Раматулайей и забрать барана.

— Барана... барана? — женщины делали вид, что не понимают, в чем дело.

Те, что стояли поближе к котлу, быстро погасили огонь, вынули куски мяса и, завернув их в листья, перебросили за изгородь в соседский двор братьев Сов. Дети шумно помогали старшим.

— Маку *! Нам нужна Раматулайя! — снова заговорил переводчик.

— Она тут не жить, мисье белый,— сказала одна из женщин, обращаясь к европейцу, командиру отряда.

— Врет,— заметил переводчик.

На крыльце неожиданно появилась Раматулайя. Явно не оправившись еще от сражения с бараном, она медленно сошла со ступенек.

— Это она, начальник,— указал сотрудник, и шесть полицейских сразу двинулись навстречу Раматулайе, все взоры обратились в ее сторону.

— Отдашь нам барана и пойдешь с нами в участок,— распорядился переводчик.

Раматулайя, не отвечая, обратилась к соседкам:

— Где Ндейя Тути?

— Пошла позвонить в профсоюз,— ответила Худья-Мбайя.

Услышав это и поняв, в чем дело, переводчик подошел к начальнику и сказал ему несколько слов по-французски. Тот подозвал полицейского, отдал ему какой-то приказ, полицейский убежал.

— Нам нужен баран,— настаивал на своем переводчик.

---

* Молчать!

— Передай своему начальнику, что баран останется здесь. Вам была нужна я — пожалуйста, но баран сожрал наш рис...

— Он говорит, что ты должна захватить с собой барана!

— А ты скажи ему, что барана мы сегодня съедим на ужин.

Переводчик докладывал по начальству только часть того, что говорила Раматулайя, да и то передавал ее слова по-своему. Он попытался уговорить ее.

— Захвати барана и пойдем. Тебя не задержат, подпишешь только бумагу. Я знаю начальника, он справедливый человек. Он не такой, как другие тубабы...

— Ни до какого тубаба мне дела нет! Все они на один лад. Единственный хороший из них умер при рождении. Баран останется здесь!

— Что она говорит? — спросил, подойдя, белый офицер.

— Она плохой человек. Не хочет пойти с нами. Вызвать подкрепление?

— Объясни ей, мы заберем только барана, сама может прийти завтра. Скажи ей, что я человек не злой...

— Злой, не злой! Какое мне дело...— прервала Раматулайя.— Пятницу никто не стерег... Он съел рис, я перерезала ему горло. Дети очень голодны, Пятница сожрал их рис. Я пойду с тобой, а Пятницы нет, его съедят.

Повернувшись к столпившимся позади нее женщинам, она сказала:

— Замолчите. Чего ты разревелась, Худья-Мбайя, разве в доме лежит покойник?

Снова воцарилось молчание. Только с улицы доносился глухой гул. Все удивленно думали о том, откуда появилась у Раматулайи такая твердость. Полицейский офицер, видя ее большие, пылающие гневом глаза, почувствовал раздражение и тоже начал сердиться. Женщины готовы были впасть в панику. Они не узнавали своей подруги, они привыкли видеть ее простой, общительной, ласковой с детьми. Она никогда не ввязывалась в ссоры у водоразборной колонки, никогда не злословила, как другие. Откуда взялась у нее эта небывалая сила, где набралась она столь неожиданно проявленной твердости? Не на войне — Раматулайя, как женщина, солдатом не была, не испытала длинных переходов с вещевым мешком за плечами, когда у человека в душе накапливается злоба. И не на фабрике — Раматулайя никогда не страдала от нечеловеческих темпов работы, как страдали мужчины. И не в объятиях мужа — Раматулайя не принадлежала к числу женщин, которые щедро расточают нежности. Где же в таком случае? Ответ был так же прост, как проста была сама Раматулайя: храбрость и волю внушили ей всеобщий голод и страдания.

Раматулайя сделала шаг в сторону офицера.

— Мисье, уходи отсюда! Здесь дом для нас, это не дом для белых! Пятница сожрал рис для детей, я перерезала Пятнице горло, дети получат еду, и дело с концом!..

Вокруг замелькали в воздухе бутылки с песком, тапаркаты *, песты, подобранные где попало куски дерева. Толпа быстро окружила полицейских.

Переводчик хотел было что-то сказать, но Раматулайя тут же прервала его:

— С тобой мне больше говорить не о чем! Поблагодари тубаба за то, что еще стоишь на ногах!

---

* Плоские палки, которыми женщины катают белье.

Тем временем подошли подкрепления. На улице столпились солдаты и жандармы, и тут же, неизвестно по чьей вине, началась драка между женщинами и полицией.

— Из-за барана! — крикнула женщина с зубочисткой.— Ох, и дорого продадим мы его шкуру!

Мам Софи прижала к хижине низкорослого полицейского, оглушила его ударом бутылки с песком, потом, как фурия, набросилась на переводчика и швырнула ему в лицо вторую бутылку. Бинета орудовала пестом, размахивая им над головами. А Худья-Мбайя, как маленький хищный зверек, вцепилась в полицейского, который со злобой колотил ее по голове.

Кошка и та выпустила когти и злобно замяукала.

■

Железная дорога Дакар—Нигер протяженностью около полутора тысяч километров пролегает в западной части африканского континента и обслуживает огромную территорию — более чем в два миллиона квадратных километров. Населению этого района уже начали надоедать вечные разговоры о забастовке. Рабочие были полны решимости не приступать к работе, но ведь надо было убить время, обмануть мучительное чувство голода, чем-то заполнить неизменно наступавшие воскресные дни, шесть дней недели и занять досуг, которым сначала было наслаждались, а теперь уже насытились до предела. Вырядившись в остатки своих лучших одеяний, в то, что не взяли под залог ростовщики, мужчины с самого утра появлялись повсюду, заполняли рынки, большие площади и маленькие площадки, веселыми группами ходили за добычей из лавки в лавку. Сам господь принял участие в этой игре: он тщательно подмел свои цветники, убрал с неба все облака до единого, повсюду — над крышами, над деревьями и горами — расстилалась необъятная, бездонная синева, в которой не вились даже небольшие дымки, обычно загрязнявшие воздух.

Люди воскресили давным-давно забытые пышные обряды. Женщины подкрашивали руки и ноги хной, подчернив ее жженой резиной, мазали губы сурьмой, сооружали себе хитроумнейшие прически. Особенно отличались молодые девушки. Они слонялись по улицам, грациозно выступая под ритм бара́, звуки которых раздавались на каждом перекрестке. Мужчины, вооруженные палками, имитировали сабельные бои, вошедшие в обычай еще во времена царствования Аль-Мами Самори Туре.

Развлечения длились, однако, недолго. Всех угнетало отсутствие поездов. Вначале люди с гордостью заявляли, что они убили «дым саванны». А теперь они мысленно то и дело возвращались к тем временам, когда дня не проходило, чтобы этот дым не бежал над полями, над крышами домов, над деревьями, когда каждую ночь дребезжали рельсы, стучали буфера, свистели локомотивы, мигали красные, зеленые или белые огни маневрирующих составов. Все это раньше заполняло их жизнь. Они беспрестанно думали об этом, но ревниво, как великую тайну, оберегали свои мысли, словно боясь ее выдать. И все же они смутно сознавали, что Машина была их общим благом и таким же общим оказалось разочарование, которое все они испытывали в эти суровые дни.

Как влюбленные, они постоянно бродили в окрестностях вокзалов. И долго стояли там неподвижно, устремив взор на горизонт, едва перебрасываясь малозначительными фразами. Иногда кучка в пять-шесть человек отделялась от большой группы и бесцельно шла вдоль железно-

дорожного пути. Некоторое время они шли по шпалам, затем внезапно, словно охваченные паникой, поворачивали обратно. И снова, присев на корточки или стоя, торчали у подножия какой-нибудь насыпи, неотрывно глядя на две линии рельсов, которые бесконечно вытянулись в длину, чтобы слиться вдали с чащей. В эти часы в людях что-то зрело; думалось, прошлое и будущее соединялись вместе, чтобы породить человека нового типа; в такие минуты им казалось, что ветер нашептывает слова, которые они не раз слышали от Бакайоко: «Прошлое, которое жило в нас, умерло, и в новой жизни наше единственное спасение — Машина, одинаково безразличен язык и цвет кожи человека». Они безмолвствовали. Только в глазах появлялся нездоровый, исступленный блеск, в котором одновременно сказывались и их растущий страх перед голодом и горестная надежда на возвращение Машины.

Иногда разыгрывалась буря. Вдалеке виднелись бешено раскачивающиеся верхушки высоких деревьев. На вокзалах, где под лучами жаркого солнца образовались трещины в кровлях, сложенных из цементных плит, повсюду текли ручейки, распахивались от ветра двери веранд, товарных и пассажирских вагонов, они хлопали и скрипели на несмазанных петлях. Наступление сил природы на Машину вызывало в человеческих сердцах чувство унижения.

Лишь один раз в неделю сквозь чащу мчался «дым саванны», его вели европейцы. В этот день бастующие настороженно прислушивались, как зайцы, обеспокоенные необычными звуками. На какое-то мгновение шум мчащегося поезда смягчал происходившую в их душе драму, смягчал потому, что глубокой и сильной была их связь с Машиной, она была важнее преграды, разделявшей их и нанимателей, сильнее непреодолимых дотоле различий в цвете их кожи. А потом, когда дым вдали исчезал, снова наступала тишина или шумел ветер.

(Окончание следует)

Ф. ХАДОНУ *(Республика Того)*. **Рабочий поселок около Ломе**

Патриотам Конго

КР. БЕДЖО
(ИНДОНЕЗИЯ)

Из глубины взволнованного сердца

Вам с берегов Трех тысяч островов
Я шлю привет, о патриоты Конго!
Вас,
братья черные,
порвавшие оковы,
Я призываю бдительными быть!
Вперед шагайте смело
И знайте: вы — на правильном пути!
И кто б он ни был, скользкий лицемер,
Что в ваши крепкие ряды вотрется,
Не слушайте его — отбросьте прочь!
Я верю в силу ваших мышц упругих,
Я верю:
ваши черные ладони
Возьмут, как чашу, лучезарный день.
Смотрите:
руки я простер с приветом,
Пусть к вам, друзья, несется этот зов
Из жаркой глубины
взволнованного сердца,
С вершины маяка,
горящего, как солнце,
На берегу Трех тысяч островов.

Перевод с английского
СЕРГЕЯ СЕВЕРЦЕВА

УОЛТЕР ЛОУЭНФЕЛС
(США)

Говорит Патрис Лумумба

Я мертв, я мертв, я мертв!
Они вырвали мое сердце в Стэнливиле.
Легкие мои отняли в Леопольдвиле.
Глаза мои вынули в рудниках Катанги.
Мой мозг на кусочки взорвали в Касаи.
У меня забрали мои реки, горы и джунгли,
От меня ничего не осталось, кроме праха,
Но из него поднимаетесь вы, мои братья,
Во всех концах света.

Перевод с английского
МИХ. ЗЕНКЕВИЧА

ЭЛОЛОНГЭ ЭПАНЬЯ ЙОНДО

Камерун! Камерун!

Перевод с французского
АЛЕКСАНДРА РЕВИЧА

Из одна звезда. Дальше — целое созвездие, словно ожерелье для новобрачной. Не луна ли это восходит? Разорвана завеса сумерек: наперекор темноте слабо замерцал одинокий огонек в окне чьей-то хижины. И сразу же десятки огней озарили ночь; так внезапно вспыхивает радость в человеческих сердцах. Что это? Праздник? Ни звука...

И вдруг донесся издалека слабый, как первый младенческий лепет, рокот тамтама: дада-дуду-дудудон-дан.

И тому первому тамтаму вторит торопливый зов другого.

За ним следуют все остальные, их дробь сливается в гулкое эхо, раскатистое, как любовное рычанье леопарда, который впервые в жизни зовет подругу...

От упругой, туго натянутой кожи тамтамов исходят вихри, из нутра вырывается ритм плоти, звуки, захлестывающие просторы.

Не вчера ли это было?.. Эта ночь, окутанная белым покровом лунного сиянья.

Появляется светлая поляна, она залита сиянием луны. Стала в круг молодежь, прекрасная, как отблеск пламени. Все хлопают в ладоши. В круг вступает танцор.

Тамтам зовет на праздник всех. Приходите! И возносится голос, тугой, как затянутая петля, глубокий, как наша нужда и жажда, чистый, как гимн свободе:

Сгибают меня,
Заковывают в кандалы,
Обнаженного, палачи волочат
На глазах у ближних моих.
И молчат одобрительно те, кому
Мой позор по нутру.
Гонят в лагерь меня,
На каторгу
В Муколо-Чад.
Умру — не пойду!
Кровь моя воспламенится
В сотнях сердец.
Я за край мой умру,

Не напрасно умру,
Встречу без страха конец.
После смерти моей, да, после смерти моей
В честь победы другие
Нкамбу спляшут.

Муколо-Чад! Как странно сегодня звучит это слово. Как призыв оно слышится в щелканье бича, который, словно по коже тамтама, бьет по спине безоружного, стонущего под игом пьяных от крови, безжалостных победителей.

Муколо-Чад — это бесконечный путь, из которого никто не возвращается. Ступившие на этот путь становились пленниками и при жизни умирали для родных и близких. Часто говорилось: «Негра надо отстегать кнутом, а потом отправить в Муколо-Чад. Там он подохнет от голода, жажды и зноя. А если и добредет до места назначения, сколько б ему ни было лет, все равно больше года не выдержит». Лучшие сыны Камеруна не вынесли там голода, непосильного труда и побоев.

Они имели несчастье родиться под властью Германии и были вынуждены говорить по-немецки. В один прекрасный день немецких империалистов вышвырнули из колоний, и Камерун, подобно черной рабыне, перешел из рук одного хозяина в руки другого.

Массы камерунцев, в том числе самые революционные, вынуждены были отступить под натиском жесточайших репрессий. Но даже тех, кто предпочитал молчать, все равно отправляли в Муколо-Чад, заподозрив в крамоле. Что ж оставалось делать? Стать на колени? Нет! В ту трагическую пору Камерун восстал. Пляска и песни на озаренных лунным светом полянах еще в давние времена пророчили Камеруну национальное освобождение.

Камерун переживал нелегкие дни, но никогда не терял надежды на счастливый исход борьбы.

Продолжается праздник на берегу реки Вури неподалеку от Мон-Куше, его затеяла ночь и освещает луна.

Мы слышим ритмичный зов всхрапывающих балафонов. Хриплый зов рассекает простор, словно голос глашатая, который возвещает надежду на будущее.

Слышится глухой рокот. В круг вступает негритянка — гибкая черная пантера. «Сонда!» — говорят друг другу восхищенные зрители. Мерные хлопки ладоней сопровождают ее движение.

Снова тишина, прерываемая учащенным дыханием. И снова — песня, неистовая и драматическая, похожая на плач, исторгаемый человеческим нутром:

Безумна ли я —
Негритянка, объятая тьмой,
Пожаром и кровью?
Разве кляпом задушен мой голос земной?
Подобная маске посмертной? О, Бафья!
Разве боязнь темноты и насилья повсюду со мной?
Разве кляпом задушен мой голос земной?
Нет! Мы живем. Я живу. Я не прах.
Наяву пылаю на всех кострах
В смертных муках, под горячей золой,
Под родимой землей.
Я — пляски безумный круг,
Озаренный, синий, в багровых тенях.

Я безумна! Отчего же? Да, отчего? Почему насилуют, грабят, убивают, да, почему лишь один закон существует на свете — закон, написанный кровью?

Обезумело тело мое от ритмов, стало раскаленным углем, от которого берут начало все огни, все костры в саваннах.

Разве можно не петь, не плясать, не любить? Может быть, замкнуться, оплакивая мужа, которого отправили в лагерь, в Нгонг-Нгонг *?

Нгонг-Нгонг!
Ха-хойя!
Нгонг-Нгонг!
Ха-хойя-хойя-хойя!
Свищет хлыст.
По коже — кровь рекою.
За сто франков штрафа —
Пятнадцать дней тюрьмы.
О, Нгонг-ха-хойя!
Позвольте заплатить, господин...
Генерал — ох! — комендант...
Простите, капитан... Господин... лейтенант...
Господин десятник.
«Пятнадцать дней тюрьмы».
Отмените, прошу,
Пятнадцать дней тюрьмы.
Мне не по плечу, я лучше заплачу́...
Утром проснешься. Сон позади.
Во сне был кнут и крик: «Погоди!»
Во сне был генерал, был десятник и
Пятнадцать дней тюрьмы.
Кнутом я избит. За дерзкий язык
Заплачу с лихвою...
Воздеты сжатые кулаки
В бессильной ярости...
О, Нгонг-Нгонг!
Ха-хойя!
Нгонг-Нгонг!
Ха-хойя-хойя-хойя!

Запел петух. И вправду занимается день. Слышится громкий возглас, этот протяжный клич — клятва верности делу национального освобождения, верности народу, который ступил на большой путь. Лучшим нашим спутником будет решимость пожертвовать жизнью ради родной земли. Мы должны выполнить нашу клятву. Пусть наша борьба станет всеобщей.

Ограничиться мелочами — это значит браться за ложные задачи. Прежде всего мы должны бороться за нашу независимость; что из этого выйдет — посмотрим.

Я хочу быть горящей тропой, которая ведет к цели.

Мы призываем бороться во имя будущего людей всех рас, всех цветов кожи — всех, кто страдает и сопротивляется.

Просторным, солнечным будь, перекресток дружбы,
Где манговых плодов обилен урожай.
Что может задержать пирогу нашу,
Скользящую по жидкому огню?

* Каторжный лагерь, в котором в годы колониального режима отбывали своего рода повинность все камерунцы.

Восходит солнце. Никакие стены
Не заслонят его.
Будь счастлив, Камерун! Мой край благословенный!

Мой край

Мой край! Родная деревня!
Имя твое всех дороже имен,
Отзвук его гудит на востоке —
Колоколов бесконечный звон,
На востоке, там — на востоке.

Мой край! Дорогая деревня!
Край мой — рай наших предков,
Счастливый издревле,
Ты склоняешь сегодня
Свой некогда гордый лоб.
Ты восстанешь из праха, мой край —
Камерун, нашей гордостью станешь.

Камерун! Камерун! Камерун!
Ты стройный пальмовый ствол.
Никогда, никогда, никогда
Не задушат тебя
Дым пожаров и тени чудовищ.
Пусть нависла гремящая тишь
Разбоев,
Ты — добыча нелегкая, ты себя отстоишь,
Ты увидишь восход,
Камерун, о любимый мой край!

Возрождение

Когда умирают деревья,
Когда засыхает трава,
И зерна у почвы в чреве
Едва проросли — зачахли,
Я знаю: родится жизнь
Из праха
Рухнувших баобабов,
И завтра на наших костях взойдет
Ликующая плоть свободы.

Подымайся

Кто ты? Кто ты?
Поведай мне.
Не ты ли —
Тот всадник верхом на огне?
Сколько раз возникала
На хребте вулкана
Тень легендарного великана,
Твоя победная тень.

Не ты ли — великий воитель,
Забывший про мощь свою,
Внук Прúзо-Прúзо*,
Могуч, как Саморú?
Твой род сходился с врагом в бою
Лицом к лицу,
С глазу на глаз —
Сколько лет, сколько раз! —
Чтоб вырвать Африку, землю твою,
Из огненных смерчей,
Из рук палачей.
Воин с пламенным взором Кóла,
Ты шипы попираешь пяткою голой,
Ты ударами дабы
Вражьи корни корчуешь,
Чтоб надежде, как дар,
Вручить обновленную землю.

Тебе

Как буйвол,
Стонущий в жажде пить,
Жаждет тебя
Сердце мое.
Имя твое
Рассыпал я
В каждой строке
Этих скорбных стихов.
Любовь моя, слышишь мой зов?

Женщина

Женщина!
Ты пальма, священная пальма,
Тебя я избрал
Среди всех деревьев
Родной деревни.
Эйя-боло.

Женщина!
Ты владычица плясок
На празднике полной Луны,
И когда ты танцуешь боло,
Движенья бедер твоих полны
Исступленной магии.
Болобо-эйя-боло.

Женщина!
Эти вот глупые бабы
Пальцем показывают на тебя.
Ногтя они твоего не стоят,
Сравниться с тобой ни одна не смогла бы.

* Здесь и далее — имена национальных героев и героев легенд.

Пускай они косо глядят тебе вслед
И болтают:
Ну чем же мы хуже ее?
В чем же причина, что каждый мужчина
Стадо в тыщу голов
Готов продать,
Только чтоб ей обладать?
Эйя-боло.

Женщина!
Взор твой — пламя в саванне.
Как я его люблю!
Заколдовал он душу мою,
Он согревает в часы ожиданья.
Придешь ли ты в этот поздний час
К древнему дереву баобабу?
Негритянка, губы твои
Сочны, как спелый орех.
Ты — священная пальма,
Тебя я избрал среди всех
Деревьев,
О женщина в ритме
Болобо-эйя-боло.

Предку

О предок мой!
Опять идет война,
Опять дрожит страна.
Отступать нам за эти холмы.
Нет, мне смерть не страшна,
Не уйду за холмы,
Жизнь не стану беречь,
Долг наш — в сече полечь,
Вместе в сече полечь,
Но не уйти за холмы.

В конце пути

Я знаю, что тропа,
В конце которой —
Лучами озаренный перекресток,
Извилиста, долга и нелегка.
Я знаю, что на всем моем пути
Расставлены ловушки, западни,
Подстерегающие каждый шаг мой.
Я знаю, что разгневанное солнце,
Дождь, холод, голод, жажда
И сомненье,
Которое внезапно сдавит сердце,
И вера, рухнувшая в двух шагах
От пробужденья,
Могут превратиться
В пылающие грозные следы,
Которые мы на земле зажжем.

МАЛЕК ХАДДАД

(АЛЖИР)

Последний отпечаток

РОМАН

■

Перевод с французского
Н. НАУМОВА

1

— Он должен быть взорван,— сказал тот, которого называли Али. Потом добавил, почти закрыв глаза:— Так нужно, так нужно.

Только ветер подслушивал у дверей. Вездесущий ветер, болтливый и лиричный, с патетическими интонациями провинциального трагика.

Тот, которого называли Али, медлительными движениями, как учитель, окончивший урок, закрыл вечное перо, аккуратно спрятал его во внутренний карман кожаной куртки и, бережно взяв со стола пистолет, прицепил его к поясу. Пистолет не вязался с обликом этого человека. Али прерывисто дышал, как это бывает с людьми, которые не привыкли долго говорить, но могли бы еще многое сказать. Саид по-прежнему сидел на грубо отесанной деревянной скамье, широкоплечий и сутулый, и тень его головы плясала на замызганных газетах, которые свисали жалкими лохмотьями со стен, сколоченных из старых ящиков из-под мыла. Никогда еще Саид так напряженно не размышлял. Он слышал свою мысль, словно думал вслух. Часто дети забавы ради повторяют самые обычные слова до тех пор, пока они не теряют свой смысл, не начинают казаться странными, незнакомыми. Дом, дом, дом, дом, дом. С десятого раза уже нет дома. Мост должен быть взорван. Должен быть взорван. Так нужно, так нужно.

Да, конечно так нужно.

С первого раза уже не будет моста.

Саид и Али вышли из дома. Ветер умолк. Они молча сели в ожидавшую их машину. Шофер не задал им никакого вопроса и не стал ждать никаких указаний. В нескольких километрах к северу был виден город, и угадывалось его дыхание. Города дышат только ночью. Ветер разогнал тучи, и луна, удивительно похожая на свои неправдоподобные изображения на почтовых открытках, освещала дорогу лучше, чем фары автомобиля. В полях оливы размахивали руками, как веселые мальчишки, бегущие под гору.

— Это противоестественно...

— Что? — спросил Али.

Наступило долгое молчание. Такое молчание, когда слышны мысли других. Такое молчание, которое страшно нарушить, как страшно бросить камень в так называемую стоячую воду. Каждый знает, что вода не может стоять или лежать. Каждый знает, что молчание не может быть немым. В известные моменты жизни люди говорят, чтоб выразить мысль; и даже когда они умолкают, они продолжают говорить. Болтать — привилегия бездельников и счастливых. Али повернулся к своему товарищу. Товарищу, который не знал его имени. И все же товарищу, потому что они были заодно, потому что в дни кошмара и надежды их объединяло и связывало общее дело. В профиль лицо Саида казалось совсем юным. Его глаза были устремлены в одну точку, словно он видел перед собой то, о чем размышлял, и подобно тому, как проводят четкую линию на чертеже, от которого требуется лишь геометрическая строгость, он бросил:

— Война противоестественна.

А оливы все сбегали стремглав к городу. Освещенная фарами, похожими на выпученные глаза амфибий, блестела красная земля.

— Все это создано для мира.

Али не ответил. Он протер запотевшее стекло. Этот человек, должно быть, носил очки. Все те же аккуратные, сдержанные движения. Сколько лет ему могло быть? Иногда даже при драматических обстоятельствах, сталкиваясь с незнакомыми людьми, задаешься самыми банальными вопросами. Какой он любит бифштекс — хорошо прожаренный или кровавый? Часто ли он ходит в кино?.. Порывистым движением, в котором сказалось скорее глубокое чувство, чем лихорадочное волнение, Саид до боли сжал руку своего спутника и сказал:

— Мосты строят не с помощью принципов, а с помощью болтов и смазки. Слова — вода. Мост держится благодаря стали и литрам, многим литрам пота и крови...

Тот, которого называли Али, молчал.

Когда они подъезжали к дальним предместьям города, их остановили световые сигналы на середине дороги. Фары осветили рогатки, расставленные так, что по обе стороны шоссе оставался свободный проезд лишь для одной машины. В стекла автомобиля уперлись стволы автоматов. Потянуло запахом войны.

Трое мужчин достали свои документы. Все было в порядке. Машина тронулась. Потому что документы были в порядке. Потому что на переднем ветровом стекле был красный крест. Потому что машина была должным образом зарегистрирована и записана на имя врача, возвращавшегося из объезда больных вместе со своим молодым коллегой и санитаром, который сидел за рулем.

Они приехали в город около восьми часов вечера. Комендантский час наступал в десять. На улицах было мало прохожих — одни европейцы и военные: только им не приходилось опасаться непредвиденной облавы.

На город давило нечто большее, чем тишина. Собственно, тишины и не было. Джипы и танки не отличаются безмолвием. Прилепившиеся к вершинам холмов, среди которых раскинулся город, или съежившиеся в лощинах, арабские кварталы были погружены в задумчивость. Проспекты французских кварталов сверкали неоном. В барах все так же играли в четыреста двадцать одно. Сошедшие с этикеток кока-колы пышногрудые девицы с овечьими глазами, в которых застыло распутство, по-прежнему щедро улыбались. Все для беззаботных людей.

По-прежнему не дожидаясь указаний, шофер остановил машину у здания современной архитектуры, в котором часть первого этажа занимал полицейский участок. Али, молчавший всю дорогу, наконец сказал:

— Как бы то ни было, он должен быть взорван.

Потом, когда машина ушла, добавил спокойным и грустным голосом:

— Вы построите другие...

Когда Саид проходил по вестибюлю, общему для жилой части здания и участка, араб-полицейский поздоровался с ним. Он хорошо знал инженера.

— Как поживаете? — спросил Саид.

— Как видите.

Полицейский был в каске и с автоматом, а к поясу у него были прицеплены револьвер и две гранаты. Он когда-то учился у отца Саида, который преподавал в школе.

— Вы неважно выглядите,— сочувственно сказал Саид, вызывая лифт.

■

Город мигал огнями, как мигают, когда больно глазам. С высоты своего балкона Саид мог охватить взглядом Константину и ее окрестности. На юге длинной черно-желтой змеей ползли военные автоколонны. Одна за другой они исчезали за горизонтом, поглощенные волнистой дымкой подобно тому, как исчезают, ныряя под землю, поезда метро, проносящиеся по виадуку. Когда-то по этой самой дороге на базар тянулись зеленщики со своими тележками. Когда-то... Понадобилось меньше года, чтобы пролегла граница между настоящим и этим когда-то, когда не было колючей проволоки на улицах, комендантского часа и танков. Как быстро все изменилось. Люди уже не ходят по вечерам в кино. С наступлением темноты слышатся далекие выстрелы — хозяином положения становится округа. Встают вопросы и решаются проблемы, которых раньше не существовало.

Так, лес, который виднеется там, на самых дальних холмах у окраины города, этот лес участвует в войне. Влюбленные больше не ходят туда целоваться. Так, река, которая угадывается на востоке по зеленой полоске, вихляющей между лачуг предместья, эта река участвует в войне. Ребятишки больше не ходят туда ловить головастиков ржавыми консервными банками. Люди участвуют в войне, тропинки участвуют в войне. У этой войны расплывчатые очертания и тысячи центров тяжести.

Сильный взрыв где-то возле Большого бульвара потряс царившую в городе относительную тишину, оттеняемую приглушенным рокотом автоколонны, двигавшейся на юг. Одна за другой завыли сирены. О, сирены! Мрачные песнопения городов, объявленных на осадном положении. Когда-то они указывали полдень. Теперь нет такого часа, который не был бы памятным.

Это чувствуется даже ночью в напряженном ожидании, которое не дает спать людям. Это читается в их взглядах. Они уверены, что все это еще цветики. Для праздника, который готовится, еще только расчищают место. Еще не развешаны фонарики. Еще не припасен порох для бенгальских огней и фейерверка. О, города, объявленные на осадном положении! Сирены, вы можете сколько угодно петь вашу зловещую песнь. Звезды на небе остаются звездами. Ждешь, что события изменят лик мироздания. Но падает бомба, а земля вертится. Поезд сходит с рельсов, а земля вертится. На Большом бульваре взрывается граната, а земля вертится. В этой невозмутимости космоса есть нечто успокоительное и в то же время чудовищное. Успокоительное потому, что она дает ощущение вечного и незыблемого. Чудовищное потому, что эта невозмутимость похожа на странное равнодушие.

Саид подумал, что происходящее напоминает сцену, где актеры только что играли одни роли и вдруг начали играть совсем другие при том же освещении и тех же декорациях.

Вдруг, без всякого перехода.

К войне, даже справедливой, трудно привыкнуть. Привыкнуть так, чтобы декорации сами собой приспособились к новым ролям актеров.

А по городу все кружили, как в карусели, полицейские машины. И автоколонны все двигались на юг.

Саид посмотрел на часы — десять. Люсия не придет — комендантский час. И потом этот взрыв где-то возле Большого бульвара. Из-за войны поцелуев будет меньше. Из-за войны время будет тянуться дольше. И звезды не сомкнут глаз в бессонную ночь войны.

■

Когда рассвело, шел дождь, и от этого город выглядел по-осеннему. Холмы на востоке были неразличимы — их окутывал густой туман. Вяло взмахивая крыльями, как бы нехотя, улетали последние аисты. Саид любил осень.

Он был из тех немногих странных людей, в одно и то же время художников и рационалистов, которых захватывает бесконечный простор легенды и приводит в восторженный трепет окаменелая поэзия, воплощенная в тракторе. И при виде осеннего пейзажа, осеннего пейзажа его родины, Саид вновь становился мальчуганом, который ждал, когда зазвонит звонок в старом лицее. Осень мягка, как женский шарф. Осенью рождаются самые прекрасные мечты и кружатся в вальсе воспоминания. В весне слишком много мужского, ей не хватает душевной теплоты; это заносчивый нувориш, который считает своим долгом носить цветок в петлице пиджака. Осень скромнее. У нее под глазами круги из увядающих сожалений. Литература неврастеников приписала осени нездоровые чувства. В своем пристрастии к эпопее и в своей любви к гнетущим рыданиям Запад все окрасил в черный цвет. Осень — это поминовение усопших, 11 ноября, немецкая оккупация в 1942 году... Создана целая символика, торжественная и мрачная, чтобы в эти мягкие и человечные месяцы унылая, но нежная природа носила черный креп в знак европейского траура. Благочестивый вандализм принес хризантемы в жертву мученикам, и при виде цветов неизменно вспоминаются надгробные плиты.

Около девяти пришла Люсия. Она положила газеты на маленький письменный стол, стоявший посредине единственной комнаты-студии, и сняла свой дождевик, весь сверкающий маленькими солнцами. Даже не поздоровавшись, Саид, хоть и был в восторге от ее появления, спросил:

— У тебя нет занятий утром?

— Только сегодня. Ты рад?

Спросите-ка у человека, рад ли он, когда к нему в гости пришли маленькие солнца...

Однако глаза у Саида были серьезные, а голос какой-то бесцветный. Люсия встревожилась:

— У тебя ничего не случилось?

Саид солгал:

— А что могло случиться?

Люсия четвертый год преподавала философию в одной из высших школ города. Она была родом из Прованса и сохранила акцент, придающий речи тот особый колорит, который находится как раз на грани между поэтичным и грубоватым. Этот акцент звучит как полнокровная музыка. С начала войны Люсия чувствовала, как может чувствовать

только женщина, что Саид изменился. Он реже ходил с ней в кафе или в кино, вернее, почти никогда не ходил, предпочитая видеться с ней у себя. Он стал человеком, о котором трудно сказать, то ли у него неприятности, то ли он просто скучает. Он жил на нервах. Так лихорадочная нота дрожит, танцуя на слишком туго натянутых струнах влюбленной гитары.

Над кушеткой, под стеклом, в простом коричневом паспарту висел снимок моста, на котором, опершись на парапет, стоял Саид. Это был мост Саида. Тот самый мост, который... Люсия проследила за взглядом Саида, или ей показалось, что он смотрит на снимок. Она спросила по-детски:

— Он все еще держится?

Саид скрипнул зубами при этом вопросе и почти грубо ответил:

— А почему бы нет?

Однако Люсия вовсе не намекала — и понятно почему — на судьбу, уготованную этому мосту, который был первой большой радостью Саида. И он неловко, как бы извиняясь за проступок, которого не совершил, взял ее за руки, и по тому, какими холодными они ему показались, понял, что у него жар.

— Конечно держится. Он сработан на совесть, можешь мне поверить...— И, как бы говоря с самим собой, он добавил с наивным воодушевлением подростка, гордого своим первым подвигом:— Он сократил дорогу больше чем на шестьдесят километров. Ты знаешь, что значат для нас шестьдесят километров? Пустомели из академии прожужжали мне все уши: почва слишком плывучая, скалы выветрились. Я имел дело с торговцами гудроном и гравием, которые были, понятно, заинтересованы в том, чтобы дорога была как можно длиннее. И эти лавочники, наживающиеся на поте арабов, не нашли ничего лучшего, как прибегнуть к жалкому аргументу: почва не позволяет...

Саид подошел к столу и взял газету, но пробежал только заголовки, чтобы составить себе общее представление. Люсия продолжала смотреть на мост, который на фоне окружающего пейзажа выглядел крохотным и ненадежным, как рукопожатие двух исполинов с враждебными лицами — берегов. И хотя расстояние между берегами было невелико, казалось, они смотрели с вызовом друг на друга, почти отвесно опускаясь к реке, клокотавшей в ущелье. Опершись на парапет своей мечты и на перила моста, Саид смотрел вдаль и гнался мыслью за своим взглядом. В то мгновение, когда его застиг фотоаппарат, он, быть может, видел другие мосты, другие дороги, другие побежденные овраги, другие укрощенные пропасти, другие берега, антагонизм которых переходил благодаря мосту в вынужденное, но плодотворное сотрудничество противоположных сторон.

Саид опять подошел к окну и, не отрывая взгляда от панорамы, которая развертывалась перед ним, попросил Люсию сварить кофе.

За окном все еще шел дождь. Дождь не плакал. Он хохотал, щедрый, говорливый, беспорядочный. Тучи, нависшие над землей, застряли на месте, как захватчик, попавший в ловушку, и навсегда отделили город от неба. По радио объявили: «Передаем последние известия...» Дождь ничего не объявлял, он только шумел о том, как ему весело. Капля на оконном стекле, отливающем всеми цветами радуги, говорила: я плачу без печали. В сотнях мест радио без убежденности утверждало: «Несмотря на ненастную погоду, силам порядка удалось построить систему заграждений, отвечающую намеченным целям...» А дождевая капля, нервная, как жилка или как вьющийся волосок, отвечала: до чего глупы так называемые цивилизованные люди! Они решили, что справились со мной, изобретя зонтик... «Вчера в Константине бомба местного изготовления...» Я дождь, я наг, как поцелуй... «Были убиты пятнадцать терро-

ристов...» Я дождь, которому вторят дети: дождик, дождик, пуще... Я дождь, из-за которого вязнут шины в грязи. «Мы хозяева положения...» Раньше меня ждал пахарь, сжимавший рукоятки плуга... «Наши геликоптеры не смогли взлететь...» А я дождь, летящий отовсюду, и, когда я струюсь по лбу настоящего человека, я мщу за пот и кровь... «Генеральный резидент был встречен на вокзале...»

Когда Люсия вернулась из кухни с двумя чашками кофе, Саид крикнул:

— Боже мой, да выключи же радио!

— Ты что-то не в своей тарелке, а? — грустно и ласково спросила Люсия.

На лбу у Саида выступили крупные капли пота.

Дождь лил как из ведра.

■

Доктор Лежандр был славный малый. Об этом говорили его глаза. Бараньи глаза, внимательные и неподвижные. Робер Лежандр размышлял с помощью глаз. Поэтому всегда было ясно, что он думает. Он одевался с тщательностью, напоминавшей стереотипную и слегка старомодную элегантность персонала «Эр-Франс». Он был крупный мужчина и ел с аппетитом. Когда он говорил: «Я, пожалуй, возьму себе еще чуть-чуть», это вызывало улыбку — так точно совпадал объем этого «чуть-чуть» с вместимостью его тарелки.

Он обожал Люсию, как обожают женщин в трехгрошовых романах. В трехгрошовых романах иногда встречается бесценная любовь. Если бы Люсия любила его, роман стоил бы шесть грошей. Но это был лишь трехгрошовый роман. Впрочем, романы, даже трехгрошовые, нуждаются в эпических героях. А в бедном докторе Лежандре не было ничего эпического. И вдобавок он пил воду Перье. Из-за колик, по его словам. В этот вечер вода Перье внушала ему тоску по родине. И в то время как гарсон, очень предупредительный, подавал им обед, он конкретизировал эту тоску в словах, способных тронуть не столько сердце, сколько желудок:

— Это не сравнится с писту *.

Люсии очень нравился этот рослый малый, который любил писту. А когда человек очень нравится...

В баре ресторана военные, уже пьяные, в тысячный раз ставили одну и ту же пластинку. Ресторан улыбался беспечной улыбкой богатого кутилы. Герои не устали. Так в океане качается на волнах утлая лодка. Разве когда-нибудь лодка задумывалась над тем, что у нее общего с океаном? Что делали здесь эти военные? А что делает в океане утлая лодка? Океан как будто терпит ее, но потом показывает штормом, что не намерен сносить ее присутствие...

За десертом доктор Лежандр с не вызывающей сомнений искренностью спросил без всяких предисловий:

— Люсия, хотите быть моей женой?

Этот человек был не склонен ломать комедию. Если он предлагал брак, значит, объяснялся в любви. Доктор Лежандр не был глупцом. Но он был так искренен в своей неразделенной страсти, что походил на идиота. Идиотизм часто бывает исключительно даром настоящей любви.

— Пожалуйста, отпустите мою руку,— ласково, но твердо сказала Люсия, испытывая не столько досаду, сколько неловкость. Она не умела лукавить.

---

* Провансальский овощной суп.

...Глаза доктора Лежандра. Круглые, умоляющие. Глаза, которые не просили ничего, но требовали все. Бесхитростные и добрые глаза. Двойной нуль на полях неудавшейся поэмы. Но нужны два нуля, чтобы обозначить бесконечность.

— Люсия, вы знаете, недавно умер мой отец. Он оставил мне свой кабинет. А здесь невозможно дышать. Я обещал матери вернуться в Экс. Мы живем на бульваре Мирабо, на третьем этаже. Платаны будут касаться окон моего кабинета. Вам не нравится Экс-ан-Прованс?

Влюбленные часто проводят таким образом избирательные кампании. Но если те или иные аргументы могут побудить избирателя голосовать за *x* или за *y*, то на великом референдуме страстей отвечают только «да» или «нет». У любви нет программы. Баллотировка тайная.

— Вы же знаете, что я люблю Саида.

Рот, произнесший эти слова, был такой же круглый, как глаза врача. Есть такие слова, которые не больше пули.

Робер знал Саида и даже уважал его.

— А он?

Люсия замешкалась, чувствуя, что у нее заколотилось сердце. Никогда нельзя ручаться за любовь другого. У нее запылали щеки. Наконец она сказала:

— Не уйти ли нам, Робер? Здесь очень душно.

Когда они подходили к автобусной остановке за зданием суда, она предложила:

— Поедем к нему, он плохо себя чувствует. Ему нужен врач.

Доктор Лежандр был славный малый. Он слишком любил Люсию. Он согласился. Куранты мэрии, взгромоздившиеся на высокие мраморные колонны, похожие на лапки фантастического кузнечика, показывали девять.

Саид читал или пытался читать, когда пришли Люсия и Лежандр. Этот визит был ему неприятен, но Саид был человек вежливый. Вежливого человека узнаешь по тому, как он с улыбкой восклицает: «Какой приятный сюрприз!» «Комеди франсез» учит любезности. На самом деле Саид испытывал потребность побыть одному. В одиночестве думают. Вдвоем рассуждают. Втроем философствуют. А Саиду не хотелось болтать. Он был для этого недостаточно здоров. Гости разделись и согласились выпить кофе. Саид много пил его ночью — по его словам, это помогало ему уснуть. Пока Люсия была в кухне, Робер наскоро выслушал инженера. Он ничего у него не нашел. Саид не был болен. Он просто устал. Когда медицина поймет, что нервы лечить нельзя, она без всякого сомнения сделает шаг вперед. Иногда единственно возможная терапия — счастье. Но в стране счастья не существует социального обеспечения.

— Какая ты красивая! — сказал Саид Люсии, когда она вошла в комнату.

Робер подтвердил:

— Это верно, она красивая.

Саид с первых дней отдавал себе отчет в чувствах врача, но не испытывал к нему никакой ревности. К доктору Лежандру было невозможно ревновать. В худшем случае, он раздражал. Он был отмечен печатью вырождения. И, быть может, сам догадывался об этом.

Он завидовал Саиду, и не потому, что его любила Люсия. Он безотчетно завидовал молодости, будущему, жизненному потенциалу этого человека, хотя был старше его всего лишь на несколько веков. Он чувствовал в Саиде завоевателя. Люди, которые идут в ногу с историей, всегда производят такое впечатление. А он, Робер, был погребен под руинами, которые история оставила на своем пути. Он был спокоен и

стар, как спокойные и старые улочки его очаровательного городка, тихие и узкие улочки Прованса, крадущиеся вдоль стен домов. Ему горбила спину и туманила взор обветшалая мораль, вырабатывавшаяся на протяжении двух тысяч лет.

Загорелся спор.

— Они ни в коем случае не должны были убивать этого учителя...

Саид нервным движением провел рукой по волосам, которые у него вечно были взъерошены. Ему не хотелось пускаться в объяснения. Всегда скучно объяснять то, что вам кажется очевидным. Все же он сказал:

— Войну не ведут в белых перчатках. Роберу Монро * следовало оставаться в своем Лимузене. И потом, нам далеко не все известно, пропаганда завладела его трупом...

— Но, надеюсь, вы их все же не одобряете? — спросил Робер.

— Прежде всего, кого «их»? — с досадливым жестом спросил Саид.— Я уже сказал вам, доктор, что войну не ведут в белых перчатках. История бессердечна.

И он повторил, как бы стараясь укрепиться в этой мысли:

— История бессердечна.

Сидя на подлокотнике кресла и прижавшись к плечу Саида, Люсия слушала разговор, не принимая в нем участия. Ее красивые ясные глаза подернулись грустью. Она проронила:

— Ров очень глубок, Саид.

— Очень глубок! Боюсь, что теперь, когда пролилась кровь, его уже нельзя заровнять. Облавы, насилия, пытки, расстрелы без суда, произвольные аресты...

Робер перебил его:

— Честное слово, вы рассуждаете, как националист.

Откинув всякую любезность, громко, отчеканивая слова, Саид, у которого от нервного возбуждения и негодования подергивалась нижняя губа, произнес:

— Я не знаю, националист ли я. Но что я знаю, и хорошо знаю, так это то, что я алжирец. Боюсь даже, что я стал еще кем-то...

Прохладная рука Люсии — чайка над гневной волной — касалась его волос, а Робер был только славный малый, и Саид не решился признаться, что боится, не стал ли он ненавидеть французов.

Он мог бы найти для этого сто тысяч причин, но против этого восставал его разум. И сердце. И память. Расизм начинается тогда, когда ненависть к некоторым переходит в презрение ко всем.

Саид до этого еще не дошел.

Он успокоился.

Потом он вдруг встал. И Люсия, все еще сидевшая, как амазонка, на подлокотнике кресла, едва не упала, потеряв равновесие. Он подошел к кушетке и, направив свет ночника на паспарту со снимком, сказал:

— Ров очень глубок. Это даже не ров, а пропасть. Ее невозможно заровнять.

— Что же делать? — спросил врач.

— Строить мосты,— с какой-то яростью ответил Саид.

— То есть?

— Пока не поздно, вступить в переговоры.

— С кем? — сказала Люсия.

— С другим берегом!.. А теперь уходите, скоро комендантский час.

Итак, этот мост должен был взлететь на воздух. Так было нужно, так было нужно...

---

* Молодой учитель из метрополии, погибший в Оресе в начале событий 1954 года.

2

— Сын мой, ты не женишься на француженке. Никогда!

Ма'Мессауда, бабушка Саида, слабо дышала. Она была при смерти.

— Абадан *! Мухаль **! Мухаль!— добавила она и задремала.

Бабушка Саида впервые в жизни высказывала свою волю. И это была ее последняя воля.

В углу комнаты возле камина всхлипывала тетя Лала Уардилла, старая-старая, старше всякого воспоминания.

Был здесь и Идир, дядя Саида, врач, живший в Париже,— смущенный, взволнованный, не похожий на себя.

Ма'Мессауда открыла глаза и проговорила:

— Ты не женишься на француженке...

Потом, с трудом повернув голову к сыну и не отпуская руки Саида, спросила:

— А где твоя хенза?

Хензой была Симона, жена Идира. Слово «хенза» не поддается переводу на французский язык. Оно может означать как «грязная», так и «омерзительная». Та, которая не моется. Та, которая не чиста. Собственно, та, которая не из наших краев, и, если прямо говорить, не та, которую я бы выбрала себе в невестки...

Чужеземка!

Ма'Мессауда, сделав сверхчеловеческое усилие, подняла правую руку и почти прозрачным указательным пальцем прикоснулась к щеке сына.

— Хенза украла у меня сына,— объявила она сентенциозным тоном.

И, повернувшись к Саиду, отчеканила:

— Она убила твоего дядю.

Эта умирающая женщина отстаивала свое право на жалобы и выражала убеждение, непоколебимое, как символ веры.

Саид и Идир молчали.

Ма'Мессауда опять задремала. Идир воспользовался этим, чтобы сделать ей укол. В своем углу возле камина старая тетка смотрела потухшими глазами на шальные язычки пламени.

Мужчины вышли из спальни и направились к террасе с красными стеклами, которую осеняла огромная смоковница. Они сели на верхнюю ступеньку лестницы, спускавшейся в маленький сад, который давным-давно превратился в суматошный птичий двор. Вечерело, но солнце еще не закатилось. Небо было вызывающе синее.

Симона подошла к мужу.

— У меня впечатление, что я здесь как волос в супе.

— Так оно и есть,— ответил Саид.

И добавил:

— Пойдем к моей бабушке.

Идир не пошевелился. Он смотрел в сторону смоковницы.

Жизнь и смерть сценичны. Тетка и камин по-прежнему всхлипывали.

— Саид, сын мой.

Голос умирающей становился все более далеким и глухим, казалось, он доносился из-под земли. В комнате пахло камфарой и потом. В кухне прислуга жгла ладан в кануне ***.

---

* Никогда *(арабск.)*.

** Невозможно *(арабск.)*.

*** Жаровня *(арабск.)*.

— Бабушка, ты узнаешь Симону? — спросил Саид.

Ма'Мессауда прекрасно понимала французский язык и достаточно хорошо говорила на нем, чтобы ее понимали. Тем не менее из ожесточенного упрямства, которое было сродни и кокетству и непримиримости, она ответила по-арабски. А Симона, к счастью, по-арабски не понимала. Поэтому Саид по-арабски сообщил умирающей, что Симона ждет ребенка. Тогда старуха слегка заворочалась в постели и в первый раз посмотрела в лицо невестке, стоявшей в неловкой позе абитуриента, который не знает, как истолковать молчание экзаменатора,— нужно ли уйти или ждать новых вопросов. Взгляд Ма'Мессауды был сверхъестественно проницателен, но спокоен.

— Скажи ей, чтобы она села ко мне на кровать,— проговорила она.

Саид перевел. Симона была действительно волосом в супе. Однако Ма'Мессауда взяла ее за руку своей длинной и бледной рукой в водорослях жил. И тут же опять задремала.

А что думала Симона, молодая парижанка? И о чем говорила ей рука этой старухи, которая даже теперь, когда у нее уже остывала кровь, всем своим существом отвергала хензу? Во всяком браке, который носит гнусное наименование смешанного, есть нечто похожее на парадокс или на бессмыслицу. Те, кого умиляет этот легкомысленный интернационализм, не подозревают, какое противоборство разнородных начал, иногда возвышенное, но всегда трагическое, таят в себе такие союзы. Потому-то Идир, окончив медицинский факультет, и поселился во Франции. Одно легкомысленное решение всегда влечет за собой другое. Его отец, святой человек, из-за этого умер от печали и стыда. Ма'Мессауда дремала, но не отпускала руки Симоны. Саид, подойдя к старухе тетке, спросил, как поживают ее сыновья. Она ответила ему, что они ушли в горы. И уточнила:

— Все. Они все ушли в горы.

Она сказала это с такой же гордостью, с какой сказала бы: они все отправились в паломничество, в Мекку.

Вытащив из-за пазухи четки, она принялась их перебирать. Старуха тетка никогда много не говорила. Уставившись в угол своими потухшими глазами, она погрузилась в воспоминания.

«Это далекий мир»,— подумал Саид.

Ма'Мессауда очнулась и сказала внуку:

— Позови Идира.

Саид пошел за дядей, который все еще сидел на верхней ступеньке крыльца. Он тоже, казалось, принадлежал к какому-то далекому миру.

Они с минуту поговорили.

— Не думаю, чтобы она протянула ночь. А что Симона?

— Она сидит возле нее.

Они направились в спальню. Ма'Мессауда отерла лоб шейным платком, доставшимся ей от матери, и потребовала:

— Дайте мне кофе.

Надо сказать, что Ма'Мессауда за полвека с лишком выпила столько кофе, что это могло бы ободрить всех плантаторов Бразилии. Саид и Симона удивились этой прихоти, но Идир сказал:

— Дайте ей кофе.

Потом добавил:

— Теперь мы не должны ни в чем ей отказывать.

Бывают очень весомые слова.

Прислуга подала чашку кофе. Чашка выскользнула из рук больной, и кофе пролился на полосатое одеяло веселых, ярких цветов. Ма'Мессауда нашла силы извиниться. Потом равнодушным тоном сказала сыну:

— Ты ждешь ребенка? Ты назовешь его Франсуа, и он будет ходить в школу в Париже.

Это были ее последние слова.

Она произнесла их по-французски.

Симона поняла.

Бывают очень весомые слова...

3

Чтобы произвести на свет ребенка, требуется девять месяцев. Чтобы построить мост, требуется еще больше времени. А мост Саида должен быть взорван. Конечно, не он возьмет это на себя. Его попросили только дать технические указания: как взяться за дело, какие места наиболее уязвимы. Есть люди, которые досадуют, волнуются из-за какого-то разбитого стакана. А тут речь идет о мосте!..

Саид спит тягостным сном людей, которые все принимают близко к сердцу. Мост должен быть взорван. Чрево земли вопиет. Из кратеров вулканов вырывается пламя. Музыка пахнет порохом. Дуло пистолета прижато ко лбу — мина заложена. И вот, как выстрел в упор, раздается взрыв. Сталь и принципы взлетают в воздух. И труд людей, разбитый вдребезги, рушится вместе с берегами, наконец примиренными в бесплодном браке. А что говорят рабочие, упавшие в уэд и погибшие, отдавшие за мост свою жизнь, павшие на поле битвы за мост; что говорят эти трое рабочих, завернутые в окровавленный брезент и поднятые наверх лебедкой?.. И что говорят проклятьем заклейменные, когда после рабочего дня они макают свои лепешки в молочную сыворотку, когда в час отдыха льются звуки флейты,— что говорят проклятьем заклейменные?..

Но мост должен быть взорван. Людям надо не говорить, а действовать. Слово за войной, и война приказывает. Тот, которого называли Али, сказал: вы построите другие мосты... А отмщенный уэд злобно хохочет. В Филиппвилле есть, по крайней мере, римский мост... На Авиньонском мосту пляшут, пляшут... По мосту Саида танки не пройдут. Мост Саида говорит: я дам пустить себе пулю в лоб. Готово, мне пустили пулю в лоб! Она вошла в мозг, и нет больше мозга. Есть дыра. А уэд хохочет во все горло. Трое рабочих, завернутые в окровавленный брезент и поднятые наверх лебедкой, спрашивают: где мост? Глупо не знать, ради чего ты погиб. Но Саид не отвечает. Теперь пляшут сами мосты. Они пляшут до изнеможения, а потом рушатся. Смерть стучит зубами. Ее не знобит. Она отбивает такт сарабанды, которую пляшут сумасбродные мосты... Ма'Мессауда идет по мосту. Она легка, как мысль. Она кричит, глядя в пропасть: ты не женишься на француженке. Никогда! И эхо подтверждает: на француженке — никогда! Олеандры аплодируют. Вороны стоят навытяжку. Кепи префекта произносит речь: «Господа, этот мост будет вечным свидетельством благодеяний французского гения». Еще бы!.. А уэд захлебывается от смеха. Тонны пота образуют озеро. Ма'Мессауда пьет красный кофе. Идир садится в метро. Доктор Лежандр ест писту. Симона ждет ребенка. Саид, надев водолазный костюм, погружается в воспоминание...

— Люсия! Люсия!

Саид закричал, и этот крик его разбудил. Он обвел комнату удивленными глазами, какие бывают у людей, когда они выходят из кино, находясь еще всецело под впечатлением фильма, и все вокруг кажется им продолжением виденного на экране.

— Выпей-ка это,— потребовал Идир.

В глазах Саида сверкали осколки разбитых звезд.

Его знобило.

— Эта проклятая малярия тоже осталась мне на память о нем.

Он показал на мост в паспарту над кушеткой.

■

Посреди лекции, которую читала Люсия, в дверь аудитории постучал директор. Господин Ривьер был маленький, кругленький человек с бегающими глазами. Он дергался всем телом, и у него была до крайности смешная и непристойная привычка — засунув руки в карманы брюк, чесать себе ляжки. Это наводило на мысль о дыре в подкладке. Он вел курс морали. Неизменно сопровождаемый своими двумя собаками, этот юнкер в шлепанцах, потомок учителя Гнуса *, прогуливался по коридорам с таинственным видом. О человеке, углубленном в себя, говорят иногда, что его мысли далеко. Но не следует ли подчас понимать под этим отсутствие мысли? Всегда казалось, что господин Ривьер ведет какое-то дознание. Его хамство и нетактичность были общеизвестны. Так как он был неумен, он никого не боялся, а так как он никого не боялся, его начальство, по-видимому, решило, что он умен. Он не скрывал своего расизма, но никогда не давал поймать себя с поличным. Правила внутреннего распорядка служили неопровержимым алиби для этого человека с атрофированной человечностью. Так, во время Рамадана под тем предлогом, что нельзя требовать от мусульманского персонала столовой сверхурочной работы, он лишал интернов возможности есть ночью, что делало для них как нельзя более трудным соблюдение поста. «Персонал тоже имеет право спать».

В институтском клубе, который находился всецело в ведении студентов, он практически упразднил — упразднил, а не запретил — чтение газет, направление которых не отвечало его взглядам. «Альже репюбликэн», например, не имела доступа в институт, а уж о «Репюблик альжерьен» или «Альжери либр» не приходится и говорить. «Здесь нет места политике»,— любил повторять господин Ривьер. И так как единственной ежедневной газетой, в которой помещались официальные сообщения, была «Депеш де Константин», клубу предоставлялся выбор — подписаться на эту газету, которая, пользуясь с начала войны полной монополией, проявляла виртуозность в искусстве лжи, распространения панических слухов и разжигания ненависти, или вообще обходиться без газет.

Итак, господин Ривьер, по прозвищу Адмирал, с присущим ему хамством открыл дверь, не дожидаясь ответа. Студенты встали скорее машинально, чем из уважения к директору, потому что его так же не любили французы, как и мусульмане. Хотя и по разным причинам, все были единодушны в своем отношении к этой личности.

Слегка расставив ноги (даром, что ли, его называли адмиралом) и не вынимая рук из карманов, Адмирал со своими полуслепыми и совершенно отупевшими собаками встал посреди подмостков и заговорил, не удосужившись даже поздороваться с Люсией:

— Господа студенты четвертого курса, у нас в институте не все благополучно. Я говорю не как директор, а как француз, который обращается к другим французам и который, будучи убелен сединами, по праву старшинства...

Этой фразе не было конца. Люсия и ее ученики кусали губы, чтобы не прыснуть со смеху. Право старшинства... седины... Господин Ривьер был лыс, как яйцо. Но всем известно, что только в невозделанных садах произрастают цветы риторики.

---

* Герой одноименного романа Генриха Манна.

Адмирал продолжал:

— Вот уже несколько месяцев мы живем в обстановке настоящего бунта на корабле. (Бедняга Гнус, куда вам до вашего потомка, вы не были старым морским волком.) В день институтского бала многие из вас, и все те же, что всегда, как нарочно, заболели. В день бала, устроенного в пользу студенческих столовых, те, кто поправился, как нарочно, опять заболели. Первого ноября выздоравливающие опять слегли, а 8 мая их состояние ухудшилось. Господа, это безжалостная болезнь...

Бунтовщики четвертого курса сотрясались от еле сдерживаемого смеха.

— Отныне вам предлагается за двое суток до предстоящего акта проходить медицинский осмотр.

Это был кульминационный момент.

Адмирал со своими собаками, почесывая ляжки, направился к двери, но, спохватившись, вернулся к столу Люсии и сказал:

— Мадемуазель, я забыл сообщить вам, что получил вот это из академической инспекции.

Он протянул ей вскрытый конверт. В нем был ответ на ходатайство Люсии о переводе. Оно было удовлетворено. Она назначалась преподавателем латыни в один из коллежей Клермон-Феррана и должна была через две недели прибыть на новое место службы.

Молчание — стыдливость любовников.

Когда Саид узнал, что Люсия по собственному желанию покидает Алжир, он не захотел или не сумел выразить то, что чувствовал. Даже Люсию сбила с толку его кажущаяся безучастность. Саид был прав: Люсия любила Саида, но не любила его родины. Саид молчал. Уже виднелись седые волосы у него на висках. Уже не юношеским становился его взгляд. Тяжелый взгляд, проникающий дальше мысли. Такой взгляд бывает у всех, кого история обогнала, кого история выжила из их привычек. История удивляет не только близоруких людей и бьет не только по тем, кто пытается помешать ее непреложному ходу. Правдивый историк — а правдивый историк не может не быть мудрецом — скажет, почему феллаху не приходилось задумываться над проблемами, которые волновали людей, подобных Саиду. Феллаха не пугают эти проблемы, потому что в нем и кроется их решение.

Нет такого возраста, когда любовь может растаять, как снежинка...

Люсия, умевшая говорить за цветы. Люсия, вплетавшая свой голос в беззвучную музыку, когда синей дымкой надвигались сумерки... Люсия, во всем была растворена Люсия, и Саид знал, что теперь в его мире недостает одной из стран света.

Люсия была пятым измерением. Люсия была спокойной и верной любовью. Люсия была ласковой зыбью на прозрачной воде в маленьких бухтах, обведенных пунктиром гальки. Люсия была Люсией на улицах арабских кварталов с мостовой из булыжника, изнуренного, как лоб гения или больного. Улицы на родине Саида пьют черный кофе, улицы на родине Саида кривые, с узкими тротуарами, улицы на родине Саида пишут на стенах домов: «Да здравствует свободный Алжир»...

Люсия была с ним в том дубовом лесу в час первых песен любви — всегда памятный час.

Тяжелый взгляд, проникающий гораздо дальше, чем мысли...

Это было девятого сентября — тысячу лет назад. Туман стыдливо прикрыл тело горы, как на классических картинах наперсница прикры-

вает сверхъестественным флером грудь женщины, выходящей из ванны. Маленькое мавританское кафе пожирало своим красным глазом ее разомлевшие склоны. В лесу Тексанна на тропинки падали желуди. В стороне Джиджелли мурлыкало Средиземное море. Луна еще не взошла. По запаху ржавых листьев угадывалась осень. Любовь обретает свое лицо, лишь увиденная глазами памяти...

Когда Саид был мальчишкой, он часто в свободные дни садился на велосипед и уезжал за город. Вначале все шло прекрасно. Константина возвышалась на своем утесе, как точка над i, и в долину спускались дороги головокружительной крутизны. Саид мчался, как ветер, и опьянялся этой быстротой, достигнутой без всяких усилий. Он уезжал далеко-далеко, с каждым разом все дальше. Но когда наступал вечер, приходилось возвращаться, приходилось нажимать на педали, обливаться потом, пыхтеть, выбиваться из сил. Приходилось доказывать, что ты достоин быстроты, с которой спускался. Приходилось платить за приятное опьянение, которое охватывало тебя в начале пути. Так лакомка ребенок входит в магазин и покупает, покупает, покупает. Но потом подходит лавочник: надо платить. Зовется ли судьба крутым склоном, по которому надо подняться, или продавцом, с которым надо рассчитаться, все равно всегда приходится платить: счастье никогда не оказывает кредита. Иногда даже кажется, что оно находит злобное удовольствие в том, чтобы предоставлять нам влезать в долги. Заплатите в кассу. Нет ничего более предательского, чем система самообслуживания. Это хорошо знают все, кто остался без гроша радости.

Все Саиды мира всегда будут сродни стрекозам, которые слишком много пели летом, и козочке господина Сегена, которая поплатилась за свои скачки, попав в зубы волку. Все происходит так, как будто человеку не свойственно быть счастливым. Самая хитроумная и самая неотразимая диалектика не объяснит, почему стрекоза не имеет права петь все лето, не унижаясь потом перед муравьем, этим отвратительным образцом всех буржуазных добродетелей. Самая хитроумная и самая строгая диалектика не убедит Саидов в мудрости господина Сегена и в безумии козочки, побежавшей в горы вспомнить, что она была когда-то серной.

Муравьи, волки, господа Сегены диктуют законы. Муравьи, волки, господа Сегены — хозяева положения.

Что из того! Жандармы тоже хозяева положения. Автомобилист, на которого составлен протокол за превышение дозволенной скорости, заплатит штраф, но зато он испытал наслаждение от быстрой езды. У охотника, уличенного в браконьерстве, отнимут разрешение на право охоты. Неважно, он вволю попользовался лесом. Контрабандист, нарушая границу, раздвигает пределы своего родового имения — земли. Как стрекоза бросает вызов зиме, а козочка бросает вызов волку, так и мальчуган, покупавший слишком много сластей, на свой лад бросал вызов тем, кто учит копить деньги, а не тратить их на леденцы и ириски.

Закон говорит — можно, закон говорит — нельзя. Но есть люди, ставящие себя вне закона.

Свободный человек, ты всегда будешь отступником.

Ты будешь отрекаться от жаб, грязнящих лужи. Ты будешь отрекаться от мягких туфель кодифицированного разума и мумифицированного сердца. Ты будешь отрекаться от сберегательных книжек и правил уличного движения.

Милый мой, это невозможно! Согласен, это невозможно, но я отрекусь от этой невозможности. Ты будешь кусать себе пальцы! Согласен, но уж лучше кусать свои собственные пальцы, чем руку другого.

Но надо заранее все взвесить! Согласен. Но если я буду все взвешивать заранее, о чем я смогу думать потом? Разве ты знаешь счастливых людей? Согласен, не знаю. Но я не знаю и химию или Гватемалу.

Обо всем этом рассказывал взгляд Саида, устремленный в даль, недосягаемую для мысли. Он говорил о той ночи девятого сентября, которая была тысячу лет назад, об ирреальной луне, танцевавшей на кронах дубов, как целлулоидный мяч на освещенной воде. Он говорил о влажных глазах Люсии, изливавших беззвучные мелодии, которым аккомпанировал полный обещаний ласковый рокот моря. В эту ночь, девятого сентября, все происходило, как в романе. Все становилось простым, само собой разумеющимся, неизбежным. Писателям не нужно воображение. Это девятое сентября не было взято из романа, из песни, из фильма. Это было обыкновенное девятое сентября с Саидом, удивленным, как всякий счастливый человек, и Люсией, которая сказала:

— Мне почему-то страшно сегодня...

Это было девятое сентября с Саидом, который ответил:

— Ты сошла с ума.

Это было девятое сентября с Саидом и Люсией, которые долго не выпускали друг друга из объятий...

Этого не может быть, как уголь не может быть белым. Это невозможно. А как же я? А как же я? Люсия не может уехать, потому что земля кругла. Люсия не может уехать, потому что дважды два — четыре. Люсия не может уехать, потому что есть мосты, которые не считаются с рекой...

Саид сел за свой письменный стол, открыл ящик и достал бумагу. Он принялся писать, рассказывать, рисовать, черкать. Он говорил, я люблю тебя. Он говорил, не уезжай. Карандаш кружился в вальсе рыданий. Он рассказывал о любви в пору цикад. Он рассказывал о мостах, оседлавших пропасти. Он говорил о тысячах поцелуев. Он говорил о пахучих почках. Это было одно из тех писем, которые никто не отправляет. Одно из тех писем, которые вертятся вокруг одного и того же имени. Одно из тех писем, на которые ставится штамп несостоявшегося признания. Одно из тех писем, которые множат, разрывая на клочки, и которые можно тысячу раз начинать сначала, никогда не оканчивая и не отсылая.

Молчание — стыдливость любовников.

Саид понимал бессилие писем.

Слова ничего не говорят.

■

Решив навестить своих, Саид не сел на трамвай, а пошел пешком — ему хотелось размяться. Стояла чудесная погода. Солнце все еще ярко светило, но невыносимый полуденный зной уже спал. В воздухе была разлита ленивая нега. Последние аисты улетели на юг. О войне напоминали только патрули да еще колючая проволока. По проспекту Жоржа Клемансо шумной гурьбой шли ребятишки, возвращавшиеся из школы. Они с увлечением, размахивая руками, рассказывали друг другу какую-то историю. Когда дети разговаривают, всегда кажется, будто они что-то доказывают, пытаются в чем-то убедить скептически настроенную аудиторию. В этот час они заполняли узкие тротуары. Саид не мог без умиления смотреть на мальчишек. Не то чтобы он их так уж любил, но в

глубине души он им завидовал. Он жалел о том времени, когда тоже ходил в школу. Что за бессознательный мазохизм побуждает мальчишек делать себя старше своего возраста? Проходя мимо ребят, Саид услышал возглас: «Даю тебе честное слово, я видел ее ляжки до сих пор!» Можно было поручиться, что этот мальчик не достает до колен своей учительнице. Саид рассмеялся. Мальчуган, видевший ляжки своей учительницы «до сих пор», обернулся и, пожав плечами, заметил с видом знатока: «Наверно, ненормальный, смеется ни с того, ни с сего». Саид опять засмеялся и подумал, что уже давно не смеялся. В этом мире, охваченном безумием или корчившемся в родовых схватках, ничто его так не успокаивало, как лицо ребенка. Он часто повторял: дети — славный народ. Чего бы он только не дал за то, чтобы купить кулек раскрашенного нута или соленых тыквенных семечек на пять франков, оставшихся от школьных завтраков! Чего бы он только не дал за то, чтобы сказать: ура, завтра четверг...

По проспекту Соединенных Штатов, мимо вокзала, тянулась нескончаемая колонна танков и бронемашин, двигавшихся из Филиппвилля по направлению к Бате. Ничто лучше танковой колонны не возвращает человека к действительности. Вдали за мостом Сиди-М'сид на самом горизонте синел Атлас Телльен, и контуры его растворялись в бесконечности. Слева, над газовым заводом, который охраняли безусые новобранцы ростом не выше карабина, висели тяжелые, черные клубы дыма. По мере того как Саид удалялся от центра, он все больше чувствовал себя среди старых знакомых. В течение двадцати с лишним лет он четыре раза в день проделывал этот путь. Перед своей мясной лавкой, на том же месте, где его всегда видел Саид, сидел Тахар. На площади предместья маленькие мусульмане играли в футбол старой консервной банкой, обозначив своими продавленными ранцами воображаемые ворота. Они играли босиком, то ли потому, что берегли ботинки, то ли для того, чтобы быть свободнее в движениях: ботинки, купленные в лавчонке старьевщика на площади Шамо, всегда были им не по ноге. Эти ребята жили на самом верху холма и на самой окраине города, в трущобах, которые тянутся от еврейского кладбища до леса, напоминающего издали крест Почетного легиона. Этот лес был посажен по приказу Наполеона III, и в нем со времени спортивных начинаний де Латтра де Тассиньи находился военный лагерь.

С вершины холма был виден весь город, окутанный легкой голубой дымкой. Саиду никогда не надоедало это зрелище. Ни один город в мире не умеет говорить, как Константина.

Это утес любви. Это сердце гнева. Константина! Восклицательный знак на прославленной равнине! И у какого мыслителя был более высокий лоб? По улицам Константины, спутанным, как волосы, которые никогда не причесывают, струятся тысячи воспоминаний. Зимой они говорят о мае. Надо видеть Константину, этот памятник из памятников, где гнездятся голуби и каркает воронье, надо видеть Константину, когда ее без устали ласкает солнце. Это могила и колыбель. Это подножие славы и гордый вызов. Это окаменевшая музыка и каменная непреклонность. Саид знал, что перед лицом Константины у Роммеля застряла в горле победная песнь. Это парадный подъезд для рассвета. Нужно видеть, как Константина греется на солнце возле городской больницы и моста Сиди Рашеда, когда сосны разливают в воздухе запах танина и любви. Этот город велик, как кусок хлеба. Он говорит устами мавританских кафе, ныне молчаливых и задумчивых, устами улиц, запутанных, как плохо выраженная мысль, устами лавчонок, где портрет Бен Бадиса * соседствует с радиоприемником и леденцами на палочках. Это

город-крепость. И если посмотреть в сторону Джебель-Уаха, что означает волчий лес, видны его подступы — простершееся вокруг голое поле. Какая баррикада может сравниться с этим городом, внемлющим и шороху опавших листьев и поступи истории! Ныне у этого города-бунтаря есть пригород, который тянется до самого Ореса.

Саид ускорил шаг: ему хотелось застать брата, который каждый вечер забегал «домой». Со времени его свадьбы — а Бузид был женат уже пять лет — это вошло в обычай: Бузид приходил к матери, пил кофе и болтал со старухами соседками. Только в кухне матери Бузид чувствовал себя счастливым. Старые женщины много знают. Он умел слушать. Он умел понимать. Он многому научился у этих старух, которых называл своим фольклором.

Перед детским садом стоял полицейский фургон. Как-то странно видеть полицейский фургон перед детским садом. Казалось бы, скорее можно было ожидать, что увидишь там повозку, полную сказочных игрушек, или легендарную тройку с возом леденцов. Но это был полицейский фургон.

Саид встретил мадам Лебуа и поздоровался с ней. Мадам Лебуа, медицинская сестра, которая жила по соседству и знала его еще ребенком, не ответила ему. Она спешила. Она всегда спешила, когда шла на работу. Саид решил, что она его не заметила — это было вполне вероятно. Господин Рожен, бывший почтовый служащий, ушедший на пенсию, гулял перед домом со своей собакой. Его жена уже давно болела — у нее был рак. Господин Рожен с каким-то натянутым видом ответил Саиду, справившемуся о ее самочувствии. Решительно, не только колонна бронемашин способна вернуть человека к действительности. Правда, господин Рожен был бирюк. Славный бирюк, но бирюк. Однако с начала войны многое изменилось. На мгновение Саиду пришла на ум статья Камю, которую он недавно прочел. Там было сказано: «Настало время, когда каждый должен присоединиться к своему сообществу».

Оказывается, дуракам лучше было бы не вспоминать, что они принадлежали к какому-то сообществу. Впрочем, господин Рожен ни к чему не принадлежал, ничего не делал — только два раза в день наблюдал, как мочится его собака. Саид не огорчился сверх меры. Смоковница шевелила листьями, похожими на уши молодого слона, над маленьким садом, примыкавшим к дому его родителей. Он толкнул калитку, которая, по обыкновению, заскрипела, и, как всегда, не позвонил, а дважды стукнул в дверь. Эти два удара отдались у него в сердце.

Ему открыла Малика.

Малика была дочь одного фармацевта, который во время войны 1914 года служил вместе с отцом Саида. Она часто приходила к матери Саида, в особенности с тех пор, как вышла замуж Лейла, его сестра. На этот раз Малика не улыбалась. Не улыбались и ее большие черные глаза. А этот взгляд... Саид не успел спросить, что случилось. Дверь кабинета распахнулась, и вышел господин Бельхасан, его отец. Малика незаметно исчезла.

Господин Бельхасан без всяких предисловий объяснил:

— Часа в три утра они пришли за твоим братом. Сначала они побывали у него, потом явились сюда. Но они ничего не нашли...

---

* Бен Бадис Абд аль-Хамид — видный общественный и религиозный деятель Алжира.

Саид перевел дух. Его связывали с братом, который был старше его на шесть лет, не просто братские чувства. Бузид был в некотором роде его совестью. Так он его и окрестил.

— Они постучали к нам часа в три утра. Их было человек пятнадцать, все с оружием. Я оделся. Твоей матери стало дурно — ты ведь знаешь, у нее больное сердце. Они спросили у меня, где он...

Они пришли, они спросили, они сказали... Они?.. Однако у них, у этих людей, не имеющих понятия о приличиях, было имя.

Саид заметил, что у отца на пиджаке нет ленточки Почетного легиона.

В дверь кабинета кто-то заскребся. Саид открыл. Это была Зулика. Скоро два с половиной года. Черные глаза. И какие глаза! Маленькая королева семидесяти пяти сантиметров ростом.

— Твоя невестка и маленькая с этого дня будут жить здесь. Так лучше.

Саид присел на корточки перед племянницей, которая с гордостью доставала из кармашка блузки раковину, косточку финика, конфетку, пятифранковую монету и дедушкину ленточку Почетного легиона.

Как распространилась новость? Этого никто никогда не узнает. В кухне старухи соседки были все в сборе. Саид ожидал, что они начнут плакать, причитать. Ничуть не бывало. В глазах этих женщин светилось что-то дерзкое, торжествующее и ироническое.

Общее настроение выразила говорливая Ма'Хадиджа, любимица Бузида. Поправляя платок, покрывавший ее рыжеватые от хны волосы, она сказала своим низким надтреснутым голосом:

— Они ушли несолоно хлебавши. Ищи ветра в поле!

И, обращаясь к матери Саида, добавила:

— Твой сын — не ребенок, и с ним бог.

Судя по общему одобрению этих старух, легко было заключить, что Алжир населяют десять миллионов богов. И несмотря на нервное напряжение, несмотря на состояние матери, которое выдавали круги под глазами, Саид не смог удержаться от улыбки. Только что его ободрили и успокоили школьники. Теперь его точно так же ободряли и успокаивали старые женщины. По набухшим жилам, по жалобным голосам этих старух, которые никогда не жаловались, читалась история долготерпения. Ма'Хадиджа, выпив кофе, поставила на стол свою чашку и сказала:

— Шакалам не совладать с орлами.

Зулика, это Счастьице-семидесяти-пяти-сантиметров-ростом, сидя возле плиты, у ног Ма'Хадиджы, которой было, по меньшей мере, семьдесят пять лет, напевала, засовывая себе в ушко ленточку Почетного легиона.

Быстро стемнело. По просьбе отца Саид пошел проводить Малику. Она жила напротив Женского педагогического училища, в одном из домиков-чистюль банальной архитектуры, недавно выросших у сосновой рощи, которая имеет, кажется, своим единственным назначением охранять вечный сон еврейского кладбища. Это заброшенное кладбище и его окрашенные в синий цвет надгробные плиты в погожие дни заменяют скамейки влюбленным и столы компаниям, устраивающим пикник. Когда Саид учился в лицее и возвращался домой напрямик через кладбище, он прятал под одной из плит пачку сигарет, которые курил тайком. Доброе старое время школьных проделок умерло. Но время школьных проделок никогда не погребают совсем.

Саид слишком спешил вернуться к матери, чтобы задуматься над вопросом, почему белый треугольник, очерченный чадрой на лице Малики, был влажен. Малика плакала.

Солдаты в касках. Автоматы.
Проверка документов.

Саид до поздней ночи сидел с матерью и Фадилой, своей невесткой. Он не мог прийти в себя от удивления. Казалось, ни та, ни другая не были удручены событиями предыдущего дня. О Бузиде, конечно, говорили, но без романтических тремоло в голосе — просто высказывали сожаление по поводу его отсутствия, как будто ему помешало быть здесь самое заурядное происшествие. Из них троих Саид был всего более взволнован.

Где был Бузид?

Его голос слышался Саиду в отдаленном рокоте самолета. В неумолчном шуме ветра, гулявшего по всему свету. В скрежете тормозов запоздалой машины. В мягком, глухом звуке, донесшемся из сада, где с дерева упал перезрелый абрикос. В кукареканье петуха, который каждый вечер ошибался часом и раньше времени приветствовал зарю. В самом деле, этот петух жил навыворот. Истинный предтеча, он упорно каждый вечер возвещал утро. Когда-то Саид, шутя, говорил матери: «Твоего петуха надо бы отнести к часовщику».

После первого ноября 1954 года Бузид стал повторять: «Этот петух не так уж глуп. Не он спешит, а мы отстаем...»

Подобно зрителю, который, даже не пошевелившись, продолжает чинно сидеть в своем кресле в партере, в то время как вся публика аплодирует, стучит ногами, кричит браво и, таким образом, превращает зрительный зал в своего рода продолжение сцены, Саид, широко раскрыв глаза, следил за событиями, понимал их смысл и оставался бездеятельным. Встреча с Али была его первым соприкосновением с вулканом. Он не порицал актеров, но и не рукоплескал им.

Из соседней комнаты доносился храп отца. Саид приоткрыл ставни. Город плыл на слиянии двух бесконечностей. В лицо пахнул влажный воздух. Внизу, на первом этаже, хныкала Зулика. На красных кирпичах оконного проема Саид машинально писал пальцем одну и ту же фразу: они ушли несолоно хлебавши... Он видел перед собою старую Хадиджу с понимающей и довольной улыбкой на устах. Малышку, игравшую ленточкой Почетного легиона. Малику, которая всегда смотрела на него влажными глазами и, не зная, что ему сказать, тихонько смеялась, как бы извиняясь за то, что лучше не умеет говорить с ним, Малику, признавшуюся ему однажды: «Я полюбила тебя, когда еще была совсем маленькой».

Он видел перед собой Бузида, как всегда рассыпающего улыбки и парадоксы, курчавого Бузида с широкими плечами, медлительными движениями и круглыми глазами, которые смотрят правде в глаза, критикуя, но избирая ее, он видел перед собой Бузида, который почти не разжимал рта, когда говорил: «Да здравствуют арабы!..»

Бузид всегда говорил: «В конечном счете да здравствуют арабы...»

Чего только не приходит в голову, когда сон уходит спать один.

Всю ночь шел снег. На переплете окна, которое Саид забыл закрыть, осталась белая бахрома. Зулика постучала в дверь, чтобы разбудить дядю. В своей розовой ночной рубашке она была вкусная, как мандарин. Больше, чем когда бы то ни было, ей подходило прозвище, которое придумал Саид — Счастьице-ростом-в-семьдесят-пять-сантиметров. Она протянула дяде газету, которую ей дала бабушка. «Депеш де Кон-

стантин» на двух колонках сообщила своим читателям, что «прошлой ночью были произведены многочисленные обыски у подозрительных лиц, относительно которых достоверно известно, что они являются агитаторами». «Депеш де Константин» добавляла: «Сговор между националистами и коммунистами больше не нуждается в доказательствах».

У Зулики на щеках было варенье, а в левой руке она держала кусок пончика. Вот почему над словами «подозрительных» и «агитаторами», которые были набраны жирным шрифтом, красовался прозрачный и блестящий полумесяц.

Но глаза у Зулики были черные-черные. Но снег на улице был, как никогда, свеж и чист. Саид сделал из газеты треуголку малышке, и через минуту зазвучал их веселый смех на зло полночным охотникам за людьми.

Инженер решил пожить некоторое время у родителей, чтобы не так чувствовалось отсутствие, вернее, исчезновение Бузида. Саид был по натуре домосед и очень редко выходил. Он не скучал, проводя дни за чтением немногих честных газет, которым еще не был закрыт доступ в Алжир, или играя со Счастьицем-семидесяти-пяти-сантиметров-ростом.

Однажды утром, примерно в половине шестого, раздался громкий стук в парадное и в окна кабинета и столовой, которые выходили на прилегающую к улице маленькую террасу. Саид надел халат, спустился вниз и в коридоре нагнал отца.

Господин Бельхасан открыл дверь. Вошли трое полицейских. Остальные ждали в машине. Увидев Саида, один из полицейских сказал:

— Вот он.

Тот, который был, по-видимому, их начальником, произнес равнодушным голосом, с трудом сдерживая зевоту:

— Бузид Бельхасан, прошу вас следовать за мной.

Двое полицейских уже встали по бокам Саида, который очень спокойно объяснил, что он не тот, за кого его приняли. Его сходство с Бузидом было поразительно — ведь они не были близнецами. Полицейский комиссар пробурчал:

— Надеюсь, вы похожи на него только внешне.

Саид ничего не ответил. Комиссар приступил к вопросам, которые он задавал сухим тоном, с профессиональной нетерпеливостью, явно желая поскорее с этим покончить.

— Где он?

— Не знаю и очень хотел бы знать,— сказал отец.

— Советую вам не шутить.

Господин Бельхасан, выпрямившись во весь свой невысокий рост и глядя полицейскому прямо в глаза, очень внушительно, отчеканивая каждое слово, тем самым голосом, которым отчитывал школьников и который был хорошо знаком Саиду, так как он тоже был его учеником, ответил:

— Господа, вот уже больше сорока лет, как я перестал шутить: с тех пор как потерял это под Верденом.

Он указал на пустой рукав своей пижамы.

Комиссар не стал настаивать. Он тут же составил протокол, в котором констатировалось отсутствие Бузида. Господин Бельхасан внимательно прочел его, прежде чем подписать.

Полицейские отправились восвояси несолоно хлебавши.

Закрывая за ними дверь, Саид успел заметить в машине, на которую падал свет из коридора, полицейского-мусульманина, бывшего ученика отца. Он старался спрятаться в глубине автомобиля.

Не одних только завзятых курильщиков тошнит под утро.

В тот же день часов в одиннадцать господин Бельхасан возвращался с рынка, когда повстречался с почтальоном, который крикнул ему:

— У меня есть кое-что для вас.

С рассвета шел снег. Они укрылись под воротами франко-мусульманского лицея в конце проспекта Форчоли, на самом верху холма. Завывал ветер. Снег валил крупными хлопьями, и землю покрывал пушистый ковер толщиной сантиметров в двадцать. Обычно с этого места весь город был как на ладони, но теперь ничего не было видно. Почтальон, веселый, жизнерадостный толстяк, не стал говорить о погоде. Он сказал господину Бельхасану:

— Они не поймали твоего сына...

Он тоже все знал. Должно быть, Эдисон был араб. Господин Бельхасан спрятал в карман газету «Эколь либератрис» и письмо. Пользуясь наступившим затишьем, он вышел из ворот и двинулся дальше. Почтальон крепко пожал ему руку.

На листке, вырванном из школьной тетради, было написано рукой Бузида: «Я жив и здоров, чувствую себя прекрасно. Не беспокойся обо мне. Рано или поздно это должно было случиться со мною, так же как с другими. Пусть Зулика не ест слишком много конфет, это вредно для ее маленькой печени. Я доволен, очень доволен. Сожгите это письмо...»

Точка, и все.

Точка, и все...

А дальше — многоточие.

Но Бузид писал: «Я доволен, очень доволен».

Письмо было отправлено из Х...

Осыпанный снежными самородками старый Бельхасан улыбался.

И в этот день Зулика опять ела много конфет. И в этот день у Зулики не болела печень.

И этот день не назывался ни понедельником, ни четвергом, ни воскресеньем.

Этот день звался — Бузид.

4

Шериф, зять Саида, почтенный начальник отдела в налоговом управлении, человек уравновешенный и всегда чисто выбритый, в этот день сидел за обедом насупившись, и его добродушное круглое лицо с маленькими, глубоко посаженными глазами под широким, лоснящимся лбом было обиженным, как у школьника, которому учитель устроил головомойку перед всем классом. Он едва прикасался к еде и почти не разговаривал. Его жена, Лейла, не спрашивала его, в чем дело,— она сама была поглощена своими мыслями. Возвращаясь с рынка, ее отец зашел к ней и рассказал об исчезновении Бузида. Однако он не мог сообщить ей о его письме, потому что встретил почтальона уже после этого разговора.

Лейла, понятно, рассказала Шерифу о визите господина Бельхасана, и тот не нашел ничего лучшего, как повторять:

— Этого надо было ожидать, этого надо было ожидать! У нас никогда не будет покоя.

О каком покое говорил этот миляга Шериф? Не о том ли, который он вкушал каждый день, три часа утром и три часа после обеда, в своей уютной канцелярии, среди своих подчиненных, признательных ему за то, что он имел диплом бакалавра, говорил без акцента и «бывал в обществе» с женой? О каком покое он говорил, и о каком покое можно жалеть, когда снежным утром узнаешь, что твой шурин не явился на работу, а к нему на дом явились полицейские? О каком покое может говорить этот миляга Шериф, счастливый, преуспевающий человек, «на редкость симпатичный араб», раненный под Кассино и награжденный медалью за боевые заслуги, владелец сверкающей «фрегат» и супруг красивой, благоразумной женщины из зажиточной семьи, что тоже совсем не плохо? И что предвидел такого любезный Шериф, что стоило бы оплакивать? Прощай, послеобеденный аперитив с коллегами в баре, который славится своими кемиас *. Прощай, удовольствие, картинно повернувшись в профиль, с сигаретой в зубах покрасоваться в машине перед окнами соседних домов, отыскивая ключ, чтобы включить мотор. Да и к чему теперь машина? Дороги больше не ведут в уик-энд. Здание, возведенное его мечтами, рушилось у него на глазах. Правда, не такое уж райское блаженство выпить аперитив, выкурить сигарету и в субботу вечером посмотреть хороший фильм. Не такое уж райское блаженство иметь секретаршу, которая, на твой взгляд, совсем не дурна, проводить отпуск в Верхней Савойе и не разделять неизбывных страданий целого народа. Но Шериф, чистокровный бербер, отец и дед которого не видели ничего, кроме долины Сумама, Шериф, окончивший «туземную» школу, призывавшийся по жребию и служивший во время войны в качестве «туземного» офицера после стажировки в черчиллевском ЭОР **. Шериф — «туземец», которого в коллеже почему-то называли Мини, Шериф, маленький бербер, бегавший босиком под оливами и смоковницами Кабилии,— Шериф стал средним французом. Он поверил, что кабильцы не похожи на арабов. Он поверил, что Париж — столица мира. Он поверил, что площадь Правительства зарастет травой, коль скоро Алжир получит независимость. Он сказал вместе со всеми добрыми людьми, которых фуражка папаши Бюжо *** не предохранила от колониалистского солнечного удара: «У нас нет специалистов!»

Он поверил, что всем обязан французам. Это не был плохой человек. Это был в одно и то же время живой анахронизм, нонсенс и парадокс. Утопающих захлестывает разбушевавшаяся стихия. Шерифов захлестывают события. В один прекрасный день история стучит в дверь к Шерифам.

И так как она стучит довольно громко, им это кажется оглушительным грохотом.

А это не что иное, как музыка.

Сколько раз Бузид говорил зятю: «Напрасно ты закрываешь глаза на все, что происходит вокруг».

Но в шатающемся мире каждому кажется, что он умеет танцевать.

Это был, конечно, грустный обед. Лейла подала кофе и оделась, чтобы выйти. Она хотела навестить мать. Шериф одобрил ее и без всякого перехода сказал:

— Это все-таки просто несчастье: только что какой-то мальчишка лет восемнадцати, не больше, попросил меня погасить сигарету, которую я закурил ****. Он был очень вежлив, это правда, он был вежлив, но все-таки это просто несчастье.

---

* Редиска, маслины, анчоусы и другие закуски, подаваемые к аперитиву.

** Служба обнаружения неразорвавшихся бомб и снарядов.

*** Бюжо (1784—1849) — французский генерал, завершивший захват Северной Африки Францией, губернатор Алжира.

**** Речь идет о бойкоте табака, проводившемся в Алжире в 1954—1955 гг.

Лейла ничего не ответила и ушла. Шериф остался один, не объяснив жене всех причин, по которым он чувствовал себя несчастным. Он зажег сигарету. Уф! Здесь, по крайней мере, можно курить.

Да, это утро и для него было знаменательным.

В девять часов, когда открываются учреждения, Шериф, по обыкновению, пошел поболтать со своим начальником и другом, господином Ролланом. Он вошел в его кабинет как раз в ту минуту, когда господин Роллан говорил:

— Прежде чем упадет хоть один волос с моей головы, я уложу троих или четверых.

Трое или четверо арабов за один волос — это, надо признаться, многовато. Колониализм всегда был лишен чувства соразмерности.

Приветствия, послышавшиеся в ответ на приветствия Шерифа, были холодны, как снег, который опять пошел. Но в них не было его изящной безмятежности. Шериф закурил сигарету, и господин Роллан с деланно равнодушным видом сказал:

— Вы не боитесь, что вам отрежут ухо?

Однако в этих словах не чувствовалось ни шутливости, ни дружелюбия.

Шериф не ответил, не сумел ответить. В его дверь стучала история. История приняла в это утро обличье господина Роллана. Некоего господина Роллана, с которым Шериф столько раз пил аперитив, господина Роллана, любившего кускус, который готовила Лейла, маленького, невзрачного господина Роллана, комфортабельно расположившегося под охраной целого арсенала чрезвычайных законов. Маленького, невзрачного господина Роллана, который со вчерашнего дня кичился тем, что первым в своем квартале вступил в милицию. Маленького, невзрачного господина Роллана, франкмасона и члена СФИО *. Бывшего коллеги, бывшего друга, бывшего «брата» — о, где же прошлогоднее перно... Бывшего «хорошего француза», «не такого француза, как другие», бывшего отца, который желал, чтобы его дочь Николь изучала в лицее арабский в качестве основного языка, бывшего «я-прекрасно-лажу-с-арабами», бывшего очень славного человека, который платил своей мукер ** лучше, чем соседи, и всучал ей для ее мужа свои старые пиджаки... Бывшего «я — алжирец».

О, вечные тартюфы!

А Шериф не был готов к этому утреннему свиданию с историей, переодетой господином Ролланом. И Шериф опять не нашелся, что ответить, когда незадолго до обеда услышал:

— Теперь уже не знаешь, с кем имеешь дело...

Но если в это утро история приняла обличье господина Роллана, то господин Роллан принял свое истинное обличье. В час «осадного положения» он перестал притворяться.

5

Этот миг никогда не кончится, потому что у Саида есть память.

Идет снег, все еще идет снег. Осталось тринадцать часов, только тринадцать часов. Люсия очень хороша в своем платье из толстого твида. Люсия завтра уезжает. Завтра она покинет Алжир. Но до завтра

---

* Французская социалистическая партия.

** Арабская женщина, которая за мизерную плату работает по дому у европейцев

еще много часов, и минут, и секунд — еще целая вечность. Вы ведь знаете эти века, эти тысячи тысячелетий, когда говоришь себе: «Ба, стоит ли об этом думать сейчас. Завтра будет день». Когда обманываешь себя. Конечно, завтра будет день. Солнце — старый маньяк. За небольшими отклонениями, оно всегда поднимается в одно и то же время. Но луне на это наплевать. По молчаливому соглашению, как надоевшие друг другу супруги, солнце в одиночестве празднует свою золотую свадьбу, а луна — серебряную. Они спят отдельно. Но как бы то ни было, этот миг никогда не кончится, потому что Люсия завтра уезжает.

До завтра еще так далеко! До завтра... Только несчастные умеют довольствоваться столь жалким подаянием. Только несчастные бывают такими оптимистами.

У времени нет больше границ.

Стоп!

Время остановилось.

То, что имеет ценность лишь в своей бесконечности, вмещено в маленькую окружность, которую будут невозмутимо описывать стрелки часов.

Саид и Люсия бессмертны, как деревья.

Завтра будет видно. Но, вообще говоря, слепота начинается с послезавтра.

Люсия очень хороша в своем платье из толстого твида.

Идет снег, все еще идет снег. Завтра Люсия уедет. Завтра уже не будет снега.

Нельзя сорить мгновениями. Влюбленные — скупцы. Секунда и секунда — не две секунды, а два поцелуя. Надо молить снег, чтобы он не перестал идти. Надо целовать Люсию.

У камина красные губы. Секунда и секунда — тысячелетие воспоминаний.

Завтра уже не будет белого снега, уже не будет Белоснежки. Но пока ничто не кончено и все начинается.

До тех пор пока в снежный день огонь в каминах будет говорить о тихих, таинственных лесах, до тех пор пока воробей будет прилетать на балкон и клевать размокшие крошки хлеба, до тех пор пока школьники будут смотреть мимо черной доски и всем сердцем желать, чтобы снег еще шел, когда они выйдут из школы, до тех пор пока закрытая дверь будет охранять зябкую мечту, в каком-нибудь уголке света всегда будет волк, который боится ружья со спущенным предохранителем, ветер, который задувает огонь в очаге, и, главное, тишина, перед которой смолкают пошлые песенки. Человек оказывается перед лицом своей старой подруги — природы. Несмотря на Люсий и геликоптеры. Зима, только зима обладает красотой первозданности.

Конечно, есть нищий, который, шлепая по грязи, бредет по улицам арабских кварталов. И этому нищему холодно. Он слишком несчастен, чтобы горевать. Он плачет, потому что ему холодно. Зима — дар божий. Холод — дело рук людей. И этот нищий, который тянет свои «ямун'нин», первым нашел бы снег красивым, если бы ему было тепло, когда на улице холодно. Причину воспаления легких надо искать не в температуре воздуха, а в пальто больного. Если бог создал баранов, то люди ткут шерсть. В человеческих бедствиях нет ничего метафизического.

Саид думал вслух. Люсия подтрунила над ним:

— Это погода приводит тебя в философическое настроение?

— Нет,— ответил он,— алкоголь.

Саид не выносил алкоголя и не любил пить. Нет ничего более банального, чем печаль. Во всех фильмах, во всех романах, во всех жестоких романсах какой-нибудь Саид пьет, когда его покидает Люсия.

Чтобы забыть. Что забыть? Алкоголь никогда не вызывал у Саидов амнезии. Чтобы придать себе мужество? Но разве стакан рома, который подносят осужденному, поможет ему без страха взойти на эшафот? И что изменилось бы, если бы осужденный пил только молоко? Говорят, перед штурмом выдают по кварте водки, чтобы подстегнуть солдат. Но ведь солдаты не лошади. Так зачем же пьют? Чтобы создать шедевр и подписать его Утрилло? Чтобы говорить об осени и зваться Верленом? Или для того, чтобы какой-нибудь Саади мог воспевать дев под сенью винограда?

Нет!

Это заблуждение.

Так почему же пьют?

В силу привычки. Но почему пьют вначале, в первый раз?

Вначале, в первый раз, перед вами горизонт, которого невозможно достичь, который невозможно схватить, которым невозможно овладеть ни руками, ни глазами. Вначале, в первый раз, перед вами синяя птица, газель, мираж. Улетающая синяя птица, убегающая газель, дразнящий мираж. Вначале, в первый раз, на полном ходу проносится поезд, и в одном из его вагонов мелькает улыбка, которая предназначается вам. А вы стоите на перроне маленького вокзала, маленького вокзала скуки и безнадежности, одного из тех маленьких вокзалов, где поезда никогда не останавливаются. Однако вы увидели эту улыбку, которая предназначалась вам. Вы увидели ее всего на мгновенье, но вы ее увидели. Вы в этом уверены. И вот вы бежите, как безумный, бежите за поездом. Это самый отчаянный марафонский бег. Но поезд мчится полным ходом. И ваши силы иссякают. Тогда вы останавливаетесь у полотна дороги и садитесь возле первого попавшегося источника, успев в последний раз увидеть, перед тем как вагон скрылся в туннеле, улыбку, которая предназначалась вам. Вы расспрашиваете начальника вокзала, и начальник вокзала сообщает, что этот поезд проходит здесь только раз в жизнь. И так как вы долго бежали и у вас пересохло в горле, вы прикладываетесь к первому попавшемуся источнику.

Вы пьете.

Вот именно, вы пьете.

— Не провожай меня завтра,— сказала Люсия.

Она сидела прямо на полу, у самого камина. Саид лег на спину, положив голову ей на колени. Он видел только низ ее подбородка, маленький треугольный обрыв, на котором плясали отсветы пламени и химер.

Прошел век.

В маленькой груди тихонько стучало сердце. Огонь сочинял стихи. Пульс Саида скандировал их. Хлопья снега — один, два, миллиарды. Так и любовь — во множественном числе. Одна любовь, две любви, три любви. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду другая. Одна единственная любовь. Завтра... Курить запрещено. Застегните пояса...

— Это далеко, Клермон-Ферран?

Это не было ни вопросом, ни утверждением. Но голос Саида был тускл. Огонь лепетал: любовь, каждый день, хлопья снега. Глаза Люсии были цвета грусти. В глазах Саида светились раскаленные угли из камина. Глаза Люсии смотрели вниз, глаза Саида смотрели вверх, и любовь переливалась из бесконечности в бесконечность.

Маленький треугольный обрыв едва приметно дрожал.

— Это далеко, Клермон-Ферран?

Раз не здесь, значит далеко. В любви не здесь всегда далеко, всегда слишком далеко. Где ты, что ты, моя любовь? Твое сердце тихо стучит — зовет меня. Что ты будешь делать в этом городе, в этом черном городе? Пойдешь ли ты, как здесь, посмотреть на рынок, расшумевшийся за

спиной префектуры? Там, в этом городе, улицы тоже, наверно, толкаются и налезают одна на другую. Там тоже, наверно, все старо и все полно жизни. Но не здесь всегда далеко, всегда слишком далеко. Где ты, что ты, любовь моя? Твое сердце тихо стучит — зовет меня. Что ты будешь делать на этом овернском рынке?

И рука Саида сжимает руку Люсии. И рука Люсии сжимает руку Саида. И губы Саида прикасаются к маленькому треугольному обрыву. И губы Люсии сливаются с губами Саида. И небо внизу, и небо вверху.

На всех рынках мира продают цветы и птиц.

Люсия была очень хороша в своем платье из твида.

Прошел век.

Терракотовая ваза в форме ласточки, стоявшая на маленьком круглом столике возле камина, была опрокинута поцелуями.

На паркете валялись два мандарина и осколки ласточки.

На всех рынках мира есть цветы, фрукты и птицы.

■

Газеты писали:

«Террористам удалось скрыться, оставив двух убитых. Со стороны сил порядка потерь нет. К несчастью, во время перестрелки шальная пуля попала в молодую женщину, которую в очень тяжелом состоянии доставили в городскую клинику, где была немедленно предпринята попытка спасти ее посредством сложной операции. Несчастный случай произошел накануне предполагавшегося отъезда пострадавшей в метрополию...»

Газеты писали...

6

Если бы Люсия не спала, она могла бы через широкое окно видеть внизу, в самом низу, под главной аркой большого каменного моста, мечеть Сиди-Рашида, устремившую в неряшливое небо свой минарет, похожий на головку коноплянки. Палата была жарко натоплена, и клинику окружала густая тишина.

С вершин Джебель-Уаха, покрытых серым снегом, уже спускался туман на штурм города. С утра дул ветер.

В качестве врача Робер смог пройти к Люсии, как только была закончена операция. За день до этого, уйдя от Саида, Люсия направилась в одно бистро, где они с Робером условились попрощаться. Примерно в половине седьмого они расстались. Робер был расстроен, Люсия — счастлива. Радостная, как снег, она сжимала в кармане пальто маленький мандарин — «на счастье». Робер не успел сделать и десяти шагов, как Люсия рухнула на грязный снег, и маленький мандарин покатился по тротуару.

У фруктов тоже есть память...

— Позовите ко мне Саида... Мне нужен Саид... Почему вы не позовете Саида?

Это были единственные слова, которые слышали хирурги и сиделки всякий раз, когда Люсия выходила из забытья. И Робер мог измерить всю силу любви, которая была обращена не к нему. Он сидел у изголовья Люсии, искренний, подавленный горем, бессильный и ненужный. Но момент был слишком критический, чтобы он мог думать о самом

себе. Он на цыпочках вышел из палаты и спустился на первый этаж поговорить с врачом, который оперировал Люсию. Тот был краток и категоричен: «Она не выживет».

Робер догадывался об этом. Но в надежде, в желании нет ничего научного.

Внезапно хирург спросил:

— Кто этот Саид, которого она непрестанно зовет?

Прошли целые века, прежде чем сложился и прозвучал ответ:

— Наш общий знакомый. Общий знакомый, которого она очень любила.

Робер поймал себя на том, что употребил прошедшее время. Или Люсия была уже оконченной жизнью? Он спросил хирурга, можно ли Саиду ее навестить.

— Теперь — почему бы нет,— ответил тот с широким жестом.

Это великодушие, эта терпимость, эта снисходительность не предвещали ничего хорошего. Робер пошел за Саидом. На улице оглушительно свистел ветер...

Ветер свистел во всю мочь: ты умрешь, маленькая сказка. Ты умрешь среди грязного снега. А завтра снег будет опять бел. Завтра мандарины будут танцевать от счастья в садах. Завтра в городе с каменным сердцем будут литься песни и целоваться влюбленные. Завтра, маленькая сказка, маленькая небылица, неожиданная, как черная роза на белом снегу, завтра, завтра... свистел ветер, не верящий в бога...

И прохожие, и уходящий день, и проплывающие облака, и дома, глядящие на прохожих и на нищего с потухшими глазами на мосту Эль-Кантара, и проносящиеся машины, и сама земля, маленький камешек, брошенный в кладбищенское безмолвие космоса,— все было подвластно ветру, вездесущему и всемогущему ветру...

Миру было наплевать на маленькую небылицу.

Робер позвонил в квартиру Саида.

Никого.

На улице его опять встретил ветер.

И ветер свистел во всю мочь: ты умрешь, маленькая небылица, ты умрешь, а розмарин будет по-прежнему зеленеть, ты умрешь...

Робер подумал, что Саид может быть у своих родителей. Он вскочил в такси, и машина сорвалась с места. Шины шуршали в тон ветру.

Это был бег против ветра.

Для химер не существует комендантского часа, для этого путешествия не нужен пропуск...

Маленькая небылица отправилась в страну снегов и олив.

Саид не узнает смерть.

Он смотрит на Люсию...

Мне не хочется плакать. Я испытываю не горе, а удивление. Это, наверно, глупая шутка. Твоя рука похожа на твою руку. Твое лицо спокойно и сосредоточенно, будто ты слушаешь меня.

Это, наверно, глупая шутка.

Робер стоит у двери, Саид — у кровати.

Почетный караул, наивный и возвышенный.

Смерть нежна, как мандарин.

Люсия была цветком, Люсия была плодом, Люсия становилась легендой.

Люсия умерла, Саид, ты слышишь, Люсия умерла.

Но Саид не слышит, Саид не слушает.

Люсия умерла, и ее руки больше не будут приглаживать волосы Саида. Люсия умерла, и ее руки больше не будут, забелев в темноте, означать рассвет.

Саид влюблен и потому полон недоверия. Я воскрешу ее!

Мой милый, ты не бог.

Значит, я потерял ключик от заводного поезда? Забыл набрать чернил в авторучку? Оставил где-то коробку спичек? Но разве это непоправимо?

Ты не бог.

Заведи игрушечный поезд, он уедет без Люсии. Набери чернил в авторучку, она напишет: здесь покоится... Отыщи спичку, от ее сиротливого света в твоей памяти затанцуют блуждающие огоньки...

Однако еще так недавно Люсия целовала тебя, кусала твою руку, говорила тебе: «Скорее, уже поздно...»

Однако никаких однако!

Люсия умерла.

У истории тоже бывают ошибки. Люсия была тихим рефреном ее песни, ветер это хорошо знал.

■

И все же надо жить. Сидеть у камина, когда нет дров. И молчать. От любовной тоски не умирают, ее влачат. Люсия умерла, но дважды два по-прежнему четыре.

В это утро, часов в десять, Саид пошел к родителям. На проспекте Форчоли хаммель * с трудом нес мешок зерна, закрепленный двумя веревками у него на лбу. Мешок был больше хаммеля. Время от времени хаммель издавал поистине нечеловеческий крик, то ли переводя дыхание, то ли изливая гнев. Этот сверхъестественный крик, одновременно и хрип и вой, походил на проклятие. Несчастный приносил жалобу бесчувственному суду ясного утра. За ним, не то причмокивая, не то бормоча молитву, шел мозабит, донельзя жирный, с отвисшими щеками сытого бульдога. В какой-то момент хаммель зашатался. Саид думал, что он рухнет посреди шоссе. Ничуть не бывало. Горемыка устоял на ногах, медленно обернулся, измерил взглядом пройденный путь и, снова издав свой сверхчеловеческий крик, двинулся дальше, сгибаясь под тяжестью несчастья. Ужасный парадокс, адская алхимия слов: зерно воплощало бремя судьбы. Зерно, это волшебство природы и торжество людей, зерно вдавливало лоб и живот этого отверженного. А он все шел, сгибаясь под тяжестью несчастья, шел, как скотина, как олицетворенное несчастье. Он шел ради горстки зерна, ради маленькой горстки зерна.

Саид подумал, что он похож на этого хаммеля. Им обоим нужно было нести в гору свою ношу. Однако... Весит ли полкинтала зерна столько же, сколько тонна печали? Люсия... Мешок зерна... Идти, все идти, идти вопреки всему. И нести свой мешок зерна, свой проклятый мешок зерна. Свой мешок благословенного зерна — зерна, исторгающего у хаммелей сверхъестественные крики. Это зерно-коршун, зерно-рак в мае было напоено музыкой. Саиду случалось ходить через хлеба. Когда ветер брался за флейту, они вальсировали, склонялись в грациозных реверансах и тихо колыхались, как легкие волны. Теперь эти самые хлеба исторгали у хаммеля сверхъестественные крики, хотя утро было ясное-ясное. Но на самом деле хлебов уже не было, как не было больше Люсии.

---

* Носильщик.

Хаммель достигнет вершины холма. Завтра его будет ждать другой холм, другой мешок зерна или еще какой-нибудь непосильно тяжелый мешок несчастья. И завтра он опять достигнет вершины холма. И завтра и послезавтра, и во все последующие дни он снова будет испускать нечеловеческие крики. И завтра, и послезавтра, и во все остальные дни его крики будут тонуть в небе.

Так на крайнем юге Сахары еще и теперь можно видеть мучения караванов. Можно видеть механические движения верблюдов, сгибающихся под своей кладью. Можно видеть их мерный, медленный ход. Их выносливость напряжена до предела, как таинственная пружина. Иногда один из них, обессиленный, побежденный, падает наземь. Тогда туареги снимают с него поклажу и делят ее между остальными верблюдами. Побежденный в последний раз обводит взглядом, полным спокойного отчаяния, адскую бесконечность песков и черных камней. Его глаза не выражают ни страдания, ни жалобы, ни упрека. В них можно прочесть лишь горестное удивление перед лицом судьбы, по традиции принимаемой как должное, раз навсегда признанной неотвратимой. Погонщик верблюдов, прикидывая убыток, в последний раз похлопывает издыхающее животное по тощим бокам и тут же занимает свое место в караване, даже не обернувшись, даже не бросив прощального взгляда на своего товарища по апокалиптическим странствиям. И верблюды один за другим равнодушно, невозмутимо проходят мимо своего брата. Кто знает, о чем думает верблюд перед смертью? Сахара неразговорчива. И носильщики, будь то хаммели или дромадеры, испокон веков избирают фаталистическую мудрость молчания. Рассказывают, что, перед тем как умереть, корабль пустыни издает последний крик. Прощается ли он с миром, подобно тонущему судну, с которого доносится трагический вой сирен? Взывает ли все же к богу и к людям?..

А разве этот хаммель, время от времени испускающий сверхъестественные крики, не такой же окаянный верблюд, разве он не умирает каждое мгновенье в огромной Сахаре, которую несет на спине?..

А завтра или послезавтра караван увидит пальмовые рощи. Верблюды напьются из гуэльтас * или из Большой реки. Им дадут отдохнуть, насладиться любовью и набраться сил на подножном корму. Потом, четыре или пять месяцев спустя, возвращаясь назад, караван пройдет по тому же пути, не отклонившись ни на один градус, чтобы стыдливо обойти останки одного из своих, обглоданные ветром и зверьем.

А завтра или послезавтра другой верблюд, другой караван...

7

Шериф отличался от Саида не привычкой к счастью, а самим представлением о счастье. Для него счастье состояло в том, что было потеряно: в покое, в поездках во Францию раз в два года, в благородной позиции, которая ни к чему не обязывает, и в просвещенном словоблудии. Третье сословие имело прямого потомка в этом бербере со степенью бакалавра из тех, кого выпускают первоклассные коллежи. Ибо в течение жизни одного поколения в Алжире возникла особая порода людей, не известная нигде больше: выпускники первоклассных коллежей. На этом злосчастном суденышке, которое швыряют из стороны в сторону бури истории, есть первый и второй класс. Шериф был благодушен, как речь

* Маленькие озера в оазисах Сахары.

довоенного республиканца по случаю Четырнадцатого июля. Он ни на минуту не сомневался в том, что все люди братья, что если бы все парни мира... и т. д. и т. д. Он всегда говорил убежденно, но скоро выяснилось, что никто не разделяет этой убежденности. Никогда не лишне повторить ту очевидную и страшную истину, что фразы делают из слов. Из простых слов делают красивые фразы. Фразы с иголочки. Накрахмаленные фразы. Фразы с начищенными ботинками. Фразы с накрашенными губами. Фразы, от которых у вас пробегают мурашки по телу. Фразы, при которых вы встаете навытяжку. Фразы, громкие, как овации, трескучие, как барабанный бой.

Сначала эти фразы — бурные потоки. Они патетичны и растрепанны. Они пенятся, и эхо вторит гневу и чести. Поток Свобода с грозным ревом катит булыжники, вывороченные из мостовой, и нагромождает их для последней баррикады... Потом этот полноводный поток вертит мельничное колесо. То да се, то да се, с сонным плеском бьют лопасти по воде. Да и что может говорить мельница, как не избитые фразы? Но поток течет дальше. Уже не так стремительно. Мельница мелет, мельник живет не тужит. Время от времени поток вспоминает, что когда-то он низвергался с гор. Он устал: быть водопадом утомительно. Лишь раз в год, когда тают снега, он вновь обретает мужскую силу и дерзость и, наглый красавец, не сомневается, что снега тают от любви к нему. Но очень скоро он опять забывает, что низвергался с гор. Теперь он развлекает служащего, который проводит уик-энд за рыбной ловлей. Он краснобайствует на плоской равнине и предает свои сокровища, даря форели воскресному рыболову. Ему уже ничего нельзя доверить. И его уже можно перейти вброд. Потом он находит прибежище в тихой заводи абстракций и вытекает из нее благодушным ручейком общих мест. И вот уже нет и в помине никакого потока. Просто человек помочился. Приятно после кофе за рюмкой ликера поговорить о высоких материях.

Мать Саида не решилась принять участие в споре. Она хорошо относилась к своему зятю и, зная, что он обидчив, поостереглась поддержать Саида, который сказал:

— Ты ошибаешься, это не так скоро кончится...

Шериф был по-прежнему настроен скептически. Быть может, в такого рода скептицизме и заключается самая примечательная особенность того землетрясения, всколыхнувшего судьбы людей, которое началось в ноябре 1954 года. Отрицать очевидность — значит продлевать свой сладкий сон, пытаться любой ценой сохранить свое блаженство. Свет не отделим от теней. Шериф был тенью, в которой гаснет всякая ясность. Но он с разлагающим комфортом расположился на лоне привычки. Он привык к тому, что Алжир — это три департамента Франции. Он никогда не страдал. История беспокоила его, раздражала, как авантюра. Есть слова, которые не решаешься произнести, не решаешься написать. Нас удерживает от этого какой-то стыд, какая-то щепетильность. Не поворачивается язык, не поднимается рука. Например, слово «изменник». Где начинается и где кончается измена? Вступают ли на путь измены лишь тогда, когда отказываются примкнуть к своему народу, который ведет войну, или предлагают свое сотрудничество врагу? Не коварнее ли измена, не закрадывается ли она исподволь в нашу душу? Кроется ли измена в эгоизме, в сознательном и преднамеренном саботаже или уже в сомнении, в дурном, худосочном сомнении, цепком и неподатливом, как пятно ржавчины? Изменять — значит сомневаться в истине других.

Саид продолжал:

— Конечно, ты этого не ожидал. Ты не ожидал, что когда-нибудь поставят под вопрос всемогущество богов...

В его голосе не слышалось ни энтузиазма, ни горечи, ни одобрения, ни порицания. Он просто констатировал факт. У него в голове вертелась фраза, как сноп света от фонаря, который поворачивают, чтобы отыскать нужную вещь: история бессердечна. Он не решился сказать ее вслух, уверенный в том, что она была бы не понята Шерифом, который наверняка увидел бы в ней лишний повод оплакивать эту войну.

Зулика дремала на коленях у бабушки.

Саид посмотрел на мать. Она никогда не была так красива. Взгляд ее черных, бархатных глаз был боязлив и трогателен, как цветок померанца. У нее были слегка впалые щеки, мягко очерченные губы, на которых всегда играла едва приметная улыбка, свойственная робким и сердечным людям, и маленький прямой лоб без единой морщинки. Судя по фотографиям, девушкой она была хорошенькая, очень хорошенькая. Теперь, мать и бабушка, она была красива — красива той сдержанной, не бьющей в глаза красотой, которой так подходит молчание и созерцание. Седые волосы, не порыжевшие от хны, лишь молодили ее. Только руки выдавали ее возраст. По рукам читают не будущее.

— Впрочем, это пустой разговор. Я бы много дал за то, чтобы быть на ее месте,— сказал Саид, показывая на племянницу, которая во сне навивала свои кудряшки на мизинчик, казалось выточенный из слоновой кости. По словам ее бабушки, Бузид делал то же самое, когда был маленьким.

Услышав имя шурина, Шериф придал лицу удрученное выражение.

— Бедный Бузид!..

Вздох, способный растрогать даже чрезвычайный закон, действующий во имя умиротворения, прозвучал так, словно звякнула погремушка, спрятанная в груди у Шерифа.

— Почему бедный? — громко спросил Саид, и его голос разбудил девочку.

Зулика заплакала. Маленькие дети всегда плачут, когда их будят. И всегда кажется, будто они видели один из тех снов, которые придают их личикам такое умиротворенное выражение и вызывают у них такую пленительную улыбку. Знаете, ту улыбку, которая уж конечно предназначается не людям...

Шериф заговорил, подыскивая слова:

— Твой брат был слишком откровенен. Он забывал об осторожности. Он слишком афишировал свои взгляды. Я ему часто говорил...

Так и есть! Поток становился пророком. Это было пи-пи в квадрате. Саид решил, что лучше кончить на этом разговор. Во всяком случае, не продолжать его на такой волне. Поток по дешевке продавал форель и советы.

Зулика, забыв про своих ангелов, пила молоко. Между двумя глотками она рассказывала тысячу запутанных, бессвязных и невразумительных историй. Но это была музыка.

Фадила, жена Бузида, уходившая навестить родителей Малики, вернулась вместе с ней. При виде Саида она почувствовала своего рода горькую радость — так он был похож на ее мужа. Но ее близорукие глаза не выдали этого. Саид заметил, что у невестки не накрашены губы. Что касается Малики, то она просто спросила:

— Как поживаешь, все в порядке?

Чувствовалось, что эта словесная мелочь в ее устах — полновесные монеты. Саид не решился посмотреть ей в глаза. Он избегал смотреть ей в глаза, испытывая какую-то неловкость, потому что однажды она призналась ему: «Я полюбила тебя, когда была еще совсем маленькой».

Абрикосовое дерево, которое росло посреди сада, не выдержало последних заморозков. Бедняга! Этому дереву было верных лет тридцать. Никто его не сажал, никто за ним не ухаживал. Оно выросло среди детей, которые рвали с него еще зеленые абрикосы и согнули его сучья, привязывая к ним веревки самодельных качелей. Срубленное, с беспорядочно торчащими, обломанными ветвями, оно походило на искалеченного паяца. Было грустно видеть его мертвым, но зато радовал взгляд пейзаж, которым столько лет мешало любоваться это дерево. Теперь с террасы и из окон второго этажа был виден весь город до самой цепи холмов, между которыми на западе пролегла дорога на Сетиф. Саид надел старые брюки и старую куртку и с увлечением, свойственным людям, для которых такая работа не является постоянным занятием, принялся пилить. Физическое напряжение занимало его ум. Он пилил и не думал ни о чем другом. Птичий двор с курятником, который соорудил Бузид, взбудораженный визгом пилы, гомонил, как средиземноморский рынок. На аллеях собранный в кучи снег еще не растаял. Воздух был сухой и бодрящий. В небе со свистом проносились реактивные самолеты.

К Саиду подошел Шериф. Саид почувствовал, что зять хочет заговорить с ним, и ждал, продолжая пилить. Шериф переминался с ноги на ногу, внезапно охваченный той странной робостью, которая иногда нападает на людей, когда они хотят раскрыть душу тем, кто моложе их.

— Я хотел бы сказать тебе...— начал Шериф торжественным тоном. Саид не любил ничего торжественного, ничего приподнятого. Быть может, из стыдливости. Как ни странно, легче выслушивать излияния чужого человека, чем кого-нибудь из близких. Он предложил:

— Пойдем в новую прачечную...

Новая прачечная была вовсе не местом, где стирают. Так дети почему-то всегда называли сарай, куда складывали дрова и всякие ненужные, заржавевшие вещи, которые, тем не менее, не выбрасывали: старую велосипедную раму, колесо от тачки, пришедшие в негодность инструменты, развалившуюся детскую коляску, продавленный канун и так далее. Мать Саида любила все сохранять. Не то чтобы она думала, что этот хлам еще может пригодиться, или видела в нем материальную ценность — меньше всего на свете. Она берегла его именно потому, что эта велосипедная рама была от первого велосипеда Бузида, что на этом старом кануне Лейла, когда была девочкой, пыталась, как мать, печь лепешки, что этим колесом от тачки играл Саид, именно потому, что в каждом доме, где слышался плач и смех, есть чудное и сказочное, ненужное и священное место, напоминающее музей — музей, полный добродушия и ревниво охраняемый памятью и паутиной...

— Я приходил сюда курить свои первые сигареты тайком от отца.

Шериф не ответил. По всей видимости, он думал совсем не о своих первых сигаретах.

Саид сел на столетний сундук. Что до его зятя, то он предпочел прислониться к стене под полкой со старыми книгами, изглоданными мышами, и итальянской военной каской, которую Бузид привез из тунисской кампании.

В этом музее семьи Бельхасан, среди теней детских игр и обломков юности, среди пыли и воспоминаний, сданных в архив времени, Шериф рассказал длинную историю:

— Твоя сестра перестала разговаривать со мной...

В этой истории шла речь об отъезде во Францию, об отказе Лейлы ехать с мужем, о том, что сложилось невыносимое положение.

Саид не перебивал Шерифа и не задавал ему вопросов.

— ...Она не хочет ехать со мной. Но нам здесь больше нечего

делать. Я объяснял ей, что при моем послужном списке я легко могу получить перевод. Там, по крайней мере, можно было бы жить спокойно...

«Там» означало во Франции.

«Здесь» — в чужой стране.

Саид слушал. Не очень внимательно. С пятого на десятое. Краем уха. Из потока сетований всплыло:

— ...Это не жизнь...

Шериф повторил:

— Это не жизнь. А с другой стороны, я люблю твою сестру.

Саид по-прежнему ничего не отвечал. Он смотрел на старые вещи, которыми играл в детстве, на колесо от тачки, на велосипедную раму, на военную каску...

— Мне неловко тебе это говорить, но я люблю твою сестру.

И все тот же лейтмотив: нет, это не жизнь... Конечно!..

Саид улыбался — самому себе, старому кануну, колесу от тачки, всем этим вещам, которые были общими у него с сестрой и с Бузидом и в которых Шериф видел всего лишь старую рухлядь. Саид был рад, что сестра отказывалась уехать. Во всяком отъезде всегда есть что-то похожее на бегство, что-то похожее на дезертирство. И, отказываясь уехать, Лейла проявляла свою привязанность, в некотором роде кровную привязанность к этому старому колесу от тачки, к этому старому кануну, к этим старым книгам. Она оставалась верна светлой музыке детства, сотканной из звонкого смеха и жужжания пчел. Она оставалась верна той робкой ноябрьской заре, которая в одно прекрасное утро занялась над Алжиром. Она оставалась верна этим паукам, охраняющим, как часовые, любовь и тишину. Она была такая же, как другие. Она была вместе с другими. Саида охватило чувство огромной благодарности и необычайной гордости. Только крысы покидают корабль перед бурей. Но молодой экипаж каравеллы, озаренной восходом, никогда не пугали тучи.

Что же ответить такому человеку, как Шериф? Что сказать ему, чтобы он понял? Они говорили на разных языках. Для Шерифа это были бы только слова, все было бы только слова.

Саид мог бы сказать ему:

— Но твоя жена права.

Саид мог бы сказать ему:

— Глупо умереть так далеко от своей могилы.

Саид мог бы сказать ему:

— Бедняга, ты похож на это абрикосовое дерево, которое видно из окошка прачечной. Ты мертв. Но в то время, как дерево стало дровами в конце зимы, ты в самом начале весны бесповоротно обрекаешь себя на пожизненную осень. Абрикосовое дерево дало людям свои плоды. На нем качались дети. Оно слышало смех и песни. Теперь оно даст дрова. И будущей зимой, когда они затрещат в камине, из его высохших соков вместе с пламенем родятся воспоминания. Абрикосовое дерево в некотором роде выполнило свою миссию. Но ты, Шериф, бедняга Шериф, на что ты годишься, какой след ты оставишь в жизни, если при первых порывах ветра ты улетаешь, как опавший лист, не вызывая, в отличие от него, ни тихой грусти, ни надежды на обновление? Ты уедешь в края, где «люди спят и видят сны». Да, ты обречен на пожизненную осень. Эта велосипедная рама, это колесо от тачки, эти пауки, что ткут воспоминания, этот кувшин из-под оливкового масла и это старье, завалявшееся в сердце и в уме, все эти сокровища — а они остаются сокровищами для детей и для взрослых — тебе ничего не говорят.

Но что мог сказать Саид своему зятю, раз Шериф не понимал языка абрикосовых деревьев, пауков и старых велосипедных рам?

Было воскресенье. Муниципальный стадион напротив кладбища был переполнен. В ушах звенело от криков браво и ободряющих возгласов. Казалось, даже деревья рукоплещут подвигам мирных воителей. Голоса спортсменов сливались с голосами зрителей, и этот веселый праздничный шум доносился до могил кладбища в Экс-ан-Прованс.

День был синий, как на картине Сезанна.

Саид сразу нашел могилу Люсии. На стелу взобрались две улитки. Могила была опрятная, как детский воротничок, чистая, как развешанное для просушки белье, хлопающее на ветру. Как раз поднялся мистраль. Саид с удивлением смотрел перед собой, не в силах понять эту могилу, как он был не в силах понять там, в Константине, в городской клинике, что Люсия мертва.

Он снял со стелы маленькую улитку и подержал ее на ладони. Эта маленькая улитка была вроде бога, который возвращается в свой храм, вроде человека, который уходит в себя. Эта маленькая улитка была возвышеннее и священнее надгробья, дороже всякой драгоценности, ибо она решила провести зиму возле Люсии.

В каких-нибудь двадцати метрах от кладбища, на муниципальном стадионе, орали громкоговорители: сообщались результаты встречи, гремели аплодисменты. Публика громко радовалась, и радость уносилась в синее небо. Все кричали, аплодировали, пели. Это был фестиваль жизни. И мистраль был доволен. И равнина была довольна. С вершин холмов аплодировали каштаны.

А в каких-нибудь двадцати метрах от шумной толпы, громкоговорителей, улыбающихся спортсменов были только Саид и Люсия. Саид и Люсия в нескончаемом tête-à-tête воспоминаний и раздумий. Саид походил на кипарис.

Произошла невероятная вещь. Маленькая улитка разбила свой иллюминатор и двинулась навстречу весне. Она пускала слюну. На ладони Саида ее слюна казалась слезой, которую Люсия подарила этому воскресному дню синее синего неба Сезанна.

У Саида дрожали колени.

— Знаешь, Люсия, в моей стране есть огромные равнины без единого селения, они тянутся, как нескончаемая фраза без запятой. Алжир — это прямоугольник, вписанный в беспредельный простор. Здесь передо мною совсем маленький прямоугольник, всего только белый камень, но это тоже бесконечность. И ты спишь, Люсия, в постели из земли и камней, такой же большой, как моя страна...— Саид был там, в Алжире, перед его взором простирались равнины его родины, а Люсия спала здесь. Здесь, рядом с этим радостным воскресеньем, за рамкой картины Сезанна, возле жизни. Здесь, где сражаются на футбольном поле, защищая честь своей команды, как там сражаются на поле битвы, защищая свое возрожденное знамя.— А ты спишь в своей одинокой могиле среди других таких же одиноких могил. Но твой сон разбудил меня, и я хочу отомстить за эту шальную пулю, которая отняла тебя у меня, отомстить за эту войну, которая лишила меня мира.

К Саиду подошел кладбищенский сторож и сказал ему, что неприлично садиться на могилу. Что может понимать кладбищенский сторож в диалогах, которые ведутся в глубочайшем одиночестве? И потом, это было нескромно с его стороны. Он не должен был вмешиваться в разговор Люсии и Саида. Саид действительно сидел у самой головы Люсии. Он извинился, и инцидент был исчерпан.

У живых есть правила вежливости, но у мертвых больше житейской мудрости.

Саид положил улитку на землю, и удивленная новизной своего положения, едва веря тому, что осталась жива, улитка поползла — маленькое непритязательное суденышко без буссоли, безмолвно внимающее своему вечному инстинкту...

— Неужели это Люсия спит здесь, в нескольких метрах подо мной? Неужели это Люсию промерзлая земля всю зиму сжимала в своих ледяных объятиях? До чего же мертвым, должно быть, холодно.

Мистраль доносил крики браво. Мистраль гнал облака.

— До свидания, Люсия,— сказал Саид.

Маленькая улитка ушла в свой храм.

В горе малейший луч солнца кажется издевкой, а в это воскресенье солнце в Экс-ан-Прованс было особенно наглым. Бульвар Мирабо плел кружева из теней, которые отбрасывали на аллеи кроны деревьев. Фонтаны слагали песни. Студенты ухаживали за студентками. Все что-нибудь делали, и Саид тоже: он совершал паломничество.

Идя по улице, Саид спрашивал себя, действительно ли он любит, еще любит Люсию. Саид никогда не любил Люсию, никогда не любил мать, никогда не любил солнце или своих племянниц, или хлеб, или нищего, который бредет по улицам арабских кварталов. Он не понимал этого глагола, приправленного метафизикой. Но Саиду были необходимы для жизни кусок хлеба и нищий, солнце и мать, улитки и Люсия.

На площади Ротонды три грации танцевали под дождем света. И солнце было здесь уже не просто вызывающим, не просто синим — почему это говорят, будто солнце желтое? — оно сияло с необузданностью, способной опьянить Ван Гога. Солнце было радостное, ликующее, и каким бы циничным это ни показалось, Саид отдал себе отчет в своем огромном желании жить. Когда вянет цветок, вас охватывает грусть, но при мысли о весне вы забываете об осени. Вы не забываете об увядшем цветке, и тем не менее...

Но люди, подобные Саиду, всегда испытывают такое чувство, будто совершают гнусный адюльтер, когда это желание жить берет их за горло, в котором комом застряли невыплаканные слезы.

Но если день такой погожий, если небо такое синее, если ротонда кажется сошедшей с почтовой открытки, если девушки красивы, а голуби грациозны, если платаны греются на солнышке, как пенсионеры, которые сидят на скамейках Большого бульвара, если на Седьмой национальной улыбается чуть не каждый встречный, если бьет ключом жизнь, боже мой, жизнь!..

Нет.

Совсем рядом Люсия, которая спит возле маленькой улитки. Неужели у Саида память короче, чем у улитки?..

Саид подумал, что, должно быть, слишком много думал. Он уже опаздывал. Его ждали родители Люсии.

В старом городе Экс-ан-Прованс много выходцев из Северной Африки. Когда глядишь на ребятишек с живыми черными глазами, играющих в канавах, куда выливают помои, кажется, будто ты в Алжире. Напротив библиотеки Механ на площади Мэрии часто сидят арабы на ограде фонтана рядом с доверчивыми голубями, которые, быть может, чуют в этих людях пришельцев из тех краев, куда каждый год улетают их сестры-ласточки. Одни из них работают на шахтах Гардан, другие на плотине, а остальные по большей части заняты в строительстве. В Экс-

ан-Прованс, в отличие от других мест, они живут со своими семьями. И порою прохожих заставляет оборачиваться широкое пестрое платье берберки или белый тюрбан старого изгнанника, так и не согласившегося носить кепку или ходить с непокрытой головой. Саиду было тяжело видеть этих сирот, лишившихся матери-родины. Ему было тяжело видеть их галстуки, тщательно завязанные с претензией на элегантность слишком широким или слишком маленьким узлом. Ему было тяжело видеть, как они, слегка сутулясь, прогуливаются по двое и, увлеченные нескончаемым спором, все убыстряют шаги, будто спешат куда-то — сами не знают куда. Жертвы кораблекрушения, выброшенные на чужой берег, где их встречает всеобщая враждебность или равнодушие... Ночью на улицах ни души: что вы хотите, никому не охота получить удар ножом. Эти негодяи нападают на такси. Проклятые арабы. Каторжники. Отребье... Есть нечто героическое в том, что они остаются здесь. Они живут — это только так говорится — у тех, кто их презирает. У тех, кто их чурается. Поэтому они живут — это только так говорится — в своем кругу, особняком. Все они несут один и тот же груз несчастья. Вырванные из родной почвы, пересаженные, они живут. Но это только так говорится. И ничто здесь так не хватает за душу, как гандура или тюрбан, которые иногда попадаются на глаза. Нужно спасать все, что можно. И если в произношении ребятишек, пускающих кораблики в ручейке на улице Кардер, и слышится провансальский акцент, то все же говорят они по-арабски. В Экс-ан-Прованс, как и в любом другом месте, все та же песня. Светит ли холодная луна или яркое солнце, все равно, алжирцы — это проблема.

Саид чувствовал себя неловко, встречая североафриканцев, потому что был не так несчастен, как они, не так уязвим, как они. Потому что они не были под своим небом, в тени своих деревьев, на своей земле. Они были не у себя, где, бывало, располагались со своей детворой вокруг колченогой скамьи на краю тротуара. Они были не в Константине, Тлемсене, Калле или Оране. Они были у тех, кто соглашался их терпеть, если они будут держаться так, чтобы их не замечали. Но возможно ли, чтобы североафриканец оставался незамеченным во Франции, в Швейцарии или на луне? Может ли оставаться незамеченным несчастье?

Но вы, Саид, не такой, как другие. С вами можно беседовать. Вас можно приглашать к себе. С вами можно говорить о Рене Шаре или Бетховене. Вы не такой, как другие. К вам обращаются на вы. При виде вас не строят пренебрежительной гримасы и не испытывают безотчетного страха. С вами можно ладить.

Ошибаетесь! Я такой же, как другие, и мои дипломы ничего не прибавляют и ничего не отнимают. Я такой же, как другие, где бы они ни были — на улице ли Кордильер или на площади Сен-Мишель, в Вогезах или в Сент-Этьене. Я такой же, как другие, я вместе с другими. Я понимаю их, когда они сдабривают слезами свой хлеб и когда они берутся за ружье. Я называю свою мать так же, как они называют свою. Я целую своих детей, как они целуют своих. Я боюсь облавы, как они боятся облав. Я такой же, как другие. Все меня связывает с ними, все меня делает не отделимым от них. Только с ними я и могу быть самим собой. Так дерево принадлежит лесу, так нота принадлежит симфонии. Только мои меня понимают, и только их я действительно могу понять.

Ах, эти спокойные, слегка скептические лица с притаившейся во взгляде беззлобной иронией, эти смуглые лица, вечно юные, как плоды, до времени упавшие с дерева, которое в один прекрасный ноябрьский день решило расцвести... Лица, на которые смотрят искоса, подозрительно, как иные смотрят на все, что незнакомо, с затаенным желанием оправдать свою лень, невежество и черствость. Так избегают смотреть в глаза жертве.

Родители Люсии жили на улице Вандом, напротив Бань Секстиуса. Это узкая и тихая улица, за которой надзирают старые каштаны. Улица, ломающая голову над вопросом, что за человек проходит мимо ее облинявших ставен. Улица, гадающая, что мог принести почтальон в соседний дом. Улица под стать добрым французам, славным старикам, которых она сейчас обнаружит у себя, как еще одну морщину.

Родители Люсии были пробки, плывущие по реке. Пробки милые, сердечные, мягкие, как сердцевина пробкового дуба, пробки, имеющие тысячу оправданий, но все-таки пробки. Просто-напросто пробки, которые существуют только для того, чтобы закупоривать бутылку. Очень трудно объясняться с людьми, безобидными, как пробка, несчастными, как разбитая бутылка. Очень больно, очень грустно что бы то ни было объяснить людям, не понимающим, почему они несчастны, людям, которые говорят о тифе и не знают, что такое вошь. Очень трудно объяснить им, почему такая девушка, как Люсия, погибла от шальной пули, настигшей ее на улице Константины, почему нет мира, почему люди не братья. Очень трудно, тягостно, нудно, мучительно и совершенно бесполезно объясняться с пробками, которые понимают только язык пробок и у которых сердце мягкое, как сердцевина пробкового дуба.

Саид сразу почувствовал это. Он имел дело со славными людьми, вполне приличными людьми, которые по воскресеньям уезжают за город, где у них есть свой домик: эти люди верят в воскресенье. С людьми, которые считают, что каждый должен оставаться у себя дома. С людьми, которые знают, что воскресенье бывает раз в неделю — в этот день едят кролика, а Новый год раз в год — в этот день отдают визиты соседям. С очень милыми и вполне порядочными людьми, закосневшими в своей морали и в своих привычках, людьми, для которых облако пыли на дороге может означать только, что мчится автомобиль.

Такие люди вас усыпляют, если вы слишком внимательно слушаете их нескончаемые излияния — мурлыканье их сердца.

Отец Люсии не мог опомниться от удивления. Он уже принял мэра, уже принял журналистов, мелких журналистов, еще не набивших руку. Он даже прочел в провинциальной газетке, одной из тех газеток, которые барахтаются в луже республиканской фразеологии, что Люсия была убита террористами, и даже купил несколько номеров этой газеты. Конечно, куда более романтично и эффектно умереть от пули, чем от грудной жабы. Это обогащает местный фольклор.

Обед был долгий, утомительный, и Саиду, который не мог похвастаться аппетитом, пришлось переварить немало вечных истин, всхлипываний и своих собственных комплиментов и соболезнований.

В глубине столовой, неуютной, унылой комнаты с низким потолком, стояло безукоризненно натертое старое пианино, а на нем увядающие цветы и фотографии Люсии в купальном костюме на палубе яхты. Был здесь еще календарь, был и барометр, который ничего не показывал, ни хорошую, ни плохую погоду, и скучал, безвольно застыв в нерешительности. На стене висел почетный диплом за беспорочную службу. В комнате царили скрупулезный порядок и чистота, как это бывает обычно в тесных квартирках провинциальных служащих средней руки. Сквозь узкие окна пробивался солнечный свет. С безмерным удивлением Саид себя спрашивал:

«Так, значит, здесь жила Люсия? Здесь она выросла? Здесь она полюбила Ронсара, или Бомарше, или Мариво, а позже Стендаля или Пеги? Значит, здесь она учила уроки и говорила: «Я ухожу в лицей»?

Саид был неуместен в этой комнате, как нелепый, громоздкий буфет, который может испортить какой угодно обед, когда подумаешь, сколько деревьев надо было срубить, чтобы изготовить эту махину. Но можно ли есть с аппетитом, когда твой визави — воспоминание?

— ...И славная девушка, сударь, можете мне поверить. В семнадцать лет она уже была бакалавром, а никогда не брала частных уроков. Всегда работала сама, без посторонней помощи. Она получала награды по всем предметам, не то что Жан-Франсуа. Жан-Франсуа неглуп, но занятия его не интересовали. Как вы находите кролика?.. Они у нас почти все перемерли от миксоматоза... Славная девушка, можете мне поверить...

К счастью, на подоконнике стояла банка с красной рыбкой. Красная рыбка кружилась, кружилась, как мысли Саида....

Жан-Франсуа как раз прислал на этих днях открытку из Алжира.

— Какое несчастье,— сказал отец,— он тоже уехал туда. Его призвали.

«Его призвали». Стыдливость и скромность среднего француза, прибегающего к этой грамматической форме, когда ему нужно упомянуть о роке или о государстве, поистине великолепны. Мехтуб * пробок обозначается безличным оборотом.

«Жан-Франсуа, двадцати одного года, печатник»,— значилось в списке личного состава. В этом не был повинен бог. В этом не был повинен и Саид. В этом не были повинны ни папа Жана-Франсуа, ни его мама, ни его гороскоп, ни Люсия в купальном костюме, стоявшая на палубе яхты.

В этом не был повинен никто. Хотя...

Если Жан-Франсуа находился «там», то в этом не были повинны платаны. В этом не было повинно небо, не была повинна давешняя игра в футбол, не был повинен кролик, который ел богородичную травку, а кончил тем, что превратился в рагу.

Как же мог говорить Саид, когда даже красные рыбки, которые кружатся в банке на подоконнике над тихой улицей провинциального городка, более разговорчивы, более спокойны, чем алжирец, хотевший строить мосты, мосты и мосты.

После обеда Саид извинился и ушел. В Экс-ан-Прованс он в большей мере, чем в Константине, испытывал потребность побыть с самим собою, на улице.

Люди никогда не умирают ради чего-нибудь, говорил себе Саид, глядя на фонтаны, бормочущие молитвы. У него было такое чувство, будто он, будто его костяк бродит в каком-то странном лесу. Он больше не понимал слов. Он больше не понимал людей. Он знал только, что черная ночь окутала мир, окутала звезды и его самого. Он знал только, что что-то меняется, что-то надвигается на него и на других. Что-то страшное, неотвратимое. И это что-то придется признать, принять, даже если в глубине души таится смутная тоска о прошлом.

Саид вошел в маленькое бистро с вывеской «У Жаннеты». Это был ночной кабачок с низким потолком, который рассекали на полосы грубо отесанные деревянные балки, со множеством ламп и флажков, вставленных в горлышки бутылок. Стойка была грязноватая, официанты подозрительные, посетители еще более подозрительные. Саид взобрался на высокий табурет. В углу зала проигрыватель разматывал ржавые мелодии. На краю стойки храпел пьяница.

Расположившись за столиком под безвкусным кузнечиком из керамики, пара влюбленных, пара любовников — словом, пара в предвкушении постели — целовалась без поцелуев, взасос, с животной жадностью, как обжора поглощает пирожные. Они целовались так, как будто были одни на свете, и, должно быть, они в самом деле были одни на свете,

---

* Судьба, рок (*арабск.*).

потому что, повинуясь инстинкту, не испытывали никакого стыда, никакой неловкости. Пьяница храпел во все горло. Слова плясали в голове у Саида. Слова, фразы, мысли. Любовники целовались. Пьяница храпел. Этому не было конца. Время танцевало сумасшедшую, дурацкую, нелепую, ни с чем несообразную сарабанду из непонятных, но потрясающих ситуаций. Таких ситуаций и стечений обстоятельств, на которые вы случайно наталкиваетесь, как случайно попадаете на ту или иную картину, когда идете в кино, чтобы убить вечер.

На соседнем табурете сидел худой человек с угловатым, треугольным лицом, темными волосами, черными, как уголь, глазами, и смеющимся ртом. Это был художник, который прежде пользовался известным успехом, а теперь пил. Художник повернулся к Саиду. Он повернулся к Саиду, которого видел первый раз в жизни, и с той короткостью, той фамильярностью, которую часто вызывает алкоголь, сказал ему: «Ну и сволочная штука!» Он не знал, что думает Саид, а Саид не знал, о чем думает он, потому что художник не пояснил, что именно — «сволочная штука». Он просто сказал «сволочная штука». Но бывает, при случайной встрече устанавливается взаимное понимание, возникает симпатия, рождается дружеское чувство к странному типу, сидящему, как и вы, на высоком табурете в старом ночном кабачке с вывеской «У Жаннеты». Это случается в Эксе, а впрочем, и где угодно, в тот поздний час, около полуночи, когда люди, которые уже не в силах что-либо понять, не в силах размышлять, заказав двойной рикар, принимаются думать вслух...

Художник наклонился к Саиду. От него пахло белым вином. Саид нашел, что он красив, что у него лицо героя Достоевского, что он драматичен. Драматичен без театральности: когда он говорил, чувствовалось, что он не фальшивит, что он говорит то, что думает, не добиваясь, чтобы его поняли, не дожидаясь одобрения, не нуждаясь в репликах. Исповедание веры — всегда монолог. Есть люди, которые отводят душу, разговаривая с первым встречным в провинциальном кафе, как раньше паровозы свистели, выпуская пар, когда манометр показывал слишком высокое давление.

— Вы женаты? — неизвестно почему спросил художник.

Саид пил третий стакан рикара.

— Я не женат, я мертв.

Художник расхохотался.

— Вы и вправду выглядите мертвецом!..

Саид не обиделся.

— А вы женаты?

— Хуже. Я вдовец. Я похоронил мои двадцать лет. Я похоронил мой талант.

Кажется, он ударился в лирику! Может быть, это был художник, может быть, собака, может быть, призрак, может быть, пластинка с лицом человека, случайно разбуженная иголкой и вдруг заигравшая для призрачного слушателя.

Может быть, это бредила память: «Я вдовец, я лишился звезд, я лишился всего, что прежде не вызывало у меня отвращения. Для меня нет больше Сопротивления, нет больше героев и подлецов, нет улицы, нет тротуаров. Я вдовец!..»

— Гарсон, стакан сухого белого вина...

Я вдовец, говорил он, и похож на пловца, который задыхается, со своего рода мазохизмом погружаясь в стихию, чтобы снова и снова исследовать ее.

Он залпом осушил свой стакан. Его губы скривились в улыбке отвращения, характерной для пьяниц, которые, опустошив свой стакан, смотрят на него с таким видом, словно упрекают его за то, что он им понадобился.

В Саиде дремал романист, сердцевед. Он интересовался вещами, которые обычно не интересуют никого, кроме главных заинтересованных лиц. Это был родственный эклектизму всеядный интерес к людям и ко всему человеческому, который в отличие от холодного любопытства питался не презрением, а молчаливой солидарностью со всеми теми, кто лишился улыбки, платана, Люсии, газели или звезды.

Без всякого перехода художник сказал:

— Вы смахиваете на североафриканца. Здесь вас не любят!

Саид ничего не ответил, и художник продолжал:

— Они вас не любят, потому что они сволочи. Такие же, как она. Она не любила меня, потому что это была сволочь. Раньше у меня был талант, я работал, выставлял свои картины. У меня даже где-то есть одобрительное письмо Матисса. Но эта сволочь ушла от меня, и вдобавок с нотариусом! Такой же сволочью, как и она. Ушла, потому что у него были деньги. А теперь и я, в свою очередь, становлюсь сволочью. Я сказал вам, что я вдовец, потому что мне стыдно признаться, что я рогач, но рогач и вдовец — это одно и то же.

Влюбленные все целовались. Пьяница все храпел. Официанты продолжали подавать вино. Дежурный шпик зевал.

— ...Я знал североафриканцев, которые не были подлецами,— сказал художник.

Саид рассмеялся.

— А я знал североафриканцев, которые были подлецами.

Уму непостижимо, почему в присутствии иностранца люди считают себя обязанными восхвалять его народ, горы, равнины, музыку, традиции его родины. Или просто-напросто кускус и мятный чай...

Вдруг Саид встретился взглядом с Саидом в зеркале, которое разбивали на осколки бутылки и флажки. Саид сидел посреди бутылок чинзано, бутылок вьейкюр, мартини и перно. И все флажки сердились. И все флажки походили на уныло опущенные веки человека, обманутого в своих ожиданиях. Но вот в разбитом зеркале показалось удивительно спокойное лицо Люсии. Оно смотрело на Саида сверху вниз, как смотрит на вас дерево, вознесшее в небо свою крону, и говорило: «Я не согласна!»

«Я пьян»,— подумал Саид. На самом деле он не был пьян. Напротив, он достиг высшей ясности мысли, предельной остроты понимания. И среди бутылок, среди плачущих флажков была именно Люсия. На него смотрела именно Люсия. И именно Саид сидел рядом с этим художником, вдовцом и рогоносцем, когда-то получившим письмо от Матисса, в котором тот советовал ему продолжать в том же духе. Но художники во власти вдовства и рогства. Улитки во власти солнца. Странно, грибам нужен дождь. Улитки боятся солнца. Странно. Порою все не вяжется. Художник не пишет и становится поэтом, инженер строит мост, который должен быть взорван, флажки скучают в горлышках бутылок... Бутылки не место для флажков. Просто невероятно, как много можно заметить, когда ты пьян. Странно. Все так же странно, как несчастье. Нет ничего более удивительного, нелепого и несообразного, чем несчастье. Несчастье не человечно. Несчастье не под стать человеку. Несчастье это нонсенс.

— ...Я художник. А вы чем занимаетесь? Что вы делаете в жизни?

Был поздний час — классическое время излияний. Саид помедлил, прежде чем ответить.

— Что я делаю в жизни? Я ничего не делаю. И мне это опостылело.

— Я тоже ничего не делаю,— сказал художник.— Я смотрю... Люди, у которых нет таланта, выходят на балкон и смотрят на людей, которые

проходят по улице. Я похож на коров: смотрю на проходящий поезд, поезд, который едет без меня. Я только и годен на то, чтобы смотреть, иначе говоря, ни на что не годен...

Вот так и ты — смотришь. Скучаешь. До умопомрачения пережевываешь все эти истины, которые ты накапливаешь. Накапливаешь, но не изменяешь, не улучшаешь, не преобразуешь, не перекраиваешь по мерке людей, которые в отличие от тебя что-нибудь делают.

Ты обманываешь, обманываешь себя самого — на это и уходит твоя жизнь. Ты стоишь на балконе и смотришь на улицу. По улице едут машины, и в машинах живые люди, а ты остаешься на балконе. У тебя нет даже того оправдания, которое имеет астроном, наблюдающий за звездой, чтобы создать систему, расширить кругозор, раздвинуть горизонт. Ты смотришь, слушаешь, примечаешь, но на этом все и кончается. Ты ничего не делаешь. Ты ничего не делаешь, и это сближает тебя с мертвецами.

Художник сказал:

— Ничего не делать — это и есть несчастье.

8

Саиду незачем было задерживаться в Провансе. Вскоре он сел на пароход, чтобы отправиться в обратный путь.

В тот вечер на набережной не было никого, кроме ледащей собаки. Вид у нее был какой-то унылый, больной. Может быть, оттого, что ее бросил хозяин, может быть, от скуки. А может, из-за кости, которая ей не досталась. Пароход был черный и пахнул мазутом. Это была старая калоша, на которой раньше перевозили овец. Назывался он «Джебель-Орес». Саид смотрел на огни, которые тонули в черной воде и плавали над грязным портом, как ослизлые кувшинки, неподвижные и безучастные. Облокотясь на релинг, Саид смотрел на город, который смотрел на мир миллионами взглядов. Саид смотрел на город, который он покидал, на этот чудовищный пах Франции — Марсель.

Потом, когда судно задрожало, казалось, в каком-то тревожном порыве, будто охваченное нервным возбуждением перед попыткой взять незримый барьер, Саид понял, что не пароход отдаляет его от этих миллионов взглядов, не пароход увозит его из Прованса, а он сам порывает с этой землей.

Однако и теперь Люсия была с ним. Он чувствовал трепет ее жизни в каждом своем ощущении, барабанил ли он пальцами по перилам, дрожали ли у него неприметно колени. Люсия была во всем — и в морском бризе, увлажнявшем его волосы, и в слезах, которые навертывались ему на глаза — то ли от ветра, то ли от дыма сигареты, то ли из-за погубленной розы.

На баке, составив винтовки в козлы, расположились военные. Странное впечатление производят военные при оружии, расположившиеся на палубе корабля.

К счастью, ночь была чудная, а море ласковое. Такое море улыбается вам звездами, которые низвергаются сверху и извергаются снизу. Такое море дает вам почувствовать, что эта ночь в Лионском заливе лишь генеральная репетиция. Прелюдия к заре. Завтра солнце взойдет в Алжире.

А где та собака, у которой был такой унылый, больной вид — может быть, оттого, что ее бросил хозяин, а может, от скуки?

Когда судно отплыло, когда посудина стала кораблем, когда «Джебель-Орес» был уже далеко от французской земли и Саид отдал себе отчет в том, что теперь он сделал выбор — решил пристать к другому

берегу, когда посудина стала кораблем, Саид необъяснимым образом понял, почему у него, как у мальчугана, очень милого и очень несчастного мальчугана, глаза не совсем сухие.

Он долго смотрел на то, чего нельзя увидеть, нельзя услышать, нельзя разгадать. Он стоял на палубе маленького добросовестного суденышка, которое несло его навстречу его судьбе.

Могила Люсии была уже далеко, очень далеко. Самолет, взлетевший с аэродрома в Мариньяне, похожий на светлячка, подмигивал звездам желтыми и красными огоньками. Саид подумал, что, если бы он был летчиком, он мог бы облететь всю землю от полюса до полюса и сделать круг над кладбищем Экс-ан-Прованс — одним из полюсов его сердца. Он подумал, что, если бы он был летчиком, он мог бы полететь в Пекин или в Нью-Йорк. Но Саид не был летчиком. Он стоял один, совсем один на палубе маленького добросовестного суденышка.

Звук флейты донесся из глубины трюма — люк был у самых перил, на которые все еще облокачивался Саид. Звук флейты!.. Саид даже вздрогнул — звук флейты на море! Мы привыкли его слышать в полях. Звук флейты по естественной ассоциации мыслей вызывает в воображении стадо, пастуха, летние сумерки, мирную тишину. Но тут, в море, на волнах, над ненасытной пучиной, звук флейты кажется чем-то необычным — божественной музыкой, нежной и эфемерной, как крохотная роза на груди сказочного чудовища. Кстати, и море становилось чудовищным. Теперь оно отливало холодным блеском, как рыбья чешуя. Оно уже не улыбалось. Оно было мрачной тайной и западней.

Но на вершине мачты светилась красная звездочка и, колеблясь, иногда совмещалась с другой, настоящей, извечно неподвижной звездой, которая сияет в небе и в сердце какого-нибудь Саида.

Флейта рассказывала об Алжире, то была чистая мелодия, подслушанная у ветра, который гулял по плоскогорьям, куралесил на Ходне. Она рассказывала о Люсии, спавшей там, в Экс-ан-Прованс, она рассказывала о брате Люсии, Жане-Франсуа, воевавшем в стране Саида. Она говорила о нонсенсах и проблемах. Взгляд Саида тонул в двойной беспредельности — моря и жизни. Было маленькое суденышко, которое плыло себе да плыло своим путем, была улитка в своем храме на могиле. И, главное, была безмерная тишина на безмерном просторе. Кто был главным после бога или просто главным на борту? Уж не капитан ли со своим биноклем? Нет! От кого зависела его судьба? Кто решил думать правильно? Кто раз навсегда решил считать, что несчастье в том, чтобы ничего не делать? Кто был главным после бога или просто главным для людей и благодаря людям, как не тот, кто однажды вечером сел на маленькое суденышко, твердо решив быть капитаном своей судьбы, твердо решив что-то делать?

И Саид уже не был несчастен. Он предпочел это неоценимое счастье легко достижимому благополучию, он выбрал счастье, которое можно прочесть в глазах людей, чья совесть чиста. Саид был доволен.

В Экс-ан-Прованс он сказал художнику: «Я ничего не делаю». И художник ответил: «Это и есть несчастье».

Делать — это глагол, который следовало бы расцеловать в обе щеки, глагол, который следовало бы водрузить на постаменты будущих памятников. Делать...

Не делать для виду, не делать кое-что и кое-как, а делать по-настоящему, делать как следует, делать дело, делать погоду, хорошую погоду, черт возьми! Служить. Служить не так, как служит гарсон, который подает вам перно, а служить какому-то делу. Привести в реку маленькие притоки, ваши притоки, обогатить ее вашими мыслями, вашим потом, а если надо — и вашей кровью, чтобы в тот день, когда эта

река достигнет моря, она была бы достойна океана, была бы достойна безмерности всех океанов.

Теперь суденышко выписывало па румбы. Лионский залив нервничал, желая быть на высоте своей репутации. «Джебель-Орес» танцевал на волнах. Саид вдыхал морской воздух, пожирал глазами горизонт, пил безмерность океана. Его воля и жизнеспособность были под стать его решимости. Он возвращался в Алжир не для того, чтобы сесть на трамвай, купить газету, обнять свою мать. Он возвращался в Алжир, чтобы что-то делать. Одно из волшебств французского языка состоит в том, что глагол требует дополнения. И это знамение времени, что в Алжире алжирцу всегда есть что делать. И вот Саид уже не вбирал в себя море и горизонты, как ловит воздух человек, которому нечем дышать. Потому что в нем самом были море и горизонты. Потому что в нем самом была буря. Потому что в нем самом была ясность. Уже много лет назад Саид потерял себя из виду. Наконец он снова нашел себя. Он мог констатировать, что, как ни странно, он почти не изменился. Он спустился по лестнице в трюм. Послушал флейту. У возвращавшихся на родину североафриканских рабочих, которым удалось получить визу, были серьезные, строгие лица. Все хорошо пахло в этом трюме, загруженном людьми, которые, наверно, как и Саид, решили что-то делать.

Саид до поздней ночи оставался на палубе. Она была похожа на мост, а Саид любил стоять на мосту, будь он из камня, из стали или из дерева. Он слушал таинственный рокот моря, которое, как страстная куртизанка, обнимало корабль. В салоне первого класса слышалась музыка. Бал в открытом море. Пляска волн, пляска судна, пляска континентов и пляска мыслей в головах, окутанных любовным чадом, табачным дымом и парами алкоголя. Сарабанда рыб и подводных течений, вальс сердца, которое повторяет про себя историю одной любви.

Саид был один, совсем один, но он не был одинок, потому что сделал выбор. Он угадывал вокруг себя людей, как ощущал дуновение ветра. Его обнимала со всех сторон уже не пустота, а бесконечность.

Глядя на море, слушая его, вдыхая его запах, можно как нельзя лучше заниматься самоанализом. Чувствуя, как содрогается его чрево, неудержимо погружаешься в свое собственное истерзанное нутро. И тем не менее...

...Я хотел бы, Люсия, видеть тебя на розовом пляже, и улыбаться тебе, и разговаривать с чайками. Я хотел бы, Люсия, дурачиться на пляже, не строя любовных замков на песке. Или, дав выход своему романтизму, сесть в лодку и грести и грести, плыть по синему-синему морю под широким синим-синим небом, глядя в твои глаза, тоже синие-синие, синее моря и неба, и говорить тебе: «Я мечтаю и плыву меж тремя небесами». А потом у моей матери мы бы играли с моими племянниками. Но идет война, Люсия, и разгневанное море остановило свой выбор на буре. Нет больше пляжа, нет лодки и пока что нет каникул.

Саид зажег спичку, чтобы посмотреть на часы. Спичка погасла. И когда Саид хотел чиркнуть второй, изношенный ремешок его часов порвался, и часы упали в море.

Час пробил!..

Когда в дело вмешивается господь бог... Ну и спектакли же ставит этот чертов режиссер! Когда, пренебрегая своими судейскими обязанностями, бог становится романистом, создается впечатление, что он обращается с нами, как ему вздумается.

Господь бог никогда не забавляется.

Но скажите на милость, почему часы Саида упали в море? Как будто время хотело утопиться. Как будто время отстало от времени. Как будто время наверстывало упущенное время и брало назад потраченные секунды. Как будто время сжигало свои летописи...

Эти часы когда-то показывали любовь. Эти часы отмеряли шорохи печали и музыку надежды. Эти часы говорили: секунда и секунда — не две секунды, а два поцелуя и тысяча лет воспоминаний. Эти часы знали, в котором часу был убит такой-то или такой-то алжирец, в котором часу погиб такой-то или такой-то новобранец. Эти часы были свидетелями исторических часов...

Теперь, утомленные временем, они покоились в глубине времени и моря.

Час пробил.

Когда в дело вмешивается господь бог... Но время существует для людей. Саид думал о людях.

Для него наступил Новый год и началась хиджра *. Время больше не делилось на эры до и после рождества Христова, до и после Мухаммеда, до и после 1789 или 1917 года, до и после Конфуция или Сократа, до и после 1830 или 1945 года. Новое летоисчисление Саид вел с 1 ноября тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года **, и отныне все для него соотносилось с этим днем...

1954.

Цифры! Цифры! Платишь лавочнику, платишь аптекарю, рассчитываешься с зубным врачом, отдаешь долг... Цифры! Человек сыграл партию в пятьсот одно, в чет и нечет или в домино, человек заплатил за квартиру, дал задаток или аванс, купил газету или дом, опустил монету в автомат, спросил: «Сколько я вам должен?»

Купил, заплатил, дал аванс, рассчитался, оплатил счет, заключил сделку... Цифры! Так вот, эти цифры, которые облекаются в плоть и кровь, цифры, в которых выражается количество растоптанных роз и расстрелянных алжирцев, цифры, которые складываются и вычитаются, цифры, означающие номер телефона или общее число убитых феллахов, цифры, без которых немыслим счет, которых не сбросишь со счета и в которые в конечном счете упираются все проблемы,— это арабские цифры!

Итак, алжирец научился считать в первый день одиннадцатого месяца тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года.

До этого простая арифметика была для него китайской грамотой.

В наши дни романы надо искать не в книгах.

В наши дни взгляд — единственное оправдание глаз. В наши дни все взгляды устремлены на беспощадный экран действительности, на котором демонстрируется самый драматичный фильм. Каждый из нас уходит из кино, лишь смыкая веки. А зрелище не прерывается ни на минуту.

Есть на свете поцелуи и песни, которые уносит ветер. Есть лачуги, которые под предлогом прочесывания доблестно стирают с лица земли. Есть вопросы, есть и ответы. Есть ручьи в зарослях олеандра и путанице трав. Есть улыбки и тонкие блюда, пустые тарелки и голодные желудки, голубое небо и вертолеты, робкие влюбленные и люди, поедающие людей, изменчивые облака и вечные истины, которые устанав-

* Бегство Мухаммеда из Мекки в Медину; время, от которого мусульмане ведут свое летоисчисление.

** Начало национально-освободительной войны в Алжире.

ливает единственный достойный законодатель — человек, достаточно хорошо умеющий признавать свои ошибки, чтобы заслужить одобрение бога. Ибо, заблудившись, вновь обретаешь бога — не мистического бога, восседающего на облаках, как в судейском кресле, а добродушного бога, близкого людям в своем бесконечном участии и в своей великой простоте, бога, сохраняющего инкогнито, бога без регалий, бога под стать людям, бога, признающего истины, которые не обязательно рождаются на небесах, и только на небесах, бога — друга людей, бога, любящего стрекот цикад, инжир и песчаные пляжи, бога, которому братство куда больше по душе, чем ревностное служение, бога, которого можно встретить не только в церквах, бога, который не гнушается ходить по улицам.

Этот бог — прообраз человека, великолепное предвосхищение того, каким будет человек, когда, наделенный всемогуществом, которое дадут ему его сердце и его знания, он сделает своим садом пески и море, горы и равнины. Нет ничего менее зловещего, чем так понимаемый бог.

Бог создан не для того, чтобы поставить свой автограф на библии или коране.

Бог — это завтрашний человек, а человек — это бог близкого будущего.

В наши дни романы надо искать не в книгах.

Сколько романов развертывается на вечной тропе жизни... Романов, которые пишутся на дорогах нашей любви. Романов слишком ценных, чтобы удовольствоваться литературной премией. Романов, созданных из плоти и цветов. Романов, которые не продают в книжных магазинах, которые никогда не покупают, но за которые всегда платят своей жизнью, своей смертью, своими глазами... Это верно, в наши дни романы надо искать не в книгах.

Саид лежал в шезлонге и, слушая плач ветра, окруженный бесконечностью и ясными звездами, думал о своей жизни и смотрел в глаза своей судьбе.

Перед ним проплывали смутные образы — зарождающиеся мечты. Два мандарина и устои моста. Бузид, довольный тем, что сделал правильный выбор, который навсегда сделал его довольным. Сотни товарищей, и тысячи стрекоз, и та газель, в которой оправдание пустыни... Романы, которые развертываются на вечной тропе, в конечном счете принадлежат истории.

Надо спать, мой друг.

Спать и видеть во сне глаза Бузида, и глаза газели, и мосты — руки, протянутые для пожатия с противоположных берегов.

Надо мечтать, мой друг.

Мечта начала свой путь в одно ноябрьское утро. Мечта обходится дорого. Мечта еще только пробуждается. Но потом солнце разгонит сны и химеры, и действительность окажется еще прекраснее.

Во всяком случае, солнце всходит каждый день, и романы надо искать уже не в книгах.

Саид спит.

Вспомни, сердце, какие у меня удивительные пальцы. Этими пальцами я приглаживал волосы и ткал знамена. Нажимал на кнопку лифта, и он послушно поднимался вверх, навстречу дню. Заводил часы, а вместе с ними — пружину памяти. Пожимал руки.

Вспомни, сердце, какие у меня удивительные пальцы.

Этими пальцами можно творить легенду и кормить голубей. Этими пальцами я держу рукоятки плуга. Держу газету и держу свое слово. Делаю чертежи мостов и рисую женские профили. Указываю дорогу. Показываю нос луне, когда хочу подурачиться. Ловлю пескарей. Щелкаю, чтобы вызвать улыбку у новорожденного.

Пальцами перебирают струны гитары. Пальцы сжимает ручонкой ребенок, переходя через улицу. Пальцами расстилают белье, развертывают орифламу, облачают в саван покойника.

Пальцами говорят здравствуй, пальцами говорят прощай. Пальцами собирают вишни, разбирают бумаги, поправляют волосы, срывают апельсины. Пальцами держат кисть или резец, стучась в двери неведомых шедевров, и треплют по щеке малыша. Пальцами пишут поэмы и докладные записки.

Пальцы продолжают сердце, как дождь продолжает облако, как луч продолжает солнце, как цветок продолжает стебель, который для того и нужен, чтобы нести на себе цветок.

И когда Саид возвращался на родину и возвращался к самому себе, пальцы его сжимались в кулаки — ему предстояло драться за каждую звезду и за каждого алжирца. В сущности, человеку нужны были бы миллионы рук.

История с мостом тоже была любовной историей.

Ничто не окончилось, но все изменилось. Приспосабливаясь к изменениям, сам меняешься. Ведя другую жизнь, становишься другим человеком. Можно сохранить все свои надежды и утратить все свои иллюзии. Тогда никакая ложь невозможна. Перед вами истина. Она смотрит на вас своими спокойными и суровыми глазами. Ее ничто не трогает, даже ее собственное безобразие, а она бывает порой безобразна.

Нужно перевернуть страницу. Задумывались ли вы над тем, что значит перевернуть страницу? Мы перелистываем потрепанную книгу своей жизни и читаем слово «конец» в то время, как все начинается. Все всегда будет начинаться. Смена смене идет. Другим остаются белые, чистые страницы без единой морщины, в потенции богатые будущим. Нужно перевернуть страницу.

Можно быть старым в любом возрасте. Бываешь стар всякий раз, когда переворачиваешь страницу. Хорошо было бы меняться вместе со сменой событий. Хорошо было бы начинать новую жизнь, начиная новую страницу. Мы эволюционируем, но остаемся самими собой. В этой области метаморфоза — вопрос многих веков. Люди должны умирать, переходное поколение должно исчезнуть. Оно — мост, а мост должен быть взорван. Поколение Саида было поколением строителей мостов, мостов доброй воли. Но мосты должны быть взорваны. И они взорваны. Али сказал Саиду: «Вы построите другие». Но уже не Саиды будут строить мосты. Саиды исчезли или исчезнут вместе с последними мостами. Поколение Саида было горячей мечтой в ледяной пустыне. Оно шло по своей Сахаре с мешком несчастья на плечах. Ему отказали в весенних рассветах, когда луна окутана мечтательной дымкой. Ему отказали в праздничных буднях. Оно знало о розах только по колючкам чертополоха. Оно вступило в жизнь, опаленное адским солнцем 8 мая 1945 года *. Это поколение подобно ночному сторожу — оно уходит со сцены с наступлением дня.

---

* 8 мая 1945 года после расстрела французскими колонизаторами мирной демонстрации в Алжире вспыхнуло стихийное восстание.

Но все же это поколение сделало свое дело. Оно было последним мостом. Оно было последним отпечатком вековой легенды. Его крестили в купели крови и слез. Однако оно знало, что мечтать — правильный лозунг. Люди должны умирать. Поколение должно исчезнуть. Так умереть тоже значит перевернуть страницу, тоже значит оставить свой последний отпечаток.

Так думал Саид. Солнце вставало над морем. На горизонте синел алжирский берег. Дул холодный ветер. На палубах поднялась обычная перед прибытием суматоха. «Джебель-Орес» прихорашивался, прежде чем предстать перед Алжиром.

Все начиналось, и все кончалось. И для Саида, и для других. Для солдат, которым раздавали кофе, для арабских рабочих, которые ожидали проверки документов.

Все начиналось, и все кончалось.

При виде быстро приближающегося берега своей родины Саид испытывал не волнение, а удивление, которое вызывает решение задачи, казавшейся неразрешимой. Восторг простителен мальчишкам. Иногда это чувство охватывает и людей, которых уже не назовешь мальчишками. Но бурная радость не совместима с верой.

Когда перевертываешь страницу, не забываешь ни о Люсии, ни о мостах, брошенных с берега на берег, как вызов и как призыв. Не забываешь о своем учителе, который был родом из Бретани, и о Декларации Прав Гражданина и Человека. Не забываешь о мире и об «умиротворении». Когда перевертываешь страницу... Воспоминаний так много, что всего не удержишь в памяти... Залитый солнцем двор школы, где бегали дети во время перемен, оживленные улочки, где на каждом шагу натыкаешься на лавчонку или на гору арбузов. Приятная в июньский зной прохлада школьных коридоров. Легкие и прочные мосты над мурлыкающим Рюммелем. Долина Сумама, Голубая долина и Габион, где Саид научился плавать... Мустафа, или, как его чаще всего называли, Папаша, который дал Саиду первые уроки патриотизма,— он умер от туберкулеза в санатории близ Тулузы. Кабильские деревни, прилепившиеся к склонам гор. Слова, которые повторяли, прихлебывая кофе, в арабских кварталах Константины и Тлемсена. Газеты, которые здесь зачитывали до дыр, вышелушивая зернышко правды, обрывая фиговые листочки обиняков и цветы красноречия, как обрывают лепестки маргаритки или листы артишока. Где-где, а в Алжире умеют читать между строк. Люсия, приходившая по утрам, свежая и незапятнанная, как флердоранж. Сиди Али Бунаб *, карьеры Гелиополиса **. И все парадоксы, и все догадки, обратившиеся в уверенность.

Страницу перевертывают для того, чтобы написать следующую.

Но бывает, перевертывая страницу, оставляешь на ней что-то от самого себя.

Не поддающаяся расшифровке страница, на которой золотыми и кровавыми буквами пишется поэма о солнце...

9

Словно прядь седых волос упала на грубый лоб, на котором написана решимость...

Мост взлетел на воздух.

---

* В Сиди Али Бунаб при генерал-губернаторе Э. Нежелене во время избирательной кампании было убито много алжирцев.

** В Гелиополисе, близ Гельмы, в мае 1945 года происходила резня.

Мост превратился в дым.

Далеко прокатился скорбный вопль равнины. Пот и принципы стали пустым звуком.

Отныне эшелоны смерти не пройдут этой дорогой.

Маленький солдат плакал. Он страдал, ему было очень больно.

Это был брат Люсии.

У него лились слезы, как кровь из вскрытой вены. И у него лилась кровь. Страшная вещь — пуля.

Мост сложил руки, отчаявшись в своей судьбе. История узнает, почему он перестал быть мостом. Он тоже пал на поле сражения.

Бузид не любил причинять боль. Но он взорвал мост своего брата. Своего брата, своего брата.

Маленький, жалкий, еще теплый труп. Брат Люсии. Жан-Франсуа. Новобранец. Безвестный новобранец, о котором надо будет напомнить богу. И людям.

Нужно много рук, много сил, чтобы перевернуть страницу, чтобы построить мост или взорвать его. Страница тяжела, потому что тяжело на сердце у людей, которые должны ее перевернуть. И она выскальзывает из рук. Переворачиваемая страница подобна лавине, подобна взрыву рудничного газа посреди человеческих судеб...

Подобна двери, которую приходится взломать.

Маленький, жалкий, еще теплый труп. Жан-Франсуа. Призывников призывает к себе господь бог. Но они взывают к людям.

Камень не двинется с места, если его не сдвинуть. Проблема не будет решена, если ее не решать.

Бузид посмотрел в небо, но увидел не ангелов, а людей.

Бузид не любил руин. Он снова ушел в горы. У моста больше не было рук.

За обломки моста цеплялись обрывки песен. Платье из толстого твида разрывалось от горя. Мост умер, как умерла Люсия. Причины были разные, но суть одна и та же. Плоды снова нальются соками, цветы снова вырастут, мосты будут построены заново, но, как бы то ни было, у мандаринов уже никогда не будет розовых щек любви, которая говорит с вами и которая умеет петь.

Через полустанок скуки этот поезд проходит только раз в жизнь...

Бузид посмотрел на небо, но боги были на земле.

Что до Саида, то он не смотрел на звезды. Он смотрел в свою память. Мосты были взорваны с самого начала. Но только теперь, глядя в свою память, он измерил всю глубину разверзшейся пропасти.

Истина не сродни счастью. И в девяти случаях из десяти счастье — прибежище глупцов.

Однако оставались презрение, вера и любовь. Саид знал, что он перешел Рубикон, что он начинает что-то делать, что для него по-новому начинают звучать старые песни и становятся внятными новые.

Почему приходится все объяснять, чтобы тебя хоть немного поняли? — думал Саид. С той минуты, когда берешь на себя смелость сказать правду, отвергнув лживые легенды, рискуешь поставить себя вне закона.

Но в известном смысле он ошибался: звезды, даже когда они остаются на небе, не закрывают глаза.

Саид узнал из газет, что его мост взорван. Что за идея искать среди некрологов сообщение о своей собственной смерти...

10

Зулика играет на террасе. Небо ясное, как глаза человека, у которого совесть чиста. Кошка, растянувшись возле кухни, застекленная дверь которой выходит в сад, сладострастно мурлычет во сне. Первые аисты проплывают над городом. Странная вещь — аисты никогда не вьют гнезд на крышах домов в европейских кварталах. Аист, хорошая завтра будет погода? Если аист взмахнет крыльями, значит, погода будет хорошая. Машите, машите крыльями, аисты!

Подрезанный виноград от горя ломает руки.

Облокотившись на перила террасы, Саид смотрит на племянницу, которая возится с муравьем и что-то лепечет. Очаровательный монолог, доверчивые излияния, не обращенные ни к кому и никому не понятные, журчанье ручейка, бегущего по белым камешкам молочных зубов. Мир и покой.

Аисты плывут в небе. Ребенок играет на террасе. Кошка созерцает свои химеры. День лиловеет. Золотые спицы рассекают горизонт. В той стороне, где вырисовывается Шеттаба, небо розовое. Слышен шелест леса, который темными локонами спускается к Рюммелю. Только бы не спугнуть, только бы не спугнуть словами этого мгновения. Пусть лепечет ребенок и плывут аисты. Пусть кошка спит и видит сны. День замирает, как дрожащий в воздухе звук гитары. И как на пляже угадываешь наступление прилива, так чувствуется приближение сумерек. Скоро начнут обход ночные патрули. Прорастут звезды. Мир божий нисходит на мятежных людей. Все переходит в другую тональность. Ты знаешь, что в горах перекликаются сигналы, которые с надеждой ловят в долине. Ты знаешь, что на глухих росистых тропинках слышится шорох шагов... На узкой улочке, отделяющей дом Саида от соседней виллы, потрескивает жаровня, которую выводит из себя легкий ветерок, колеблющий молодую смоковницу. Красные искры разлетаются, как вспугнутая стайка воробьев. День замирает, как дрожащий в воздухе звук гитары. Только бы не нарушить этого безмолвия...

Зулике стало холодно, и она ушла в кухню. За ней последовала кошка.

— Тебе не холодно? — спросила Малика.

Голос у нее был грустный, ласковый, робкий.

Но Саид был далеко — там, где рождаются песни и весны, где в ясном небе плывут аисты, где апрельским вечером Зулики играют с муравьями.

Малика снова спросила:
— Тебе не холодно, Саид?
Но Саид был далеко — там, где подводят итоги...

...Что я сделал, чтобы быть достойным людей? И что я дал, чтобы иметь право требовать? Я лишь одобрял то, что делали другие. Я видел, как летит этот аист. Я видел, как играет этот ребенок. Но я ни разу не испытал настоящей радости, горячей и доброй, как хлеб, только что вынутый из печи. Я ни разу не почувствовал, как никогда не унывающий ветер уносит мое смятенье. Я не был участником великого дела. Я не ЧАСТИЦА ЦЕЛОГО, которое составляют люди. Мне стыдно, что я сложа руки смотрю на титанический труд. Я только свидетель, увязший в дьявольской трясине добросовестного созерцания, которым не подкупишь совесть. Я ничего не делаю. Я ни в чем не участвую. Я ОСТАЮСЬ В СТОРОНЕ. Неужели я всегда буду стоять в стороне? Ах, эти проклятые стихи:

...Если я сохраняю веру, то утратил воодушевление,
Кто понимает и наблюдает, тот чужд любви,
Знающий химию не обожествляет пламя,
Я не смог бы идти, если бы считал шаги...

Если бы считал шаги...

Но ведь ты создан из плоти, радости и надежды. Оставь же, Саид, свой ПОСЛЕДНИЙ ОТПЕЧАТОК. Ты строишь мосты, а другие проходят по ним. Каждый подхватывает песню, которую пели до него.

Поступай, как все. В том, чтобы поступать, как все, нет ничего унизительного. И не все на это способны. В наши дни оригинальность состоит в том, чтобы твой голос был слышен в общем хоре.

Оставь же, Саид, свой последний отпечаток. Пусть лепечет Зулика и бегает муравей, пусть плывут аисты, вернувшиеся в родное небо из дальних краев. Пусть хитрая кошка подстерегает химерических мышей. Противоположные берега соединит не мост, который ты хотел бы построить, а время. Будущее начинается в настоящем. Ничто из того, что ты создал сегодня, уже не принадлежит тебе. Солнце рождает утро, чтобы подарить его нам. Безвозмездно. Тебе принадлежит только груда воспоминаний, завалявшихся в сердце, как старая рухлядь в сарае.

— Нет, мне не холодно,— сказал Саид.

Со дня смерти своего дяди, убитого двадцать девятого марта, Малика носила траур на лице, как носят черное платье. Ее красивое личико осунулось, а большие черные глаза лихорадочно блестели, словно пытаясь согреть и осветить окутанную мраком снежную пустыню.

Война прошла повсюду. Она побывала в деревнях, в лесах, в горах, на равнине, оставила свой след во взглядах людей. Только маленькая Зулика, муравей, аист и кошка не замечали ее.

— О чем ты думаешь? — спросил Саид.

Этот молчаливый человек не переносил молчания других.

— Ни о чем, мне как-то не думается. Как бы это сказать... Я не справляюсь со своими мыслями... Мне вроде и жизнь не мила. Я уже ничего не понимаю. Видно, бог нас забыл...

Голос у нее прерывался и дрожал.

Забыл ли бог людей? Забыли ли люди бога?

Как разобраться во всем этом?

— Знаешь, Саид,— сказала Малика после трудного молчания,— знаешь, я люблю тебя, как в то время, когда я была еще совсем маленькой.

Посторонись, солнце! Дорогу двадцатилетним принцессам, печальным и суровым Маликам. Дорогу Алжиру!

— ...Ведь я полюбила тебя, когда была еще совсем маленькой. Да,— повторила она,— когда была еще совсем маленькой.

В эту минуту Зулика спросила:

— А где мой папа?

В первый раз она спрашивала об отце.

В тот же вечер, вскоре после наступления комендантского часа, семья Бельхасан услышала шум в саду — как будто упало что-то тяжелое.

В доме воцарилось молчание. Прошла минута, показавшаяся вечностью. Саид подошел к двери.

— Подожди,— сказал отец.— Не открывай.

Зулика спала возле плиты в большой корзине из ивовых прутьев. Эта корзина служила колыбелью двум поколениям Бельхасан. Хотя давно наступила весна, в доме еще топили. Мать Саида побледнела — даже губы стали бескровными. Напряженную тишину нарушил едва слышный звук — словно кто-то скребся в окно.

— Может, это кошка упала с беседки и теперь просится в дом.

— Нет,— сказал Саид,— кошка здесь, спит в корзине, в ногах у маленькой.

По стеклу опять заскребли, на этот раз громче.

Дыхание Зулики казалось шумом мехов в гигантской кузне. В окно все скреблись. Саид приоткрыл сначала фрамугу застекленной двери, и скрип ее разбудил Зулику.

— Кто там?

Ответа не последовало. На улице, прошуршав шинами, развернулась полицейская машина и умчалась вниз, в предместье. Ах, этот скрежет тормозов и жалобный скрип шин!.. Только филины ухают ночью.

Саид открыл дверь.

Конечно это был Бузид.

■

«...Я признаю, что они храбро сражаются, ибо нет недостатка в храбрых людях на алжирской земле...»

(Речь генерала де Голля в Алжире 4 июня 1958 года)

Некогда даже посмотреть на небо. Это самое паршивое на войне. Большие белые улитки прилепились к скалам, которым время придало форму огромных устрашающих лиц, повернутых в профиль. Пробивается нежная травка. Тянутся вверх тонкие стебельки тимьяна, пушистые, как утята. На севере виднеется четко очерченная горная цепь. Пейзаж похож на театральные декорации, слишком хорошо задуманные, слишком хорошо нарисованные, слишком хорошо сработанные. Горизонт безупречно чист. Плавно и величаво летят аисты. Саид не может удержаться, чтобы не спросить: «Аисты, хорошая завтра будет погода?» Аистам надо верить. Высоко в небе шныряет самолет. Разведчик. Шпик. Он рыщет, как фокстерьер, тычась носом в редкие белые облака. Он кружит взад и вперед, поднимается, опускается. Он выполняет свои обязанности — обязанности охотничьей собаки и ищейки. Жаль. Небо было такое синее, облака такие белые.

Плывут аисты, надменные, равнодушные. Аисты несут в клювах веточки для своего гнезда. Самолет несет смерть. Теперь он летит на высоте меньше двухсот метров. Саид представляет себе радиста, наблюдателя. Самолет ищет след. Идет большая охота. Хрипит передатчик. Ничего не обнаружено. Там, за горизонтом, ждут охотники. Ждут, чтобы собака подняла дичь. Саид представляет себе радиста, наблюдателя, бинокль. Слышна тишина, она опускается с гор.

Чудесный день.

Между побегами тимьяна снуют муравьи. Вокруг улиток лужицы слизи. Саид думает о других улитках — там, на севере, далеко на севере, по ту сторону моря. Прошел уже год. Чего только не приходит в голову, когда летят аисты и рыщет самолет в поисках дичи...

Муравей взобрался на автомат Саида. Что тебе надо, муравей? Здесь нечем поживиться — на автомате ничего не растет. Муравей дополз до конца ствола и, перегнувшись, заглянул в черную дыру. Он колеблется. Он уползает. И правильно делает, что уползает. До чего странно видеть муравья на автомате. Ему там не место.

Бузид отдал распоряжения. Он полон спокойствия, глубокого спокойствия. Он совсем не изменился. Только на висках прибавилось седых волос. Саид себя спрашивает: «О чем думает Бузид?»

Саид видит перед собою Зулику, Счастьице-ростом-в-семьдесят-пять-сантиметров. Хотя нет, теперь она повыше. Малыши — как деревья: тянутся к солнцу. Саид видит перед собой кухню, облицованную светлым кафелем. Мать с покорным лицом. Мандарины, кошку, смоковницу...

Но Бузид ни о чем не думает. Он отдал распоряжения и теперь ждет. Этот человек высечен из спокойствия. Он спокоен, как скала. Другие товарищи тоже спокойны, как скалы. Они ждут.

Внизу на дороге — танки, слышно, как они бестолково разговаривают, выпаливая первое, что им приходит в голову. Они стреляют наобум, куда попало, на всякий случай. Самолет еще ничего не обнаружил, еще не поднял дичь. Бинокль, должно быть, ищет след. Рации, должно быть, не терпится залаять. Справа пригорок взлетел на воздух: снаряд. К счастью, там никого не было.

Люди ждут. Самолет опускается ниже.

За другими скалами ждут другие люди. Быть может, какой-нибудь Саид, которого зовут Жан или Люсьен, в ту же самую минуту рассматривает побег тимьяна, улитку, муравья.

Люди ждут. Самолет опускается ниже.

Скалы зашевелились. Но Бузид дал категорическое приказание: «Стрелять только по сигналу, бросать гранаты только в случае крайней необходимости». Самолет опускается ниже. Бинокли ищут след. Рация еще не залаяла.

Танки перестали стрелять. Значит, те, что напротив, приблизились, продвинулись.

Некогда даже посмотреть на небо. Это самое паршивое на войне.

Бузид кажется статуей.

Саиду снова приходит на память дом в старом предместье. Скрипящая калитка, смоковница с широкими листьями, похожими на уши слона. Снег, желанный снег, превращавший беседку, освещенную ночью, в какой-то легендарный дворец из легендарной Канады. Бузид и его лицей. Портрет Бен Бадиса, который он притащил однажды бог весть откуда, большой и красивый портрет человека с умными пальцами шейха, задумчиво подпирающими точеный подбородок. Полный жизни дом, где вечно перегорают пробки. Петух, который поет каждую ночь. Песни, которые они разучивали в АСМ *: «Горы зовут...»

---

* Алжирские скауты-мусульмане.

Самолет опускается ниже.

...И Малика, то сияющая, то печальная Малика, промолвившая: «Я полюбила тебя, когда была еще совсем маленькой», немногословная Малика, молча помешивавшая кофе, который варила для Саида.

Война кончится. Муравьи и тимьян снова найдут свое место в жизни людей. Порох пойдет на петарды в Аид-Кебир. На улицах Константины дети будут меняться крашеными яйцами. В пекарнях до поздней ночи будут топиться печи. Малика будет красива, бог мой, как она будет красива.

Согретые человеческим теплом мирные дни в спокойном доме, не заставляйте себя ждать.

Самолет опускается ниже.

Бузид по-прежнему не двигается с места. Он безмятежно спокоен. Нужно ждать, как можно дольше ждать, нужно выиграть время, нужно выиграть жизнь.

Нужно дождаться ночи — подруги людей, у которых нет самолетов и танков.

Но шпику в небе не терпится. Он мечется из стороны в сторону, нервничает, ищет добычу. Под прикрытием других скал другие люди приближаются, продвигаются.

Скалы, будьте друзьями людей, у которых нет танков и самолетов, ночь, не медли! Это вопрос жизни и смерти.

В этих словах, в этой короткой фразе как будто нет ничего особенного. Вопрос жизни и смерти...

Под прикрытием других скал другие люди приближаются, продвигаются. У Саида нет часов, он их потерял. Сейчас, должно быть, часа четыре или пять.

■

В других местах сейчас тоже часа четыре или пять. И в каком-нибудь городе или селении в эту минуту тоже все овеяно меланхолией и очарованием. Жизель в своем новом платье очень хороша, чудо, как хороша. Жизель или Маржолен. В маленьком бистро поблизости от Севр-Бабилон приятно пахнет хорошим кофе. В метро движется эскалатор, точно заводная игрушка. Деревенский лавочник болтает с покупателем, который уже забыл, что собирался купить. Река лениво течет под мостом. Турист делает снимки. Другой опускает в почтовый ящик открытку, на которой он написал: «Тысяча поцелуев». Все будут довольны. Жизель, или Милица, или Маржолен пьют фруктовый сок. В газетах на последней странице напечатано, что сегодня идет в кино. В школе учитель пишет на доске. Ученики с нетерпением ждут звонка. В красивом Авиньонском парке возле Шато де Пап мальчик гоняет по аллеям обруч. А может быть, это происходит в Копенгагене. На вокзале господин с чемоданом ждет поезда. Он купил журналы и сигареты. Он доволен. В Лондоне улицы пустуют: five o'clock. Жизель, или Милица, или Маржолен кого-то ждет у памятника. Альпинист взбирается на ледник. В маленьком, почти пустом зале кино целуются влюбленные.

В ту минуту, когда Жизель, или Милица, или Маржолен, стоя возле памятника, бросают нетерпеливый взгляд на часы, в Константине приговоренный к смерти в своей камере ждет палачей. В ту минуту, когда господин с чемоданом, закурив сигарету, раскрывает журнал, на улице Никозии, дрожа от страха, но полный решимости прячется в подворотне киприот, за которым гонятся по пятам. В ту минуту, когда учитель пишет на доске, в Малайе плачет вдова. В ту минуту, когда мальчик гоняет обруч по аллеям красивого парка в Авиньоне или в Копенгагене,

на глазах у маленьких берберов сжигают их лачуги. В ту минуту, когда влюбленные целуются в уютном зале кино, муссон обрушивает ливень где-нибудь в Дьен-Бьен-Фу, заставляя умолкнуть пушки. В ту минуту, когда Маргарет пьет чай, белый школьник выгоняет из школы черного.

В эту минуту... Где угодно на земле сейчас длится эта минута...

■

Самолет опускается ниже. Он напал на след. Учуял. Увидел. Рация заговорила.

Бузид отдал приказ...

Теперь уже не до тимьяна, не до муравьев и улиток. Надо выиграть время, надо продержаться до ночи. Под точным огнем другие люди отступают. Бузид по-прежнему спокоен. Кажется, будто он не воюет, а наблюдает за боем, учится военному искусству. Люди стискивают зубы. Глаза у них суровые, бесконечно внимательные. Облаков становится больше. На землю ложатся синие тени. Но ночь медлит. Занавес не опускается. Спектакль еще только начался.

Но рация подала сигнал людям, у которых есть танки и самолеты. Рация взбудоражила другие рации. Охотничья собака, ищейка подала голос, облава началась. Истребители обстреливают скалы из пулеметов и улетают, не решаясь атаковать из опасения накрыть своих — они слишком близко. Ночь все не наступает. Нет больше аистов, нет больше муравья, нет больше тимьяна.

Рядом с Саидом упал человек. Сейчас некогда даже склониться над мертвым. Он был такой добрый, Рашид, такой мягкий. Он с самого начала ушел в горы. За кем теперь очередь? Саид не узнает самого себя. Глаза его устремлены в одну точку. Ствол автомата раскален. За кем теперь очередь?

Бузид отдает приказания. Нужно экономить боеприпасы. Нужно выиграть время. Нужно продержаться до ночи. Если бы только ночь пришла им на помощь! Выиграть время.

Во время перебежки Саид случайно оказался рядом с братом. Они посмотрели друг на друга, но ничего не сказали. Им некогда разговаривать. Они уже не два брата, а два солдата, два алжирца, которые экономят боеприпасы и ждут ночи.

— Ложись! — крикнул Бузид.

И вовремя. Со снарядом шутки плохи. Упал Брагим. За кем теперь очередь? Упал Рабах, санитар, совсем еще мальчишка. Можно быть мужчиной в любом возрасте.

Самолеты вернулись. Нужно добраться до грота. Любой ценой добраться до грота. Это вопрос жизни и смерти. Раненых и мертвых уносят с собой. Передышка.

Но самолет-разведчик, самолет-шпик все видел. И его рация заговорила с другими рациями. И тяжелая артиллерия принялась за дело.

Нужно выбраться из грота. Любой ценой выбраться из грота. Это вопрос жизни и смерти.

Достаточно одной секунды, всего лишь секунды, чтобы стать героем. Только что ты был обыкновенным человеком, таким же, как всякий другой. И вот...

Что сказала бы Малика, если бы она меня видела? Что сказала бы мама — ведь она знает, что я не выношу шума.

Орудия умолкли. Уж не догадались ли они, что Саид думает о Малике и о матери? Уж не решили ли они почтить любовь минутой молчания?..

«Я полюбила тебя, когда была еще совсем маленькой». Голос ее прерывался и дрожал. «Когда была еще совсем маленькой». После войны опять зазвучат песни. После войны будет хорошая погода. Согретые человеческим теплом мирные часы в спокойном доме... Я вам говорю, будет хорошая погода. Так сказали аисты, а они никогда не ошибаются.

Что происходит там, впереди? Тишина. Наступил вечер. Но ночь задержалась в пути. Еще совсем светло. Невозможно отойти. Бузид смотрит в бинокль на горизонт. До чего Бузид большой. Он еще никогда не казался Саиду таким большим. На нем была куртка цвета хаки, а шея обмотана шарфом, который Саиду хорошо знаком. Этот шарф означал согретые человеческим теплом мирные часы в спокойном доме. Его связала мать. Петелька к петельке, петелька к петельке. Неустанное тикание будильника на кухонном шкафчике. Петелька к петельке, петелька к петельке. Заскрипела калитка — отец вернулся из города. Он раздает детям кулечки с нутом и леденцами. Как только появлялся господин Бельхасан, Ма'Хадиджа уходила: стыдливость арабской женщины. Что нового в городе? Петелька к петельке, петелька к петельке.

Саид ползком снова приблизился к брату.

— Подними воротник куртки, твой шарф видно издали.

Бузид поднимает воротник куртки. Тишина, как широкий шарф, окутывает горы, скалы и людей.

Позади, ближе к гребню гор, над гротами, начинается отход. Уже унесли мертвых и раненых. Кроме Джамаля. Он не захотел, чтобы его эвакуировали. У него ангельские голубые глаза и девичьи розовые щеки. Он учился на историческом факультете в Париже. Он был всегда такой вежливый, Джамаль. Точь-в-точь учитель из оперетты, в которого влюбляются школьницы. У него была обаятельная, обезоруживающая улыбка. Когда он говорил, слова как-то нерешительно срывались с его пухлых, красиво очерченных губ, будто он сомневался, то ли и так ли следовало сказать. Этот человек всегда боялся неправильно выразиться. Блаженны те, кто не колеблется, кто одним духом высказывает то, что считает истиной. От Джамаля еще пахло Латинским кварталом. Его легко было представить себе за столиком кафе: он пьет кофе со сливками и читает газету. Но он так же хорошо, как на улице Медичи, чувствовал себя здесь, среди этих людей и этих скал. Учитель из оперетты, в которого влюбляются школьницы, в один прекрасный день решил вернуться на родину. Он простился с друзьями, покинул улицу Медичи, кофе со сливками и Сорбонну. Нельзя в одно и то же время изучать историю и писать ее своей жизнью. Из всех университетов он выбрал маки. Голубоглазый и розовощекий, он взял свои конспекты и записки и уехал. Без лишних слов и долгих колебаний. Как мужчина, как настоящий человек.

Эта тишина тревожит Бузида. Его бинокль шарит по земле и по небу. Нужно прорвать завесу тишины. Узнать, разгадать, понять, что скрывается за ней. Эта тишина неестественна. Чего ждет смерть, почему она не открывает бал?

Смерть начнет бал, когда убедится, что все предусмотрено. Она уже приготовила зал, уже подобрала оркестр.

Появляются музыканты. Они, как черные ангелы, падают с неба. Зеленые береты!

Этого и опасался Бузид.

Вертолеты.

Доходя до предела в своей жестокости, война становится борьбой за жизнь. Люди не хотят убивать, и не хотят умирать.

Смерть открыла бал. Бузид и его товарищи дерутся. Дерутся, как львы. Дерутся, как люди. Цепляются за каждую скалу, за каждый камень. Слышатся крики ярости и крики боли. Черные ангелы слетаются со всех сторон. Рация самолета-разведчика, этой охотничьей собаки, этой ищейки, разбудила другие рации.

Бузид и его товарищи цепляются за каждую скалу, за каждый камень. Черные ангелы слетаются со всех сторон. Теперь уж не до тимьяна, не до муравьев и улиток. Саид по-прежнему держится возле брата. Бузид спокоен. Спокоен, как скала. Высечен из спокойствия.

Какие люди! Какие кремни! Охапками свежих роз одарить бы этих людей, чистым взглядом ребенка обласкать бы этих людей. Они сражались за тебя, СВОБОДА, не забывай, за тебя...

Завтра метранпаж сверстает газетную полосу. Между объявлением, рекламирующим карманные фонарики «Вундер», и светскими сплетнями можно будет прочитать: «В НЕМЕНТША УНИЧТОЖЕНА БОЛЬШАЯ БАНДА МЯТЕЖНИКОВ. После огневой подготовки при помощи автоматического оружия, безоткатных «семидесятипяток» и стадвадцатимиллиметрового миномета зеленые береты атаковали мятежников. Бой перешел в рукопашную схватку, и вслед за автоматами и гранатами было пущено в ход холодное оружие». Люди пробегут эти строки, затерянные между объявлением, рекламирующим карманные фонарики «Вундер», и последней фотографией Брижит Бардо, потом почитают роман с продолжением, займутся кроссвордом, с улыбкой взглянут на юмористические картинки...

У Бузида пот катится по лбу. Его шарф развязался. Петелька к петельке, петелька к петельке. Смерть сегодня в ударе. Пули прыгают по скалам, как камешки по воде. Петелька к петельке, петелька к петельке.

Саид слышит:

— Чего мы только не делаем ради этой стервы!

— О ком ты говоришь? — спрашивает он у Бузида.

— О свободе...

Конец фразы уносит ветер вслед за пулями. Чего мы только не делаем ради нее.

Джамаль убит. Голубоглазый, розовощекий Джамаль. Для него нет больше оперетты, нет больше кофе со сливками, нет больше улицы Медичи. Ничего нет. Струйка крови течет из уголка рта, запекаясь на губах, с которых слова всегда срывались как-то нерешительно, будто он сомневался, то ли и так ли следовало сказать. Чего мы только не делаем ради нее. Петелька к петельке, петелька к петельке. Слышатся крики, вопли. Ночь наконец собралась прийти на помощь людям. Но она не слишком торопится, подлая.

Бузид отдает приказ пустить в ход гранаты, которые берегли до последней минуты. Короткая передышка. Пользуясь ею, бойцы отходят. Самолеты и вертолеты улетели.

Чего только мы не делаем ради нее! Бузид смотрит на брата и улыбается ему. Такая улыбка означает: я здесь. Ничего больше, просто — я здесь.

Петелька к петельке, петелька к петельке.

Слышны голоса людей. Слышен грохот танков. Самолеты вернулись. Уже недалек перевал. Уже недалеко спасение. Но геометрии не существует, когда слово за арифметикой.

Саид думает об уроках арифметики в начальной школе. Вычитание. Знак минус. Подведите черту. Поставьте знак равенства. Тогда, на уроках арифметики в начальной школе, это проделывалось в тетради или на грифельной доске.

Теперь это арифметическое действие, вычитание, совершается здесь. Оно облеклось в плоть и кровь. Минус Рабах, минус Рашид, минус Брахим, минус Джамаль...

МИНУС АЛЖИРЕЦ ТАКОЙ-ТО.

Вот оно, арифметическое действие. Вот оно, вычитание. Оно облеклось в плоть и кровь.

Скоро наступит ночь. Она уже близка. Занавес тихо опускается. Но в антракте актеры не выйдут кланяться публике.

Занавес тихо опускается. Скалы холодны, как рухнувшая мечта, которая была близка к осуществлению. Постаменты памятников ждут героев. Муравьи уползли, улитки спрятались в свои домики, тимьяна не видно.

Мосты сожжены. Занавес тихо опускается. В сердцах остается последний отпечаток — отпечаток борьбы.

Небо немо.

Но последний аист машет крыльями:

— Завтра будет хорошая погода.

Аистам надо верить.

■

Знак минус. Подведите черту. Поставьте знак равенства. Вот оно, арифметическое действие, вот оно, вычитание. Оно облеклось в плоть и кровь. Минус Брахим, минус Рабах, минус Мухаммед, минус Лаид, минус Рашид, минус Джамаль...

МИНУС АЛЖИРЕЦ ТАКОЙ-ТО.

МИНУС САИД.

Бузид снял с себя шарф и прикрыл им лицо брата. Петелька к петельке, петелька к петельке...

БОРИС ТАСЛИЦКИЙ *(Франция)*. «Алжирские докеры».

ЛУАНДИНУ ВИЕЙРА
(АНГОЛА)

ДВА РАССКАЗА

Асфальтовая граница

1

Девочка с белокурыми косами улыбнулась ему и протянула руку:

— Значит, условились?

— Условились,— ответил он.

Засмеявшись, оба зашагали дальше, топча опадавшие с деревьев лиловые цветы.

— Лиловый снег,— сказал он.

— Да ведь ты никогда не видел снега...

— Правда, но, наверно, он падает вот так же...

— Он белый-белый...

— Как ты!

И грустная улыбка скривила его губы.

— Рикардо! Бывает еще серый снег... темно-серый, как пепел.

— Вспомни наш уговор. Никогда больше...

— Да, никогда больше не говорить о цвете твоей кожи... Ты сам первый начал.

Дойдя до конца тротуара, подростки завернули за угол и пошли рядом. В белокурых косах девочки красовались пунцовые ленты.

— Ты помнишь наше детство, Марина? — внезапно обернувшись, спросил он.

И заглянул ей в глаза. Девочка потупила взор, разглядывая носки черных туфель, потом ответила:

— Как ты возил меня на роликах вокруг своего квартала? Помню...

Вопрос, который вот уже несколько месяцев вертелся у него на языке, наконец сорвался:

— И ты думаешь, что с тех пор ничто не изменилось? С тех пор как мы играли в прятки или жмурки? Когда я был твоим приятелем Рикардо — чистеньким, воспитанным, тихим, по словам твоей мамы? Ты думаешь...

Он постепенно приходил в возбуждение от собственных слов. Глаза его горели, а кипевшие в душе чувства рвались наружу...

— ...что я по-прежнему могу быть твоим другом...

— Рикардо!

— Что мое присутствие в твоем доме... вернее, во дворе — ведь в комнаты меня зовут очень редко — не нарушает планов твоей семьи... насчет того, с кем тебе можно дружить...

Он поступил жестоко. В голубых глазах Марины не было укора. Но он знал, что поступил жестоко. Звук собственного голоса позволил ему понять это. Он внезапно умолк.

— Прости,— сказал он.

И отвел глаза. По другую сторону асфальтированной улицы не было тротуара. Не было там и деревьев с лиловыми цветами... Там была голая земля ржавого цвета... Агавы... Домишки из прутьев, обмазанные глиной, в тени больших деревьев со свисающими ветвями... Кривые песчаные улочки... Все покрыто налетом мелкой пыли, которую тучами гонит ветер. Его дом вон там, в глубине... Виден отсюда... Желтый... Две двери, три окна... Забор из каких-то обломков...

— Рикардо,— возобновила разговор девочка с белокурыми косами,— зачем ты все это сказал? Разве я когда-нибудь говорила тебе, что перестану с тобой дружить? Разве когда-нибудь я отрекалась от тебя? Ни насмешки приятельниц, ни советы учителей, ни недовольство родных...

— Хорошо. Прости меня. Но ты знаешь, как это мучит... Когда-нибудь нужно высказать то, что накипело на сердце...

И он вспомнил время, когда не было вопросов, ответов, объяснений... Когда еще не было асфальтовой границы...

— Хорошие были времена, когда-то...— задумчиво произнес он.— Моя мама стирала у вас белье. Я был сыном прачки... Живой игрушкой девочки Нины... Девочки Нины с золотистыми локонами... Разве не так тебя звали? — крикнул он ей вдогонку, потому что Марина бежала домой.

Он стоял под деревьями, с которых лиловые цветы падали на его курчавые волосы. Потом решительными шагами пересек улицу, яростно топча красный песок, и погрузился во мрак своего мира. Прекрасная мечта осталась позади.

Марина смотрела ему вслед. Друг раннего детства. Сын прачки, он был забавой девочки Нины. Потом школа. Оба в одной школе, в одном классе... Зарождение большого чувства...

Она бросилась в свою комнату. Хлопнула дверью. Все здесь сияло и улыбалось, от всего веяло счастьем, глаз ласкала мягкая теплота розовых стен... А на письменном столе — фотография: «Марина и Рикардо — друзья навеки»... Клочки разорванной карточки разлетелись по полу. Марина бросилась на кровать, легла на спину, уставившись в потолок. До сих пор все та же люстра... Роспись по рисункам Уолта Диснея... Рисунки постепенно расплывались в наполнившихся слезами глазах. И все заволоклось туманом. Рикардо играл с ней... Она бегала, веселая, в платьице до колен, золотистые локоны блестели... У Рикардо были большие глаза... И вдруг мысли ее обратились к миру по ту сторону асфальтовой границы. Она вдруг снова увидела домишки из прутьев, обмазанные глиной, где жили многодетные африканские семьи... В такой комнате, как у нее, братишки Рикардо спят вчетвером... Почему? Почему она не может по-прежнему, как в детстве, быть его подругой? Что изменилось?

— Марина, мне нужно поговорить с тобой.

Вошла мать и погладила белокурую головку дочери.

— Марина, ты уже не дитя и должна понять, что твоя дружба с этим... с твоим приятелем Рикардо больше не может продолжаться. Все это было хорошо в детстве. Два малыша... Но теперь... Черный — это черный... Все мои знакомые прожужжали мне уши, твердят, что я пренебрегаю твоим воспитанием, что ты распустилась... А ты прекрасно знаешь, что я здесь ни при чем...

— Хорошо, я сделаю все, что ты хочешь. Но сейчас оставь меня в покое.

В сердце пусто... Рикардо — всего лишь далекое воспоминание. Воспоминание, связанное только с клочками фотографии, разбросанными по полу.

— Перестань вместе с ним ходить в лицей, вместе возвращаться домой, вместе учить уроки...

— Хорошо, мама.

И она села, глядя в окно. Вдали темным пятном виднелись домишки. В тени больших деревьев со свисающими ветвями... Это вновь вернуло ее мысли к Рикардо. Резким движением девочка обернулась к матери. Глаза ее блестели, губы надменно сжались.

— Хорошо, хорошо, ты слышала? — крикнула она.

И, зарывшись лицом в подушку, горько разрыдалась.

II

В эту лунную ночь, сидя под деревом, Рикардо вспоминал... Палочка-выручалочка и жмурки.... Катанье на роликах... И он почувствовал настоятельную необходимость поговорить с ней. Он слишком привык к Марине. За все эти годы дружбы и совместных занятий.

Он решил перейти границу. Резиновые подошвы башмаков скрипнули на асфальте. Резкий свет луны озарял все кругом. И в окне был свет... Рикардо перепрыгнул через низкую ограду. Под ногами зашуршали сухие листья... Тони зарычал в своей конуре. Стараясь ступать неслышно, Рикардо дошел до террасы, перелез через балюстраду и осторожно постучал.

— Кто там? — послышался изнутри испуганный, такой дорогой ему голос Марины...

— Это я, Рикардо!

— Рикардо? Зачем ты пришел?

— Поговорить с тобой. Объясни мне наконец, что происходит?

— Я не могу сейчас. Я занимаюсь. Иди домой. Завтра на остановке автобуса. Приходи как можно раньше...

— Нет. Мне нужно видеть тебя сегодня. Я хочу все знать.

Из комнаты донесся безмолвный ответ Марины — погас свет. Потом из темноты послышался плач. Рикардо медленно повернул обратно. Провел дрожащими руками по волосам. И вдруг яркий свет полицейского фонаря ударил ему прямо в лицо.

— Стой! Ты что здесь делаешь?

Рикардо испугался. Это был извечный страх человека с черной кожей перед полицией... Одним прыжком он очутился в саду. Сухие листья поползли под ногами, и он поскользнулся. Тони залаял.

— Ни с места, черный! Стой! Стой, черный!

Рикардо поднялся и побежал дальше. Полицейский за ним.

— Стой, стой, черный ублюдок!

Но Рикардо не остановился. Он перепрыгнул через ограду. Резиновые подошвы смягчили прыжок... Но на асфальте он вдруг поскользнулся. Упал и тяжело стукнулся головой о край тротуара.

Во всех окнах зажглись огни... Тони лаял... В темноте ночи раздался крик девочки с белокурыми косами...

Беспощадная луна сияла на небе, заливая землю холодным голубовато-стальным сиянием. Полицейский в униформе цвета хаки направил фонарь на распростертое тело. Рикардо лежал на самой границе — на тротуаре, усыпанном лиловыми цветами.

Издалека протягивали к нему свои кривые тени деревья, осенявшие домишки из прутьев, обмазанные глиной.

Кинзиньо

рощай, Кинзиньо, прощай...

Ты лежишь в гробу такой спокойный, каким никогда не был при жизни. Тебя искалечила машина, Кинзиньо, та самая, которую ты так любил, с которой так бережно обращался и срисовывал округлости ее колес, стройную удлиненность бесконечных ремней...

Та самая машина, Кинзиньо, которая жужжала тебе в уши песню труда, неизменную, неделя за неделей; а ты мечтал при помощи циркуля и линейки превратить эту песню в поэму черных чертежей на белой бумаге... Прощай, Кинзиньо, прощай...

Рабочему не полагается мечтать, Кинзиньо... Его жизнь не для мечтаний... В этой жизни все — непреложная, жестокая действительность. Борьба за существование.

Но ведь в душе ты не был рабочим, Кинзиньо, ты был поэтом. А поэтов нельзя приставлять к машинам.

Теперь ты возглавляешь шествие, спокойный, в убогом гробу бедняка... Понурив головы, в глубокой печали идут за гробом твои друзья, у тебя их много, и ты доставлял им только радости!

Твоя мать уже не плачет, Кинзиньо, она не плачет, потому что сильна духом... Уже не раз на глазах у нее погибали сыновья. Правда, никто из них не погиб такой страшной смертью, как ты... Растерзанный машиной, которая тебя порабощала, но которую ты любил.

Я тоже здесь, среди твоих друзей... Но ты знаешь — я не горюю! Нет! Потому что смерть, такая, как твоя,— это залог грядущей свободы. Придут другие люди, которых машины уже не станут рвать на куски, потому что машины тогда будут верными слугами людей, а людям останется лишь изобретать и строить их...

И тогда поэты, совсем так же, как ты, воспоют машины, потому что машины станут орудием освобождения. Воспоют черной тушью на белой бумаге еще до появления машин на свет...

Вот почему я не горюю, нет. Вероятно, я не единственный твой белый друг — просто у остальных не хватило смелости прийти на похороны. Я принес тебе красные розы. Это знак признательности за твое уважение ко мне, за сердечность, которую я ощущал, когда мы встречались на морском берегу или на лодке бороздили вдвоем безбрежные воды залива... Нашего залива Луанды.

Вот почему я принес тебе красные розы. Первую дань преклонения перед поэмой, которую ты написал своей жизнью и смертью.

Помнишь, Кинзиньо, как однажды в океане разыгралась буря, когда мы переплывали залив? Опытным глазом ты различал во мраке опасность и предупреждал меня о ней. А потом, когда, благополучно добравшись до берега, мы вместе шагали домой, ты рассказывал мне о своей любви к машинам и к чертежам машин...

Прощай, Кинзиньо, прощай...

Твоя мать идет за гробом, погруженная в свое горе. В траурном платье, с каменным, бесстрастным лицом, она идет и вспоминает мертвых сыновей... Теперь она осталась совсем одна. Она вспоминает твое

всегдашнее неиссякаемое веселье... Вспоминает, как однажды ты весь в слезах прибежал из школы... Это было в третьем классе, и ты уже рисовал автомобили и машины — тебе никогда не нравилось рисовать всякую ерунду. Это было хорошо для нас — рисовать цветы и домики...

Ты прибежал, рыдая, потому что тебя прогнали из школы.

— Воришки мне в классе не нужны! — сказала учительница.

А ты оправдывался, плача навзрыд. Почему белому мальчику можно играть заводным автомобилем, а тебе нельзя? Автомобиль принадлежал белому мальчику, Кинзиньо, а ты взял его и хотел унести домой... Не украсть, нет. Только поиграть, хотя бы на один день почувствовать себя его хозяином, раскрыть механизм, хорошенько рассмотреть пружину и колесики, которые приводят его в движение. Но белый мальчик ничего не понял (ведь и взрослые не поняли!) и пожаловался.

Ты прибежал домой весь в слезах... И больше не вернулся в школу. Тебе пришлось играть самодельными автомобилями из проволоки и спичечных коробок, с колесами из жестяных крышечек от бутылок.

Потом ты поступил работать на фабрику. И там твоя беспредельная любовь к машинам разгорелась со всей страстью. Тайком от управляющего («Где этот негодяй Жоакин, вечно он от работы отлынивает!») ты рисовал болты, зубчатые передачи, паяльные лампы, генератор тока и сеть приводных ремней, соединяющих его со станками... Ты от восторга застывал на месте, глядя на неустанное круговращение этих бесконечных лент. А ночью, дома, ты в уме сооружал из таких же ремней невиданные машины, которые будут качать воду из фонтана, и твоей матери не придется ходить каждый день с тяжелым сосудом на голове... Или машины, которые смогут построить много-много хижин...

Ты был истинным поэтом, Кинзиньо, поэтом труда. И поплатился жизнью за любовь к машинам, к этим не знающим покоя ремням.

Мать идет за твоим гробом и вспоминает, как ты возвращался домой с работы, разбитый усталостью, но всегда с горящими глазами.

А я вспоминаю, мой бедный друг, воскресенья на пляже, когда, нарядившись в чистую рубашку, ты, стоя в воде, поддерживал лодку или водяные лыжи, на которых учились кататься девочки... И порою робко поглядывал на Терезу... На белозубую хохотушку Терезу, которая не обращала на тебя никакого внимания... И вот ты умер, Кинзиньо...

Ты погиб страшной смертью! Чувственные объятия машины заворожили тебя, ты захотел разглядеть поближе, как она живет, как заставляет дышать другие машины, как заставляет обливаться потом порабощенных ею людей.

И ремень схватил тебя... Длинная лапа, коричневая от пыли, вцепилась в тебя. А маховик мотора размозжил тебе череп. Тщедушный, ты был легким, как перышко. И, как перышко, закружила тебя машина.

В широко раскрытых глазах, на лице, залитом кровью, читалось, что ты простил свою стальную возлюбленную. Разумеется, твоя смерть ее не остановила... Холодная, неумолимая, она едва запнулась, когда ты ударился об нее головой, где зрели поэмы в ее честь. Люди остановили ее, чтобы вытащить тебя, а потом она снова завертелась, продолжая напевать свою трудовую песню. Так она по-своему почтила твою смерть.

Когда тебя подняли на руки и понесли, она все еще гудела свою неизменную каждодневную песню, которую ты мечтал в один прекрасный день запечатлеть на белой бумаге.

Коричневые лапы машины обагрились алой кровью... Алой, как эти розы, которые я принес тебе,— первая дань преклонения перед поэтом труда, перед поэтом, который не успел осуществить ни одного своего замысла...

Алые розы тебе, Кинзиньо!

Перевод с португальского М. АБЕЗГАУЗ

МУХАММЕД АЗИЗ ЛАХБАБИ

(МАРОККО)

Выше голову, люди!

Перевод с французского
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

На заре новой эры

Я огромен в мечте
расцветающей ранней весной
вместе с розами
эта мечта зелена
как звезда на моем государственном флаге
и красна
как народа бушующий гнев

Я огромен в мечте
нежной словно дыханье жасмина
и уверен в расцвете мечты
не боящейся хода времен
как скала не боится волн

О ночи!
Ваши тени омойте
в наших последних слезах
а кошмары
беснуйтесь в последнем припадке!

Наступает заря
мы знамена ее раздадим
всем
повсюду
даже тем нашим братьям
развращенным и жалким
что подпали под власть капитала
и сломались
Как много на свете грехов
связано с жизнью несчастных

Феллах

Жизнь твоя прохудилась
как крыша над головой
Крыша твоя подобна
звездной тоске ночной
Ночь твоя безысходна
как твой одинокий день
День твой как щеки сморщен
и под глазами тень
Тень под глазами
как голод
Как тени
шаги слабы
Следы твои —
отпечатки
неверной твоей судьбы

Ангелами-хранителями
над горькой твоей судьбой
голод и смерть
неотступно
следуют за тобой
Болит твой несчастный череп
а буря бушует
стремясь
загнать тебя в безысходность
в дыру где нагая грязь

Сон твой кишит кошмарами
ими вся ночь полна
нет от них избавленья
и в пробужденье от сна
Но верю я в пробужденье
чистой твоей души
Мир на ноги станет снова
ты судьбы его реши

Когда?

Ночь над нами висела
голодная злая
без луны без конца
без конца и без края

Стоны крики проклятья
уходят во тьму
без ответа
крики дикие
крики ярости
жажда просто воды
жажда света

Когда
будет поле с колосьями нашего хлеба?
Когда
не сжигать будет нас а ласкать
солнце нашего неба?
День увидим когда?
Мир увидим когда?
О когда же иссякнет беда?

Мира ищет весь мир
но со смертью хотим мы быть в ссоре
мы хотим победить
нашу боль наше горе
смерть не знает усталости
нет ей конца
но наполнятся солнцем
и наши сердца

Мы как солнце

Мы как тополя
Поднимаются наши вершины
а клониться к земле
    не хотят не умеют не могут
Мы как солнце
Кипит и сияет душа человека
солнце знало затменья
    но утру измены не знало
Утром снова заря освещает дороги
радость в горле клокочет
Трепещет мятежное сердце
мы пойдем по дороге зари

Ты бессмертен народ
если жизнь твоя — пламя
ты спокоен и горд
и не любишь склоняться с прошеньем
есть единственный главный вопрос
жить достойно
никогда на колени не падать

Обращаюсь к народам
согбенным веками
выше голову люди!
Достойны мы жизни достойной!

САРА ЛИДМАН

Я — мой сын

РОМАН

■

Перевод со шведского
Л. ЖДАНОВА

— Глэднес, ты где?— зовет Игорь, мой сын.— Иди сюда, поноси меня!

Он только что проснулся и не знает еще, что сегодня — наш день. Любимый сынишка, как ты можешь звать Глэднес, когда я здесь. Хочешь, стану на четвереньки и ты будешь кататься верхом на мне — разве это не лучше, чем висеть на спине Глэднес? Слушая его голос, я окончательно решаю: хватит, настала пора распроститься с широкобокой Глэднес. Отныне все будет иначе: я и мой сын, больше никого. Конечно, первое время она пришлась очень кстати. После долгого плавания Игорь был совсем слаб, и Глэднес, еще не отвыкшая от своего меньшого, давала моему сыну грудь. Она делала это тайком, и я, хотя поначалу был шокирован, не стал ничего говорить. Ведь если разобраться, то ее молоко не опаснее молока черной коровы.

— Глэднес сейчас в Кассандратауне. Она поехала к своему родному ребеночку, малыш. Сегодня же воскресенье.

Игорь ревниво отвечает, что он у Глэднес самый родной и что он тоже хочет поехать в Кассандратаун.

Я уже давно чуял, что Глэднес пора дать отставку. Эта строптивость Игоря меня пугает — не поздно ли я спохватился? Я вовсе не собирался держать ее так долго, чтоб он успел к ней привязаться. Но как быть одинокому отцу, который с утра до вечера на работе, разве уследишь, чем забивают голову твоему сыну?

Я завожу его любимую пластинку «Детский уголок» — сказки и песенки. Он становится на колени у радиолы и смотрит, как пластинка крутится. Сынок.

Я спрашиваю, чья эта пластинка.

— Игоря.

— А больше ничья?

— Нет, Игоря!
— Но, может, она еще чья-нибудь? Вот столечко?
— Нет, нет, она только Игоря!
— А от кого Игорь ее получил?
— От папочки.
— Игорь любит, когда папа ему что-нибудь дарит?
Он смеется.
— Да, да!
— Игорь любит папу или только папины подарки?
Он вскакивает и бросается мне на шею.

Во всем свете ни у кого нет такого славного малыша, как у меня. И никто больше меня не любит своего сына.

Я готовлю нам завтрак и показываю Игорю на ребятишек в доме напротив. У них нет отца, они дерутся и кричат так, что на всю улицу слышно. Хотел бы Игорь жить в том доме, или ему лучше у папы?

Их мать — обрюзгшая женщина с жирными волосами. Она потеряла всякую власть над своим телом, дряблым и бесформенным, и никак не может постичь собственных детей и чувства, которые побуждают их драться и царапаться. Она глядит на них с бессильным удивлением. Иногда к ней заходит вислобрюхий любовник, от него дети получают причитающуюся им взбучку. Кажется, он сыт по горло этой семейкой и предпочитает навещать других женщин.

Как же счастливы мы с Игорем — живем вместе и ни от кого не зависим. Мы смотрим на перепалку у соседей, и контраст между всевластием моего сына и гражданской войной тех сорванцов вызывает у меня смех. Правда, моего маленького принца сравнение, кажется, не радует. Когда два драчуна, визжа от боли и злости, принимаются пинать друг друга, Игорь заливается слезами и прячется у меня на груди. Сынок, неужели ты подумал, что это может случиться с тобой? Покуда есть папа, Игорю нечего бояться. Кто посмеет тронуть Игоря хоть пальцем, будет иметь дело с папой. Разве Игорь не знает, что папа только для Игоря и живет, что я поклялся до конца своих дней быть его верным рабом? Не плачь, мое чувствительное дитятко, тебя никакое зло не коснется.

Мой единственный грех в том, что я не любил Игоря до того, как он родился. Но уж очень Рут разнесло, и лицо испортилось. Я просто не подозревал, какой прелестью, каким чудом окажется Игорь с первого же мига, как я возьму его на руки. Я уезжал по делам, когда он родился, и предупредил, что не хочу его видеть, пока ему не исполнится по меньшей мере два месяца; в ту пору я не ждал от жизни ничего хорошего. Ему была неделя, когда мы встретились, — целую неделю он прожил без меня. Зато потом...

Если бы я знал, что мне предстоит, я бы жил совсем иначе, готовил себя для Игоря. Дар, которого ты не заслужил, мучает твою совесть. Ну и пусть, это чувство неполноценности — лучшее мерило силы и чистоты моей любви.

— Поедем вдвоем, только мы с тобой, прокатимся с шиком?
— Да, да! И к Глэднес заедем?
— Нет, Глэднес к ленчу сама приедет. А сейчас мы, мужчины, поведем машину, научимся переключать скорость, давать газ, тормозить.

Ночью прошел дождь, теперь светит солнце, воздух чист, и мы с моим сыном идем к нашему роскошному «крайслеру». Внезапно меня пронизывает мысль: может быть, этот миг самый счастливый в нашей жизни, больше такого не будет — быть может, мы единственные счастливые люди в этом злополучном городе?!

Несколько чернокожих в мрачном оцепенении сидят на тротуаре или подпирают забор. Никак не очухаются после неочищенной дряни,

которой наглотались в субботу. Несколько белых, торопящихся на богослужение, строят кислые рожи при виде черных и говорят друг другу, что истоки всех бед туземцев — в безделье. Хотя бы запретили им показываться на людях, когда не работают. Издали бы новый закон, чтобы охранить покой воскресного утра. Каково это богомольным людям — всю дорогу до церкви смотреть на ошалевших от пьянства дикарей.

Нам-то с Игорем это не мешает. Мы живем в своем собственном мире.

Еду не спеша, и на верху горки в Хеллброве меня вдруг осеняет, что женщина, которую мы сейчас обогнали, пожалуй, как раз то, что я ищу. Делаю круг и еще раз медленно проезжаю мимо нее. Она явно не здешняя: в Южной Африке не ходят в плаще и перчатках в половине десятого утра, когда солнце уже жарит вовсю. Высокая, ноги прямые и безупречные как средство передвижения, но мужчине они ничего не говорят, начисто лишены того, что властно гонит его, подхлестывая, вверх, вверх! Я еще не забыл, что такое женщина, но ради Игоря вынужден воздерживаться от наиболее бесстыжих, хорошо знающих, что нужно мужчине. Школьница-переросток, в ее развитии недостает какого-то звена: там, где у настоящих женщин мягкий живот, у нее все твердое, жилистое, отчего и походка-то неуклюжая. Эта не избалована ухажерами.

Снова огибаю квартал, затем останавливаюсь возле нее и предлагаю подвезти в гору — это вполне принято среди белых южноафриканцев. Она колеблется. Будь я один, она бы отказалась, но со мной Игорь. Этот четырехлетний принц в белом костюмчике, эти ресницы, белокурые локоны, рот ангелочка — нет, отец такого ребенка не может быть дурным человеком. Я — всего лишь шофер Игоря, он великодушно позволяет нам посидеть в его машине.

Наверху она говорит, что это было очень любезно с нашей стороны, thank you very much. Ее английское произношение кажется мне настолько знакомым, что я спрашиваю себя, уж не шведка ли она. Вслух говорю, почему бы ей не доехать до места, раз уж она села к нам, и такое чудесное воскресное утро... Она отвечает, что это исключено, она не может допустить, чтобы мы из-за нее делали такой крюк, но так как я не останавливаю машины, спокойно предоставляя ей изречь все вежливые фразы, она в конце концов сообщает, что она англичанка и собиралась в церковь. Вот совпадение! И нам с Игорем туда же; видите, так что ни о каком крюке не приходится и говорить.

Когда мы оказываемся у цели, я в ответ на слова благодарности изображаю плохо скрытую обиду на ее плохо скрытое подозрение, что нам с Игорем вовсе не нужна церковь, что мы просто набиваемся на знакомство. Уделяю все внимание Игорю, делаю вид, будто потерял ее, и сажусь позади нее, наискосок.

У нее тощее лицо, кончик носа красный, словно обмороженный; может, норвежка? Из тех, что любят ходить по горам. От нее веет какой-то прохладной, чуть ли не стерильной чистотой, совершенно лишенной запаха. Вряд ли она так уж благочестива, просто привыкла ходить в церковь. Она безвредная, как раз то, что нужно.

Священник говорит о том, что мало повторять «господи, господи» — нужно творить волю господню. Его слова укрепляют меня в моем убеждении, что я прав, боготворя Игоря.

— Чтобы Иаков получил Рахиль, мало было одних уверений в любви, он должен был ее заслужить, удостоиться ее. Не смешивайте служение, кое суть рабское послушание маленькому деспоту, со служением, кое означает преданность, понимание и преображение.

Мной овладевает дрема, но тут же я просыпаюсь от того, что монотонное течение проповеди перебивается словами, произнесенными необычно тихо, все слушатели вдруг оживают.

— Мы мним себя владыками, купаемся в роскоши за счет того, что подчиняем собратьев своим прихотям. Все мы живем дурно. Где наша свобода? В чем величие человека, унижающего своего брата? Как может называть себя свободным тот, кто имеет рабов?

Пауза, наполненная размышлениями священника и паствы. Что это он — на высылку напрашивается? Но вот следует глубокий вздох, и священник отступает от края пропасти:

— Нет свободы, кроме той, что дается милостью Христовой. Вера в Сына человеческого — вот наше единственное спасение. Сын взял на себя ответственность за нашу земную жизнь. Сын — наш заступник перед Всевышним. В вере, и только в ней спасение от тирании закона.

Смятение в моей душе улеглось, я возношу молитву. Я хожу в церковь чаще, чем кое-кому кажется, хожу, чтобы размышлять о смерти и загробной жизни. Отец — молодой солдат, год призыва тысяча девятьсот сороковой, он ведет за руку сына, Игоря, коему четыре года, идет по блаженным лугам, разыскивая Ирму, вечную деву. А вот и она — златокудрая, курносая, девятнадцатилетняя, такая же, как в день смерти, и живее всех живых. Улыбаясь, подходит к нам и говорит со своим забавным финским произношением: «Как я ждала вас». Смерть позади, мы будем жить вечно. Мы на небесах, в которые я должен верить ради своего сына и ради Ирмы. Они оба мои заступники. Конечно же, ради них, я точно знаю. Аминь.

Когда мы выходим, я делаю так, чтобы мы с Игорем оказались как раз перед ней. Плечи и шея у меня такие, что не грех покрасоваться, но главное — пусть полюбуется Игорем, он чудо, с какой стороны ни взгляни. Где бы мы ни появились, все сразу видят, что он сплошное очарование. Это мой сын. Oh yes. Другого такого нет во всем мире. Спросите меня, ради чего существует земля, человечество, все — будьте спокойны, я знаю ответ: ради Игоря. Все, все — лишь питательная среда для Игоря. Но вслух об этом я не скажу. Любой обзовет меня самовлюбленным болваном, или сошлется на других детей или на самого себя, или скажет: «Всевышнего ради»,— и развенчает Игоря, превратит его в обычного ребенка. Да я и сам понимаю, что «ради Игоря» звучит глупо. Вот именно, звучит. Мне бы найти правильные слова, тогда бы истина никого не возмутила, ее приняли бы как очевидность.

Игорь, сердце мое, оступается, и я вижу затылком (когда Игорю грозит опасность, у меня всюду появляются глаза, даже моя одежда стоит на страже его благополучия), как она его поднимает и садится перед ним на корточки. Я подавляю в себе бешеный страх — нет ли у него ссадины?— предоставляя ей вытереть ему колено платком, и, прежчем ринуться к ним, с четверть минуты изучаю ее. Спросите Игоря, как я буду заглаживать свою вину — это промедление — потом, когда мы останемся одни. Вижу, что она занимается им ради него, а не для меня. Одинокий отец скоро приучается различать такие вещи: что искренне, что нарочито. Игорь принимает от нее знаки внимания с непринужденностью создания, знающего, что весь мир существует ради него.

Она должна позволить нам подбросить ее домой, а по пути выпить с нами чашку чая в кафе. Она соглашается, и лицо ее все так же нерешительно-отчужденно; тот факт, что она вытерла своим платком колено Игоря, еще не располагает ее к интимности. Она не знает про наши отношения, не ведает, что очистила от песчинок мою душу.

Она сурова со мной, но застенчива с Игорем, не решается с ним нежничать, и хотя эта сдержанность мне нравится, она вынуждает меня пустить в ход козыри, которые я обычно предпочитаю придерживать. Говорю, что обожаю Игоря, что один воспитываю его с тех пор, как ему исполнилось полгода, когда умерла моя дорогая Ирма. Ее маленькие светлые глаза остаются безучастными, тогда я добавляю, что мы с Иго-

рем все равно счастливы вместе. Она замечает, что, наверно, чудесно быть отцом такого очаровательного малыша. В ответ я говорю те самые слова, которые всегда с неизменным успехом говорю себе самому, господу богу и всем случайным знакомым: если кто-нибудь причинит Игорю малейшее зло, я убью того человека, кто бы он ни был. У меня голубые глаза, и я умею метать ими молнии, они — самое красивое, что у меня есть, после Игоря, сына. И я сопровождаю свои слова голубым сполохом, чтобы растопить ее леденящую кротость. Она возражает: это было бы неразумно с вашей стороны. Кто присмотрит за Игорем, пока вы будете сидеть в тюрьме?

Хотя она — это сразу видно — вряд ли когда-либо обнимала мужчину, или ребенка, или вообще какое-нибудь существо, она принимает мои слова так же буквально, как я сам, и они ее не восхищают. Как ни злит меня этакое простодушие, испуг, вызванный ее предостережением, еще сильнее. Я никогда не задумывался, что будет потом, просто представлял себе некоего бродягу, угрожающего моему Игорю, моему малышу, и как я бросаюсь на негодяя и душу его голыми руками. Придется предоставить Игорю покорение этой несгибаемой тетеньки. И я завожу с ним разговор о нашем будущем.

— Кем станет Игорь, когда вырастет?

— Доктором.

— That's right. Когда папа и Игорь поедут домой в Гокшё?

— Через два года.

— А что папа и Игорь будут там делать?

— Налаживать хозяйство.

— Зачем мы приехали в Южную Африку?

— Чтобы заработать много денег.

— А для чего нам нужно много денег?

— Купить лошадей для нашего хозяйства.

— Кому же достанутся жеребята?

— Игорю!

(А какой переливчатый смех сопровождает этот ответ!)

— Как мы назовем жеребят?

— Кафетка, Пилилюлька, Шалакатка!

Конфетка, пилюлька и шоколадка. Герда, ты жалела младшего братика, я до сих пор помню слова-перевертыши.

Он стоит возле стола, в руке — мороженое, и притопывает ногой, отвечая. Мороженое начинает таять, его нежная ручка излучает тепло, так что сладкое мороженое тает; я не устаю ему дивиться. Мои слезы никогда не доходят до глаз, они остаются в крови, грозя взорвать сосуды. Она глядит на него сдержанно-приветливо, я же по-прежнему — чужой. Предоставив Игорю доедать мороженое, вплотную приступаю к знакомству. Она приезжая? Да, из Шотландии, неделя как приехала. Как ей нравится страна, климат, туземцы, я с радостью покажу ей город, она увидит такое, что ахнет. Правительство дрянное, верно? Скверная страна. Хорошо, что ты здесь всего лишь гость. Она смотрит на меня своими неживыми глазами рассудительной школьницы и ни словом не выражает своего согласия. Можно подумать, что она за правительство, если бы она сама не сказала, что приехала недавно. Наверно, в душе признает мою правоту, да не хочет показать, что мои слова производят на нее впечатление.

Игорь доел мороженое и говорит, что хочет конфет. Даю ему шиллинг, чтобы сам купил. Вот он важно идет к прилавку, запросто покоряя всех на своем пути: посетителей, черных официантов, кассиршу за прилавком... В руке белое игрушечное ружье, волосы золотистые, как у Ирмы. Удивительное творение из жил, нервов, сосудов — всего, что составляет человека, только намного тоньше, изысканней. Я провожаю его

взглядом и впитываю восхищение, предназначенное ему; он-то его не замечает. Предвкушаю восторги нашей попутчицы, но когда я наконец готов принять ее дань, все дело портит йотка сожаления: она беспокоится о его зубах. Я-то знаю, что они безупречны. И я говорю: если Игорь хочет конфет, пусть ест. Пусть будет счастлив. А его счастье — это и мое счастье. Дело в том, что я обожаю, боготворю этого малыша. И самое большое мучение для меня — в чем-то ему отказывать. Приходится шуткой подавлять мою неприязнь к ней: я спрашиваю, уж не учительница ли она. Тут она — наконец-то! — становится человеком, улыбается и говорит, что я угадал. Но ведь сейчас она не в школе и можно, ей же богу, на время позабыть о вреде сластей. Каникулы? Нет, взяла за свой счет двухмесячный отпуск. Видно, нелады с нервами, потому что никто ее не хотел, а теперь нужно делать вид, что она сама не хотела... А только чего она так спешит возвести стену между нами, я отнюдь не собираюсь навязываться. И я показываю ей, что есть в мире человек, который меня обожает, что я любим высшим существом. Говорю Игорю, что он не любит своего папу. Игорь отвечает: люблю. Я настаиваю:

— You don't love dad.

Игорь:

— Yes, I do.

Он забирается на стоящий рядом диван и крепко меня обнимает, истерически твердит, что любит. Я не отвечаю на его объятие, пусть еще посражается за меня. Это старая игра, я убежден — Игорь ни на минуту не принимает мои слова всерьез. Его страх — притворство, но такое убедительное, что и я заражаюсь страхом. Хрупкие ручонки стиснули мою голову, сердечко стучит в мое плечо, рот — у моего уха, но мои руки, ценой огромного усилия, остаются лежать на столике, хотя лицо сводит от страдания. Создание, ради которого существует все остальное, говорит, что любит меня. От счастья, от боли я забываю о ней, а когда наконец смотрю на нее, чтобы упиться ее завистью, то она сидит, склонив голову. Но я вижу, как покраснела ее шея. Значит, стрела попала в цель. Человек, которого она всячески старается уколоть,— предмет любви, какой никогда не выпадало на ее долю. Есть от чего смешаться.

Вдруг она поднимает голову и повергает меня в смятение. Похоже, что вовсе не зависть и не ревность заставили ее потупиться. Уж не считает ли она, что я жесток с Игорем, с моим сыном, моей жизнью? Что она знает о том, как я умею вознаграждать, как я вознаграждаю его потом за этот миг безответного объятия. Она и не подозревает, каким жестоким бывает со мной Игорь, когда захочет. Пусть не беспокоится, мы с Игорем друг друга знаем. Это же мой мальчишка, oh yes.

Закуриваю трубку, а самому хочется скорей уехать. Я-то ради нее взвинтил Игоря, дал ей увидеть любовь, какой мир еще не знал, а у нее для нас кроме стыда не нашлось никакого чувства. Ее недоверие помогает мне принять решение в другом вопросе: все, я добуду эту вещь, она вынуждает меня сделать это сегодня же. Она оскорбила Игоря и меня. Игорь должен быть реабилитирован, я докажу свою готовность защищать не только его жизнь, но и честь, не потерплю, чтобы кто-то корчил рожи, изображая сожаление. Он получит новые рельсы к своему электропоезду, и, пока я их буду добывать, она будет сидеть в машине и присматривать за ним.

Останавливаюсь возле фирмы, где я проработал месяц. Платили они паршиво, зато я изучил все ходы, и это меня отчасти вознаграждает. Поднимаюсь, легко отпираю дверь, захожу на склад и беру два рельса. В следующее воскресенье можно взять еще два. Не к чему портить себе все дело чрезмерной жадностью. Двигаюсь тихо и не спеша, давно постиг, что торопиться — хуже всего, и аккуратно забываю, что я делаю, помню только — где.

На улице останавливаюсь по двум причинам: из-за сердцебиения (неизбежный спутник таких затей) и потому, что мне хочется посмотреть, как она без меня ведет себя с Игорем. Но инициатива целиком на его стороне. Он объясняет и показывает, как управлять машиной, она в панике, словно ждет, что он вот-вот заведет мотор. Она ничего не знает об автомашинах, зато он все постиг. Слышу, как он рассказывает по-английски и по-шведски. Он двумя языками владеет, мой сын, my boy, такой одаренный, что страшно подумать.

Она спрашивает, все ли магазины в этой стране торгуют по воскресеньям, и я отвечаю: большинство — да, после чего меняю тему. Игорь показывает свое белое ружье, объясняет, что патроны игрушечные, а вот когда он вырастет, то получит настоящий револьвер с настоящими патронами. Тетенька испуганно ахает, в этом возгласе кроется вопрос, и я отвечаю: мол, сразу видно, что она в этой стране недавно. Любой, кто здесь хоть немного пожил, знает: тут нельзя жить безоружным. Если ты белый.

Нигде нельзя жить безоружным. Во всяком случае, тому, у кого есть сын. Если у тебя есть сын, тебя всюду подстерегают враги. Кто знает, сколько вражды против меня копится в ее душе — и все из-за моего сына. Она недоверчива, не верит мне на слово, задирает свой красный нос. Я ее проучу. Оплетаю ее своим коварством, спрашиваю, где она живет, отвожу домой — она настолько наивна, что сказала мне правильный адрес,— и, когда мы расстаемся, держусь холодно, словно она отняла у нас с Игорем это воскресное утро, которое мы могли провести в более приятном обществе.

Вижу в зеркальце, что она провожает нас долгим безнадежным взглядом, и резко даю газ, так что мотор недовольно фыркает.

■

Как дети в самых снежных уголках Северной Европы получают знойные или благоухающие имена — Проспертина, Жасмин, Карменсита, Дезире,— так и африканским малышам часто дают имена, которые на скудной земле резерватов звучат экзотично: Хеппи, Бьюти, Лавли — Счастливчик, Красавчик, Милашка. Или Глэднес. Ее фамилия — африканизированное «mankind». Глэднес Макинда — радость человечества.

Ей посчастливилось: она училась при швейцарской миссии. Еще год, и она была бы медицинской сестрой, но тут явился красавец Сидон и обрюхатил ее, последовало замужество, и медицинской карьере пришел конец. Она построила себе хижину по соседству с хижинами его матери и получила клочок земли под кукурузу.

Мать Сидона была матриархом, родительницей множества работящих дочерей и единственного сына-красавца. Он обожал свою мать, Ревекку, и побаивался ее, однако не желал больше выполнять долг послушания. Если Глэднес вместо него будет слушаться его мать и служить ей, с нее снимается обязанность служить ему. «Слушайся мою мать во всем»,— сказал супруг и отправился в Дурбан, чтобы стать полицейским. Субботними вечерами Глэднес, живот — горой, выходила на иссохшее поле и глядела вдаль, высматривая красавца мужа, который за тридевять земель заступал на свой пост или спаивал другую Глэднес. В лачугах его сестер царило ликование — в субботу мужья приходили домой. И хижина Ревекки покряхтывала от благодушия: сколько внуков у бабушки, и всех-то надо приголубить, сосчитать, приютить на ночь. До чего выжжено и пустынно кукурузное поле в Натале среди зимы, а в ушах гул от голодного воя собак и звонкой радости золовок. До чего хороша луна над Африкой, влажная и ласковая, только что вынырнувшая из теплого ночного океана полюбоваться человеческим счастьем.

Она родила сына, которого Ревекка тотчас взяла на свое попечение. Вернулся Сидон, красивее прежнего, в полицейской форме, и одарил ее еще одним плодом: носи под сердцем и размышляй, когда выйдет омытая морем луна.

Видать, есть в тебе какой-то изъян, раз ты не можешь завоевать любовь моего сына. Сидон всегда был хорошим сыном. Женщина, которая не умеет угодить своему мужу, не может растить его детей. И Ревекка забрала второго ребенка, а с ним — половину участка.

Сидон писал из города у моря: «Слушайся мою мать».

Мать Глэднес пятнадцать лет копила деньги, чтобы съездить с дочками в Йобург * и отыскать своего умдоду — мужа, которого четырнадцать лет назад задавило обвалом в шахте.

Глэднес присоединилась к матери и пяти сестрам и попала в Кассандратаун возле Йобурга.

Теперь мать стирает в Кассандратауне белье белым и варит кукурузу детишкам своих дочерей, пока дочери в Йобурге кормят белых детей и ублажают белого босса или черного полицейского, смахивающего на оставленного дома супруга. Возлюби ближнего так же, как своего далекого возлюбленного,— лучше это, чем умереть от грудницы.

Задачка, которая никак не выходит: на что использовать шиллинги? На кукурузу и одежду бабушке и Наоме — или на автобус до Кассандратауна и обратно, чтобы раз в месяц обнять свою Наому?

Тосковать по двоим первым ребятишкам бессмысленно, зулусская женщина не падает духом, попусту не горюет. Зато третья, Наома, рожденная вне досягаемости повивальной бабки Ревекки, живет достаточно близко и достаточно далеко, чтобы у Глэднес было право тосковать по ней.

■

Она стоит, сияя, в кухне вместе с Наомой, будто не знает, что это запрещено. Если кто из соседей приметит их и захочет подложить мне свинью, достаточно позвонить в полицию. Не потому, что в Йобурге люди были злее, чем в других краях, просто здесь благодаря законам этой страны больше, чем где-либо, возможностей сделать другому гадость. Но даже не говоря о риске (может, он и не так уж велик, потому что «беспаспортный туземец» в этом случае — ребенок), ей следовало бы помнить, что это дом Игоря и в воскресенье надлежит оберегать наш покой. При хозяине-буре она никогда не позволила бы себе ничего подобного. Небось, хвасталась матери в Кассандратауне — мол, этот глупый швед так растает при виде моей маленькой Наомы, что ничего не скажет.

Она полная и широкобокая — как и Герда, когда та начала рожать,— но у нее тонкие запястья и щиколотки, а пальцы отмечены врожденным изяществом, которого лучше не замечать, потому что оно подчеркивает твою собственную топорность. А нос? Как у лани, он все чует и улавливает тончайшие оттенки. Зато улыбка неискренняя, она не от хорошего настроения, ее назначение — опровергать то, что учуял нос.

Герда тоже вот так упорно улыбалась, когда в нашу детскую жизнь врывалась жестокость. Деревянная улыбка, умаляющая беду или взывающая к добрым силам там, где их нет и не может быть. Я знаю, это было не злорадство, а своего рода суеверие: мол, если выражение лица будет ответом на доброе — глядишь, и впрямь удастся отвести зло, которое обрушилось на меня... Но затрещины обжигали все так же больно, а когда отец кончал расправу со мной, я набрасывался на Герду и бил, пока она не переставала улыбаться. Потом мы ревели в объятиях друг друга. Герда была добрая, хотя и глуповатая.

---

* Так называют местные жители Иоганнесбург — самый большой город ЮАР.

Игорю не грозит ничего подобного тому, что пришлось испытать мне, и однако же стоит Глэднес отлучиться на часок-другой, как он со всех ног бросается ей навстречу, будто мои объятия не открыты для него каждый миг, будто ему мало моего обожания. Подбежит и лопочет что-то по-зулусски, не думая о том, как он меня этим обижает: я-то зулусского не знаю. Я запретил Глэднес говорить с ним на ее языке, но они и так умеют объясниться. Он карабкается вверх, цепляясь за ее юбку, ластится. Рядом стоит в розовом платьице Наома, очаровательная, как и все туземные детишки, хотя они все на одно лицо, ни за что не различишь. Она держится за юбку Глэднес, но как будто ничуть не ревнует к Игорю. Смотрит на меня доверчиво, точно ждет, что я возьму ее на руки. Но я не всеяден, мои объятия не открыты любым детям.

Жесткий смех Глэднес показывает, что она меня раскусила. Она тискает Игоря, утешает так, словно весь мир его враг, делает вид, будто не знает, что это она живет в стане врагов. Этакое непрерывное хихиканье, к которому черные прибегают перед лицом беды, как к заклинанию, жалкая попытка умилостивить высшие силы. Это моя сестра хихикает. И хотя я не жестокий, каким был мой отец, я, именно потому, что в отличие от моего отца люблю своего сына, вынужден ожесточиться на мою сестру Глэднес, пока она еще не успела испортить моего сына и сорвать мои усилия вырастить его джентльменом.

Прошу ее, если можно, подать нам с Игорем ленч, у нас еще есть кое-какие дела. Спрашиваю, нашла ли она предназначенное для нее мясо и хватит ли ей; я не рассчитывал, что она в воскресенье приведет гостей. Глэднес смеется и заверяет, улыбаясь, что ей и Наоме вполне достаточно.

В Емтланде, в кухне у Герды, такой разговор прозвучал бы дико, но если я сейчас проявлю мягкость, гостья легко может превратиться в жильца. А где Наома будет жить? В чулане Глэднес на чердаке, где летом невыносимая жара, а зимой холодина? Черта с два. Едва я уйду на работу, как Наома окажется внизу и получит те же права, что Игорь. Мой сын приравнен к маленькой туземке! Не за тем мы приехали в эту страну, мой сын и я.

Ей слишком хорошо жилось у меня, в этом все дело. Никакой миссис, перед которой надо пресмыкаться, меньше работы и больше еды, чем у любого другого хозяина.

Поначалу я сдуру кормил Глэднес тем же, что ел сам. Потом, разобравшись немного, как надо обращаться с туземцами и на чем экономить, если хочешь преуспеть в этой стране, я в мясной лавке попросил мяса для Игоря и себя, а для Глэднес — недельный паек boy's meat, мясо для слуг. Его не выставляют напоказ в витрине, оно лежит отдельно, уже завернутое. Дома, когда я увидел, что предназначалось Глэднес, мне стало так неловко, что я снова пошел в лавку и купил взамен dog's meat. Собаки стоят здесь на ступеньку выше, чем слуги, поэтому их пищу не нужно прятать от глаз. Она лежит в витрине и стоит куда дороже мяса для слуг. Конечно, хотя я щедрее большинства хозяев, в переводе на шведский мое хвастовство тем, что я кормлю Глэднес собачьим мясом, звучит не очень-то красиво. Но здешняя жизнь ни на что не похожа, перевод тут бессилен.

И вообще я не обязан покупать ей никакого мяса.

Подумаешь порой о том, что ест Глэднес, и видишь, как из северного далека на тебя смотрит Герда, но живи сеструха здесь, она поступила бы точно так же. Проще всего, сидя дома в Хаммердале, рассуждать о том, как надо кормить туземцев в Хеллброве. Я так и написал однажды домой Герде. К тому же эти черномазые такие обжоры, что в два счета разорили бы нас, если им покупать то же, что и себе. Посмотришь на девочек, и даже жаль их — такие они толстые от кукурузы.

Предлагаю Игорю испытать новые рельсы для его электрического поезда. Он не отвечает. Сидит верхом на бедре Глэднес и упрашивает ее поносить его на спине, привязав платком. Остается только прибегнуть к средствам, которых я сам не одобряю, но я не могу больше допускать, чтобы Игорь меня унижал. Говорю по-шведски, что он никогда не вырастет, если будет изображать маленького ребеночка. Или он больше не любит папу? Значит, он сказал тете неправду? Папа всю неделю гнет спину, чтобы в воскресенье побыть со своим мальчиком. А Игорь, видно, думает, пусть папа и в воскресенье идет на завод. Возможно, Глэднес понимает, что я говорю,— африканцы схватывают чужую речь на лету, словно песню,— но я добился своего: Игорь оставляет ее и идет ко мне. Он дуется, топает ногой, и приходится его пожурить. Так он благодарит меня за новые рельсы? Он подумал о том, что во всем Йобурге ни у одного четырехлетнего мальчика нет столько игрушек? В ответ Игорь берет Наому за руку и ведет ее в спальню показывать свои сокровища. Говорит по-зулусски, мне назло. Он хитрец, мой сын. Сколько раз я восхищался тем, как он умеет перехитрить меня. Они стоят заодно и понимают друг друга. В этом-то и заключается вся опасность: они понимают друг друга.

Сажусь в кресло у окна, делаю вид, будто читаю газету, а сам думаю о том, что могло быть и что есть.

Не говоря уже об угрозе ареста и тюрьмы, я не могу всерьез связывать себя с женщиной, у которой трое детей и несчетная родня. Она чересчур многочисленна. Мир чересчур жестоко обошелся с ней, и для человека, которому столько пришлось испытать, она чересчур жизнерадостна. Куда мне отважиться ее вознаграждать за пережитое.

В приливе чувств я однажды сказал Глэднес, что она добра к Игорю, и спросил, не скучает ли она по своим детям. Она ответила: когда я играю с Игорем или кормлю его, я знаю, что и о моих детях кто-то печется... Мне бы в детстве испить этой уверенности; она грызет меня сильнее, чем счета и угрозы кредиторов. В моей жизни люди и события являются не в той последовательности.

Не надо было спать с Глэднес, она не в моем духе, в ней слишком много от старшей сестры. Но она меня купила несколькими словами, которые, при всей их простоте, озадачили меня. Вечером, не помню уж по какому поводу — то ли насчет стирки, то ли еще что,— я поднялся в ее каморку. Она сидела у окна. На столике газета вместо скатерти, будильник, искусственные розы в бутылке. Я спросил, почему она сидит без света. Она ответила, что керосин кончился. Я сказал, что ей, должно быть, муторно в темноте. Она возразила. Там, где я стоял, было совсем темно. Лучик луны и отсвет уличных фонарей, проникая в окно, выхватывали из мрака белки ее глаз, зубы и белый нагрудник. Я опять спросил, почему это ей не тоскливо в темноте; она коснулась своей груди рукой, опустила голову и, улыбаясь, сказала:

— Gladness is in me.

Радость во мне.

Я не мог удержаться, должен был отведать ее радости. Она была податлива, для себя ничего не требовала, но на следующий день меня преследовало разочарование — точно я спал с гулящей, а не с темнокожей княжной, которая на миг себя выдала.

Я стал строже прежнего, настоящий босс, а Глэднес держалась покорно, будто между нами ничего и не было. Но днем она говорила по телефону, говорила по-английски, хотя звонила сестре, и мне сдается, что ее реплики предназначались скорее мне. Речь шла о какой-то миссис, которая взбеленилась потому, что сестра Глэднес украла немного сахара. (Когда едешь мимо огромных плантаций сахарного тростника, то невозможно взять в толк — как возникло такое положение, что чуть ли не

каждого туземца обвиняют в краже сахара!) Глэднес смеялась громче обычного.

— Что ты говоришь! Пусть твоя миссис подавится сахаром! Ай-яй! Как же ты смеешь брать то, что тебе не принадлежит... that does not belong to you?

Она язвит так тонко, что человек попроще и не заметил бы. А ведь куда яснее: она говорит мне, что ее радость не для меня, как же я мог на нее посягнуть? И о какой краже можно говорить, если служанка взяла немного сахара, которого не в состоянии купить лишь потому, что миссис не платит как следует за ее труд.

Я пытался распознать Глэднес, добраться до того, что сокрыто в ее имени, выведать, откуда идут слова: радость во мне. В то же время надо было держаться начеку, чтобы между нами не возникло «связи» и чтобы она знала: я с ней сплю, лишь когда у меня нет белой женщины. Но как лукаво звучало ее «Хочешь узнать, босс, как играют с подружкой?» по сравнению с моим брюзгливым «Я тебя сам могу научить, если захочу».

Нет, Глэднес обошлась мне недешево — и все же мы расстанемся. Придется ей уйти. Как-нибудь сам выращу своего сына. Она его портит, приучает к себе, не на тот путь наставляет. Я его устрою в детский сад, пусть, пока я на работе, играет с белыми детьми. А вечером будет со мной. Будем завтракать и ужинать сами, двое мужчин, я и мой сын, и больше никого. Пусть его окружают чужие тети и новые дети, пусть его мир все время меняется, чтобы в конце концов остался лишь один постоянный фактор — его отец, верный и преданный отец, готовый всем поступиться ради своего сына. Вырастет — поймет, чем я жертвовал ради него из года в год, изо дня в день. Oh yes.

Слышу, как Глэднес накрывает на стол в гостиной, слышу ее неторопливые движения. Африка, живущая в ней, отлично знает, как она злит Европу во мне этим плавным, покойным ритмом, которого ничто извне не может поломать. Подозревая, что Игорь будет безобразничать за столом, я предупреждаю его, чтобы он не шалил, а ел как следует, как положено такому большому мальчику. Он смотрит на меня, но не отвечает. Видит бог, гордость этого карапуза вызывает во мне трепет, я готов пасть к его ногам. Уселся в красное кресло вместе с Наомой, дал ей плюшевого тигра, а сам обнял медвежонка. Наома держится строже матери — слишком мало встречала белых, чтобы знать, сколько в этом мире сил, которые надо заклинать. У нее тонкая шея — краса африканской женщины, не боящаяся никакой кукурузы. Вертит головой, словно птичка на ветке, не менее Игоря уверенная, что она здесь желанное существо. Ее руки очень уж хрупкие, а в лесу бродит страшный медведь — невольно вспоминаю слова старика Карльфельдта *, и сердце сжимается.

Глэднес не должна была приводить сюда этого ребенка. Покуда их не видишь, слова «расовая проблема» все покрывают, но стоит увидеть их, и у каждого оказываются руки, ноги, глаза и прочие человеческие признаки, которые мешают тебе судить здраво. Наома сидит рядом с Игорем, и, надо признаться, мой пухлый сын кажется увальнем, такая она изящная. Недоедание, только и всего. Но откуда это достоинство, это благородство — будто она по доброй воле воздерживается от еды.

Игорь никогда не будет таким худеньким, ему ни в чем не придется себе отказывать. И вообще — с кем-то сравнивать Игоря! Наома безотцовщина, потому она такая серьезная, у Игоря есть я, поэтому он такой веселый. Я принадлежу ему весь, целиком. Никто и никогда не станет между нами.

За столом Игорь плачет, капризничает. Кладу ему в рот кусочек мягкого мяса, и он начинает жевать. Но рот его — воплощение упрям-

---

* Шведский поэт (1864—1931), лауреат Нобелевской премии.

ства, язык крутит и вертит мясо до тех пор, пока я не говорю: плюнь. Он позорит меня перед Глэднес, которая нам прислуживает. Едва кончается безрадостная трапеза, как он мчится в кухню есть вместе с Глэднес и Наомой собачий паек и всячески дает мне понять, до чего им весело.

Игорь знает, как поразить меня в самое сердце, о мой сын.

■

Есть вещи, которые помнить не стоит.

Взгляд Глэднес, когда я сказал, что увольняю ее... как она долго стояла неподвижно... потом отсутствующе кивнула, будто из другого столетия. Из прошлого? Нет, из будущего, спустя много поколений. Женщина, прочитав вслух кусок из «Истории», кивает внуку — *да-да, малыш, так и было, но ты не должен их ненавидеть. Они жили, как умели. В наше время такое невозможно. Но ведь то было давным-давно. Тогда люди были совсем иными. Не видели ничего у себя под носом.*

Если она в ближайшие дни не устроится и полиция узнает, что она находится в Йобурге или Кассандратауне без уважительной причины, ее могут выслать домой, в резерват в Натале. Но я пишу ей хороший отзыв, и у нее располагающая внешность — она завтра же найдет себе новое место, коли захочет.

Завидую простоте и очевидности ее положения. Да, она ограблена, обижена. Младенцу и то ясно. А я? Тоже жертва несправедливости, ничуть не меньше ее, но я не окружен своими, мне негде искать утешения. Моей беды никто не видит. И что она стоит тут, мозолит глаза? Таких, как она, тысячи. Будто я виноват, что туземцам запрещено объединяться в профсоюзы и что им так мало платят. В этом океане несправедливости одной обидой больше или меньше — роли не играет. Никогда отныне не найму туземку, хватит с меня своих забот.

Плачу ей ровно столько, сколько положено, я не богач. Мне надо думать об Игоре, и вообще — зачем обращаться с женщиной, как с проституткой, лишь потому, что она туземка.

Сборы длятся недолго, но, как ни скромно ее имущество, картонки трещат по швам, узлы чуть не лопаются, и вообще ее багаж напоминает мне тридцатые годы, деревенских девушек, которые приезжали в город из Гокшё или Миссентреска.

А Игорь, мой деспот, заявляет, что подарил Наоме медвежонка и плюшевого тигра. Я смотрю на него укоризненно: ведь он получил их в подарок от своего папочки! Игорь настроился перечить, отвечает мне сердитым взглядом, но у него есть слабость — слезы, которые, сердит ли он или обижен, льются слишком легко. Он в точности такой, каким я был в детстве, о мой сын. Чтобы он взял себя в руки, перехожу от укоров к безмолвной иронии. Ведь он же мужчина, что за манера чуть что реветь. Мне достаточно взглянуть на него определенным образом, даже не надо говорить, мол, парню не к лицу плакать — он и так все понимает, не первый день вместе. Непосвященный человек может посчитать меня жестоким, непосвященному не понять, что я всегда для него же стараюсь, для сына, всегда. Он должен стать мужчиной, значит уже в детстве придется перенести несколько суровых минут. Мой сын не будет слюнтяем, которым кто угодно может помыкать. Вдруг Игорь берет свое ружье, целится в меня и говорит:

— I'll shoot you, dad.

Я убью тебя. Детские губы дрожат, на длинных ресницах повисли крупные слезы. Но я обязан отдать ему должное: это речь мужчины. Прячу свой восторг, не обнимаю его, позволяю ему гневаться вволю, даже подзадориваю его усмешкой, от которой он топает ногой и уже по-шведски кричит, что убьет меня. Знали бы вы, чего мне стоит в такой момент удержаться от того, чтобы приголубить его.

Перед тем как садиться в машину, он откалывает новый номер. Я спрашиваю, сядет ли он, как парень, впереди — или сзади, как девчонка. Он наотрез отказывается войти в машину, держит ручки обеих дверок и ревет. Глэднес и Наома молча сидят сзади. Раньше Глэднес просто решила бы спор: достаточно ей протянуть руку, и он бросится к ней. Но Глэднес ушла в себя, она сейчас безымянное и безликое воплощение своего пола. В этот миг она так стара, что для нее все дети мира — в одном том, который перед ней, и все равно, как его зовут, кто его родил, потому что в нем слилось все, что называется детством; если ребенок потянется к ней, она его не оттолкнет, но и не протянет руку первая. Вот насколько состарилась Глэднес за эти часы. Ей двадцать семь лет.

Коварство Игоря ранит меня, и я уже открываю рот, чтобы предложить ему остаться дома, но, видя, что Глэднес слишком далека отсюда, чтобы ощутить какое-либо торжество, я говорю ему: ладно, садись с женщинами. Он что есть силы захлопывает заднюю дверцу (она все равно не закрылась) и садится впереди, со мной.

Когда он злится, я обожаю его еще больше, он верен себе, мой сын. Я все больше люблю его, в каком бы настроении он ни был. Нет слов, чтобы выразить, как я его обожаю.

■

Кассандратаун, пять часов. Улицы немощеные, трудно ехать по рыхлой земле. Небо огромное и беспощадно яркое. Всевластие мух. Ни одного дерева, ни одного источника, страшная жажда. Пыльная корова, еле волоча ноги от скуки, ищет в красной пыли хоть одну травинку. Находит две, но они такие острые, что, наверно, режут язык. Трава Африки. Собаки тоже ищут с присущей им даже в крайнем унижении разборчивостью: пища должна быть приправлена человечьим духом. Полчища кур и петухов. Это единственные твари, которым здесь хорошо — есть в чем рыться.

Кучки молодых людей с ожидающими глазами, с плечами и руками, которые ведают о своей силе и, однако же, держат себя в узде. В тот день, когда глаза поймут, чего ждали, когда руки согласно поднимутся и сила оживет — в этот день я бы не хотел быть здесь, нет, лучше сидеть с Игорем, моим ягненочком, на шелковистой травке дома в Гокше и читать газету. Я не стыжусь признаться, что боюсь этих черных юношей. Боюсь их спокойствия. Воскресенье, и похоже, что они совершенно забыли о шести днях ада в Йобурге, а ведь завтра — понедельник. Ничто их не тревожит, во всяком случае на первый взгляд. А тут еще это пустынное огнедышащее небо и ослепительные осколки пыли. И у них нет автомобилей, где бы можно укрыться, а в хижине — как в печи. Солнце рассыпает язвительный смех по тысячам железных крыш.

Дети. Они кишат, они ползают, они копошатся, они бы — дай только волю — в один день затопили весь Йобург, и мой сын, Игорь, был бы растоптан. Они вырвут у него хлеб изо рта или накормят своей дрянной пищей, наградят его отвратительными болезнями, которые сожрут моего Игоря. Так или иначе, они проглотят его, уничтожат. Вот почему они должны жить здесь, оставив центр нам с Игорем. Апартеид необходим, потому что у меня есть сын. Не будь его, я бы мог сказать: пусть расселяются, как хотят! Захотят — пусть живут в городе, где угодно, ведь это и их страна. Но они в одну неделю превратили бы Йобург в локацию, и мой сын, рожденный повергать других к своим стопам, был бы смят ими, не дойдя до школы.

Они танцуют дживз. Один играет на penny-whistle — бронзовой свистульке, такой же неразлучной спутнице африканского мальчишки, как свирель — античного пастушонка, второй барабанит в пустой бидон,

и ребятишки поют, хлопают в ладоши, извиваются, насквозь пропитанные ритмом, который белым так трудно перенять. Эта ребятня танцует еще до того, как научится ходить. Примечаю мальчишечью рожицу, удивительно красивую, но она не хвастает собственной красотой, а зовет: радуйся со мной тому, что я вижу. В этом самоотречении укор зрителю: ты хочешь, чтобы красота принадлежала тебе одному!

Он дирижирует танцем, все повторяют его движения, зубы его сверкают. Не будь у меня сына, я бы остановил машину и подошел ближе полюбоваться, я бы мог спросить — разве справедливо, чтобы такой чудесный человечек проплясал свою жизнь на мусорной куче? Но у меня есть сын, его зовут Игорь. А тот мальчишка — не мой. Таких, как он, тысячи. Игорь единственный. В Йобурге уйма людей поважнее меня. Они предоставляют этому парню плясать на свалках Кассандры. Так неужели делать вид, будто я совестливее, чем весь остальной Йобург? Пусть его пляшет. Он не жалуется. Жажда его не мучает — вон как зубы блестят. Он не такой, как мы.

Чуть не врезаюсь в двух быков, одуревших от зноя и пыли. Один из них вскарабкался на другого, и вместе они мечутся по дороге, не видя моей машины, а я загляделся на черномазого Адониса. Заметив машину, ребятня смеется и машет мне, на быков внимания не обращает. Африканские быки миролюбивы, они не нападают на людей.

Едем по серым неживым костям и проволочным каркасам на пустых катушках — игрушечным автомобилям, которые мальчишки только что тащили на веревочке, а теперь забыли ради дживза. Мне даже больно давить эти хрупкие мечты о машине.

Субботний разговор в винной лавке, одна миссис судачит с другой: «...но уж тут я не выдержала, они, говорю, от нас отстали на две тыщи лет, если не больше! Что они изобрели, спрашиваю? Колеса, говорю, и то не придумали! А туда же, избирательное право им подай!»

Сама бы она и катушки не изобрела. Но с нее этого никто и не спросит; все швейные принадлежности она может купить у «Морра». У нее есть избирательное право, есть досуг выкуривать в день сорок сигарет, есть деньги, чтобы в сорок пять лет омолодиться, сделав пластическую операцию. Каждое утро в половине седьмого бой прикатит к постели столик с чаем, ей достаточно один раз сказать, чтобы смазали колеса, и они перестанут скрипеть. А когда она соберется к «Морру» делать покупки, тот же бой из каменного века подаст из гаража ее любимую машину к железной калитке с бронзовым витым литьем.

Мальчишка мечтает о колесе, а спесивая леди вот так и едет зайцем сквозь века. Я таких не переношу, но уж пусть лучше Игорь соревнуется с ее детьми.

■

Мать Глэднес стирает, стоя у корыта. Две дочери дома, принарядились ради воскресенья — шифон, клипсы. Они спокойно, не боясь вульгарности, могут одеваться ярко, их кожа облагораживает блеск безделушек. Куча ребятишек без штанов уселись в круг на цементном полу. Едят серый хлеб без масла, из рук в руки переходит кружка с водой. Никто их не кормит и не уговаривает есть как следует, чтобы выросли.

Мать Глэднес. Прежде всего я вижу ее руки, опухшие, с розовыми ранками, и отвожу взгляд. Очень уж пыльно в Йобурге. Не так, как здесь, в Кассандратауне, но все-таки. Приходится менять белье каждый день, а то и два раза в день, если хочешь выглядеть прилично. Не будь дешевых прачек, неизвестно, как жить. А этой бабусе, чтобы жить, приходится стирать с утра до вечера, каждый день. До того ли ей, чтобы о руках думать.

При виде Глэднес и Наомы она разражается звонким смехом, они что-то тараторят на своем языке. Должно быть, Глэднес объясняет, что уволена. Мать и сестры хохочут, и Глэднес, молчавшая всю дорогу, присоединяется к ним. Смех отнюдь не веселый и не рассчитан на то, чтобы смягчить высшие силы. Резкий, гнусавый смех, который африканская женщина издает в гневе. В нем издевка — такая уничтожающая, что твое мужество вянет, превращаясь в сморщенную изюминку.

Игорь стоит, держа за руку Наому, мишка и тигр уже знакомятся с остальными ребятишками. Здесь не спорят из-за хлеба или игрушек. Здесь делятся — так естественно, словно все руки и ноги принадлежат одному телу. Говорю Игорю, что нам пора уходить. Но он ни с места, одной рукой держится за Наому, в другой стиснул свое ружье. Его эти резкие злобные звуки не пугают, не то что меня. Женщины гнусаво хохочут, хлопают друг друга по спине, они изводят меня своим гамом. Грудь старухи видна из-под лохмотьев; изношенная самка, которая раз в год может позволить себе смеяться в лицо судьбе. И она объединяется с Йобургом и небом в их презрении к ее жалкой доле, к миру Кассандры, она смеется так, словно от нее остались лишь мертвые кости и они глумятся над преходящей плотью.

Забираю у Игоря ружье, чтобы взять его за руку, и повторяю, что нам надо идти. Он так цепляется за Наому, что я вынужден смотреть на него взглядом, которому он не смеет противиться. Глэднес смеется, но радости в ней нет. Она говорит Наоме, что нужно быть вежливой, подать руку, поклониться, сказать белому боссу спасибо за воскресное угощение. На мгновение, обуянная гневом, она становится страшной — а еще скажи спасибо за мясо, оно предназначалось суке, но босс такой щедрый, что угостил нас.

Наома протягивает мне правую руку, и по зулусскому обычаю кончики пальцев левой руки касаются запястья правой — в знак того, что левая не сжимает оружия, пока правая прощается. Я не могу себя заставить пожать маленькие протянутые ручки. Глэднес закатывается смехом, похожим на трубный глас.

Быстро выхожу, уводя с собой Игоря. С южноафриканцем такое никогда бы не случилось. Глэднес выражается совсем как разъяренная девчонка-работница из нашего Иггесюнда, она себе позволяет это потому, что знает меня — она *узнаёт* меня — через весь земной шар, знает, что я младший братишка — с виду лихой, а на деле трус, знает, как обстоит дело с работой и жалованьем, знает, что я это знаю, и никакие уловки не скроют очевидного: мы с ней брат и сестра.

Когда-то я лыжным ботинком пинал Герду по ногам. Но Герда старше меня на девять лет и прощала меня, как простила бы мама. Глэднес — младшая сестра, даже ровесница; она не прощает, а требует, чтобы я вел себя как взрослый.

В дверях Игорь вырывается, хватает у меня из рук белое ружье и отдает его Наоме.

■

Скорей, скорей прочь из Кассандратауна.

И дернуло же нас ехать сюда, сели бы они на свой автобус, и я был бы избавлен от этого представления.

Вечереет, пятнадцать минут — и сгинула атмосфера идиллической бедности, воздух насыщен грозным багровым бунтарским духом. Смирные юноши исчезли, вместо них на улицах — нетвердые на ногах буйные парни. Они наглотались скокиана, так называют здесь самогон, который воскресными вечерами будит в них жажду крови. Кучка спорящих притихла. Один нагибается возле камня, будто ищет что-то на земле, и вдруг,

приветствуемый дружным воплем, выхватывает нож. Блеск ножа, белки глаз. Так же неожиданно и в руках противника появляется оружие — разбитая бутылка. Как это я отправился в Кассандру без револьвера! С моим Игорем, единственным сыном, да они его мигом прикончат, вон их сколько, волосы будто смертоносная туча, рубахи раскалены добела. Захотят — остановят машину, я здесь единственный белый, мой сын и я — единственные цивилизованные люди среди сотен дикарей, им ничего не стоит налететь на мою машину, свалить ее, вытащить нас, меня и моего сына, и в две секунды сделать из нас фарш. Почему они этого не делают? Братья Глэднес! Один — с ножом, другой — с острым стеклом, окруженные толпой подголосков и зрителей, которым не терпится увидеть кровь.

Мой сын и я — белые, они нас не видят.

■

Мне бы жену, а не жену, так близкого человека, который был бы моим заступником.

Сам-то я любой свой поступок понимаю, но узор моих мыслей слишком затейлив, чтобы окружающие поспевали за всеми моими ходами. Кого-нибудь, кто бы за меня поручился. Вроде дяди Уно, но только женщину. Существо с большим сердцем, но без собственной личности, пусть весь ее разум безраздельно принадлежит мне. И пусть она день напролет думает обо мне и все толкует так, как я бы сам истолковал. А я бы мог без помех действовать. Нет-нет, никакого сговора — не то и ей пришлось бы плести свою сеть с потаенными узлами,— просто пусть защищает меня. Да-да! А что, разве я слишком многого требую? Мне сорок шесть, неплохо сохранился, не двадцать пять лет, но все-таки. Седые виски, стройная фигура — недаром увлекался спортом. Не то что эта толстая свинья в квартире напротив, а у него есть славная девушка, которой он явно по душе. Ей-богу, вполне справедливое желание! Я не алкоголик. Сколько мужей как вечер — за бутылку, а жены их защищают до последнего. Вот и мне бы такую женщину. Чтобы верила моему слову, а если слово это означает неприятности — верила, что у меня нет выбора. Чтобы восхищалась и никогда не разочаровывалась.

Может, Кэтлин как раз то? Не ее ли письмо напечатано в газете, в отделе сердечных излияний? «Моя жизнь пуста и лишена смысла. У меня большой нерастраченный запас тепла и нежности. Я ищу не столько любви для себя, сколько возможности одарить своей любовью. Любить — есть ли в жизни что-либо прекраснее? Но я, похоже, никому не нужна. Заранее благодарю за ответ неизведавшей».

Она ждет чуда. Не мое дело ее предостерегать.

Игорь. Молчит с тех самых пор, как мы выехали из Кассандратауна. Сейчас мы едем по незаселенной местности, пустынному поясу, охраняющему Йобург от локаций. Фронтовая полоса?

Домой — думает ли Игорь так по пути в нашу неуютную квартиру? Успел ли он привязаться к Йобургу, будет ли его, взрослого, тянуть сюда — отыскать улицу, где мы жили, индийскую лавчонку, где покупали овощи, бакалейный магазин с хозяином-греком? Может, все это, такое безразличное мне, уже залегло в нем основой для будущих сопоставлений. Если здесь начнутся его истоки, он вырастет другим и меня не будет понимать. Он должен любить северное лето, как я люблю, но разве он может, ни разу его не видев? Разве поймет своеобразие лета пылкого и прозрачного, как влюбленность, каждые сутки которого оплачены тремя днями зимней тоски! В Йобурге — жара и пыль, и листва будто прелая кожа. В Йобурге, чтобы жить, надо иметь большой сад и плавательный бассейн. Я здесь не живу, только нахожусь ради моего

сына, ради его будущего, чтобы ему начинать не так, как мне. Мое пребывание здесь — сплошной негатив, который дома, в Гокшё, будет проявлен и даст отпечаток, все темное станет светлым.

Нежным голоском, от которого у меня горло сжимается, если я долго его не слышу, он говорит:

— Постой — птичка...

Сворачиваю к обочине, опускаю стекло. И мы слушаем, как черная птица поет о дереве, о закате на краю неба. И песня возвращает горам пустой породы золотой блеск и величие пирамид, и в птичьем горлышке — ни пылинки.

Я догадываюсь, что это красиво — и скучно, как фильм. Я давно уже не хожу в кино.

Игорь говорит:

— Птичка полощет бусинки. Вверх-вниз.— Улыбается мне и снова глядит на край неба.

Я перевожу взгляд с мнимого мира на Игоря, мою реальность, вижу, как он переживает неведомые мне тонкости, всеми чувствами впитывает их — знаки, толкования которых будет искать потом, которые определят его жизнь. Как заставить его приберечь свою любовь для родного дома — он должен слышать птиц моего детства, тосковать по моим видениям.

Темнота наступает внезапно, как в кино.

Меня пробирает дрожь. Игорь блаженно вздыхает. Резкая смена освещения его не трогает, она для него естественна. Долго он ничего не говорит. Обдумывает что-то свое, потаенное, растет, уходит от меня.

Мой сын, мой Игорь, оставайся маленьким, будь крошкой, покуда мы вынуждены находиться в этой проклятой стране, ешь, спи и не присматривайся к окружающему.

— Папин малыш хочет sweets?

— Oh yes!

И он утешает меня смехом, жаждущим конфет.

■

Кэтлин лишена чувства юмора. У нее такой вид, словно я пришел некстати, говорит, зачем нам встречаться, ведь нас ничто не объединяет.

Она мирится с моим присутствием — и только; учительница, которой все осточертело и которая оживает, лишь когда ученик запнется. Такая не скрасит урок рассказом вне программы.

Первый раз она меня поймала на обмолвке, когда я ляпнул: еще была жива Рут. Она спросила, кто это Рут — моя жена? Я клюнул и сказал — да. Тогда это мелочное создание говорит:

— Почему же вы (ее «you» означает «вы») говорили, что Игоря назвали в честь матери — Ирмы?

Ненавижу такого рода допытывание. В метрике и во всех прочих документах написано, что Рут — мать Игоря. Ничего не поделаешь: факт. Но это ничего не значит. Ирма, Игорь и я. Было, есть и будет. Рут была лишь неизбежным злом, настолько нелепая при жизни, что память о ней мертва и никчемна.

— Видимо, у вас была юношеская любовь Ирма,— говорит Кэтлин, оправдывая меня.

Надо, надо найти кого-нибудь, кто был бы моим адвокатом. Игорь открывает мне двери, которые иначе остались бы запертыми, но он слишком мал, чтобы поведать мою историю, не все подряд, а с разбором, какой бы она могла быть. Сам же я, видно, навсегда утратил достоинство, без которого я не вправе говорить об Ирме.

Когда Давид бился головой о стену, не находя себе места от тревоги за жизнь сына, которого прижил с Вирсавией, вдруг является к нему этакий жизнеписец с пергаментом и гусиным пером и «выдает» вопрос: «Когда ваше величество очутились лицом к лицу с этим тупым великаном, Голиафом, держа наготове пращу в левой руке и камень в правой,— что вы чувствовали в тот момент, ваше величество?»

Я уверен, что у Давида хватило духу послать жизнеписца к чертовой бабушке. Мне такая роскошь не по карману. Давясь пеплом, я отвечаю, что не сомневался в победе.

Лицо моей невольной собеседницы безучастно, подвиги моей молодости вдохновляют ее лишь на рассеянный кивок и стереотипное «Что ж, и такое бывает на свете». Шея жилистая, тощая, с шершавой кожей — на что ей это ожерелье? Она чужая. Но мне эта чуждость не внове.

Свадебное путешествие, мы с Рут приехали во Флоренцию, разочарования уже нельзя было дольше скрывать, ни одного дня. И вопроса — кто кого обманул. Как мог я клюнуть на это сопротивление, вообразить, будто под холодной оболочкой таится сладостно обжигающий жар? Как мог я мысленно называть эту чужую женщину таинственной? Подчиняясь туристской брошюре, которую Рут не выпускала из рук, мы пришли на пьяцца Микеланджело. Я бы предпочел прокутить эту неделю в ресторане, но методичная Рут, к тому же обязанная отчитаться перед подругами, настояла на том, чтобы мы осмотрели церкви и памятники искусства — «раз уж мы все равно здесь».

Угрюмый от застоявшейся ярости, ничему на свете не рад, я поднял голову и увидел Давида.

Да.

Эта статуя — единственное произведение искусства, которое я когда-либо видел. Юноша, освободитель, пылающий священным гневом, мужчина — каким он хочет быть в глазах женщины, чувствительный, грозный, не замечающий ее. Этот бронзовый юноша был любим. Своим видом он утверждал нечто, отрицаемое временем и миром, таким меня, должно быть, видела Ирма в то утро в Рованиеми, когда я — обнаженный, широкоплечий — из ее окна смотрел через снежную равнину в сторону фронта, герой-освободитель, кровожадность которого оправдывалась, облагораживалась порочностью Голиафа.

Великие минуты жизни тоже изнашиваются. Говоришь себе: этого зрелища я никогда не забуду. И все-таки забываешь. Какая-то подробность выпячивается, заслоняет все остальное, потом и она тускнеет, четкий образ расплывается. Снова и снова вспоминаешь особенное звучание ее смеха в миг, когда он обрывался, и в конце концов в памяти остается лишь мертвый осколок, потому что забыт весь каскад, придававший кульминации эту чарующую внезапность. Стараешься залатать пробелы словами, которые все больше и больше отражают твое безумное горе, а не ее образ, и в итоге они уже и горя не передают — только безумие.

Если жизнь так извращает наши воспоминания, то как же ты забыт, когда тот, кто бы должен тебя помнить, мертв. Кроме Ирмы никто не видел моего величия, а Ирма мертва. Но Микеланджело для нее вспомнил меня, по ее наставлениям изваял меня из камня. Я-Давид с каждым вздохом обновлялся, да-да, он-я дышал, но не старился, не становился плюгавым женишком и не подозревал, что настанет день, когда он коварством обречет Урию на смерть. Все, что было после, не заслонит юноши с пращой и камнем. Как я был прекрасен, сколь чисты были мои помыслы, как мужественно ненавидел я Голиафа, притеснявшего народ Ирмы.

Приходилось ли другим потертым молодоженам в разгар медового месяца стоять вот так, онемев от привета, на который не смеешь отклик-

нуться, не смеешь виду показать, что услышал, боясь той, что идет рядом с тобой, сочиняя в уме письмо дорогой подружке: «...и вдруг на этой пьяцца я, словно прозрев, увидела, за какое ничтожество вышла».

— Ей было всего девятнадцать лет, мне двадцать пять. Мы познакомились в первый день, когда я туда приехал. Решили жениться, как только кончится война. Но русский убил ее. Лучше бы меня убили. Потому что с тех пор моя жизнь сплошной ад,— говорю я, пытаясь расшевелить Кэтлин.— Эх, попадись мне тот летчик. Я бы с ним рассчитался. Ведь он кто? Человек, который убил мою девушку. Мой невидимый враг.

Нет, не так, не так надо рассказывать сагу об Ирме. Я знаю — во всяком случае, знал! — какая она была, но как другому передать свое знание? Я не умел этого, когда она была жива, тем более не умею теперь, когда героическое давно уже ушло из моей жизни, когда я сам заражен голиафовой тупостью и все мои слова изуродованы похвальбой. Да и как может Кэтлин, уроженка Шотландии, никогда не бывавшая на настоящем севере, разве может она понять, каким чудом была Ирма. Надо было видеть снег, ледяное желтое небо, отведать мороза, который стоял в Рованиеми в девятьсот сороковом, чтобы, как я, изумиться нежной девочке Ирме.

Волка еще можно было объяснить, его питал жар — оборотень стужи, питала ненависть к этому царству смерти: километры, десятки тоскливых безотрадных километров вдруг воплотились в одном теле, чтобы излиться воем,— так появился волк. Он был действительностью Рованиеми.

Но какие невидимые пчелы из каких цветов собрали нектар в улей, чье имя Ирма? Она была непостижима, как дар божий. А я был ее единственным мужчиной. Сто дней длилось мое величие, моя подлинная жизнь.

— Не могу простить, что не пустил себе пулю в лоб,— говорю я Кэтлин. Это правда, но чем больше веса годы придают моим словам, тем меньше у меня права их говорить. Жив ли я или мертв, теперь миру безразлично,— умри я тогда, многие сказали бы: трагично, но все-таки осмысленно. Когда жизнь и миросозерцание идут рука об руку, можно говорить о смысле.

Я что-то сказал о пуле в лоб или о петле, возможно, по-солдатски обрисовал Ирму, но чем еще, кроме слов-солдат, слов-насильников, заставить слушателя стать на мою сторону. А Кэтлин смотрит на меня издалека: что мне до этого человека, который чернит тут свою жизнь. Будто я не могу с таким же основанием спросить: какое дело мне до нее? Никакого, если не считать того, что я вдруг вижу то же потерянное остроносенькое личико, какое было у Рут, когда я после двухчасового хождения вокруг Давида вновь увидел ее. И понял, что́ меня к ней притягивало: череп Ирмы, каким он мне явился на какую-то ужасную секунду в то последнее утро. Видение, которое я пятнадцать лет гнал от себя алкоголем, общедоступной женской плотью и картежной игрой. Кожа обтянула нос и выступающие скулы, синие следы моих укусов были как трупные пятна. Ночью я не щадил ее, она спала как убитая и, когда я ее встряхнул, во сне стала отбиваться. Я закричал, моля ее ради бога проснуться. Наконец она открыла глаза, и взгляд ее был мутным и отчужденным — взгляд старой женщины, которая не узнает более собственного сына. Вместо того чтобы проснуться и снова стать моей девочкой, она с каждой секундой увядала. Я спросил, что ей снилось, почему она так странно смотрит. Она ответила:

— Я дралась с ним.

— С кем?

— Который шапку держал.

— Ирма, брось ты о нем! Я ведь просто пошутил.

Она не слушала меня, продолжала говорить все тем же изменившимся голосом. Ее шведский, которому финский акцент всегда придавал такую игривость, теперь был назидательно-тягучим.

— Но он победил, утащил тебя в сугроб, спрятал от меня, забрал к себе, и ты пропал. Я копала руками снег, но не нашла тебя. Я потеряла тебя, я потеряла!

Неприятный сон, и я попытался ее подбодрить, заверив, что все в порядке, я жив и готов убить еще хоть тысячу врагов. Или другим способом доказать ей, что я жив.

Она сказала:

— Это дурная примета, что я тебя не узнала.

Я встречал женщин из глухомани и знал, что́ они считают верным предвестием смерти. Мне стало не на шутку страшно, я сделал ей выговор, чтобы привести в чувство. Мол, я приехал сюда добровольцем, спасать ее страну. Сражаюсь за Ирму, за ее жизнь и свободу, всем рискую ради нее, так разве можно отравлять тоской душу ратника, которому нынче опять идти в бой.

Она сказала:

— А вдруг он отомстит?

— Как? Он же мертв.

— Зачем только ты это сделал?..

Не надо было ей рассказывать. Мелкий случай из солдатской жизни, пустяк по сравнению с тем, что обычно рассказывают на всех фронтах, я такой же, как все. Правда, до тех пор я, кажется, не знакомил Ирму с этой стороной солдатской жизни. А может, она не очень-то прислушивалась, считала, что я, лежа за пулеметом, мыслю, как лубочный урапатриот.

А было вот что. Накануне был бой, после которого мы жаждали выпивкой и соленым анекдотом отвести душу. Вдруг я приметил косо торчащую из сугроба руку с протестующе растопыренными окоченевшими пальцами. И я крикнул: «Гляньте, какой учтивый большевик — предлагает подержать мою шапку!» Снял меховую шапку и повесил на его руку. Но в такой мороз без шапки долго не выдержишь, я потянулся за ней, а ветер успел несколько раз повернуть ее, и подкладка намоталась на пальцы. Будто рука ожила и не хочет отдавать шапку. И я испытал унижение мальчишки, у которого старший отнял шапку и дразнит, держа так высоко, что не достать. Со всех сторон сыпались остроты, покойник поднял меня на смех. Но последнее слово все-таки осталось за мной: плоским штыком я рассек его кисть между двумя пальцами, приговаривая, дескать, не больно-то задавайся.

И зачем только я все это рассказал Ирме, ведь дураку ясно, что это не для женских ушей. Но рука никак не отпускала меня. Один из врагов Ирмы. И ведь главное во всем этом не моя шапка, а то, что он мертв. Мертвый враг — разве он не должен вызывать радость, чувство торжества? Мы, безгрешные, вправе слегка пройтись по адресу врага, который получил по заслугам. Разве не бросил я учиться, разве не рискую жизнью, чтобы освободить Ирму от опасности? Моя курносая невеста с талией, подобной струящемуся пламени, почему ты не смеешься, слушая про свинцовые пальцы, словно ветви оленьих рогов, почему не осыпаешь поцелуями руку своего спасителя, не благодаришь меня за то, что я жив? Но Ирма сказала:

— Я не верю, что ты так сделал.

Позже, в тот же вечер, когда я пожирал ее — да-да, она была мне хлебом и вином,— она вдруг расплакалась:

— Скажи, что ты этого не сделал!

Я ответил, что не делал этого, просто все придумал, чтобы повеселить ее. Ирма:

— Есть шутки, которые убивают.

Пришлось стать строгим. Хорошо ей, сидя дома, вздыхать, изображать благородство. Но тот, кто сражается за свободу, не может слюни распускать. Настанет мир — и все исправится, быт и нравы, но война есть война, грязное дело. И ведь он был мертв. Что ему моя шутка?

Ирма, еще ребенок, отвечает:

— Нужно уметь уважать.

На прощание она сказала мне три словечка, которых еще ни разу не говорила. Я их воспринял, как верный признак того, что умру; в Рованиеми объясняются в любви, только когда жизнь под угрозой.

Мне в голову не придет рассказать Кэтлин про шапку, с годами учишься придерживать язык, никогда не угадаешь, какое слово, вырвавшись нечаянно, потом тебя же поразит, и я просто говорю в заключение, что такие девушки, как Ирма, встречаются лишь однажды и что больше всего (после ее смерти) я горюю об одном: что война кончилась и мне не пришлось отомстить за нее. «С тем летчиком я хотел бы сам расправиться, лично, он мой враг». И разве можно корить меня тем, что я ожесточился,— ведь как несправедливо обошлась со мной жизнь.

Кэтлин — длинный тощий нос и отсутствующий взгляд Рут на пьяцца Микеланджело — говорит:

— Почему вы назвали сына Игорем? Это же русское имя.

Я этого никогда не знал. Неужели мой враг — Кэтлин?

■

И влип же я. А как еще скажешь про человека, который выбивается из сил в Йобурге, получая за это ничуть не больше, чем зарабатывал бы дома? Не потеряй я мое первое место, сейчас бы оставалось совсем немного до суммы, которая нужна нам с Игорем, чтобы вернуться домой героями. С тех пор мне нигде не предлагали такого жалованья. А все из-за черномазого — из тех, которые в кармане комбинезона носят Шекспира; в этой стране черные читают Шекспира, как нормальные люди — детективные романы. Взял себе в привычку, когда нам выдавали жалованье, спрашивать: «Ну, босс, каково? Доволен?»

Я только что приехал из Европы, и мне никак не давалось это органическое превосходство, которое присуще местным белым. Они смотрят на кафра так, будто отделены от него океаном. Мы с тем типом выполняли одну работу, а смеялся он потому, что знал, что и мне известно, о чем речь, как если бы мы были два шведа где-нибудь на автобусной остановке в Сюндбюберге или Оселе. Поди скажи ему: «Ты не понимаешь наших расовых проблем» или: «Да ведь ты ни к чему не пригоден!» Мы были равны, если не считать того, что он растил четверых детей и получал пятую часть моего жалованья. И стой, слушай его зависть с таким видом, будто тебе это доставляет удовольствие, терпи сопоставление с ним, а не с предприимчивыми людьми, к которым ты причислял себя до приезда. Я спросил, каково ему, ведь он получает вдвое больше своих чернокожих товарищей. Верно и то, что мое сравнение было не совсем оправдано: он выполнял квалифицированную работу, они — подсобную, но он не полез за словом в карман, ответил:

— Мне стыдно, но эта несправедливость будет устранена.

И я начал понимать, что белые, если хотят чего-то достичь в этой стране, просто вынуждены вести себя так, а не иначе, нельзя допускать такого положения, чтобы черномазый затевал с тобой разговор. Не его дело задавать вопросы. Вот вернусь на родину, в Швецию, пускай та-

мошние домоседы, которые дрожат над своей страховкой, спросят, каково быть кузнецом собственного счастья. Я отвечу чуть снисходительно, мол, хоть и тяжко бремя ответственности, зато теперь вроде стало полегче, спасибо.

— Не худо бы и мне проветриться, да, видно, пороху не хватает.

Вот именно. Им ни на что пороху не хватает, кроме как заседать в банных комиссиях да ходить на родительские собрания. Я не страдаю отсутствием смелости. Никогда не боялся порвать со старым и выкинуть что-нибудь неожиданное. Если бы только не моя чувствительность, не моя ахиллесова пята. Есть смех, которого я не переношу, впервые я его услышал, когда мне было четырнадцать лет, тот человек давно уже мертв, но напоминает о себе повсюду. Я не мог выносить того, как этот кафр прохаживается насчет моей получки. Настала пятница, когда я вдруг понял: хватит с меня подобных усмешек. Будто эта разница достается мне незаконно! Не я придумал тарифные ставки. Я не сую свой нос в его конверт и не спрашиваю, каково ему. Я делаю свое дело, пусть он делает свое. Это не моя страна. Я не причастен к здешним законам. Коли ему что кажется несправедливым — взял да исправил. Хочешь улучшений, добейся их, не сиди сложа руки, не жди, когда обладающие привилегиями великодушно от них откажутся. И вообще мне до всего этого нет дела. Я сюда приехал обеспечить будущее себе и сыну, внутренние дела страны нас не касаются.

Одного не пойму: как ухитряются другие иностранцы держаться так, что черномазые к ним не лезут!

Ирландец, который всю свою молодость мотыгой рыхлил торф, может теперь сколько душе угодно бултыхаться в собственном бассейне. У него вилла и слуги из краалей Зулуленда, Пондоленда или Трансвааля, где они все свое детство землю копали. А теперь скажите, как ухитряется этот ирландец, в прошлом рабочая скотинка, избежать вопроса: «Можно мы искупаемся в бассейне, босс?» От торфяной крошки до сих пор чешется голова и под поясом, хуже вшей. Чтобы смыть эту крошку, надо, наверно, проплавать столько же часов, сколько мотыгой отмахал. Еще наши предки, древние зулусы, говорили, что человек и вода вместе пахнут хорошо. Ты забыл, О'Коннор, каково это — никогда не купаться?

Будь у меня свой бассейн, садовник-бой на второй день заявил бы мне что-нибудь в этом роде.

Или взять грека в угловой лавке, который увидел свет на пустынном островке в Эгейском море и все юные годы возил на лодке питьевую воду туристам, до Йобурга ни одного магазина-то не видел. И поглядите теперь, как его черные бои таскают тяжеленные ящики с кока-колой и пепси-колой, как отчаянно они его боятся, как он обсчитывает черных покупателей и сбывает им подпорченный товар, будто не та же алая кровь капала из его детской коленки на камни Греции. По нему не видно, чтобы он когда-либо падал, устойчив, как поплавок. Отвислое брюхо, тощие руки, но ни один нахальный кафр не посмеет спросить его, каково-то было возить водичку туристам, его глаза не располагают к вопросам.

Или моя первая подружка в Йобурге, Гизела из Швейцарии, которая ходила с длинными косами в своих Альпах и слушала строгую мамочку — ее салон в Хеллброве приносит славный барыш, благодаря черным девушкам из Кассандратауна. Они стирают полотенца и делают всю черную работу за такие гроши, что она непрерывно может расширять свое дело. В этом году — маникюр, в следующем — косметические процедуры. Если черная девушка проявит малейшую строптивость — вон ее, найдется сколько угодно смирных, которые спасибо скажут за возможность годами выметать волосы и стирать полотенца. Они только рады ничему не учиться! Гизелейн готова хоть при них это сказать.

А длинная коса, сто раз дерганная маминой рукой, отрезана и спрятана, уже не выглянет, не выдаст мадам, и черная девушка не решится спросить, каково это было — ничего не сметь.

Все эти беженцы из нищих закоулков мира преуспевают в Йобурге и превозносят свою дальновидность, которая избавила их от участи деревенского обывателя или налогоплательщика в Европе.

Терпеть не могу работать за гроши. В этом я ничуть не отличаюсь от всех шведов, голландцев, греков, немцев и бывших ирландских трудяг, которые ныне населяют Йобург и наживают богатство. С какой стати задаваться перед другими, изображая этакого совестливого уникума, который считает подлостью принуждать черных работать за гроши? Да зачем, если все остальные считают это в порядке вещей. Мне безразлично, как я сколочу состояние, лишь бы оно было. Черных грабили всегда и будут грабить.

Меня подводит моя внешность. Слишком открытый взгляд. Чересчур честное лицо. И я слишком гордый.

Грек на углу лишен гордости. Он не одну тонну унижений проглотил, прежде чем накопил столько жира. Он не горд, только жаден. Его дети, жирные поросята, сидят за прилавком и читают журнальчики. Отец не заботился о том, чтобы дать им образование. Были бы всегда сыты и свободны от необходимости возить водичку или носить ящики с кока-колой, ему больше ничего не надо. Он богат и доволен. Его бои изнурены работой, а что толку.

То ли дело я, у которого сын — гений, мы бы с толком использовали деньги, обратили бы их в знания, культуру. Да только где мне, прибыль от дешевой черной рабочей силы плывет мимо моих рук, она грека жалует. И черномазые, которые пресмыкаются перед греческим выскочкой, бывшим ирландским батраком и швейцарской девкой, смеются мне в лицо и спрашивают, каково мне.

■

Поймите, когда у вас такой сын, как Игорь, вы обязаны быть кем-то. КЕМ-ТО.

Я плохо сплю. Бывает, когда я ночью мечусь в постели, Игорь проснется и вдруг скажет:

— I love you, dad.

Я не отвечаю, на миг мне сдается, что я умер, так нестерпимо мое счастье. А он каким-то неземным голосом, словно некто другой вещает его устами, повторяет:

— Папа, слышишь? Я тебя люблю.

Радость пронизывает меня, а в следующее мгновение я задыхаюсь. Сердцу тесно в груди. Мое сердце слишком мало, чтобы ответить так, как этого заслуживает мой сын. И радость переходит в чувство вины, его любовь чересчур велика для меня. Чересчур чиста, она взывает к тончайшим струнам моей души, которым нельзя звучать.

Господи, дай мне умереть, я не вынесу на своих плечах столь великой любви. Господи, пусть он умрет и будет принят Ирмой, сущей на небесах. Как служить моему сыну, как искупить свою вину, чтобы стать достойным его? Нежным, чистым, как колокольчик, голоском мой сын говорит:

— Он спит, он не слышит. Все равно это правда. Я люблю папу.

Вздохнув, он засыпает. Я глотаю воздух, мрак ходит ходуном.

Как мне нужна женщина — наброситься на нее, опростать свою плоть от нежности, которая вырастает в неистовство.

Утром, с рассветом, становится легче. Мой сын уже не такой безумно прелестный, проснувшись, он хохочет и командует. Папа, где мой

чай! Мы моемся вместе, я вызываю его на бокс, вода брызжет во все стороны, мой бандит любимый, за него можно быть спокойным: он не даст себя обидеть в детском саду, пока я буду зарабатывать на хлеб.

Одевать его — тоже счастье, одежда Игоря для меня прямо-таки драгоценность.

Мысленно он уже в детском саду, в мире своей радости, по-детски добром и жестоком, полном такого, что мне недоступно. Он дергает дверцу автомобиля, не может открыть, нетерпеливо глядит на меня:

— Открой же мне! Ну, скорей!

Я спрашиваю, неужели он так спешит расстаться со своим папочкой. Да, спешит. Он будет сегодня играть с Дени.

— Значит, ты больше не любишь папу так, как ночью говорил.

Мне самому стыдно произносить эти слова, но они вырываются непроизвольно, наперекор рассудку. Он обнимает меня, трется щекой о мою щеку, уверяет. Я сожалею о сказанном, он видит, что я приуныл, и говорит: папочка, не огорчайся. А самому не терпится ехать. Вдруг я умру сегодня, вдруг вижу его в последний раз! Будет ли он горевать обо мне? И вообще, разве могу я быть уверен, что мне одному принадлежит его любовь? Как заручиться верностью голубого колокольчика? Спрашиваю его — чего он хочет: чтобы папа после работы заехал за ним, или же он останется в детском саду? Тут он начинает плакать. Отказывается выходить из машины. Забирается ко мне на колени, он поедет со мной, не хочет к тем детям. Время идет, если я не поспешу, то опоздаю на работу. И я говорю, что Игорь должен быть послушным мальчиком, идти к детям, папа не может весь день играть, папа должен работать за нас двоих. Плача, он просит меня обещать, что я приеду за ним. Я ласкаю его и сам чуть не плачу, не могу говорить, когда мой малыш рыдает в моих объятиях. Неся его на руках — он судорожно вцепился в меня,— вхожу в калитку, одна из воспитательниц идет нам навстречу, у нее слезы на глазах, просто не может их сдержать, глядя на моего сына и меня, как трогательно мы прощаемся. (Она будет нашей, если понадобится нам на какой-то срок.) Протянув руки к Игорю, она уговаривает его не огорчаться, ведь после работы папа, как всегда, заедет за ним. Игорь отбивается от нее, старается спрятать лицо, его слезы обжигают меня, как поцелуи. Я говорю:

— Ну, Игорь, будь молодцом, покажи, что ты уже большой мальчик.

Он всхлипывает, теперь перехватило горло у него, я слышу в стуке его сердца нечто вроде того страха, который сам испытал ночью. Удивительно: его страх умеряет мой... Папочка, обеща-а-ай, что ты заедешь!

Беспомощно улыбаюсь воспитательнице: откуда он взял, что я могу не приехать. Ведь ради него я живу. Ему ли не знать, как его любят! Мягко отрываю его руки от своей шеи и передаю любимое существо ей, он все отбивается. И я ухожу, махая рукой на прощанье, опечаленный и вместе с тем успокоенный, слыша, как он кричит мне вслед:

— Don't leave me, dad, не уходи от меня...

Трогаю машину, на какое-то время в душе равновесие. Он делит со мной боль любви, я не одинок. Но в цеху...

■

В цеху. Нас десять белых и девяносто черных. Весь первый час приходится орать и ругаться, чтобы бои вовремя подносили то, что тебе нужно. Только дай им потачку — сразу на шею сядут. Дохлые какие-то. Никто из них не завтракал, даже чашки чая не выпил. Однако мало-помалу они раскачиваются, работа сообща подстегивает их. По двенадцать человек поднимают кабель, в несколько приемов, и каждому приему отвечает особый звук, поднимают в согласованном ритме, пре-

вращая работу в танец. Весь груз ложится на плечи ритма. Вот они целиком отдались звукам и плавным движениям — и будто освободилась особая энергия, которая сама поднимает и переносит тяжести, люди же словно и ни при чем. То нахлынут, то схлынут, точно волны морские, не ведающие о цели корабля.

Вдруг словно перебой во времени, и странное затишье, нет стонущих, булькающих звуков, и люди не кажутся ни волнами, ни каким-либо другим явлением природы — они люди, каждый со своими особенностями, не похожи друг на друга, как и должны быть непохожи индивиды; устремленные на тебя глаза, блестящие от голода, не затуманены болезненным жаром, нет, ясные, пристальные, они глядят тебе прямо в мозг: без одной минуты десять, сейчас тебе и остальным девяти принесут чай. Еще целых два часа до ленча, когда большинство съест ломоть хлеба и выпьет ковш воды. Ты видишь их голод и полчища голодных детей за каждым из них, они безмолвно тебя вопрошают, чувствуешь, как они завидуют твоему чаю, который ты будешь пить сейчас, который пил дома утром, завидуют скромному завтраку, который ты дал своему обожаемому малышу, Игорь так мало ест, а они даже этой толике завидуют, дикари, способные за завтраком быка сожрать. У тебя кружится голова. Их так много. Белых лиц не видать, они где-то в другом конце цеха. Слышишь европейский смех, ошибиться невозможно, он направлен в точно определенный адрес, всех прочих отсеивает. Черные других не донимают, только тебя; грозная туча, заряженная голодом, давит тебя, они желают твоей смерти, лишь бы получить заслуженную тобой чашку чая; чашка чая — много ли достанется на каждого, вон их сколько, не хватит даже губы смочить. Желают твоей смерти, чтобы ты не мог заехать в детский сад за сыном — пусть стоит одинокий у калитки и ждет отца, который не может приехать, потому что мертв. Завидуют тому, что у тебя есть единственный обожаемый сын. У них у каждого куча детей, они не знают, что значит единственный ребенок, маленький бог, даже я еще не осознал полностью, какое он сокровище, где же им.

Глядят на меня так, словно я угнетатель, знали бы, какая на меня возложена небывалая ответственность в лице Игоря, моего сына. Чего им от меня надо, этому черному отребью? От них воняет туземцами! Таращатся, точно готовы сожрать моего сына, а что вы думаете, ей-богу, они на это способны!

Они меня окружили. Вспоминаю страшную картину, которую я зимним утром видел в зарослях. Змея, отчаянно извиваясь, тщетно силилась вырваться из кольца черных птиц. Не знаю, как называются все эти африканские животные и растения, змея была огромная, желтая, птицы напоминали наших дроздов. Они плясали вокруг нее, потом замирали, выстроившись в два ряда, и прикидывались, будто пропускают рептилию, но когда змея кидалась к выходу из коридора, путь оказывался преграждённым пляшущими и хохочущими птицами. Около часа я смотрел на них. Не знаю, задолго ли до моего прихода началось окружение, но змея была явно утомлена. А птицы не шли в наступление, лишь чутко следили за грозным врагом. Сотни взглядов дробили, высасывали из змеи ее гипнотическую силу. Наконец рептилия притихла и стала втягивать голову. Они молчаливо смотрели, как змея тщательно прячет голову в складках кожи. Когда голова скрылась совершенно, раздался дружный крик, птицы набросились на обессилевшего гипнотизера и убили его ударами клювов и когтей.

Не знаю, отчего мне дурно — от этого ли воспоминания, или это еще раньше началось, но я немедленно должен выйти. Мой окрик заставляет двух боев посторониться, и я быстро иду по качающемуся полу, ожидая, что они вот-вот набросятся на меня сзади, слышу шум (почему я не падаю?), оборачиваюсь и вижу, как два негра тузят друг друга. Шагаю

дальше. Эти удары предназначались мне. Я знаю это сердцем, глазами, всем нутром. Но они не смеют. У мастера есть револьвер. И они нещадно бьют друг друга, давая выход заблудившейся ярости.

Не хочу знать, чем кончится драка, не хочу больше оставаться здесь сегодня, это опасно для жизни, моей и сына.

Я теряю на этом почти весь дневной заработок, но здесь нечем дышать. Чертово предприятие, заболеешь — ни шиллинга не дают. Хоть бы подумали, что у человека может быть сын, благополучие которого зависит от его заработка.

Говорю мастеру, что не могу сегодня работать, он отвечает, что по мне видно, как мне скверно. Жаль: по мне ничего не должно быть видно, нельзя, чтобы обо мне говорили «сердечник». Враги подстерегают со всех сторон.

Выхожу на улицу, и первое же, что я слышу,— как один преуспевший босс говорит другому преуспевшему боссу: «Европеец, который за десять лет не сколотил себе состояния в Южной Африке, нигде не выбьется. Значит, он идиот. No-guts man».

■

Еду к врачу, который, осмотрев меня, определяет то, что мне и так известно: расширение сердца. Выписывает лекарство и говорит, что я не должен волноваться. Лучше бы приказал жизни, чтобы не волновала меня, не давила так со всех сторон.

Ему меня не понять. Ему всегда все удавалось. Он моих лет, сестры делают за него черную работу, сам он сидит за письменным столом и выводит каракули на рецептах и счетах. Если бы не мое невезение — только экзамены сдать оставалось,— я тоже мог бы теперь сидеть и не волноваться. Этот старикашка, преподаватель терапии, вот кто мне ножку подставил. Да еще и спрашивает, гном этакий: «А выйдет ли из вас врач? Не говоря уже о том, что вы курса не знаете».

Тут без козней не обошлось. Голову даю на отсечение — кто-нибудь сболтнул, что я воевал на стороне Франко. Конечно, в тридцать девятом-то и я уже видел, что надо было тогда, три года назад, народный фронт выбрать. Я был ничуть не больше фашист, чем Рольф, который проваливался по анатомии одновременно со мной. Это он предложил ехать в Испанию, когда мы в забегаловке за кружкой пива размышляли над будущим — два двадцатидвухлетних парня, отлично знающих, что они получше этих затюканных зубрил и пай-мальчиков, которые одолели анатомию. Рольфа никто бы не назвал замухрышкой. Мне его предложение понравилось, но именно потому, что он даже не допускал мысли об ином выборе — разумеется, народный фронт! — я решил доказать свою самостоятельность и объявил, что завербуюсь к Франко. Рольф разозлился, и мы расстались недругами, а ведь его доводы были не серьезнее моих. Теперь он врач дома, в Швеции, у него большая практика и твердые взгляды. Его существование определено, для него в жизни нашлось место, он не задыхается. Ему не довелось три года спустя провалиться по терапии, гном его не унижал, и ему не пришлось, чтобы скрыть позор, снова отправляться на войну. Он был одарен не больше моего, не больше меня знал о терапии и политике, просто ему повезло и он был не такой гордый, как я. Теперь он может чваниться.

А *этот* врач — ему приходилось проваливаться? Он уроженец ЮАР? Или бежал из Европы от какого-нибудь унижения? Был он на войне, рисковал жизнью? Или только зарабатывал деньги? Десятиминутная консультация обошлась мне в дневной заработок. Я потерял два дня, а при мысли о том, что завтра снова придется идти на работу и видеть кольцо черных птиц, мне опять чуть ли не плохо.

■

Получаю в аптеке лекарство и принимаю таблетку, сразу легче дышать. Время ленча. Но я не хочу есть.

В кафе все столики заняты белыми, на тротуарах кучками сидят черные, занятые всевозможными играми. Чертят мелом на асфальте клеточки, передвигают металлические пробки, гвозди, пуговицы, камушки. Или бросают кости. Азарт игры заглушает голод. Выкинув две шестерки, от восторга кувыркаются через голову.

Двое недовольных вместо обычного «сау бона» — «я тебя вижу» — приветствуют друг друга вызывающим «Танганьика!» В последние дни газеты много места уделяют предстоящему провозглашению независимости Танганьики.

Черномазые раздобыли целую охапку зонтов и теперь упиваются своим приобретением: открывают зонты, вращают, перекинув через плечо. У одного пять зонтов. Его лицо предвкушает благодарность и восхищение, с которым примут подарок мама, папа, невеста и младший брат. И тут же — огорчение: почему зонтов не двадцать, чтобы можно было всю родню одарить!

Но вот еще фетишист, более западного склада, несмотря на африканские лохмотья и черную кожу; одинокий, как я, он в немом восторге окаменел перед витриной, заполненной корсетами. У него слюнки текут.

Я свободен, почему бы не позволить себе маленькое, скромное развлечение, какую-нибудь холостяцкую утеху?

Кэтлин. Пусть угостит чаем, которого меня лишила зависть чернокожих. Кэтлин стоит ниже меня ровно на столько, сколько нужно. Еду домой и надеваю свой самый шикарный костюм.

■

Она, похоже, только что кончила пить чай в компании с чернокожей nannie, которую представляет мне как миссис Дладла, хотя сама называет просто Грейс. Величаться «миссис» и есть с белыми вместе не такое уж удовольствие для африканки, приученной подавать и прислуживать. И Грейс, вероятно изображавшая радость, чтобы не обидеть доброжелательную мисс, испуганно глядит на меня, несколько более сведущего в формах общения между расами — кого чем кормить, как величать. Кэтлин вручает ей книгу, газеты, и они расстаются до вечера.

На Кэтлин серый шотландский джемпер, гладкая синяя юбка и уже знакомая мне одинарная нитка жемчуга, фунтов пятьдесят, не меньше. До чего же надуманное утверждение — чем проще, тем элегантнее. Она в этом наряде выглядит просто серенькой. Ей невдомек, что за те же деньги она могла бы накупить полный гардероб шикарных вещичек. Да и другая прическа не помешала бы, а то уж очень лицо невыразительное. Или это безнадежное дело — пытаться соорудить что-нибудь из уймы мелких колечек?.. В тридцатых годах такие волосы обеспечили бы ей успех. Теперь у нее старомодный вид. Не мешало бы заглядывать в журнальчики, там полно всяких советов. На одних романах не выедешь, ходкой внешности не добьешься.

Спрашиваю, не угостит ли учительница чашечкой чая бедного викинга, у которого болит сердце. Она ставит передо мной чашку, но на юмор не реагирует. Голос звучит еще более нервно, чем когда-либо. Ясно: она меня побаивается, смекнула, что я умею обращаться с женщинами. Сознательно приглушаю свой голос, чем звонче говорит она, тем медленнее и тише говорю я. Спрашиваю, почему она ко мне так холодна.

Отвечает, что приехала в Йобург отнюдь не для того, чтобы встречаться со мной, а совсем с другой целью. Я возражаю, что не надо себя обманывать (большинство женщин не в силах устоять против этого трюка: «Не обманывай себя, милая!») — если бы ее ничуть не влекло ко мне, я бы не испытывал такого неудержимого влечения к ней. Эта особа, которая никогда по-настоящему не жила, только читала, говорит:

— Не знаю, что и думать о тебе. Нижняя часть твоего лица не соответствует верхней.

— А какую ты предпочитаешь?

— Лоб и глаза — знакомые...

— А подбородок, рот?

Она краснеет и отворачивается.

Выносит приговор, не выслушав меня. Она не знает, сколько я выстрадал с самого детства. Поневоле останется след в складках у носа и в уголках рта. И я рассказываю ей, какой страшный человек был мой отец. Как мама умерла, когда мне было всего три года, как мое детство прошло без любви, Ирма — единственное хорошее, что мне выпало в жизни, да и то враг убил ее. Как меня во всем преследовала неудача, хоть бы что-нибудь даром далось. И как я ненавижу отца, первопричину моих злоключений.

Она говорит:

— Ненависть к родителям — признак незрелости.

— А твои родители? Какие они были?

— Не знаю. Я их никогда не видела.

— Ты подкидыш?

— Не совсем...

Это отчасти объясняет, почему она такая бесцветная, безличная.

Таким же безликим, лишенным всякого обаяния мог быть Игорь, если бы его вырастили чужие люди. В приливе чувств я напоминаю ей, что она видела Игоря, моего сына. Разве он не принц, не ангел?

— А когда я был таким, как Игорь, на мою долю приходились лишь брань да побои. И я не вправе ненавидеть человека, который так со мной обращался?

— А в тебе самом ничего нет от отца?

— Неужели ты думаешь, что я способен причинить зло Игорю?

Она говорит — нет, разумеется, нет. И продолжает, учительница-идеалистка:

— Возможно, его выбила из колеи тоска по жене.

— Которую он — прямо ли, косвенно ли — убил!

— Я не хочу сказать, что ты должен оправдывать его. Но постарайся его понять... чтобы не обманываться... когда судишь о самом себе...

«Не обманывай себя!» Но «милого» нет и в помине... Надо поставить ее на место. Она меня раздражает. И ничуть мне не нравится, хотя это не помеха. Как изголодавшийся человек бросается на скверную пищу и ест, пока не заболеет, так и я не гнушаюсь пресными женщинами, пусть даже к обоюдному унижению. В этом проявляется моя верность Игорю и Ирме. Совесть чиста перед ними, я больше никого не любил. Конечно, веселого тут мало. Зачем только Ирма умерла, свергла меня с престола влюбленного и превратила в раба плоти.

Кэтлин надменна, как аристократическая девственница семнадцатого века. Твердит, что я неверно толкую свое чувство к ней. Уверена, что я ее не люблю, но уговаривает меня не огорчаться из-за этого! Ведь я могу не сегодня-завтра по-настоящему влюбиться в какую-нибудь девушку, и тогда я увижу, что она, Кэтлин, была всего лишь предтечей моей подлинной любви. Какая трогательная наивность! Она отвергает мое ухаживание так учтиво, словно я юноша, чью зарождающуюся муж-

скую гордость надо щадить. Я шутя могу ее покорить, стоит мне пустить в ход толику моего обаяния, но я подожду, пусть еще поважничает. Не каждый день ей выдается случай защищать свою честь.

А может, она безнадежно влюблена? Спрашиваю, есть ли у нее дружок в Шотландии.

Не глядя на меня, она отвечает:

— Я ему друг, он мне нет.

Я говорю, что не стоит из-за него расстраиваться, он, наверно, ее недостоин.

Она отвечает:

— Когда я вижу его, мне хочется умереть.

Вздрагивает от озноба, лицо делается серо-лиловым.

— Но он любит красивых женщин...

В ее голосе — ни жалости к себе, ни затаенной надежды услышать возражения; она некрасива — это очевидность. Значит, ей ведомо, какую дань невзрачные постоянно платят красавицам. Могучая страсть живет в оболочке, которая не вдохновляет на романтические сопоставления. Страсть мучительная, даже сочувствие вызывает, но где ощущение великого чуда? «Когда я вижу его, мне хочется умереть». Голос скрипит, как под серпом осока, коровий корм. Слушая ее, не думаешь с трепетом и восторгом, что любовь сильна, как смерть.

Я говорю:

— Так это его лоб и глаза ты узнала?

Она убирает чашки, и в ее неуклюжих движениях — вызов, восстанавливающий отчуждение: не воображай, что я тебя выберу в поверенные! Меня этот росток воинственности ничуть не смущает, и я говорю — раз уж мисс учительница великодушно угостила меня чаем, то не согласится ли она отобедать у «Морра» с кавалером, который считает, что она чертовски мила, только надо платье надеть. С широкой юбкой. И с пышным воротником. Чтобы никто не заподозрил ее в безнравственности, пусть даже у нее на груди не будет плаката: «Вот идет учительница, которая еще никогда!» Под сенью смеха иду к ее гардеробу и выбираю платье, заведомо не допускающее сочетания с жемчужным ожерельем.

■

Едем в универмаг Морра. Я изображаю отвергнутого кавалера. Сердце угомонилось, настроение безмятежное, и я позволяю себе выпить сухого вина с моей кислой дамой. Спрашиваю, стоит ли вздыхать по мужчине, который ей в подметки не годится, пренебрегая мной, полюбившим ее с первого взгляда. Мы оба, Игорь и я, готовы принадлежать ей. Язык мелет, и мне начинает казаться, что это не так уж нелепо (может, не продавать ожерелье, а при случае незаметно сунуть на место?) — Кэтлин у нас на хуторе, ее назначение — вести хозяйство, следить за тем, что читает Игорь, быть для нас, мужчин, своего рода тылом, которым мы распоряжаемся по своему усмотрению, не втискиваться между нами, а служить надежной опорой. Молодым я бы ее ни за что не выбрал, но теперь, когда у меня Игорь, она вполне сойдет. Ради Игоря я на все готов.

Она чуть покраснела, то ли от вина, то ли от моего ухаживания, полушутливого, полусерьезного, и отвечает в том же тоне, дескать, стыдно смеяться над престарелой девушкой.

Спрашиваю, зачем она приехала в Йобург. Говорит, что сперва у нее была одна цель, теперь появилась еще и вторая.

Мол, хотелось бы встретиться с африканцами. Ведь вот сидим в ресторане в Африке — и ни одного посетителя-африканца. Где они обедают? Или их за людей не считают?

Я говорю, что африканцев нельзя сосчитать. Их чересчур много.

Мое острословие остается неоцененным. Чересчур много? Тогда уж скорей слишком мало, во всяком случае, такое чувство должно быть у них самих.

— В доме, где я живу, у ворот объявление: NO NATIVES ALLOWED — туземцам вход воспрещен. Как бы ты отнесся, если бы у себя на родине увидел такое объявление — шведам запрещено?..

Я заверяю, что никогда не делал различия между черными и белыми. У меня куча друзей-африканцев. Будешь ладить со мной, узнаешь столько африканцев, что пальцев не хватит считать.

За соседними столиками — жирные дамы в цветастых шелках, рядом с каждой — стул, заваленный свертками. Они громко возмущаются дерзостью своих слуг.

— ...заврались до того, что это у них стало уже привычкой... не запрешь как следует, все украдут, только отвернись... сахар воруют напропалую!.. лентяи!.. не растолкуешь, не разжуешь, нарочно напутают, переспросить язык не повернется... от телефона силой не оттащишь!.. дня не проходит, чтобы кому-нибудь не понадобилось поговорить с Джоном, с Христиной, с Аполлоном, с Вирджинией... все в рабочее время, разумеется... и что у них за разговоры?.. представляю себе... раньше, бывало, уйдешь из дому, так и знай: намертво на телефоне повиснут, но теперь все, хватит, голубчики, отговорились: я замочек приспособила, чтобы нельзя было номер набрать... все равно, что-нибудь да выкинут... не удивлюсь, если они, когда нас нет, плавают в бассейне... застану хоть одного, сразу вылетит... обсохнуть не успеет... совершенно безнадежна... в одном ей не откажешь: дети ее любят... сколько раз собиралась уволить, только из-за Катрин держу... сразу в слезы, стоит мне прикрикнуть на Розалию... наш врач говорит, такому впечатлительному ребенку нужна возможно более стабильная обстановка... придется из-за Катрин терпеть ее еще года два... потому, наверно, с детьми ладят, что сами никогда взрослыми не бывают... помню, я маленькая запросто со всеми слугами играла... так ведь тогдашние были смирные, учтивые, не то что теперь... лет до одиннадцати-двенадцати я могла вот так просто взять и обнять боя-садовника... пока мне вдруг не открылась разница... сразу стала взрослой и поняла родителей... видать, каждый из нас должен пройти через инфантильную любовь к nannie и Джиму... та же детская болезнь... уж что правда, то правда: никогда туземец, даже самый подозрительный, не обидит ребенка... еще бы, пусть посмеют!.. Вирджиния-то: двадцать лет всего, а уже двое детей, бросила дома на свою мать... отец?.. первый попавшийся бой по соседству... чистокровная уличная помесь... никакого намека на мораль, никакого чувства ответственности за свое потомство... размножаются, как кролики...

Кэтлин спрашивает меня, как это все понять: или они пародируют аристократок прошлого столетия?

Хрупкая дама с бледным изогнутым носом и страдальческим ртом, этакая увядающая лилия, тоже сетует, хотя и не так бурно.

— Не нравится мне то, что происходит в Китае. Вот откуда исходит главная угроза... Спасибо нашим страждущим братьям в Конго, они нас немного выручили. Наша победа в референдуме — их заслуга. Мы должны быть им благодарны. Даже в самой страшной трагедии есть что-то утверждающее, стоит только вдуматься.

Кэтлин спрашивает меня, возможно ли это.

А хилая дама продолжает свои апокалиптические разглагольствования.

— Но наши дни в Африке, похоже, сочтены. В нас больше не нуждаются. Белый человек сделал свое дело, белый человек может уходить. Черному человеку совершенно не доступно чувство благодарности за все

то, что мы ему дали. Школы, больницы, работа... Им не терпится нас выставить за дверь, чтобы предаться привычной им лени, суевериям, нескончаемым племенным распрям. Ничего, когда нас не будет, они сразу почувствуют, сколько потеряли. Не один преданный слуга прольет горькую слезу, и среди дикарей есть такие, что понимают. Дети природы, которые не поддаются коммунистической отраве так легко, как обычная чернь. Надеюсь, когда придется ехать домой (home — значит, она англичанка), увезти с собой старушку няню — пусть даже кое-кто на корабле и посмотрит на это косо. Я искренне привязана к старушке, и сколько бы зла черные ни копили против меня, я твердо решила сделать все от меня зависящее, чтобы доказать, что расы могут сосуществовать. Nannie я не уволю. Побольше бы таких, как она, и Африка была бы раем.

Подружка вытирает слезинку.

— Нет, Глэдис, побольше бы таких, как ты, вот что нужно этой прекрасной и несчастной стране.

Лилия с унылым носом продолжает:

— Европа, вот кто портит наших негров. Газетчики-коммунисты, которые натравливают массы на белых братьев. Мы — форпост культуры, а Запад нас продал и предал. Но мы не будем сетовать. Сколько пришлось вынести Христу! Его история повторяется, снова и снова.

Жирная подружка плачет. Черный официант наливает ей кофе, она отдергивает руку с таким видом, будто он задумал ее изнасиловать. Пожилая лилия — в ее глазах всепрощение — говорит ему «нет, спасибо», объясняя восхищенной подружке, что три дня совершенно не будет пить кофе, мотивы этой жертвы религиозного свойства.

— Как вспомню чернокожих малюток в Конго, которые умирают с голоду, не могу удержаться от слез, — говорит жирная, тщась хоть что-то противопоставить аскетизму хилой. — Туземцы не способны на родительские чувства, а туда же, о свободе толкуют.

— Эти люди действительно думают то, что говорят? — спрашивает Кэтлин. Ей можно ответить: и да, и нет. Эта трепотня здесь вошла в обиход, слова сами собой льются, вместе с дыханием. А ведь человек все время дышит, хоть и не думает над этим. У Кэтлин нет детей, ей можно возмущаться вещами, которые меня не должны касаться. Ненавижу этих цветастых — за то, что они жирные, и за то, что их мужья преуспели. А что они думают о туземцах, мне наплевать. Не для того я приехал в Южную Африку, чтобы совать нос в их домашние дела. И вообще, что это — Кэтлин отвлекается? Спрашиваю, что ее, собственно, привело в эту страну.

— Ищу своих родителей.

— Вот как? Интересно. Они живут в Йобурге?

— Возможно. Но время уходит, а я не очень стараюсь. Удивительно, подумаешь о предстоящей встрече — и даже как-то боязно...

— У такой дочери родители конечно знатные люди,— говорю я.

Она пресекает разговор — что это я разболталась о делах, которые постороннего не могут интересовать. А ведь она, если разобраться, бьет по Игорю своей грубостью. Ночью мой сын сказал: «Я люблю папу». Лучшее в мире создание не устает говорить мне о своей любви, а она этого и не знает. Я скучаю по Игорю! Как он кричал: «Don't leave me, dad, don't leave me!» А эта жердина — ее кто-нибудь звал так хоть раз, молил не уходить? С кем она себя сравнивает!

За соседним столиком:

— ...да, решили жениться. Весь вопрос в том, где жить. Квартир, вилл полно, но в каких местах!.. Попробуй найди подходящий домик в приличном районе! Не селиться же им в Еовилле, среди торгашей!

Время от времени появляется манекенщица, проходит между столиками, потом исчезает, чтобы переодеться. Поворачивается, виляет бед-

рами, около жирных останавливается, давая им пощупать материю, называет цену. Красивая блондинка, ножки — блеск! Смотрю на нее пронзительным взглядом, эту манеру я усвоил еще в сороковых годах, когда ходил на танцплощадки с приятелями из технического. Мои глаза — мой капитал — ясно говорят, как высоко я оцениваю все то, что представляет собой ее капитал. В элегантном костюме она подходит к нашему столику и распахивает жакет, показывая Кэтлин шелковую подкладку, чтобы я видел, как оттопыривается кофточка. Говорит:

— Восемь гиней.

Перевожу взгляд с бюста на лицо и спрашиваю (язык мой — враг мой!):

— With you and all?

По-английски эта шутка звучит совсем невинно, далеко не так грубо, как шведское «включая тебя» — этакий «комплимент» молодой официантке, подающей счет.

Но манекенщица холодно произносит «по» и идет дальше.

Кэтлин побагровела от ярости. Господи, говорю я, уж коли выбрал такую работу и с таким рвением показываешь подкладку, то острое словцо должно быть только по душе.

— Разве по всему не видно, что ей это как раз не по душе?

— Просто она не в духе. Небось, не такое слыхала. Бьюсь об заклад, она совместительница.

Осока исчезла из горла Кэтлин, тихим, чуть ли не мелодичным голосом она меня отчитывает. Глаза желтые и злые.

— Изображаешь галантного кавалера, а сам в моем присутствии оскорбляешь даму!

— Тебе не кажется, что ты вкладываешь в мои слова смысл, которого в них нет?

Кэтлин:

— Мне доводилось слышать шутки похлеще..

Я:

— Тогда откуда такая придирчивость к тому, что говорю я?

Кэтлин:

— Не в словах дело... а... в том, кто ты... и кто человек, который тебя слушает...

Я:

— Ее профессия не позволяет обижаться на шутки.

Кэтлин:

— У нее нелегкая должность — тем деликатнее нужно с ней быть!

Фурия какая-то. Меня разбирает зло, и я окончательно решаюсь продать ожерелье, но очень мягко говорю:

— Неужели она думает, что я способен ей сказать двусмысленность?

— Сказать? Ты нас обеих одинаково оскорбил своей «шуткой». Думаешь, некрасивая девушка всегда ревнует к красавицам? Так ты ошибаешься. К тому же нас, женщин, объединяет тайная солидарность, если одну оскорбят, все обижены.

До чего я ее ненавижу! И до чего соскучился по Игорю... Сынок, самое прекрасное создание на свете. У нее на руке тонкий золотой браслет — придется ей с ним расстаться, будет новый костюм Игорю. Даром ей это мелочное судилище не пройдет.

Она продолжает шипеть.

— С самого начала я себя спрашивала, чему в тебе верить: глазам или устам? Теперь я знаю. Нам нечего делать за одним столом. Мне от тебя ничего не нужно, и я никак не могу тебя интересовать.

Сердцу тесно, чувствую, что я на себя не похож. Произношу «извини» таким жалким голосом, что это не может ее не тронуть. Помолчав, она спрашивает:

— С кем ты бываешь до конца откровенен?

С Игорем, с кем же еще, но я не успеваю ответить, она поясняет:

— Ведь у тебя в мыслях был кто-то, кто готов прийти в восторг от твоей «шутки»?

Игорь, мое чистое, невинное дитя, никогда не слышавший из моих уст дурного слова, она меня обвиняет в том, что я будто бы загрязняю твое воображение! Это уж чересчур. Я говорю ей, что она, видно, слишком увлекается литературой. Когда беседуют друг с другом живые люди, они вовсе не предполагают, что каждое их слово будет взвешено на аптекарских весах. Неужто друзья не могут позволить себе шутки попроще, сразу надо голову рубить!

Мамзель заявляет:

— Есть шутки, которые убивают.

Она осмеливается высказать ту же мысль, что Ирма. Случайность? Нет, святотатство! Кэтлин — мой тайный и явный враг. Я поднимаю бокал и говорю по-шведски:

— Skål, давно я мечтал встретиться с тобой лицом к лицу.

■

Я ни от кого не получаю писем, кроме Герды, которая два раза в месяц пишет одно и то же. Плачется, что годы уходят, а сама рассуждает так, словно здесь время стоит на месте. Об Игоре всегда говорит «твой малютка», ей, видимо, кажется, что он все еще в пеленках, как тогда, когда мы уезжали. Это она о моем Игоре, который научился ходить еще на Суэцком канале — весь теплоход его обожал, oh yes.

В каждом письме она зовет нас возвратиться домой. «В Африке так беспокойно, не дай бог с вами что-нибудь случится. И к чему тебе большие деньги? Приезжай с тем, что есть, не будь таким честолюбивым. И не бойся, что здесь кто-нибудь дурно думает о тебе. Грехи твоей молодости давно забыты. К тому же столько народу уехало и столько понаехало новых, что вроде бы и некому вспоминать. Ты порой судишь так, будто только твой мир подвержен изменениям, а у нас здесь все по-старому. Но это не так. Одни умирают, другие родятся, те женятся, эти разводятся, кто-то преуспевает, но столько же людей попадает в беду. Так что не думай, им не до того, чтобы из года в год перемывать твои косточки. И еще, дорогой братик, кто себя так поставил, тому вообще не след быть таким щепетильным. Как-то неуместно. Я знаю, ты рассердишься на старуху Герду, но мне все равно. В глубине души ты всегда знаешь, что до последнего моего дыхания ты мой любимый младший братишка, я всегда тебя защищаю, можешь не сомневаться. Хоть бы ты поскорее вернулся домой! И женился на хорошей женщине. Ради Игоря, да и ради себя тоже. Неужто в твоем возрасте еще манят приключения в дальних странах? Не говоря уже о том, что пора тебе заняться нашим хозяйством. Какой арендатор печется о земле, заглядывает вперед? Не хочу наговаривать на Эвальда, но по всему видно, он только о том и думает, чтобы за годы своей аренды побольше выжать из участка. Что после будет, ему дела нет. Он чересчур много извести вносит. А скотины не держит, и естественных удобрений негде взять. И ничего не оставляет под паром. Словом, истощает землю, да и только. А я не смею вмешиваться. Уж так повелось издавна — бабы в земле ничего не смыслят, хоть я с этим и не согласна. И Хуго не хочет портить отношений с соседом, говорит, чтобы ты приезжал и сам занялся хозяйством. Опять же постройки. Стоят пустые, только разрушаются. Посмотришь, крыши гниют, хоть плачь. Хуго их каждый год латает, а что тут латать, когда все менять надо. Как ни верти, немало денег нужно, чтобы все исправить.

Ну ничего, вот вернешься. Надо же случиться такой беде — шесть тысяч фунтов, которые ты вложил в эти дутые золотые прииски, так и пропали. Зачем только ты рисковал. В том диком краю, где ты сейчас живешь, разве может все идти по закону, чинно, как в нашей родной стране? Правда, ты пишешь, что эти жулики из компании — белые. Ничего, если ты можешь так же быстро скопить еще шесть тысяч, то теперь, верно, недолго осталось. И уж тогда не покупай ты никаких обманных акций, а послушай моего совета, сразу переводи деньги домой. Сделай, как старшая сестра велит, пусть я осторожная и нудная, я своему единственному брату одного лишь добра хочу. И его сыну, дорогому малютке. А что ты пишешь, мол, бывают дни, когда вы, белые, совсем не бьете черных — должно быть, это надо понимать как шутку. Только мне, дорогой брат, она ничуть не показалась смешной».

Хоть бы раз встретить женщину, которая понимала бы мои шутки. А Герда сама не знает, что мелет. Хочет, чтобы я разбогател, но в то же время мы, белые, должны справедливо обращаться с черными. А богатство откуда взять, это до нее не доходит. Ничего-то в ее письмах дельного нет, и все-таки я каждый раз жду их с нетерпением. Они приносят с собой июльские ночи Гокшё. Эх, подышать бы сейчас тем воздухом. Рябина, полынь... В Йобурге растения ничем не пахнут. А эти жакаранды, от которых Игорь без памяти, несмотря на неестественный синий цвет их листвы. То ли дело рябина. От одного слова Р-Я-Б-И-Н-У-Ш-К-А в душе поет родное шведское лето...

Верная душа, старушка Герда, никак не забудет дутые прииски, эту компанию, которая лопнула два года назад. У меня-то ни одной акции не было, но ведь это чистая случайность. Повези мне с самого начала, я вполне мог бы позволить себе купить «золотых» акций на шесть тысяч. Так и было задумано спервоначала. И кто поручится, что меня бы не надули! Остался бы на бобах, а что, вполне возможно. Я так объяснил свое невезение, разве не все равно. Результат тот же, просто мне хотелось, чтобы объяснение звучало интереснее. Знали бы дома, как здесь трудно пробиться даже белому, никто не сказал бы, мол, пусть себя винит. Мне бы приехать сюда в тридцать лет и с дипломом; всю музыку портят эти несчастные полгода, которые я не дотянул в институте. Мало ли, что ты умеешь — бумажку давай. Всегда в последний момент кто-нибудь испортит тебе настроение, и все идет насмарку.

Продаю жемчуг индийцу, он скряга, хорошо, что полцены дал. Зато я могу купить десять жетонов на скачках. Это теперь моя единственная надежда — на скачках поживиться. Усердие и бережливость — залог успеха? Это было давно и неправда. К тому же Игорь не может быть сыном серенького обывателя.

Наше счастье где-то на подходе. С известным основанием могу сказать, что мне не повезло в любви. Конечно, я не делал никакой ставки на Кэтлин, но ведь могло случиться так, что она бы мне по-настоящему нравилась, а тогда ее наглость в ресторане по отношению ко мне вполне можно было бы истолковать как полный отказ — то есть невезение. Вот об Игоре я могу думать, не боясь неудачи. Но наша любовь несравнима с той, которую поминают в связи с азартными играми. А невезение у нас как бы в роду.

Мог ли я сомневаться в дядюшке Уно, этом святом человеке, единственном, кроме Ирмы и Игоря, кто всей душой мне верил? Что ему ни говорили обо мне люди (вот, небось, врали, не стеснялись!), он никогда от меня не отступался. Не будь он такой тихий, кроткий, нелюдимый, я в благодарность сделал бы что-нибудь для него, но... в общем... ему это вроде и ни к чему было.

Разумеется, он был волен поступить, как хотел, со своим выигрышем в лотерее, но коли уж он решил все мне отдать, то мог бы распо-

рядиться потолковее. Купил бы усадьбу побольше, и шел бы мне с нее доход, пока не получу диплом врача. Как бы здорово мы с Игорем жили теперь! А он вместо того деньги поделил надвое, на одну половину купил дворик, а вторую положил в банк — бери каждый месяц, сколько надо. Будто можно требовать от молодого студента, чтобы он на восемь лет вперед рассчитал свои финансы. И когда я провалился по терапии, мой текущий счет был исчерпан. Чем писать дяде Уно, я поехал в Финляндию, а когда после смерти Ирмы вернулся, мне было на все наплевать. Ходил в техническое — кое-как, между повестками. Дядя Уно всегда мне деньги присылал, не отказывал. Самому-то тратить было не на что. А умер, и оказалось, что в хозяйстве ни скотины, ни движимости, только земля да постройки остались. Да презрение местного общества ко мне. Всегда-то я был козлом отпущения. Никто не корил дядю Уно за то, что он необдуманно использовал деньги. До выигрыша он был простой железнодорожник, в жизни больших денег не видывал. Мне бы выиграть, я его ошибок не повторю. Позабочусь о том, чтобы Игорь жил в достатке, чтобы, пока учится, всегда мог угостить друзей в кабачке в Упсале. Но уж прослежу, чтобы учился как следует, все в срок сдавал. Рассчитаю точно, ему до конца учения денег хватит. И ни эре долга не будет.

А этот чертов Эвальд нашу землю истощает, снимает сливки, и вернемся мы, законные владельцы, к разбитому корыту! Своих детей поднимает на те деньги, которые должны были бы пойти на учение Игоря. Недостойный управитель! Вернемся, этого вора под суд отдадим. В первую же неделю к ответу притянем. Сейчас пустыни и океаны ограждают его от моего гнева, вот и пожинает то, чего не сеял. Но берегись, вот мы домой вернемся — я и мой сын!

■

Улица пляшет перед глазами, уж не конец ли мой настал? Нет, не во мне причина: что-то проходит мимо меня. Первая встреча городской брусчатки с тремя десятками босых молодцов-басуто, чья походка родилась под вольным небом. Идут как всегда, как в родных горах, где леопард, что ни шаг, воздает почесть земле и собственной лапе.

И улица, привыкшая к совершенному пренебрежению, гарцует в лад их ликующей поступи.

Смеются белые зубы, пусть молодец не сыт, зато весело глядит. Плечи обернуты басутским покрывалом, в руке — посох, шляпа воплощает образ родного дома, сплетена в виде хижины из жесткой травы Басутоленда.

Юноши идут, держась за руки или сцепив мизинцы, явно не ведая, какой смысл вкладывает в этот жест просвещенный европеец. У каждого есть женщина дома, в Басутоленде. Бабушка, мама, родные и двоюродные тетки и сестры горько плакали вчера, когда явился белый и стал соблазнять чудесами йобургских рудников, но есть еще одна особая, которая ночью по-королевски вознаграждала его страсть, а днем, как и подобает королеве, шла в двух шагах позади него. Это ради нее он последовал за баскаком из Йобурга. Хамба кале — ступай осторожно, что отвечает нашему «до свидания».

Смело в Африки недра сходит Африки сын извлекать драгоценные камни и злато, чтобы хлеб и слова получить, добывать колечко для девочки-жены, чтобы злато и темная кожа обоюдно украшены были.

Что ведают сыны Африки о токе времени в рудничных лагерях, его концентрации, запахе, цвете, сколь не похож он на никем не меренные

дни и ночи в горах Басутоленда. О том, что в тесном и мрачном орте* нрав, не привычный к узде, неуместен, и злата яркий блеск тускнеет, подобно глазам плененного леопарда. В чем прелесть танца, что по приказу каждый вечер исполняют, радость его где? Нагие, один за другим — растопыривать пальцы рук и ног, разевать рот, раздвигать ягодицы: если найдем на тебе хоть соринку золота, черномазый вор!.. Спроси своих приятелей, каким будет лечение.

Сыны Африки вырывают из недр Африки злато, из которого сделают за морями нетленные меты для миллионов белых женщин, состоящих в браке. Брака быть не должно. Высшая проба, высшее образование. Только самое лучшее годится для золотой молодежи. А невесте в Басутоленде пошли латунную проволоку, все равно она твоя навеки.

Попытаешься ночью улизнуть через проволочное заграждение и попадешь — без пропуска — в лапы полиции, быть тебе на ферме-тюрьме Потгитера, в этом африканском Гейдельберге, и тогда забудь о Басутоленде, хоть бы вернуться в рудничный лагерь... Где запросы скромнее, чем на ферме-тюрьме? Черные ноги ступают вдоль грани смерти на ферме Потгитера, в новом Гейдельберге. «Тамошние крысы очень велики».

В рудничном лагере знают цену еде.

Слишком много знать вредно.

Пять тысяч мужчин и ни одной женщины, и невинный крючок изогнутого мизинца все больше извращается и искажается, и вдруг каждому ясно, почему начальник скалил зубы, глядя на сцепленные мужские руки в тот день, когда каждый знал про ночь лишь одно: ночь женщиной славна.

Улица млеет от дивной походки мужчин. Черные ноги лоснятся жиром — след прощального ритуала.

Начальник белый, надменный, битком набитый злобой. Его ненависть к ним больше его самого. Государев вербовщик для последней рати... Баскак. Первый из подданных. Извечный притеснитель.

Кто-нибудь видит белого ката и его улов из Басутоленда? Нет, никто, ибо только что вышел свежий номер газеты «Шерн», и все, кто читает, спешат узнать последние новости — что творил Эйхман двадцать пять лет назад. «Как могла тогда найти на людей такая слепота? Мы никогда, никогда не забудем того, что было тогда!»

Улица содрогается от изумления. Камни Йобурга вздымаются и падают, вверх-вниз. Сердце? Сердца не слыхать.

■

Выигрываю свипстейк**, сто фунтов в один вечер — месячный заработок, наконец-то перелом, наконец-то прошла пора унижений. Не нужно идти в цех, есть время поискать работу полегче и подоходнее, лучше всего такую, чтобы не быть в одном помещении с черными. Они давят на меня. Уверен, это им я обязан тем, что у меня больное сердце. Ничего, раз уж начал выигрывать, должно и дальше так пойти. Послезавтра еще сто фунтов, на следующей неделе — пятьсот, и так далее. Глядишь, и будут у нас с Игорем десять тысяч, как я и наметил. Выиграю пятнадцать тысяч — тоже не худо, но вообще-то десяти хватит. Продадим машину, все барахло и отправимся начинать новую жизнь. Новую жизнь, которая вся будет идти под знаком Игоря. Конец плутовству. Отмычку выброшу в море. С того дня как ступлю на родную землю, никогда не буду бегать от счетов, без нужды ни разу не солгу, ничего присваивать не стану. Все будет честно заработано, чтобы Игорь мог спо-

* Орт — горная выработка.

** Выигрыш на скачках, когда выигравший берет все ставки.

койно сослаться — дескать, папа сказал,— не боясь, что кто-то усмехнется и ответит: разве его слово чего-то стоит? А как я буду работать на хуторе! Игорь вырастет настоящим шведом, и мы забудем все, что связано с этой воровской страной.

Надо отметить выигрыш, захожу в винную лавку за бутылкой виски и вижу жалкое зрелище. Женщину, которая уже не годна для древнейшей профессии, чучело огородное, волосы словно плесневелое сено. Берет пиво, много пива, расплачиваясь бумажками, такими же грязными и потертыми, как она сама.

Продавец смотрит на меня испуганно: вдруг я из тайной полиции, тогда ему не сдобровать, только младенец не поймет, что эта женщина пробавляется незаконным сбытом спиртного. Он с ней груб на всю катушку, она же будто и не замечает этого. Словно и не подозревая, что ее внешность может внушить лишь отвращение, она учтиво улыбается, говорит оробевшему торгашу thank you, sir. Конечно, он взял с нее приплату за риск, но ее любезности ему и даром не нужны. Хотел бы я видеть человека, которому они нужны. Она низшее существо. Возможно, где-нибудь в другой части света она бы не так бросалась в глаза, но в Йобурге сочетание белый-нищий — непристойность, проклятие города. Туземцы бедны, но они хоть могут оправдаться тем, что им все пути закрыты; для poor whites, которым от рождения даны все возможности, оправдания нет, недаром большинство из них виновато помалкивает, сознавая, что они позор своей расы. Мне-то на расу плевать, и все-таки при виде этой старухи мне страшно. Она живое свидетельство того, что можно навсегда застрять в Йобурге, обнищаешь вконец — все, уж домой не вернешься. Ни за что не вошел бы в эту лавку, знай я, что меня здесь ждет олицетворение самого злосчастья. Но раз уж увидел, трусостью было бы прикинуться, будто не узнал. Лучше вглядеться как следует и познать, не позволяя ей стать дурной приметой. Всякий игрок должен быть предельно бдительным, на каждом шагу строго блюсти тысячу правил.

Итак:

Она воплощение нищего человека.

Вдова, внесшая последнюю лепту.

Законченная нищета. Точка.

Но нет, ее смысл этим не исчерпывается. Изгой, отверженная, и тем не менее в ней что-то есть, что заставляет меня всматриваться в человека, не только в образ. Может, нос? И что я ощущаю: манящую загадку или угрозу?

Получив плоскую бутылку, неразборчиво расписываюсь в книге, успевая при этом прочесть по-детски крупные буквы: «К. Бернс». Выразительно смотрю на озадаченного продавца, дескать, старушка-то выпить не дура, и выхожу следом за ней.

Вот она, плечи прямые, как у деревенской женщины, привычной к коромыслу. Догоняю ее и спрашиваю, не надо ли помочь, мадам тяжело, наверно. Она невнятно возражает, но я спокойно беру ящики. Говорю, что это безобразие, продавец мог бы послать с ней боя, чтобы донес. Она что-то бормочет, испуганно косясь на меня. Лоб и нос энергичные, в остальном лицо бесцветное, рваная сетка морщин. Серо-синее платье болтается на жестком каркасе из хрупких косточек. Она нет-нет да и пытается забрать ящики и отделаться от меня, но я как ни в чем не бывало иду дальше, объясняя, что провожу ее домой. Она ни одной фразы до конца не договаривает, слышно несколько слов, остальное где-то тонет.

Кто вложил такую властность в лоб и нос, не потрудившись завершить нижнюю часть лица?

Нет, помощи не надо. Отвечаю, что она такая недоверчивая, словно

я из тайной полиции, я же, напротив, возмущен продавцом, который отпустил даму с такой тяжелой ношей, не дав ей боя в помощь.

О, привыкла... но уже дома... thank you, thanks...

Я уже давно смекнул, что она держит шибин — кабачок, где черные тайком покупают пиво. Это меня не интересует. Зато интересует она сама, ее нос и судьба, как она застряла. Я должен знать, чего ни в коем случае нельзя делать.

Она входит в лачугу с вывеской «Химчистка». За грязной тряпкой висят обноски, никто их в чистку не сдавал, и никто за ними не придет. Она благодарит, делая последнюю попытку спровадить меня, но я обязан внести бутылки в комнату. Идем через помещение, где вокруг стола сидят с бумагой и книгами черные. Один из них, явно руководитель кружка, злобно смотрит на меня и что-то говорит по-зулусски шибинщице. Видно, бранит за то, что позволила мне войти (слышу английские слова special branch), на что эта карга, виновато улыбаясь, отвечает по-английски, что я всего лишь kind gentleman, который вызвался помочь, после чего пропускает меня вперед в кухню.

Строгий такой, Сэмюэл... мама, говорит, всегда неприятности... хочет мне только добра, но очень уж строг...

Спешит утешить меня: вдруг меня обидел его взгляд. Спрашиваю, где поставить бутылки, она показывает, затем я сажусь, будто так и надо.

Входит Сэмюэл, глядит на меня без тени почтительности, подобающей бою, на безупречном английском языке осведомляется, что мне угодно. Отвечаю, что у мисс Бернс и у меня есть общие знакомые, и вообще, сдается мне, она вправе принимать у себя кого пожелает. Можете не опасаться, я не шпион. Я не нравлюсь ему, и, выходя, он опять что-то предостерегающе говорит по-зулусски.

Старуха — вдруг я вижу, что она не такая уж древняя, просто вконец износилась — стоит, опустив руки, посреди кухоньки, к моим услугам. Все знают всё лучше, чем она. Если чужой человек сказал, что у них общие знакомые, значит так и есть.

А меня пробирает дрожь от сознания, что я угадал точно, да, special branch, пожалуй, и впрямь потеряла в моем лице одаренного сыщика. Я не нуждаюсь ни в каких подтверждениях — я знаю, я уверен. Дрожь прошла, и дьявол в моей душе хохочет. «У нее нелегкая должность — тем деликатнее нужно с ней быть». Я устрою встречу, помогу моему врагу прозреть.

■

Нужно уметь уважать.

С какой стати? Для чего меня наделили силой, если не для того, чтобы я ее доказал, использовал на все сто. Уважать! Чтобы я лебезил перед тем, кто слабее меня? Что подразумевала Ирма? Почему она брякнула и ничего не объяснила? Почему не осталась со мной, не высказалась до конца? Если бы она меня хоть чуточку уважала, она бы не умерла вот так. Хорошо других наставлять, как подобает жить, когда сам можешь умереть с чистой совестью, сохранив свою красоту и все иллюзии.

■

Почти неделя уходит на то, чтобы из фраз-половинок и четвертей сложилась история ее жизни, к тому же я из-за черных не решаюсь слишком часто наведываться. Попытался подъехать к Сэмюэлу, но он

из тех, кто меня с первого взгляда распознает, отлично обходится без моего участия.

Скажу я, к примеру, что правительство дрянь и нужны перемены. Он с ехидной миной слушает дальше, будто я изрек нечто выдающееся и теперь последует изложение глубокомысленной политической программы. Мне начхать на политику, не только африканскую, но и шведскую, но было бы забавно послушать, как рассуждают черномазые из тех, что посмышленее. Да только его не купишь словами о том, что правительство дрянь. У этого нахала злые глаза, он не бросается мне на шею.

Или спросишь его: разве это не возмутительно, что вам даже не разрешают покупать в лавке спиртное?!

Он отвечает: «Вижу, вы ходили на весьма вольнодумные вечера, где европейцы только и делают, что сочувствуют нашему брату — мол, почему это черным не разрешается пить их вино и спать с белыми девочками. Приписывают нам свои вожделения. Они такие передовые, когда судят о наших нуждах, что бедный кафр не смеет признаться в столь старомодных потребностях, как еда, учебник, электричество».

Он полон презрения, но я, смеясь, пытаюсь провести грань между собой и его европейцами. Нельзя, чтобы мне здесь совершенно отказали от дома.

Сэмюэл, проницательно глядя на меня, говорит: «Мы любим нашу маму Китти. И бережем ее. Если с ней что случится, виновнику не сдобровать».

Я отвечаю, что он мне, видимо, не доверяет, хотя мне и в голову не придет устраивать им неприятности.

Мои слова повисают в воздухе, взвешиваются на весах его молчания. Он меряет меня взглядом сверху вниз: лицо, одежду... взгляд с прищуром останавливается лишь на шнурках моих ботинок. Сейчас он полностью задает тон, я не смею кашлянуть, боясь, что даже кашель прозвучит фальшиво.

— Меня давно занимает один вопрос,— говорит он наконец рассеянно-обходительно.— Может быть, вы мне ответите?

Я сразу клюю и спешу узнать, что его интересует. Он говорит:

— А вот что: каково это — пользоваться гражданскими правами?

■

Китти из Шотландии

была младшей в семье крофтера — бедняка-арендатора — и всегда пеклась о третьем ягненке, том самом, которым мать-овечка пренебрегала ради двух первых. Китти поила третьих-лишних из рожка коровьим молоком и выращивала из них взрослых овец. И если, когда приходила пора на добро ответить добром, спасенные сами ягнились тройней, они в свою очередь отрекались от третьего, отрекались от собственного детства, жестоко злоупотребляя оказанной им милостью.

Отец Китти героически сражался с нуждой и ее соратниками — детьми, без конца являвшимися на свет. Когда же они, всяк по-своему, были побеждены и бежали с поля битвы, явилась, неся примирение, Китти, соратница благополучия, приветствуемая и благословляемая поседевшим бойцом. Пусть Китти делает, что Китти хочет, пусть Китти играет с брошенным ягненком, Китти ни в чем не должно быть отказа.

И крофтера дочь ходила с шелковой лентой в косе и пасла на лугах отца отверженных агнцев.

Не успели оглянуться, как ей уже двадцать лет и — красавица.

В тот день вернулся из дальних стран друг молодости отцовой, последыш в выводке своего родителя, покинувший горы с пустыми руками. Никто из его братьев не горевал бы, если бы он уехал за тридевять

земель, и опустился, и ел со свиньями. И он уехал, и вознесся, присвоил себе великую власть. Младший стал старшим над многими, и могущество его росло подобно клыкам слонового стада в далекой Африке. Теперь же на родину он возвратился, чтобы в последний раз воспеть свою скудную младость тому, кто по сей день во скудости жил. Китти родитель родную обитель не покидал, но и нужды особой не знал (не мог уж старому другу потрафить!), зато взлелеял Китти жаркую младость.

О, как друг молодости любил дочь друга молодости на лугу, где ягнята паслись, как объяснялся в любви своей младости. Нет-нет, ничего не говори, ты значишь для меня больше, чем сама подозреваешь, ты олицетворение моей скудной девственной вересковой пустоши, как люблю я свой край родимый, так всегда любить буду тебя, моя долгожданная дикая роза, прощай. Никогда не забывай меня, навсегда останься такой, какой я унесу тебя в своей памяти, воплощением бедного крофта, не запятнанным грязью, что мир наполняет. Наша любовь слишком чиста, клятва и кольца ее недостойны, даже алмаз не достоин тебя, только дикая красная роза, Китти моя, незабываемая, не говори ничего.

И он уехал со слезинкой в сердце за океан, вернулся в Йобург, к своей великой ответственности, требующей от него алмазной твердости.

А Китти, розовый символ, стала расти как женщина, размышляя над чудесами, коих отведала. Вместе с плодом зрели слова, коих ему в его грязном мире так должно бы недоставать: «I love you too». Родила дочь, оставила сестре, поплыла через море, чтобы ему принести свое откровение.

Побег от отцовского горя на закопченном угольщике, место назначения — родина алмазов, команда тридцать человек, одна женщина, грудь ноет от молока, сердце поет могучие слова: «I love you too». Тридцать смеющихся «по» сказано за двенадцать в пути вечеров.

На тринадцатый юнга подвергся унижениям, совсем как ягненок, и Китти видела это, и Китти не выдержала, но только никому не говори.

И юнга поведал во всеуслышание о своем торжестве.

Пришлось выдержать это, а также остальных двадцать девять.

Снова символ — замена «той, что дома ждет»,— Китти, больная телом и духом, сошла на берег, лишенная скромных и гордых слов: «I love you too».

■

Китти в голову не придет мстить, ей это слово неведомо, иное дело я, и раз уж в моих руках ответ на это уравнение с неизвестными, я позаимствую ее неиспользованную вражду, она мне поможет привести все в ажур.

Фамилия? Не хочет говорить. Настаиваю. Подстерегаю момент, когда нет Сэмюэла. Мог бы добиться и без угроз, надо только терпением запастись, но в конце концов выхожу из себя и даю ей понять, чем она мне обязана: я белый, а ведь до сих пор не донес о ее нелегальной торговле, хотя она должна знать, что долг каждого гражданина сообщать о подобных нарушениях.

Не умею описать ее взгляд, его трудно будет забыть. Она шепчет фамилию. И кричит: «Но его нет в живых! Умер двадцать лет назад!»

Путем элементарного умозаключения прихожу к выводу, что у него должен быть сын, ровесник Китти, унаследовавший имя и состояние отца. Китти кивает. Будет только правомерно, если сын унаследует также и часть долга. На Китти страшно смотреть, кожа лица дрожит так, словно вот-вот отстанет от черепа.

Китти относится к разряду женщин, которые будят в мужчине низменные чувства. Границы открыты, завоевывать нечего, только опустошать.

И почему я должен ее щадить, если никто?..

И ведь не страсть к опустошению побуждает меня грабить ее, отбирать секреты. Напротив, я извлеку из них прибыль для нас обоих.

■

Как сердцу не сжаться, когда я вижу веселую возню Игоря с ребятишками, будто и не кричал он мне вслед утром. Игорек, радость моя, разве ты не знаешь, что ты мой и твоя радость тоже принадлежит мне? Что ты послан мне Ирмой, которая раскаялась в том, что умерла, покинула меня? После смерти она познала, чем была для меня, вот и вернулась назад в облике Игоря. Будь я негодяем, каким меня хочет изобразить свет, разве достался бы ты мне! Так что ты мне не изменяй. С другими не чувствуй себя хорошо.

Герда и Хуго, наверно, мечтают о том, что быть тебе их приемышем, да не тут-то было.

Если меня согнет не на шутку, если сердце не выдержит, пусть это будет не слишком внезапно, чтобы я успел взять с собой Игоря. Вот главная причина, почему я ношу с собой револьвер. Игорь, такой маленький, не должен пережить меня — остаться во власти мира, который не способен его оценить. А способен — тем хуже: еще найдется кто-нибудь, кто лучше моего сумеет воздать ему почести. Ничто не должно стать между мной и сыном: ни забота, ни пренебрежение. Ни жизнь, ни смерть нас не разлучат.

Он копается в песке вместе с кем-то. Дени? Не вижу, прочие дети слишком схожи между собой. Стою у калитки и лелею мысль о своей смерти: незримый, исторгнутый из рядов живых... Вдруг мои губы сами издают свист, мой сын все бросает и мчится ко мне: ПААППППАА... Бежит по земле, взбирается на руки, он мой, он — я.

О, прекрасный миг! Благословляю свое счастье, торжественно клянусь. Безмятежная уверенность любви: вдвоем нам никакое зло не страшно. Обладая таким сокровищем, мы непобедимы, никому нас не одолеть. Долго: только мы одни. Но я не веду его сразу к машине, чтобы увезти. Когда мы вдвоем, нам никто в мире не нужен, но зависть мира мне порой нужна, пусть кто-нибудь нет-нет да и увидит, что нам никто не нужен. И я жду появления воспитательницы — пусть поглядит,— справляюсь, как прошел день, она заверяет, что Игорь и сегодня утром, как всегда, успокоился очень быстро. Ей тоже надо блюсти свою, педагогическую честь. И я одаряю ее комплиментом, это счастье для меня, что я нашел такой детский сад и воспитательницу, способную понять всю незаурядность Игоря.

Теперь мы можем и уехать, у нас есть мы, у нас есть все!

С кем я должен считаться — с Китти или с Игорем? Я только спрашиваю. Ответ звучит песней в моей душе.

Но у Игоря есть потребность тараторить, которой я никак не разделяю, он требует внимания к своим мыслишкам, а я всецело занят своими мыслями, которыми не могу с ним делиться. Думаю о нем, рисую себе его, анализирую наши взаимоотношения, вдалбливаю женщинам и завистникам-мужчинам, на что я способен ради Игоря. И еще мысль: о нашем хуторе, нашем будущем в северном снежном краю, обо всем том, что я должен предпринять здесь, в Йобурге, чтобы добиться задуманного. О больших и малых приметах, с коими нужно считаться, подчинять их себе, чтобы дали мне Главный Выигрыш. Это все равно что организовать заговор.

Молча думаю, а он лопочет рядом своим обожаемым голоском, и нам хорошо, пока Игорь вдруг не кричит, почему я не отвечаю на его вопросы и никогда с ним не играю, завтра он не поедет домой.

Бог ты мой, у моего сына есть темперамент. Останавливаемся у магазина игрушек, спрашиваю, чего ему хочется, и мы покупаем автомобиль, цена — закачаешься. Некоторое время он увлечен игрушкой, и я продолжаю строить планы, пока он снова не начинает ныть. Останавливаюсь, покупаю конфет. Необходимо поддерживать в нем хорошее настроение, и я обхаживаю его, устраиваю сеанс взаимных заверений в любви, ближайшие полчаса нельзя его раздражать. Обычно я один осуществляю свои замыслы, не затрудняя Игоря, но теперь мне, чтобы открыть некую дверь, нужна его помощь. Явись я один, Кэтлин скорее всего закроет дверь, но как учительница она не станет меня унижать на глазах у Игоря.

Иду на риск, поэтому Игорь должен быть неотразим.

Стоим возле двери, разговаривая, потом я его поднимаю, чтобы он нажал на кнопку звонка, ему это очень нравится, и я смеюсь вместе с ним — правда, забавно звенит, и тетя, наверно, смеется и пробует угадать, кто бы это мог приехать ее навестить.

Она открывает дверь и ничуть не рада, но тут примечает Игоря, какой он красивый, и приглашает нас войти. Я объясняю, что Игорь с того самого дня в церкви без конца спрашивает, где тетя Кэтлин; заполучив в магазине вот этот автомобиль, первым делом заявил, что хочет показать его тебе. Неужели ты не угостишь двух мальчиков, до которых никому на свете нет дела, чашечкой чая, больше ничего, мы сразу уйдем и не станем тебя обременять.

Нехотя заваривает чай. Гляжу на ее нос. И на маленькую родинку на левой скуле — за двадцать лет она вырастет в волосатую бородавку.

На столе лежит разрезной нож из африканского красного дерева, ручка в виде птицы, ее клюв, как и лезвие ножа, острый, но хрупкий. Взвешиваю его в руке — как ни хрупок, а все-таки нож. И я без всякого умысла, просто к слову пришлось, говорю об этом. Ты знаешь, им ведь можно и человека убить!

Кэтлин, твердо решившая не восхищаться ничем, что бы я ни говорил, ни моими остротами, ни пылкими заверениями, отвечает:

— Тебе не приходит в голову, что им можно разрезать книгу?

Ох уж эти прямые конечности. Я как бы препарирую ее своим взглядом и вижу костяк Китти во всей его непритязательности. Трясусь от смеха, сознавая: его нужно подавить. И немножко стыжусь за Китти, которую можно ободрать одним движением ножа.

Она берет бумагу, карандаш и рисует человечков, Игорь хохочет до упаду. Учит его писать «ИГОРЬ», он садится на пол и выводит огромные буквы.

— Странно как бывает с именами,— говорю.— Имя «Кэтлин» тебе в самый раз. А вот фамилия ничуть не подходит. Ждешь совсем другого, чего-нибудь более жгучего...

Неужто Кэтлин с прошлого раза добилась успеха в своих розысках? Она спрашивает, с какой стати я так интересуюсь ее делами, и светлые глаза смотрят на меня враждебно.

— Ты все еще не понимаешь, что я к тебе неравнодушен? Так что нет ничего удивительного в том, что я думаю о твоих делах!

— Не те вопросы ты задаешь! Ты все пачкаешь!

Тут к ней подходит Игорь, опирается на ее колено и показывает, что написал. Кэтлин тотчас преображается, лицо добреет, она смеется: он написал «Г» и «Р» задом наперед. Они кладут бумагу на стол, она показывает, как держать карандаш, ведет его руку, и они вместе пишут строчку правильных «Г» и «Р».

Уже который день мне не везет на скачках, но у меня в запасе уйма других неистраченных ресурсов. Остается только решить, в какой последовательности их использовать. Глядя на то, как Кэтлин занимается Игорем, я снова спрашиваю себя, отчего бы нам не пожениться. Сразу же вспоминаю, что она мой враг и что брак — чересчур затяжной способ решения проблемы: два года супружества с Рут того не стоили.

И ведь деньги шотландца все равно достанутся мне, суметь бы только нажать нужные кнопки. Эта затея может дать мне бумажки, которые залатают все крыши и все прорехи нашего хутора. В худшем случае будет на что играть, добывая Главный Выигрыш.

А блудная мать, которую брошенной дочери так важно увидеть до того, как та увидит ее? Эта встреча в моей власти. Я по своему произволу могу ее устроить или предотвратить.

Она хочет попасть в шибин? Еще бы! Страшно увлекательно, и будет чем похвастаться дома, пресловутые тайные кабаки африканцев, куда белым нет доступа. Я это могу устроить. Один из моих лучших друзей, африканец, одаренный, обворожительный, совсем европеец по воспитанию и поведению (ты уверен, что ему лестно такое сравнение? — перебивает учительница), в общем парень что надо, уж это точно. Я пробудил в ней любопытство, жажду увидеть ту Африку, которую так обожают жители заморских стран. Она заранее готова одобрить все, что увидит в лачуге мамы, но явно предпочла бы проникнуть туда без помощи своего недруга. До того загорелась, что я меняю тему разговора. Справляюсь, как поживает Грейс, удалось ли поближе изучить свою чернокожую фаворитку. Кэтлин краснеет. И да, и нет... Когда она в тот раз вернулась из ресторана, в отвратительном настроении, вдруг оказалось, что исчезло жемчужное ожерелье. Лучше бы уж деньги пропали, не так обидно, я очень привязана к этому ожерелью, оно мне досталось в наследство от тети, говорит великодушная племянница.

— Она созналась? — тихо спрашиваю я.

Прямо — нет, не могу же я просто так взять и спросить. Но по ней видно. Опять стала робкой, как в первые дни. Непринужденную обходительность как рукой сняло. А я, дура, при виде ее краснею, не могу держаться естественно. Уж так мне стыдно, так неловко. Стыжусь не только как друг или частное лицо, а как гражданин мира, современница Грейс. Ведь будь общество справедливым, она ни за что бы не украла. А так, что ей остается делать? У нее четверо детей, живут в Кассандратауне у мамы. Зарабатывает восемь фунтов в месяц, муж — двенадцать. Вот и посчитай сам.

Двадцать фунтов — триста крон — в арифметике я дам Кэтлин сто очков вперед, но сейчас от смеха я сбиваюсь со счета. О, просвещеннейшая учительница, если тебя обокрали в Йобурге, то кому же быть вором, если не чернокожей подруге! Вот вам и непредубежденная Кэтлин Сноу из Шотландии.

Ну так как, поехали в шибин? Сейчас самое время, ближе к ночи вряд ли стоит туда являться чистопородной мисс какого бы то ни было цвета кожи. Мы только заглянем, скажем хелло, Игорь подождет в машине, я не могу войти вместе с ним в такое место. Игорь должен расти в безупречном окружении.

Она с трудом выносит меня, простодушное желание попасть в шибин спорит с нежеланием видеть меня шофером и гидом. Уж я постараюсь, чтобы она, прежде чем мы расстанемся, не раз оказалась в долгу передо мной.

Но мы успеваем проехать всего лишь один квартал. Из окна машины видим стройку и человека в надвинутой на лоб шляпе, который, замахнувшись киркой, гонится за рабочим-негром. Все, кроме человека с киркой, хохочут, даже преследуемый смеется. Кэтлин кричит, чтобы я оста-

новил машину; резко торможу, но советую ей не соваться, такие стычки — в порядке вещей. Кирка обрушивается на спину африканца, человек в шляпе снова замахивается, но подскочившая Кэтлин хватает кирку. Они стоят лицом к лицу, кирка, будто знамя, торчит в воздухе, кругом хохочут рабочие.

Крикнув: «Что вы делаете, вы!» — Кэтлин вся как-то странно сникает. Мужчина отвечает: «They drive me mad»,— и тоже умолкает, они глядят друг на друга. Та наконец-то выпустила кирку и возвращается к машине.

— Ну вот ты и увидела, как белые истязают черных, есть что рассказать, когда вернешься в Шотландию,— говорю я.

Если удар палкой — все, что она заметит в Йобурге, значит, она не очень-то наблюдательна.

Кэтлин дрожит. Ты бы видел его лицо, безумные глаза. Я никогда не встречала такого одинокого человека. Понимаешь, я ошиблась: он тоже африканец, только альбинос.

Что ты говоришь? Да, в Йобурге легко принять одно за другое.

После poor whites альбиносы самые отверженные создания, их издевательски зовут здесь розовыми поросятами и всячески изводят. Поделом слащавой реформаторше из Шотландии. Я не говорю этого, но не могу сдержать смех — очень уж потешное было зрелище, как они стояли, держась за кирку.

Она опять велит мне остановиться. Разве мы не поедем в шибин?

Она награждает меня взглядом, исполненным ярости. Я говорю *«Игорь»,* и совершенно очевидно, что только это слово спасает меня от доброго заряда гэльской брани. Она выходит из машины и точно рассчитанным движением захлопывает дверцу без демонстративного стука.

■

Игорь справился с конфетами и говорит — хочу еще. Но я отвечаю, что надо есть мясо, настоящую еду, если он хочет стать мужчиной, а будет одни сладости есть — вырастет девчонкой, разве ему этого хочется? Надулся, еле сдерживает слезы. Он слишком обидчив, надо его закалить, чтобы он не вырос таким же уязвимым, как я. Мир не щадит чувствительных, уж я-то это знаю.

Поехали домой есть папины котлеты? С луком, с перцем! Игорь говорит, что не любит ни лука, ни перца. Ему хочется ореха кола *. Нет, я знаю, что мы сделаем. Зайдем-ка мы, мужчины, в бар. Там Игорь глотнет пива из папиной кружки. Только мы, мужчины, а? All right, отвечает Игорь и приосанивается так лихо, что меня пронизывает гордость. Так и хочется пожать ему руку, но нельзя, я должен закалять себя.

Обращаюсь к бою-официанту высокомернее, чем если бы зашел в бар один, пусть Игорь учится повелевать. Нужно тщательно строить его будущее, и в большом, и в малом. Зато, проникшись сознанием собственного достоинства, он, несмотря на скверный аппетит, ест отлично, до того усердствует, стараясь не ударить лицом в грязь («мы мужчины!»), что я обещаю ему купить колы.

Игорь, любимый сынишка, если бы я умел выразить, как люблю тебя всего, целиком.

Тем более что за соседним столиком разыгрывается ужасная сцена. Там сидит супружеская пара в моем возрасте и мальчик лет десяти-одиннадцати. Мать явно плакала, когда-то она была красавицей, теперь ее лицо уродуют морщины. Они только что безобразно скандалили и

* Орех, действующий возбуждающе.

едят молча, набираясь сил для новой схватки дома. Каждый думает о том, как избавиться от другого, чтобы осуществить комбинацию «я и мой сын». А сын любит обоих. Сидит, не говоря ни слова, в сердце кинжал. Они предоставляют ему мучиться.

То же происходило бы за нашим столиком, будь Рут жива. Точно так она глядела на меня, говоря: «Одолжите мне на минуту Игоря, его пора кормить». Знала, что это ее единственное право, к тому же чисто животное. С первого раза, как я его взял на руки, мне было ясно: Игорь и я. Разумеется, и она почувствовала, что инстинкт сделает его папиным мальчиком. Потому и цеплялась за него так исступленно. Ведь поймал же я ее на том, что она ему совала грудь, когда молоко давно уже кончилось. Ладно, пусть Рут покоится в мире, она выполнила свое земное предназначение. Жаль, не захватила с собой парочку своих подруг из Сюндбюберга, страдающих недержанием слова и чресел. Хотя бы плакальщицу Веру Рамгрен, глаза которой могли загнать мужчину в эмиграцию, окажись он слабым или не будь у него других причин уехать. Как она смотрела и скулила, когда все кончилось: я-то знаю, я-то знаю... скажи Игорю спасибо, что я молчу.

В этой стране нам с Игорем хорошо, здесь только мы и никого, кто бы мог вмешиваться в нашу жизнь и портить ее.

Входит другой одинокий отец с сыном, он живет в том же доме, что и я, двумя этажами выше. Нам несколько раз случалось вместе распить бутылочку пива. Друг другу не надоедаем, оба любим самостоятельность, но вместе с тем между нами столько общего, что мы невольно уважаем один другого. Оба стопроцентные мужчины, оба отцы в подлинном смысле слова. Мы одних лет, но его сын года на два, на три старше Игоря, и жена не умерла, а просто бросила его, и суд присудил сына ему. Он полицейский, из special branch; разве дражайшая половина могла что-либо этому противопоставить. Он не разрешает ей видеться с сыном, и я целиком на его стороне. Иначе нельзя, нужно думать о благе мальчика, а Джек, что бы ни говорили о его профессии, безупречный отец.

Жестом зову их к нашему столику, и Джек принимает приглашение. Он рослый, отлично сложен, прошел огонь и воду. И привык помыкать туземцами. Заказывает куда более пренебрежительно-властным тоном, чем я, словно отдает команду хорошо дрессированной собаке, которой больше не нужно грозить плеткой. И официант превращается в сплошное лебезящее «yes, boss».

Наш разговор всегда начинается с Испании. С тридцать шестого года он единственный встреченный мной человек, который добровольно сражался на стороне Франко и считает, что был прав. Как обычно, толкуем о том, что нам, быть может, приходилось встречаться тогда, перечисляем друг другу селения, названия кафе, имена девушек. Как эти пухлые испаночки умели любить! Да нет, вряд ли мы виделись, но Джек говорит, что единомышленники рано или поздно, не в одной, так в другой части света, все равно сходятся. Я киваю, хотя не совсем уверен, что готов во всем быть поставленным на одну доску с Джеком. Нет, я вовсе не хочу сказать, будто у меня какие-то высшие принципы — моя позиция по разного рода вопросам определяется тем, что они значат для Игорева будущего. Все прочее меня не касается. И с какой стати мне спорить с Джеком — он здесь родился, ему лучше знать, как и что делать в этой стране.

У него в кармане журнал, он показывает мне снимок: цирковая обезьяна в очках и с газетой в руках. Заметка озаглавлена «Просвещенный павиан». Джек смеется, я не понимаю его веселья, пока он не объясняет мне. Просвещенный банту — разве не видишь! Эта обезьяна умеет читать газету! Совсем как человек! Дать ей избирательное право — со-

гласен? Ампутировать хвост! Какой малости довольно, чтобы она стала окончательно схожа с нами. Верно? Вы там в Европе лучше нашего знаете, как управлять Африкой,— то-то был бы для нас отличный премьер, а?

Я сдержанно смеюсь, сожалея, что не могу перевести шведское выражение «ты хлещешь по оглоблям, а не по коню» и мягко отвести от себя его выпад. Ведь я не больше европеец, чем он сам.

Он продолжает листать журнал, находит письмо читателя, требующего, чтобы Южная Африка имела атомную бомбу. Единственная возможность для нас вернуть себе уважение остального мира — заполучить атомное оружие. Тогда другие государства не посмеют так нагло обращаться с нами.

Атомная бомба, говорит Джек, необходима, чтобы зажать рот иностранной пропаганде — это она вбивает в голову кафрам, будто с ними несправедливо обращаются.

— Ты чем-нибудь не доволен, Сикспенс?— бодро спрашивает он. Обращение «Сикспенс» отнюдь не означает, что официант получит на чай шесть пенсов. Джек не дает и пенни. Официант отвечает с таким видом, словно ему грозит арест:

— Нет, босс.

Вот слышишь! Как, по-твоему, чего недостает этой шантрапе? Но атомную бомбу мы получим! Мой парень будет летчиком. Верно? Мальчишка важно кивает. Спрашиваю Игоря, кем он станет, ответ следует немедленно:

— Доктором!

Мой сын за словом в карман не полезет, my boy. Но что-то он побледнел, глаза слипаются, пора моему сыну в постель. Приглашаю Джека заглянуть вечерком, выпить рюмку виски, он благодарит.

— Государство нуждается в моих услугах только после десяти,— говорит он, добродушно улыбаясь. На долю Джека выпала самая увлекательная секция special branch — он разнюхивает immorality fall, случаи нарушения нравственности. Я не прочь бы некоторое время побыть на его месте.

■

Вместе с Игорем читаем «Ангеле божий, хранителю...», потом я сочиняю молитву про Ирму и наш хутор в Гокшё: вот бы нам поскорее туда вернуться. Игорь повторяет за мной, но моя молитва для него — бессмысленный набор слов. Зато свои пожелания он высказывает так горячо, что мне даже обидно, однако я не решаюсь запретом нарушить его молитву, не то он способен меня покарать: станет молиться по-зулусски. Он просит мистера Бога сделать так, чтобы завтра Глэднес вернулась домой, Игорь соскучился. И Наома пусть придет, насовсем. Глэднес такая большая, она может нам обоим быть мамой. Сделай, чтобы она пришла. Аминь.

Молимся по-шведски. Кстати, меня беспокоит, что Игорь совершенствуется только в английском языке. Он понимает, что я ему говорю, но все чаще отвечает мне по-английски. Надо бы побольше с ним разговаривать, но я слишком занят своими планами, некогда. А когда выпадает минута и я могу заняться им, мной всецело владеет любовь, не допускающая рассуждений, и я могу изъясняться лишь заклинаниями. *Ты мой сынок мой Игорь мой родной мальчишка я и мой сын никто не должен стать между нами ни у кого нет такого сына как у меня никто никогда не любил своего сына как я люблю для тебя я на все готов сынок только прикажи пусть кто-нибудь тебя коснется я его убью...*

В самый разгар заклинания, когда я ничего не вижу вокруг, вдруг раздается деловитый детский голосок Игоря:

— А почему надо его убивать только за то, что он меня коснется?..

Я выскакиваю в ванную и сую голову под кран. Возвращаюсь, сонный Игорь смотрит на меня далеким взглядом, пытаясь высмотреть что-то, чего ему нельзя видеть. Я падаю на колени возле его кроватки и бормочу в одеяло мое «недостоин, недостоин». А Игорь, недостижимый, ангельски спокойный, гладит мой затылок.

Слава богу, уснул, можно усмирить нервы легким хмелем и твердить заклинания, не боясь, что он услышит.

Когда живешь многоплановой жизнью, вся трудность заключается в том, чтобы не смешивать планы, чтобы ни одно слово, ни один поступок не преступали отведенные им рубежи. На первом плане у меня — любовь к Игорю, здесь царствует непорочная чистота. На втором — мечта о будущем Игоря и о хуторе в Гокшё, мечта не ангельская, но вполне добропорядочная. Зато третьим планом заправляют нечистоплотные действия, необходимые для осуществления мечты, ложь, к которой я вынужден прибегать, чтобы Любовь к Игорю не оказалась ложью. Все ради Игоря, но без его ведома. И наконец тот план, где идет схватка оленей, это оттуда на первый план прорываются слова вроде «я его убью». Если бы я мог избавиться от этого инстинкта, но тут игрок и враг сливаются воедино, навязывая мне действия, которые все чаще на миг опережают рассудок, а уж сделал — не отступайся. Из самых заветных тайников души исходит требование лояльности: каким бы я ни был, я должен мириться с собой, потому что я — это я.

■

Вот и Джек, мы пропускаем по стопочке виски, и он рассказывает о своей любимой Южной Африке так, словно живет от нее вдалеке. А мне, готовому обезуметь от настоящей тоски по родине, приходится помалкивать. Даже самый маленький дождик, который я попытался бы воспеть, будет сметен африканским ливнем или простым вопросом: «Что же ты не едешь домой?»

Ни в одной стране мира не бывает в году такого количества солнечных дней, как в Южной Африке, говорит Джек. Я размышляю об одном месте в последнем письме Герды, а он излагает евангелие южноафриканского обывателя: бог до того возлюбил белых этой страны, что наградил их солнечным светом, дешевой рабочей силой и прочими жизненными благами куда щедрее, чем какой-либо другой народ на земле.

«Небось, слыхал о Пере-Антоне. Ну так вот, после сорока долгих лет он вернулся домой из Америки. С годами его мечта вновь ступить на родную землю не ослабевала, а только росла. Казалось бы, возвращение для старого янки будет праздником. Что же ты думаешь — он плакал горькими слезами, и вовсе не от радости. И не в том, говорит, беда, что все мои друзья перемерли. А хуже всего, что природа не та, какой я ее помнил. Все бледное, бесцветное и запахов нет, ведь вот что убивает. Поразмысли-ка ты над этими словами, да не жди, покуда чутье и зрение и все другие чувства притупятся настолько, что ты, вернувшись домой, родимого края не узнаешь».

— ...природу Южной Африки и нашу славную историю до последнего вздоха,— говорит Джек.

— Что же делает вашу историю такой славной?

— А вот послушай,— говорит он и набирает воздух, словно готовясь вытащить тугую пробку.— Мы никогда ни перед чем не останавливались, чтобы доказать свою правоту!

Заработал фонтан...

— Наши ресурсы и наши проблемы — это *наши* ресурсы и *наши* проблемы, они больше никого не касаются. У нас вот нет молодежной проблемы! А в вашей Европе молодежь по-свински живет! Наша молодежь вежливая, воспитанная. Тут вам есть чему поучиться у нас. Однако же мы не отправляемся за море, чтобы одернуть ваших гангстерят.

Я думаю (но вслух не говорю) о том, что у нас в Швеции нет особой расы, которая могла бы для нашей молодежи стать козлом отпущения. Когда здешние белые дети пинают слуг, меток не видно. Мне, кроме Герды, некого было пинать, а на белой ноге синяки еще как выделяются.

— Не забудь: когда Греция достигла высот культуры, у них были рабы. Одной из основ Платонова государства был класс, обреченный на рабский труд. Если этот корифей западной культуры исходил из таких предпосылок, то...

Вот как. Что и говорить, в этом смысле трудно представить себе человека более «платонического», чем грек в угловом магазине. Неужто мне непременно надо стать таким же образованным, как он, чтобы добыть эти жалкие десять тысяч, без которых у меня ничего не выйдет? Но я помалкиваю, и фонтан Джека продолжает действовать.

— Обидно только, что Европа никак не хочет понять: мы, белое население Южной Африки,— последний в мире оплот западной культуры. Отстаиваем ее против каннибализма, коммунизма и варварства, а они нас оплевывают. Мы — мученики современности. Но мы не хнычем. Кто уверен в своей правоте, духом не падает.

Если он будет продолжать свою лекцию, я напьюсь. Мне нужен Джек-солдат, а не потомок буров, пересказывающий «Ди Трансвалер»*.

У взрослого мужчины есть здоровая потребность в порнографии, непристойный анекдот очищает атмосферу. Я наливаю Джеку полную стопку и прошу его быть человеком.

— Не пытайся споить меня, я всегда трезв на службе,— говорит он, и я пользуюсь случаем перевести разговор в желанное русло.

— А, верно, трудно накрыть нарушителей,— подхватываю я.— Ведь не ложатся же они в кустах, раз известно, что можешь в тюрьму угодить.

— Еще как ложатся! Ни с чем не считаются, хуже лунатиков. Каждому мнится, что полиция только других ловит, «мы двое никогда не попадемся». Просто не представляют себе, что их спектакль смотрят зрители. А что, разве не так? — вдруг спрашивает он, ухмыляясь мне в лицо.

Что он подразумевает? Я смело встречаю его взгляд, но в улыбке своей не уверен: отражает ли она злорадство? Когда я рисковал, то о Джеке совершенно не думал.

— Есть и такие, что мнят себя выше закона,— продолжает он, отводя — наконец-то! — глаза.— Какой-нибудь замухрышка, а туда же, глотку дерет, начинает доказывать, что это мы-де безнравственность проявляем, когда арестовываем их. Ничего, суд с них быстро спесь сбивает. Там ведь лучше помалкивать: начнут фордыбачить, романтических героев изображать — пять лет обеспечено.

— Вчера в газете было про фермера, который убил туземца и получил за это год тюрьмы. Выходит, убить черного дешевле, чем любить?

— Чем больше преступление, тем строже кара,— говорит Джек ровным голосом, выдающим закоренелую ненависть. — Зато, коли искренне раскаются и торжественно обещают никогда не преступать расовый барьер, могут отделаться мягким наказанием. Иной до того сокру-

* Газета националистической партии, выходит в Иоганнесбурге.

шается, что вообще приговора не выносят — судья его отчитает, и все. Но уж будь уверен, после такой выволочки вид у них не геройский. Трусы паршивые!

— А кто чаще всего этим занимается? — спрашиваю я.

— Хочешь верь, хочешь нет — многие из них самые обыкновенные парни. На днях попался мне один, здорово на тебя похожий.—Он снова глядит на меня с ехидной улыбкой.— Но большинство, конечно, подонки. Прошлой ночью я задержал двоих, интересно посмотреть, что с ними дальше будет. Так и остались в участке, на залог денег нет. Он этакий наивный бедняга, можно подумать, в жизни еще девчонок не знал — ни белых, ни черных. А тут, значит, дорвался. Она крашеная, крутобокая, на обычный глаз чучело, а сложена — шик! Для этого дела очень уж хороша, манекенщица от Диора, только в лохмотьях! Он был трезвый, разве чуть навеселе, зато она вдрызг, не то бы черта с два такого допустила. Положено, как их застукаешь, первым делом объявить — вы совершили преступление. Ну, девчонка, та давай нас крыть на своем искалеченном английском: ids nun bisnizz ov joz ju bluddi gqbz *. А этот пентюх, олух неискушенный, стал клясться, что он-де не хотел ей сделать ничего дурного. Спрашиваю его, мол, он что — никогда не слыхал про immorality act **? Слыхал, говорит, да только к нам это не относится. Дескать, Роз-Мари мне нравится, и мы ничуть не жалеем. Задрал нос, а сам ей едва до подбородка. Святая простота, при виде такого взрослый человек поневоле покраснеет. Моему напарнику своенравные штучки, как она, по душе, он готов был сменить гнев на милость за небольшое вознаграждение от красотки. Она бы не прочь, но тут мужчина взъелся, мол, это-то как раз аморально, потому что Роз-Мари меня любит. Не знаю уж, как там с этим дело обстояло, во всяком случае, ее явно не тянуло пострадать за свою любовь. Орала, как оглашенная, моему напарнику всю физиономию расцарапала. Коротышка-любовник пытался умиротворить ее сердечными излияниями, так она еще хуже взбеленилась. «Ты нам все испортишь, идиот!» — кричит. И давай нас поносить, такие-сякие, легаши подлые. Фурия, скажу тебе! Аж заслушаешься. Ничего не стеснялась. Даже доктора не пощадила. Бушевала так, что пришлось ее связать, чтобы доктор мог...

Меня вдруг тоска берет. Вспоминается Глэднес, не то чтобы она мне очень нравилась, но...

— ...Сам, небось, понимаешь, на одних только косвенных уликах да добровольных признаниях мы бы далеко не уехали. Сговорятся и скорее черту душу продадут, на чем угодно поклянутся, лишь бы в тюрьму не угодить. А врачебное заключение — это доказательство, тут уж не увильнешь. Ты что-то побледнел, мальчик. Как там твоя Глэднес поживает?

— Брось, не купишь...

Джек добродушно смеется, у него приятный смех.

— Да я ведь шучу. Неужто думаешь, я способен друга за решетку засадить? Я просто так, показать тебе, что ни один случай черно-белой любви не остается тайной для полиции. В нашем квартале есть пара, вот уже четыре года крутят. Но они из тех, которых мы без особой нужды не трогаем. Так сказать, промежуточная категория, не заполнять же ими тюрьмы. И есть наконец такие, на которых просто рука не поднимается. Их мы отпускаем на все четыре стороны.

— Это на кого же у тебя рука не поднимается?

— Ну, например, какой-нибудь славный, неглупый белый парнишка, который прощается с детством. Ему черная девочка нужна для того

---

* Не ваше собачье дело, легаши проклятые.

** Закон об аморальных действиях.

только, чтобы, так сказать, перерезать пуповину, соединяющую его с папнie. Стать взрослым, иначе говоря. Известное дело. Тут достаточно пойти и переговорить с папашей.

— А папаша хорошо платит?

— Брось, не купишь...— Джек смеется своим приятным смехом, его не заведешь.— Вообще, я не падок на простейшие случаи, на такие, которые в кустах или автомашинах. Это работа для новичков. Слишком банально. То ли дело длительный надзор. Скажем, за такими, у которых любовь уже на исходе и решили распроститься — может, каждый семью завести подумывает. И в разгар прощального обряда ты их цап-царап — и в кутузку на полгодика, пусть посидят, поразмыслят, не повредит. Или вот еще увлекательная разновидность: двое подружились, нравятся друг другу, но о постели пока не помышляют. Слышишь в телефоне, как постепенно меняется тон, бьешься с приятелем об заклад, дескать, такого-то числа дойдут, голубчики. А такие парочки осторожность не соблюдают, мол, у нас совесть чиста, ха-ха, не таятся, как более опытные. Важно их вовремя подстеречь. В локации там, либо в городе на квартире. Не первый месяц знакомы, на мази, и все-таки поначалу вроде боязно. И только отваги наберутся, а ты тут как тут, прощайте, сладкие мечты, не желаете ли в кутузке остыть?

— Но ведь их-то не посадишь, не за что,— говорю я.

— В лучшем виде. Их судят за конспирацию в целях совершения или попытки совершения непристойного или аморального действия — есть на то параграф.

— А как доказать, что они «конспирировали»? Тут ведь лабораторный анализ не вывезет.

— По закону мужчину и женщину разных рас, которые после десяти вечера находятся вдвоем в комнате или автомашине, всегда можно обвинить в том, что они задумали совокупиться. А что еще у них может быть на уме?

На меня нападает хандра: вот уже сколько времени, целая вечность, как я не был влюблен — так, чтоб было о чем вспомнить. Джек тоже вдруг помрачнел.

— Вот иные говорят, мол, оставьте вы их в покое. Будто у тех, кто закон соблюдает, все уж так спокойно идет! Чем моей жене плохо было, чего ей не хватало? А вот же, разрушила мою семью и мое счастье. И скажи теперь, есть у меня покой?

— А моя жена, Ирма, я ее на руках носил, а она возьми да умри,— говорю я.

Мы чокаемся за все, что разбито, оба несчастны.

— Хорошо — общественность нам помогает,— говорит Джек.— На одну и ту же пару от бдительных соседей до десяти заявлений поступает.

— И кто же ябедничает, черные или белые?

— Ябедничает? Они свой гражданский долг выполняют. Черные морали не признают, начисто лишены всякого понимания, что можно и чего нельзя. Заруби себе на носу: во всей Африке нет ни одного законопослушного кафра.

— Вам, белым, такие законы — может, и вы бы оказались нарушителями.

— Во-во, мальчик, в самую точку... Хочешь знать, так некоторые законы для черномазых сами по себе, может, и не обязательны. А все же лучше иметь побольше параграфов про запас.

— Зачем?

— Чтобы белые всегда, днем и ночью, жили спокойно, надо туземцев постоянно в страхе держать. Вдруг понадобится одернуть какого-нибудь наглеца, а придраться не к чему! Да и пять фунтов на полу не валяются, не такие уж малые деньги для тех, кто помогает полиции сле-

дить за моралью. Вам-то, заморским, которые только приехали и уже состояние готово, это непонятно.

Он считает, что для меня пять фунтов не деньги. Выходит, моя внешность по-прежнему мой союзник. Даже он не видит по мне, что я на бобах оказался. Завтра же надо найти новую работу. Если я больше не выиграю свипстейк, у меня очень скоро будет такой задрипанный вид, что о приличной должности — хоть фунтов на сто — и не помышляй. Чуть иронически замечаю, что в полицейской службе есть свои преимущества: про такое жалованье не скажешь, что горбом заработано.

Я не смею договаривать до конца, что Южная Африка — единственная в мире страна со штатом платных щелеглядов.

— Знаю, знаю, о чем ты думаешь,— говорит он с неожиданным смирением.— Мол, как мне только не стыдно. А я вот не стыжусь. Я свой долг выполняю — и точка. Не я придумал закон, мое дело выискивать тех, кто его преступает. Может, я похож на чудовище?

Нет, он не похож на чудовище. Обыкновенный, даже симпатичный человек с заразительным смехом. Но при мысли о том, как звучит этот смех для пойманных с поличным, у меня мороз по коже подирает.

— Думаешь, я совсем без души? Думаешь, не попадаются такие, которых мне жаль? На иных посмотришь — ну прямо брат и сестра, если бы не цвет кожи. Но на службе я не могу позволять личных чувств. К чему это приведет? Вообще, чего мне-то стыдиться? Если врач, который столько лет в университете просидел, образованный человек, по всяким медицинским конгрессам разъезжает, в высшем обществе вращается, если он не стыдится напялить резиновые перчатки и насильно обследовать девушку, с какой стати мне артачиться — дескать, это низко? А судью взять — тоже, небось, с высшим образованием! Приговорит к телесному наказанию или к тюрьме, и ничего ему, спит спокойно, что ж мне-то переживать? Не говоря уж о правительстве! Думаешь, страной растяпы правят? Небось, знают, что делают, что для страны в конечном счете лучше. И ты хочешь, чтобы я, простой легаш, не удостоившийся чести учиться в университете, стал фордыбачить, мол, на такую работу не согласен? Нет уж, я не такой чистоплюй. Свое место знаю. И горжусь тем, что я южноафриканец. Исполню любой приказ, какой мне даст правительство Южной Африки. Дело идет о стране моего сына, о его будущем. Ему после нас за руль становиться. А не детям туземцев и не каким-нибудь ублюдкам.

Наш кутеж достиг критического момента. Ему скоро уходить, упиваться поруганной любовью, и он отыгрывается на мне высокопарным брюзжанием. Суставы пальцев, сжимающих стопки, побелели. Вижу слюну в уголках его рта, когда он говорит, и серый пузырь на нижней губе, когда он на миг замолкает. Иной раз мне сдается, что достаточно такой малости, чтобы я убил человека: капелька слюны или угорь на лице, которые мне противны. И никто не поймет меня — никто не ведает, какая угроза постоянно висит надо мной из-за моей сверхчувствительности.

Крик за окном спасает нас друг от друга. Всепронизывающий женский крик, бедственный вопль африканки. Отворяем окна и смотрим вниз на пустынную улицу. Вот она, мечется, будто циклон, вокруг мужчины.

Джек рассказывает, что в шибине Фойби, в нескольких кварталах отсюда, торгуют форменной отравой. От нее черномазые постепенно слепнут. Почему же он не доложит начальству? Нет, официально ему ничего не известно... К тому же мы не можем отказаться от наших двух главных союзников в борьбе против туземцев: гангстерства в локациях и самогона шибинщиц.

Рослая женщина орет, будто роженица, и толкает, волочит, изо всех сил тащит своего мужа. Одно за другим распахиваются окна, белые выглядывают наружу, смотрят сверху вниз на черную пару. Европейский смех смолкает, едва прозвучав, ярость ее любви лишает нас дара речи. Стены домов вздрагивают, словно кулисы. Мужчина падает, она пытается его поднять, падает сама, некоторое время стоит на коленях, грозя кулаками не то небу, не то нам, белым зрителям. Не каждое ее богохульное слово нам понятно, но смысл пробивается через все языковые и расовые барьеры.

Господи, о господи, зачем ты отнял у меня моего мужа? Зачем ты роняешь свой огонь в нашу земную воду, заставляя его говорить: что мне до тебя, женщина! О господи, почему твоя околдованная вода всегда манит больше, чем хмель моего родника! Погляди, его чело уже касается небосвода, он мнит себя равным тебе, твоим сыном! А мне вы оба, мой господь и мой муж, оставляете падаль! Вам нет дела до наших детей в Кассандре, их жажды и голода!

Голос миллионов жен по всему свету рвется из глотки зулусской женщины.

Она взваливает его себе на плечо, делает отчаянное усилие, чтобы подняться, наконец встает и уносит его прочь, шатаясь, будто перегруженная лошадь. Теперь ей кричать нельзя, все силы уходят на то, чтобы нести. Идет под нашими окнами, слышим ее прерывистое дыхание.

Джек вяло усмехается:

— Ну, что скажешь? Без благоверной-то привольнее!

И я соглашаюсь, мол, точно, привольнее.

■

Ночь безрадостная. Я не знаю ни одной женщины, о которой стоило бы мечтать. Ирма слишком давно умерла, мысль о ней сладостна и томительна, но лишена какой-либо чувственной прелести, способной скрасить мне настоящее.

Мне бы хорошую кобылу.

Я сплю плохо, мне снятся кошмары. Бегу, держа Игоря на руках, по огромному, как пустыня, аэродрому, возле самолета обнаруживаю, что у меня нет билета. Пытаюсь протиснуться мимо служащих. Игорь плачет, кричит, они хватают меня и держат, самолет тем временем взлетает. Под крылом большими буквами написано: ШВЕЦИЯ.

Просыпаюсь от удушья. Принимаю валидол. Засыпаю, во сне меня ждет новое испытание. Мы вместе с Джеком, Джек много крупнее меня. Это несправедливо, чем я хуже его? Были бы мы в Гокше, я бы ему показал, а то ведь иностранец всегда в худшем положении. Ищу, чем бы его поразить, и примечаю впереди здоровенную улитку, такие только в Африке бывают. Поднимаю ее и быстро, пока улитка не ушла в раковину, выковыриваю ее палочкой: посмотрим, как-то она обойдется без своего домика. Улитка падает на землю, голая, беззащитная. Щупальца извиваются с необычной для нее быстротой — трогательное зрелище. Но эти органы осязания, которые были гордостью улитки, сейчас не дают толковых сигналов, и она разочарованно убирает их, «оскорбленно удаляется». Нагая улитка оказалась мишенью для приказов со всех концов вселенной, несчетные импульсы перебивают друг друга, никак не хотят взаимно согласоваться, и неизвестно, куда ползти. На мгновение улитка замирает, потом вздрагивает всем телом.

Это сам Стыд лежит во всей его непристойности.

Бросаю на нее несколько песчинок — как-то она себя поведет? Она неловко дергается, но песчинки только впиваются глубже. Джек хохо-

чет. Наконец-то готов признать, что и я что-то умею, но теперь, когда я добился его одобрения, оно меня не радует.

Улитка была темная и влажная, под лучами солнца она меняется — становится розовой, высыхает. Появляются шеренгами муравьи, всюду карабкаются, встают на задние лапки и машут друг другу, брызжут ядом, вонзают свои крохотные челюсти в розовую беззащитность, чуть не лопаясь от торжества: муравей никогда не может стать таким нагим, как бездомная улитка. Я держу в руке ее домик, это мое открытие, я исследователь. Вдруг появляется Герда и глядит на меня, всегда-то в моих снах она меня судит, нынешняя Герда, солидная женщина пятидесяти пяти лет. А я маленький, ноги коротенькие, как у десятилетнего.

Герда говорит:

— Что ты наделал?

Отвечаю:

— Это не я, это Джек.

Но Джек будто сквозь землю провалился. Она смотрит на раковину в моей руке — это не моя рука, на ней когти, как у шакала. Я ее сам боюсь, хочу отшвырнуть раковину, но не могу. Обливаюсь потом, спешу оправдаться. Я ничего не делал. Просто хотел посмотреть, что внутри... Улитка сама вылезла... Ей так хочется... Она сама виновата, что такая податливая...

Герда глядит на мою вторую руку, которая еще держит палочку, конец палочки вымазан слизью.

— Я вправе докопаться до истины об улитке,— говорю я,— это мой долг... Это вопрос принципа...

А Герда все смотрит на меня.

— И вообще, она всего-навсего моллюск... Ничего не чувствует. У нее нет мозга. А это,— я показываю раковину,— пустая скорлупа, даже совсем неживая. Зачем вот эти ребра, завитушки?.. Истина об улитке и ее домике...

Взгляд Герды заставляет меня проглотить остальные слова.

■

Игорь своим плачем будит меня. Зовет Глэднес. Зажигаю свет и бегу к нему. Его постель замарана, у него понос. Он жалуется: «my tummy, мой животик».

Мой сын болен, меня не признает, твердит, что хочет к Глэднес. Нет, вы понимаете, мой сын заболел, может быть, смертельно, лежит в забытьи и зовет — кого же? — не меня, а Глэднес, какую-то туземку. До чего я ненавижу эту страну.

Господи, или у тебя вовсе нет жалости, разве ты не видишь, как страдает мой сын? Неужто мы должны умереть здесь, я и мой сын? Что я дурного сделал, чтобы ты стал меня так карать? Смилуйся, ради моего сына смилуйся. Когда же настанет утро?.. Наконец-то, и я везу его в больницу.

Когда я ухожу, он еще настолько соображает, что все-таки кричит мне вслед:

— Don't leave me, dad!

■

Ищу спасения в работе. Теперь должен царить только первый план и порядочность со второго. Игорь должен жить, я должен добыть деньги на его лечение, и эти деньги должны быть заработаны честно.

Работа необходима мне еще и для того, чтобы день поскорее прошел и я мог поехать к нему в больницу.

Устраиваюсь в мебельной фирме, с первой минуты ору и беснуюсь, почти уверен, что черные меня не раскусят. В конце дня, когда я уже взялся за дверцу автомобиля, подходит старичок — он работает кем-то на складе,— глядит на машину, глядит на меня, потом спокойно говорит:

— Откуда у вас эта карета?

Обмерев, спрашиваю, какое ему дело.

— Да так, она мне показалась знакомой.

— Еще бы, у каждого второго эта марка.

— Верно. Но у этой одна примета есть. Good evening.

И он уходит, а я сажусь в машину — в коленях дрожь — и думаю про себя, не задавить ли старикашку. Надо же — именно сегодня! За все два года, что машина у меня, ее никто не узнавал, но нынче, когда беда сделала меня беззащитным,— извольте! Будь ее хозяином какой-нибудь бедняк, он бы стал ее разыскивать. Но я был уверен, что у ее владельца самое малое две-три машины. Он даже не заметил пропажи. А мне машина нужна была для Игоря. И не какая-нибудь дрянь, пусть Игорь с самого начала учится быть разборчивым. Теперь Игорь болен, а они готовы поднять шум из-за происшествия, которое давно уже пора забыть,— лишь бы не дать мне навестить больного сына, а он плачет и ждет меня. Таков мир.

Захожу в магазин, покупаю Игорю игрушку и пакет колы.

После встречи со стариком я не могу возвращаться в эту фирму. Даже не беру расчет за первый день. И не ищу новой работы. К чему? Где гарантия, что на новом месте никто так или иначе не подложит мне свинью. Разве я затем приехал в Йобург, чтобы работать задарма? Чтобы со мной обращались хуже, чем с черномазым?

За все время здесь в Африке я еще не был в таком отчаянном положении. Тону, а все потому, что со мной нет Игоря. Не могу жить без моего сына.

Не нравится мне врач, который его лечит. Не те вопросы задает Будто я не чувствую, что́ лучше для моего сына, как его надо кормить и как лечить! В конце концов спрашиваю врача, уж не считает ли он, что я не люблю своего ребенка. Этот преуспевающий и бесчувственный гип отвечает:

— Не слишком ли тяжела страсть, которой вы обременяете его сердечко,— он еще дитя.

Сдерживая ярость, отвечаю, что я готов нести моего сына на руках хоть на край света.

— От этого его бремя не легче.

Игорь не такой, как все дети! Я не хвастаю, говоря, что он готов отдать за меня всю свою кровь, до последней капельки, вот как он меня любит. Так неужто я...

— Вот именно,— говорит врач, у которого в жилах течет рыбья кровь,— разве ребенку по силам столь истерическое, взвинченное чувство.

Для него Игорь просто маленький ребенок, а наши беспримерные отношения — истерия. Наглец!..

Мой сын радуется, когда я прихожу, и плачет, расставаясь со мной, каждый раз плачет так, что я получаю разрешение остаться с ним, пока не заступит ночная сестра.

Лилиан — милая девочка, я спросил ее, пойдет ли она замуж за нас с Игорем, чтобы стать хозяйкой нашего имения в Гокше. Она не против. Я не один вечерний час провожу в ее дежурке. Ей-богу, женился бы на ней, да теперь поздно.

■

Я несчастен. До чего же долго длится каждая секунда. Обычные люди работой спасаются от самых тяжких переживаний, одурманивают себя, каким-нибудь делом заслоняются от безжалостной обнаженной мысли. Работать — какая трусость; посидели бы, как я, наедине с сознанием — каково мне, в каком положении я очутился. Сидишь, секунды будто капли — кап, кап...

Минувшая не стоит того, чтобы ее вспоминать, предстоящая — чтобы ждать ее. Люди злы, мне никто не желает добра, один Игорь, а он заточен в стерильной больнице, среди бесчувственных людей.

Мне нужны деньги, деньги, поскорее и побольше. Без поддержки и одобрения Игоря я должен ухитриться быстро раздобыть то, что нам необходимо, чтобы вырваться отсюда.

Пишу письмо шотландцу, сыну миллионера. Дескать, случайно узнал и полагаю, что он предпочтет уберечь престарелую мать от позора. Его сводная сестра, которая явилась, чтобы призвать его к ответу, еще не знает имени своего отца. Единственный, кому оно известно,— я. Могу спасти его от неприятностей, если он...

Рву письмо и пишу новое. Мол, я был поверенным его отца, опекал отцову любовницу, через меня шло пособие женщине, родившей от него. Теперь мы оба больны и нуждаемся. Надеюсь, вы предпочтете оградить свою старую мать от унижений, которые повлекли бы за собой («унижений» — звучит как-то благороднее)... Ваша сводная сестра здесь, разыскивает вас. Если хотите, я пошлю ее по ложному следу и избавлю вас от неприятной встречи.

Пишу кучу таких писем и ношу их в кармане, гадая, которое отправить, чтобы дать судьбе случай выручить меня.

Такие поступки называют дурными. Но зная то, что я знаю, стоит ли беспокоиться, как меня назовут — да и кто?

«С кем ты бываешь полностью откровенен?»

Есть тайны, которые незачем поверять кому-либо. Ты настолько убежден в своей правоте, что можешь один за нее постоять, без посторонней помощи. У меня хватит мужества.

Вот только скучно мне.

Иду домой и кручу пластинки Пэта Буна. Одно и то же десять-пятнадцать раз. Он меня утешает. Отлично понимает, что у меня на душе, и не устраивает бучи. Знает, что я сейчас нуждаюсь в утешении, а не в умных разговорах. Пэт Бун — блеск. Без мыла в душу лезет. Парень — во!

■

Иду к Кэтлин. Дверь открывает не она.

— Мисс Сноу переехала.

— Куда?

— Вы случайно не... К сожалению, она распорядилась, чтобы вам не сообщали ее новый адрес.

Черт бы побрал ее. Она за это заплатит.

Справляюсь у одного из этажных боев про Грейс, он робко показывает мне, где она живет, закуток, напоминающий каморку Глэднес. Говорю ей, что зашел передать привет от мисс Сноу.

— О, Кэтлин занята? Сегодня вечером не придет?

Вот как легко выследить шотландку в Африке.

Жду во дворе, вижу, как Кэтлин ковыляет в темноте. С черного хода она по узкой лестнице поднимается на пятый этаж. Разумеется, считает себя образцом лояльности, отказавшись от лифта, на двери которого

надпись «Strictly for Europeans only»*. Когда иностранцы устраивают демонстрацию, они до полного идиотизма доходят. Вот появилась вновь, с ней Грейс. Еду на машине за ними. Куда бы это они? Неужели в химчистку, в мой шибин, мой персональный тайный притон?

Я украл, прикрывшись Грейс, без ее ведома, теперь она, сама того не ведая, отнимает у меня один из моих главных ресурсов. Это типично. Все крадут открыто, с чистой совестью, один я должен чувствовать себя виноватым — я, которого в конечном счете грабят хуже всех. Ну конечно, с книгами в руках они идут прямым ходом туда, и Кэтлин, понятно, ждет, что увидит настоящий притон. Или она знает, что это читальня, замаскированная под химчистку? Ведомо ли ей, что «мама Китти» — действительно *мама?* Господи, неужто ты вознамерился лишить меня всех моих секретов, отнять мой главный козырь? Неужели история обойдется без меня? И я больше не главный герой?

Продолжаю следить. Грейс вошла первая, Кэтлин проходит дальше, изо всех сил стараясь выглядеть непринужденно. Но вот повернулась — откуда у нее вдруг эта гибкость в талии? А может быть, Грейс научила ее танцевать квелу? Семенит обратно, дверь отворяется, и она, тихо смеясь, исчезает.

Иду за ними. По звуку голосов определяю, что они в задней комнате. Открываю отмычкой, риск страшный: вдруг внутри стоит на страже черномазый, который двинет мне по черепу. Нет, никого.

Ныряю за тряпку, туда, где висит барахло. Пальто, смокинги, пиджаки, которые бои годами чистили, стирали, подавали белым боссам, чтобы, унаследовав, истрепать до дыр и в конце концов повесить здесь и под их прикрытием вкушать запретные знания и пиво. Сегодня они сменили политэкономию на более вольные темы. Похоже, что Кэтлин уже бывала здесь.

Стою, защищенный надежнее, чем кто-либо — будь то белый или черный,— лохмотьями, которым и впрямь не помешала бы еще одна, последняя чистка. И этот запах я должен терпеть. Ни пива, ни пищи для моего вредострастия... Они поносят самих себя и свое положение такими словами, к которым ни один закон не придерется. Н-да, может, коли разобраться, здешней полиции хлеб и впрямь дается не так уж легко. Воспринимать такими порциями черную радость; и когда еще выловишь явно противозаконную фразу... Мне, добровольцу, и то терпения не хватает, а каково-то Джеку, который подслушивает по обязанности.

— «Мы, белое население Южной Африки, мученики современности».

Стены катакомб содрогаются от смеха.

— Кэтлин! Не слушай ты этого Симона! Это же антиобщественный элемент. Ни одного дня не просидел! Подонок! И как только ты к нам сюда затесался!

— Поезжай в Шотландию, там проще жить, там товарищи будут тебя за человека считать, хоть бы ты ни разу в тюрьме не сидел.

— Поехал бы, если бы не пропуск.

— Не открывает никаких границ.

— Закрывает все пути.

— Носить его — та же неволя.

— Не носить его — в тюрьму попадешь.

— Слыхали о белом легаше и черном бое, которые повстречались в Индийском океане? Поплыли из Дурбана, каждый с отведенного им по закону пляжа. А море зеленое, теплое, и расовый барьер размыло волнами, ничего не разберешь. Вот они и встретились вдали от берега, и тут возьми да и покажись белому легашу, что черный бой забрался в Индий-

* Только для европейцев *(англ.)*.

ском океане на европейский участок. Говорит: «Покажи пропуск, кафр чертов». Бой в ответ: «Не захватил». Легаш: «Ты еще дерзишь? Марш за мной! Посидишь, покуда не научишься пропуск с собой носить». Достает из трусов наручники, надевает их кафру и тащит его на берег.

— Что значит служебное рвение.

— Да, Фервурд* всюду, на суше и на море, может положиться на своих парней.

— И на нас тоже, вот ведь в чем беда. Что стоило тому бою отправить легаша в чрево кита к Ионе.

— Белый полицейский арестован туземцем в Индийском океане!

— Что-нибудь поостроумнее, ребята. Одиночными убийствами ничего не добьешься.

— А одиночные убийства наших людей...

— ...тем и страшны, что их много.

— ...ресурсы оккупационной державы...

— ...партизанская война...

— В наших локациях? Ни кустика, где бы спрятаться. Кассандра, Орландо, Давидстаун — все как на ладони, с воздуха наци ** за какой-нибудь час уничтожат черный концентрат, бурлящий в этих лагерях.

— ...разделаться с правительством?

— Как разделаешься с тем, чего нет?

— У нас нет правительства?

— Нет.

— Кто же нами правит?

— Наше невежество.

— Bantu education — цель: утвердить невежество и насаждать самоуничижение среди ограбленных.

— ...прищли, забавы ради строят, забавы ради ломают, играют в императоров и святых, забавы ради издают законы, крадут сырье и рабочую силу, а наворованное отправляют за море домой. Старый добрый порядочный папочка пишет сыночку-эмигранту: «Ты уж не обижай этих черненьких бедняжек там, в детском парке «Африка». Как распорядиться подарками, которыми они так щедро тебя одарили в детском парке «Африка». Надеюсь, ты всегда держишься как джентльмен, чтобы дикари могли перенять твои обычаи и нравы. Если встретишь своих сверстников, черных детей — прежде всего научи их, что у лжи короткие ноги».

— *«Шагами исполина по земле ступает он, мы ж, мелюзга, у ног его огромных суетимся и озираемся испуганно вокруг, ища себе бесславную могилу».*

— До чего же точно он провидел Шарпевиль ***!

— Башковитый парень этот Шекспир.

— Почему его нет в черном списке?

— Босс не умеет книги читать. Не то бы давно запретили не только Вильяма, но и библию.

— Босс дальше Хамовых детей библию не читает.

— Зачем осуждать босса за невежество. Лучше посади его за школьную парту.

— *«Порой своей судьбою люди правят. Не звезды, милый Брут, а сами мы виновны в том, что сделались рабами».*

— Пули в Пандоленде — не такие уж безвинные звезды.

— Мы так заняты пороками наци, что не видим собственных возможностей.

---

* Премьер-министр ЮАР.

** Члены национальной партии ЮАР, которая отличается крайней реакционностью.

*** Поселок в ЮАР, где полиция зверски расстреляла мирную демонстрацию.

— Страна моя, родимый край, отечество мое!
— Наша рабочая сила!
— Черная и дешевая.
— Почему мы не продаем ее дороже?
— Не мы назначаем цены на себя и на свою пищу.
— Почему мы не ставим условий?
— Потому что нас выгонят.
— Не выгонят, если будем заодно.
— Бастовать запрещено.
— Почему мы подчиняемся их запретам?
— Потому что хотим жить.
— Мы сильнее, чем думаем сами.
— Недоедание...
— Еще хуже невежество.
— Захотим — остановим рудники.
— Захотят — перекроют воду в локациях.
— Промышленность без нас не обойдется.
— Еще как. Любого черного южноафриканца можно из города отправить в резерват — резервная рабочая сила для белых фермеров с плетками.
— А кто же будет добывать золото, работать у станков, прислуживать белым в городах?
— Можно привезти миллион африканцев из Сомалиленда и Мозамбика, из Басутоленда и Ньясаленда, из Родезии и Уганды. Голодные со всей Африки не прочь отведать йобургской булки. Они лучше нашего знают, что такое голод, и ничего не знают о забастовках.
— Наш минус в том, что мы хотим жить.
— Все до единого.
— Кто бы нас научил, как найти хлеб в грязи между пальцами ног исполина?
— Босс исполнен долготерпения и добрых советов.
— И сытной пищи, три раза в день.
— Каждый твой шаг к смерти ведет, festina lente*, черный скот.
— Если босс потеряет голодного боя, у него есть еще тысяча голодных боев.

— Мы должны учиться стоять заодно.
— На каком языке учиться?
— Босс во всей Африке объясниться сумеет — со свистком в одной руке, с автоматом в другой.
— Можно найти знаки, понятные нам всем.
— Язык барабанов устарел.
— Лумумба — вот человек был!

— На месте Онассиса ты отдал бы Тине большой бриллиант, который она хочет получить на прощание?
— Нахальная девка, верно?
— Мы-то стараемся, добываем большие бриллианты для прощальных подарков заморским крошкам, а что бы нам поднести прощальную пилюлю правительству, которое столько для нас сделало!
— Хоть бы увеселительную яхту, чтобы они могли перебраться через море.
— Эгоисты мы бессердечные — не вознаградить правительство по заслугам.

---

* Медленно поспешай *(лат.)*.

— Покажи мне хоть одного белого, которому не вытирала нос и попку черная nannie.

— Почему мы его и взрослого на горшок не сажаем? Босс вправе быть недовольным своими слугами.

— Мы совсем не заботимся о нем так, как он этого заслуживает.

— Это и невозможно.

— Разве не стоит воздать наци по заслугам?

— Нет.

— Это почему же?

— Слишком дорого обойдется. Нам не по карману мстить.

— Но гнев народа..

— ...после победы придется перестраиваться.

— Будто это так просто — выпроводить босса.

— Он всегда защищает свое пребывание здесь тем, что весь остальной мир для него закрыт. *«Нам некуда податься».*

— Что верно, то верно, больше нигде ему так не жить, как здесь.

— Пусть мир подсобит перевоспитать этих отсталых наци.

— Есть ли миру дело до нас?

— В этом-то весь вопрос.

— Пинки, которые мы получаем от властей, за морем не чувствуются.

— В тот день, когда наше терпение истощится, кто будет тогда на нашей стороне?

— Шарпевиль во всем мире вызвал возмущение.

— И торговую блокаду — этакий воздушный поцелуй через океан.

— Наше горе — лакомый кусочек, товар, отличный объект торговли.

— Подается горяченьким с охлажденным капским белым вином.

— Гнев — наш единственный верный союзник.

— Если он будет истрачен на месть, мы пропадем.

— Как же его сдержать, во имя Африки?

— Не сдержать, а преобразовать — во имя Африки.

— На что направить эту бешеную энергию?

— На созидание нового.

— Не успеем мы и первый камень заложить...

— Что же делать?

— Учиться сплоченности.

— «Разделяй и властвуй» оккупантов...

— ...сплотит нас.

— ...нет союзников.

— Не все белые в стране — наци.

— Есть такие, что не меньше нас ненавидят оккупацию.

— Есть такие, что не меньше нас хотят жить свободно.

— *«Какое чудо природы человек!»*

— Какого цвета?

— Белый, как Отелло. Черный, как Дездемона.

— Какой расы?

— Homo sapiens.

— Как хорошо все вы знаете Шекспира и как своевольно с ним обращаетесь. Конечно, мы в Шотландии изучаем его в школе, кое-какие его изречения вошли в обиход, но мы не смеем использовать его образы так бесцеремонно, как вы, я просто поражена...

— Почему не смеете?

— Чтобы тебя не называли всезнайкой или не распознали в тебе литературоведа.

— Это как же — образование делает людей такими унылыми? Тут что-то не то...

— ...литературоведа... Если Шекспир, этот невежа, когда окачурился, завещал своей старушке Анне всего лишь разбитую кровать, так ведь это не наше дело! Пусть сам в небесах с Анной разбирается. Зато свои произведения — готов душу прозакласть — он завещал в такой же мере нам, как мудрецам в Стелленбоше*. Почему ты считаешь, что у какого-либо типа из «белой» высшей школы больше данных, чем у нас, верно толковать «Юлия Цезаря» или разговор Ромео с аптекарем? *«Провалы щек твоих — живая повесть о голоде, горящие глаза — об унижениях. Нищета согнула тебя в дугу. Мир не в ладах с тобой. Его обычай не дает тебе богатства. Ну так что ж? Рассорься с миром, сделай беззаконье, спрячь эти деньги и разбогатей».*

— Хватит! До чего типично для одержимого идеей смерти частного лица, я говорю о Ромео, соблазнять бедняка благом, которое нужно добыть ценой низкого поступка. В ушах наци эта болтовня о беззаконии должна звучать не менее чудной музыкой, чем притча о Хамовых детях. Обобрать человека, довести до нищеты и тем самым толкнуть на преступления — такой трюк известен и в других местах, где надо было преследовать ту или иную часть населения. С помощью реакционного законодательства всех нас превратить в шайку воришек — вот мечта наци. Но несправедливый закон нужно не *нарушать,* а *ликвидировать.* В этой стране само слово ЗАКОН звучит издевательством. Нет ни одного чернокожего ребенка, в котором слово ЗАКОН не вызывало бы страха и в то же время глубокого презрения. Нелегко нам будет возродить уважение к закону, когда мы наконец добьемся справедливого законодательства.

— Вы что, весь вечер собираетесь будущее Африки обсуждать? Послушаем-ка лучше, что думают те, кто уже живет в этом будущем. Как там жизнь в Шотландии?

— Я даже не знаю, с чего начать..

— Вы же все поголовно грамотные. Что вы читаете?

— Я недостаточно внимательно следила за современной литературой, чтобы верно о ней рассказать. Но, по-моему, главная тема сейчас — усталость западного человека, пресыщение культурой плюс нечистая совесть. Вам смешно...

— И что вы с ней носитесь, с вашей нечистой совестью! Приняли бы меры какие-нибудь, что ли!

— Недовольство — тоже признак здоровья, оно само по себе очень ценно...

— Одно время я был садовником в доме, где собак держали на строжайшей диете. По словам миссис, они были такой благородной породы, что духовно огрубели бы, если бы им позволяли есть досыта.

— А то, что после собак оставалось, отдавали слугам?

— К сожалению, нет. Мы делили с собаками недовольство. Было ли это продиктовано заботой о нашей духовной жизни — не берусь сказать.

— Хватит о бедствиях черномазых! Мама, дайте нам пива! От всех этих разговоров о несправедливостях — жажда адская! Пива, Китти! Симон, поставь «Лемми спейшл». Сейчас Кэти будет учиться танцевать квелу!

Лемми — один из сотен уличных мальчишек Йобурга, которые пением и пляской кормят большую семью. Его «открыли», он стал героем и больше не ходит по улицам с дудочкой, зато повсюду звучат его пла-

* Один из университетских центров в ЮАР.

стинки. Африканец, заслышав эти трели, не может стоять спокойно. Да и белый тоже. Они пляшут, смеются, мои мышцы дрожат, но мне нельзя шевелиться.

— Я не знаю, какой здесь шаг нужен,— пищит Кэтлин.

— Шаг тут ни при чем, главное — ритм! Гибче в талии, душечка!

Не переношу музыку Лемми, бесшабашный невинный смех его флейты. От его свежести мне становится душно за грязным пологом. Четырнадцатилетний паренек Лемми не считается с моими горестями, не утешает меня. Скорее на воздух!

После десяти вечера Йобург — вымерший город. Мрачное освещение. В подъездах черные привратники охраняют замки белых от черных взломщиков.

Поеду домой, покручу еще Пэта Буна. Потом вернусь и погляжу, как будут расходиться, кто с кем: те, что танцуют квелу у мамы Китти.

■

Но радость Африки преследует меня так же беспощадно, как и ее гнев.

Одно из моих окон смотрит во двор, четырехугольник, представляющий собой насыщенную драматизмом оборотную сторону ресторана: лачуги официантов, кучи отбросов — арена непрекращающейся войны кошек и собак.

Но сегодня вечером здесь всего лишь два кухонных боя петушиными голосами рассуждают о минувшем дне, восседая на мусорных ящиках. Говорят на сосото — самом быстром из зулусских наречий. Шипение, бульканье, трескотня, щебет — будто в джунглях. Мрак кромешный. Светится только — одна на двоих — сигарета, вспыхивая при каждой затяжке. Вот перешли на смесь английского и африкаанс: передразнивают миссис и босса — как хозяин и хозяйка поносили грязных, ленивых, тупых черномазых мальчишек, которые день-деньской бездельничают, «they are useless, useless — cannibals». Карикатура уничтожающая...

И смеются взахлеб с таким благодушием, словно не испытали ни малейшего унижения. Не один год пройдет, прежде чем они ожесточатся.

Покончив с окурком, достают каждый свою свистульку и начинают играть. Мелодии Лемми. Журчат, переливаются, как ручеек.

■

Игоря нет, некому за мной присматривать, и я опускаюсь на четвертый план. Или возношусь. Я во власти рока. Разъезжаю на машине. Скандалю у бензоколонок, поношу других водителей — гонят, как идиоты,— опасаюсь своего врага, который в ком угодно может скрываться, не выдавая себя. Каждую секунду я должен быть начеку. И я должен победить. Я знаю, что должен победить. Это единственное, что я знаю.

В этом Китти схожа со мной — она тоже во власти рока.

Но Китти на судьбу не ропщет, ее не назовешь несчастной. Насколько легче тому, кто уже потерпел поражение,— все известно, а каково мне: ни на миг не ослаблять бдительности, каждую секунду быть начеку. Хоть бы на один день избавиться от обязанности толковать знаки!

На автобусной остановке вижу сидящего на скамейке человека, poor white. Он не ждет автобуса, вообще ничего не ждет. И все же он по горло занят. В нем идет поединок двух равных противников, этот поединок отнимает все его силы, ему даже невмоготу поднять руку, чтобы согнать муху, которая на его лбу чистит лапки. Тысячи взглядов клеймят его: лодырь, бездельник, подонок, летун, отщепенец, нищий, безвольный

ный бродяга, пьянчужка, мошенник, позор своей расы. И он не встает, не кричит: «Не могу дольше ни секунды выносить этот поединок, меня разрывает на части!»

Молчит, как два умирающих оленя.

Руки лежат на груди накрест — «держит себя в руках»,— спина выгнулась, одежда готова лопнуть от внутреннего напряжения. Глуповатая бессильная улыбка человека, обреченного довольствоваться собой, так как весь мир его отверг. А может, в его улыбке есть торжество? Может, ему известно, что весь облик его — источник энергии, которую никто не признает, но поглощают, глядя на него. Тысяча маленьких импульсов, предостерегающих сигналов уставшим: жми, не сдавайся, не опускай рук — коли не хочешь очутиться на этой скамье в моей шкуре. И отупевший чиновничек приосанивается и шипит «плесень», не подозревая, что в обмен на бранное слово приобрел живость, которой минутой раньше у него и в помине не было.

На меня он не смотрит — мой сверстник, у него была располагающая внешность, светлая голова, тысячи случаев представлялись ему в жизни, и все они упущены из-за нелепых, лишенных всякой логики обстоятельств, которых он никогда не сможет объяснить,— жестокие беспечные мгновения, чьей цены мы, члены уравнения, которое некий Некто решает там наверху, не ведаем.

Надо спешить домой, мне угрожает воспоминание, которому нельзя позволить настичь меня на улице. Когда оно нагрянет, я должен быть дома.

■

Я — отец и мать Игоря. Учу его любить Ирму, которая была бы его матерью, будь этот мир справедливым. Когда я впадаю в мрачность от потока несправедливостей, который на меня обрушивает жизнь, и Игорь спрашивает, почему я грустный, я отвечаю, что говорю об умершей Ирме, и расписываю ему, какая она была добрая и красивая. Я прививаю Игорю верные идеалы. Ни одного дурного слова не сказал ему о его матери.

Разве так вел себя мой отец? Образ матери связан в моем сознании с одной фразой, это был крик среди ночи: «Почему ты не можешь оставить меня в покое, мне очень плохо!» Вот что мне осталось на память о ней. Вот что отец сделал мне и матери.

Будто мало невзгод, которые подстерегают ребенка на школьном дворе, так нет — волочи в придачу бремя ненависти и позора своих родителей. Игорь ничего не знает о моих отношениях с Рут, не знает обо всем том зле, которое меня преследует, он слышал только хорошее о моей любимой, учится читать красивые молитвы о ее благополучии. Я воспитываю в нем благородное отношение к женщине, ему не достанется в наследство крик, исторгающий горькие слезы в сочельник, когда Иосиф и Мария поют над колыбелькой.

Стена стыда между мной и отцом. Я не мог видеть его, не краснея, ноги не шли домой, и я возвращался так поздно, что зарабатывал взбучку, в которой мы оба находили исход своему гневу. Я годами копил чувство мести, к тринадцати годам накопил достаточно и закричал голосом матери: «Почему ты не можешь оставить меня в покое, мне очень плохо!» Больше он меня не трогал. Но стыд продолжал расти, мы уже не могли находиться в одной комнате, он ел в столовой, Герда и я — в кухне. Мы редко виделись, но волны стыда пронизывали одежду и стены, я всегда знал, где отец. Он был игрок. Я стал следить за ним, за тем, что о нем говорят, со временем узнал, как его ненавидят за искусную игру и беспощадность при взыскании карточных долгов. Я повсюду

крался за ним, словно зверя, обкладывал его своей осведомленностью о его делах. И превосходство было на моей стороне, пока не произошел случай с оленями — мой стыд, которым затем отец обкладывал меня.

Пожалуй, это величайшая из всех выпавших на мою долю несправедливостей: заклеймить меня за то, что касалось только меня, никого больше!

Это было осенью, в пору оленьей течки, несколько мальчишек подобрались к стаду голов на сто посмотреть, как это происходит. Забравшись на дерево, мы видели красавцев оленей, они дрались и ревниво стерегли важенок. Чем крупнее олень, тем больше важенок он для себя отбивал. Мы переживали за мелюзгу: взрослые встречали их презрением, и им оставалось лишь скрести копытом и напускать на себя важный вид.

Вскоре я отстал от товарищей, увлеченный схваткой между двумя самыми крупными самцами. Сплетясь рогами, они с каждым скачком удалялись от стада, пока не очутились на поляне, со всех сторон окруженной деревьями. Пастухи-саами * разнимали дерущихся, но никак не могли найти двух самых лучших оленей и расспрашивали мальчишек — кто видел, куда подевались красавцы. Спустившись с березки, которая была моей наблюдательной вышкой, я шмыгнул к друзьям и что-то сказал пастухам, чтобы отвлечь их внимание от места, где шел поединок богатырей.

Олени были не мои, но их схватка имела прямое отношение ко мне, моя судьба зависела от исхода единоборства.

Какие тайные соки скудной пищи — ягель, ива и снег — так распалили их отвагу, что все утратило свою прелесть, кроме сопротивления? Вельможи, переросшие мечту стадного существования, отвергшие важенок, рыли копытами землю, роняя накопленное за год семя, и калечили друг друга окровавленными рогами. Кто измерит силу, которая здесь расходовалась! Ее назначение? Победа — вот главное. Они открыли мне смысл моей жизни: найти противника. Показали, что мне предстоит.

Под вечер третьего дня вражда истощилась; обессилев, олени утратили интерес друг к другу, теперь их уже манила стадная жизнь с ее простыми потребностями. Стоя на коленях, они будто молили: «Отпусти мои рога». По-прежнему речь шла обо мне. То, что происходило теперь, призвано было предостеречь меня: никогда не встречай противника лицом к лицу, не позволяй ему захватить твое оружие.

Близилась минута, когда я должен был решить, кто из соперников олицетворяет меня, а я боялся выбрать. Они были равны, ни один не мог рассчитывать на победу. И тем не менее я обязан взять чью-то сторону: тот, кто переживет другого, будет считаться победителем, он будет залогом моего будущего.

Самцы рухнули на бок, лоснящийся мех потускнел, языки вывалились. Глаза, оттерев, угасли.

Смеркалось, пора домой, но я сломал несколько веток и прикрыл оленей, чтобы саами не нашли их и не прекратили агонию. Всю ночь я не спал, боясь, что они умрут до утра. И что я промахнулся, ставя то на одного, то на другого, вместо того чтобы с самого начала сделать выбор. Я боялся того, что моя последняя уловка («ставлю на правого») может провалиться.

За ночь мороз оголил деревья, земля застыла и побелела, и утром, едва взошло багровое солнце, я вбежал в новое время года, где все было нагим и незнакомым. Достигнув зарослей, превращенных ночью в прозрачное кружево ветвей, я увидел, что во́роны выдали мою тайну, привели на арену смертной схватки людей. Несколько лесорубов стояли

---

* Саами, или лопари,— народность, живущая на Кольском полуострове, а также на севере Финляндии, Швеции, Норвегии.

над оленями, возмущаясь. Такие прекрасные животные... И что за жестокость... Не иначе, это какой-нибудь недоделанный молокосос придумал... Ничего не сказать лопарям... Ты их от мук избавишь, или мне... Давай, каждый своего... Разом... Раз, два...

И двое одновременно ударили обухами. «Нет»,— вырвалось у меня. Они обернулись и уставились на меня, молча. Ватага взрослых мужчин — и четырнадцатилетний мальчишка; вздули бы меня, и делу конец. Так нет, они всем раззвонили, что я прикрыл оленей ветками. Разве это честно: очернили меня за моей спиной, хотя у них не было ни малейших доказательств. С таким же основанием про любого из них можно было сказать, что это он задумал спрятать оленей. Но пусть даже я — может, я просто хотел защитить их от холода. И вообще, что за детские рассуждения о том, что олени страдали, откуда вдруг у лесорубов такие слова.

Мое «нет», такое естественное — ведь речь шла о моей жизни,— с таким же успехом можно было истолковать как мольбу пощадить жизнь оленей. С какой стати эти мелкие душонки, не способные представить себе требования выше тех, что предъявляет бедность, распорядились жизнью и смертью бойцов. Двумя ударами топора лишили меня уверенности, что я победил. И я же должен быть наказан за их кражу...

Много дней поселок жил жаждой мести. Наконец спросили владельца оленей, какое взыскание он считает подходящим. Он ответил: «Пойду посмотрю на парня».

И пришел. Кривоногий обветренный мужчина смотрел на меня светлыми глазами. Я пытался казаться непроницаемым. Вспоминал о том, как безжалостно лопари обращаются со своими оленями, уж он-то мне не пример. Что они ему: хорошие производители, потеря для стада. Лопари — скряги, олени для них собственность, и только, как он смеет утверждать, что эти самцы ему были дороже, чем мне.

А он и не стал ничего утверждать, в глазах его не было ни укора, ни даже презрения, он смотрел на меня примерно как на осиротевшего звереныша, и только.

Меня бросило в дрожь. И он рассмеялся — до самого приезда в Африку я больше не слышал такого смеха. Он ушел, смеясь, и ни разу не оглянулся.

Мой отец все это видел и не отвел глаз. Вот какой у меня был отец...

Я ненавидел его и всю общину, но до поры до времени мирился с его карточной игрой. Пока выигрывает — пускай, лишь бы вовремя умер. Унаследую состояние, уж тогда община заплатит за то, что осквернила мою игру. Вообще, всех врагов одолею.

Отец умер раньше, чем я кончил школу, и не оставил ничего. Ни гроша. (Деньги дяди Уно, появившиеся позже, были не то, совсем не то.) Чувствуя близость смерти, он растопил печь и сжег все деньги из ненависти ко мне. К своему единственному сыну. Я уверен, что это было так. Вот какой у меня был отец.

Иной раз, покупая Игорю дорогую игрушку или как-нибудь еще расточая свою отцовскую любовь, я воображаю, будто старик где-то рядом и сравнивает свое и мое отцовство, и видит разницу.

Теперь торжествую я. Долгое время во всякой беде, приключавшейся со мной, я видел его руку. Когда Рут кричала: «Почему ты не можешь оставить меня в покое, мне очень плохо!» — это он мне мстил. Она стала его союзницей, ненависть моего отца была так велика, что пережила его. Но Игорь тогда еще ничего не смыслил. Я не виню Рут за эти слова, то была последняя попытка отца дотянуться до меня. Рут была всего-навсего орудием. Я ее прощаю. Пусть покоится в мире.

Его я никогда не прощу. Не хочу верить слухам, будто у него в последние годы была любовница. Не могу выносить мысли о том, что ка-

кая-то женщина ждала его, прихорашивалась для него, ставила ему на стол тайное угощение, накидывала на лампу платок, щекотала ему ладонь кончиком языка. Не хочу, чтобы у него это было! Даже за деньги.

Вид из моего окна.

Чернокожая девчонка сидит на краю тротуара, упираясь босыми пятками в асфальт, сидит в тени грузовика и вышивает полотняную скатерть. Какое столкновение эпох — женщина каменного века, отделенная от земли пластом асфальта, вышивает, будто невеста конца прошлого века, такую огромную скатерть, словно намерена принять целый полк гостей. На стекле автомашины наклеена Брижит Бардо, она старательно надула губки, чтобы были пухлые, как у негритянки. Небось, как бы позавидовала притягательности босоногой милашки, которой ничуть не надо стараться. Глина на покрышках грузовика — та самая, нестареющая, что покрывает и каркас маминой хижины в Пондоленде.

Рослый зулус — он родился в резервате и, судя по огромным дырам в мочках ушей, не крещен — тешит свою душу гитарой, изобретенной много веков назад в Португалии, привезенной шестьдесят лет назад в Мозамбик и оттуда прибывшей на рудник в Йобурге в качестве обобщенного представителя всех струнных инструментов. Плечистый умдода с завидным терпением снова и снова извлекает из струн одни и те же нехитрые звуки. Мелодия его не занимает, он и не слышит, что она требует продолжения, ритм заменяет ему мотив. На щиколотках и запястьях — уйма железных браслетов. Лицо под кепкой дышит таким миром, будто его баюкают в лоне Авраамовом.

В Йобурге редко увидишь старого африканца, кафры отдают богу душу, не дотянув до преклонного возраста, но в нашем квартале есть один; похоже, он живет здесь чуть не с самого рождения. Он помешался — такие юродивые встречаются во всех концах света — и наряжается императором Португалии: корона из золотой бумаги, на груди всевозможная мишура, в руке посох, который он носит с царским достоинством. Один из тех, кто воплощает абсолютную идею вождя. У него нет браслетов на щиколотках, видно он крещен, ноги украшены зелеными обмотками, по которым в годы его детства можно было опознать господ-колонизаторов, мантию заменяет офицерская шинель без пуговиц, подаренная ему после тридцатилетнего хранения вдовой участника англо-бурской войны. Он со всеми одинаково ласков, приветствует словами: «sani bona banta bani» — я вижу вас, дети мои. Помешательство делает старца столь человечным, что белые, забыв о цвете его кожи, отвечают на приветствие с шутливым почтением, каким обычно во всем мире встречают подобных «вождей».

По улице шествует с электрической плиткой на голове черная nannie. Даже не придерживает плитку рукой, хотя несет на спине белого малыша. Вот так и Игорь, не отошли я ее, мог сидеть, каждую минуту рискуя быть убитым плиткой или еще каким-нибудь смертоносным орудием.

Вот выступает, ведя за руку мальчика, еще одна африканка. Мать и сын, оба хороши собой по старинным понятиям, носят свои лохмотья с таким видом, будто любимы высокопоставленным человеком. Рахиль и Иосиф. У них нет ничего. И она превосходно знает, что ей нельзя приводить сына в Йобург. Но все равно не боится. Их вид свидетельствует не о легкомыслии, а о серьезности и достоинстве, тем более неуместных, что каждую минуту обоих может задержать полиция. Вот что они себе позволяют — меж тем как я, охраняемый сотнями законов и постанов-

лений, нахожусь в непрестанной тревоге. Очень просто: она не любит своего сына так, как я своего. Бездумное дитя природы, которому приятно держать за руку другое дитя природы. Что им до будущего! Они побеждать не обязаны и потому в силу явного недоразумения расхаживают с победоносным видом. Ее сын может стать садовником, она не требовательна.

Но их спокойствие действует мне на нервы.

■

Я не работаю, но гнев Африки все равно преследует меня. Грозная волна, родившись в бакалее грека, захлестывает почтовое отделение и докатывается до чайной.

Небольшого роста африканка в очках, одетая лучше большинства nannie, обращается к лавочнику по-английски. Белые, достаточно долго прожившие в стране, чтобы кое-как понимать одно из зулусских наречий, нередко воспринимают английскую речь в устах африканца как личное оскорбление. Грек возмущен, он даже иронически апеллирует к десятку других чернокожих покупателей, одетых, как им и надлежит, в лохмотья,— дескать, гляньте-ка, из ваших же, а в аристократки лезет, не признает больше ни вас, ни вашего языка, очки надела...

Она просит отпустить ей два фунта муки. Грек говорит: «Давай сюда коробку, я насыплю». У африканки коробки нет, разве в хорошее обслуживание не входит упаковка товара, разве у него не найдется кулька?

Грек:

— Можешь взять муку в штаны.

Африканка:

— Вы бы лучше извинились.

Грек берет бумажный пакет, отвешивает два фунта муки и советует nannie не быть слишком обидчивой. Она отвечает, что больше никогда не будет у него покупать и всех знакомых африканцев призовет бойкотировать его лавку. Грек хохочет, он знает, что остальные лавочники в квартале ничуть не деликатнее его с такого рода покупателями. Африканка — видимо, медицинская сестра или учительница — поворачивается к черным, что-то гневно говорит по-зулусски, и все выходят из лавки. Грек стоит со своей мукой и провожает их бранью: наглецы черномазые, полицию бы вызвать, пусть их проучат, раз навсегда на место поставят. Дрянь вонючая, туда же, подстрекает.

Покупаю табак и говорю, что я всецело на его стороне. Но это неправда, я ни с кем, я нейтрален, проблемы этой страны меня не касаются.

Иду на почту справиться, не пришло ли на мое имя письмо от того шотландца. Время подпирает, если сегодня нет письма, я буду вынужден принять более жесткие меры.

В почтовом отделении ремонт, впредь будет два раздельных входа: один для Europeans, другой для non-Europeans. Пока что проблема решена наличием двух окошек, белые становятся в свою очередь, черные в свою, не замечая друг друга. Но вот одна африканка, беременная и потому рассеянная, встала в белую очередь. Несколько чернокожих деликатно стараются указать ей на ошибку, но она ни с места. Это не протест, просто она задумалась. Белые клиенты выразительно смотрят на нее, она и этого не замечает.

Когда подходит ее очередь, чиновник предлагает ей обратиться в другое окошко. Она не понимает. Он кричит, ей по-прежнему невдомек. Тогда он выходит из-за барьера, награждает ее оплеухой и спрашивает.

что она — в тюрьму захотела? Она стоит в совершенном замешательстве между двумя очередями. Вдруг черная очередь срывается с места, и раздается зулусский вопль, всем понятный без перевода. BOLALA — смерть тебе. Древний боевой клич, повергающий противника в ужас, слово, не только сулящее погибель, но и рисующее ее такими красками, что у тебя одно желание: хоть бы ты вообще не рождался на свет.

Чиновничек, неведомо как, вдруг оказывается за барьером и прыгает через мешки с почтой за массивную дверь с замком; черные бушуют у барьера. Белая очередь вылетает на улицу, второй чиновник удирает следом за первым. Отойдя в сторонку, принимаю валидол. Выходит начальник почтового отделения, чистейший европеец. Говорит что-то по-зулусски, затем по-английски. Просит извинения за допущенную грубость. Провинившийся уволен, начальник сам отпустит клиентов-африканцев. Будьте любезны, установите очередь. Несколько секунд жуткой тишины — потом они выстраиваются в очередь: ладно, пусть нас обслужит начальник. Его руки дрожат так, что он не может ровно оторвать квитанцию, марки липнут к пальцам. Нет, лучше не спрашивать насчет письма, сейчас я просто не в силах услышать отрицательный ответ, мне так нужны деньги, чтобы уехать, уехать...

Беременная сидит на лавке, какой-то мужчина обращается к ней, идет к окошку и просит начальника почты принести стакан воды. Тот выполняет просьбу, и в стакане, который он подает, воды осталось немного.

Выхожу на улицу, слышу, как две женщины комментируют происшествие.

— Уеду из этой страны. Не могу здесь больше жить. Мои нервы. Каннибалы. Мои дети.

— Не всегда же нам ходить в одни помещения с черными. Оставить страну? Ни за что! Я южноафриканка. Эта страна моя уже триста лет. Вот проведут во всем апартеид — тогда здесь рай будет. Сейчас — переходная пора. Нужно быть мужественным. Вспомните, что перенесли наши предки в своих фургонах. Мы должны быть такими же, как Джоан *. Подумайте о наших детях.

В чайной.

Черным не разрешается пить чай в помещении, но если они пришли с кружкой, им нальют в нее чай, а пьют пусть на улице. Купить они могут, что им угодно — кроме дрожжей, чтобы сами пива не варили,— лишь бы не торчали у прилавка, получив товар.

Входят два рослых чернокожих молодца, настроены миролюбиво, готовы спокойно снести все проявления дурного настроения, которое накопил за день владелец сего заведения. Белые в Южной Африке вообще приветливее друг к другу, чем в Европе, мелкое раздражение — неизбежный спутник жизни всякого человека — автоматически срывается на черных, и остается во всей ее чистоте сплошная любезность, strictly for Europeans only.

Один из молодцов подает пустую бутылку и просит литр молока. Хозяин готов взорваться от малейшего пустяка: у него насморк, а на щеках и руках красные аллергические пятна. А эти черные князья в лохмотьях сверкают белыми зубами и дышат своими огромными ноздрями, не ведая ни чесотки, ни удушья. Хозяин смотрит на бутылку и замечает покупателю, что горлышко в одном месте оббито. Он не может принять такую бутылку.

— Но я же купил ее здесь, у босса, вчера, она и была такая.

---

* Жанна д'Арк.

— Чтобы я дал покупателю поврежденную бутылку?

— Босс дал ее мне.

— Почему же ты сразу не сказал, если у тебя были претензии.

— А что говорить-то? Молоко хорошее. И бутылка годится. Это босс жалуется.

— Ты еще дерзишь?

— Нет, я хочу купить литр молока.

— Плати за бутылку. Не думай, что тебе дадут целую за оббитую!

— Почему? Вчера босс получил от меня целую бутылку за эту, оббитую.

Лавочник не может больше выносить такого нахальства. Он чешется, чихает.

— Ты наглец... наглец...

— Ладно, давай молоко и бери сколько хочешь за бутылку. Не такое уж важное дело.

И пока аллергический босс достает из холодильника молоко, один из африканцев роняет бутылку на пол, так что осколки летят во все стороны. Ловко сделано: едва приметное движение руки, а осколков столько, точно бутылку бросили со всего размаха.

Африканцы смехом встречают безвозвратную гибель потенциального капитала, аллергический босс кричит, что нечего мусорить в лавке, сейчас же подметите. Африканец кладет на прилавок деньги, берет молоко. Аллергический босс стоит между двумя чернокожими приятелями, все его маленькое тело натужилось, силясь извергнуть скопившиеся бранные слова, но его гнев чересчур велик для него, да и воздуха не хватает. Черные молодцы, красноречиво взглянув на коротышку, с улыбкой смотрят поверх его головы друг на друга. Потом медленно, вразвалку выходят, не оборачиваясь.

Беснуйся, белая козявка, нам некуда спешить. Захоти мы раздавить тебя ногой, ты не успел бы даже охватить ступню взглядом. А захотим ли мы и когда — это уже наш секрет.

■

Страшно. Еду к Кэтлин. Она мой враг, но ведь ей это неизвестно, значит можно этим пренебречь. И может быть, я найду у нее немного сочувствия или еще что-нибудь. Игорь, сынок, болен, а она этого еще не знает.

Она отворяет дверь, и на лице ее столь искренняя радость, что мне даже становится немного жаль ее, когда радость мгновенно сменяется разочарованием. Кого она ждала? Я не могу назвать свое чувство ревностью, но это и не просто гнев. Кэтлин — нуль по сравнению с красавицами, которыми я обладал, женщинами, которые валялись у моих ног, грозя убить себя, если я их брошу. Какую ошибку я допустил, что Кэтлин не падает передо мной на колени? Ее враждебность слишком мало меня трогает, чтобы сделать ее желанной, но заставляет меня в последний раз попробовать сыграть на моем одиночестве.

Спрашиваю, почему она меня упорно избегает; я умею задавать такие вопросы бархатным-бархатным голосом. Успеваю заметить мгновенное содрогание: значит, мой голос действует на нее. Ее же голос абсолютно бесцветен, зато в каждом слове скрыто по шипу. Говорит, уж не пытаюсь ли я подражать Жану Габэну из фильма сороковых годов, дескать, в таком случае, зря стараюсь. Он груб и сентиментален, говорит, этот тип мужчины вызывает во мне лишь отвращение. Ишь, куда хватила — ей-богу, кривит душой.

— Кэтлин, ну почему ты всегда так жестока со мной?

Она спрашивает, откуда я узнал ее адрес. Отвечаю, что на войне и в любви все средства дозволены, я должен хоть иногда ее видеть. Ведь она знает, что я нездоров, а теперь еще и Игорь заболел, и во всей этой жестокой стране одна Кэтлин была к нам добра. Предложи чаю, будь человеком.

Успеваю, пока она заваривает чай, записать номер ее телефона, на письменном столе нахожу золотую цепочку. С наигранным участием она справляется об Игоре. Ей нужно, чтобы я ушел, именно поэтому я не спешу проститься.

Снова спрашивает, как я узнал ее адрес. Деревня — думает, можно скрыться в таком городе, как Йобург. Говорю, что мне его дала Грейс.

— Не верю.

— Как же еще я его мог узнать?

— Вот именно.

— Неужто любить тебя такое великое преступление?

Она отвечает нечто ужасное:

— Ты утверждаешь, что любишь Игоря, но способен употребить это слово и для обмана. Я верю, Игорь тебе дорог, но будет ли верить он, когда подрастет? Если ты лжешь в остальном, немудрено принять за ложь и то единственное, в чем ты более или менее искренен.

Воображает, что сообщила мне новость. Я знаю, что мои взаимоотношения с Игорем не более или менее искренни и не самое искреннее, а вообще единственное искреннее в моей жизни. Он один может положиться на меня, больше никто. Во всяком случае, покуда мы здесь. Дома, в Швеции, придется мне изображать порядочность, но лишь настолько, насколько это будет нужно для Игорева престижа. Позволить кому-то еще в чем-то существенном полагаться на меня, рассчитывать на меня, как-то влиять на мое поведение! Чтобы окружающий мир распоряжался человеком, который является крепостным Игоря!

Говорю, что у нее нет никакого права подвергать сомнению мою искренность. Непостижимо, она может какой-то туземке верить больше, чем мне. И это после того, как у нее украли дорогое ожерелье.

И тут происходит такое, что хуже прямого обвинения: она страшно, мучительно краснеет. Покраснела шея, руки, голова дрожит от прихлынувшей крови, кажется, сейчас кожа лопнет.

Видеть, как другой испытывает стыд за тебя,— мучительно, вдруг происходит бурная переоценка твоей личности. Но мне все это нипочем (а может быть, я даже наслаждаюсь?), потому что меня тут же осеняет: ведь этот гиперболический стыд наполовину адресован ей самой. Вдруг Сэмюэл, или шотландский брат, или какой-нибудь еще общий знакомый, который может появиться у нас в будущем, спросит, где она «вообще познакомилась с этим типом», что мисс Сноу на это ответит? На улице, если быть верной истине. Но разве это к лицу примерной учительнице, которая всю свою жизнь была образцовым приемышем? В ее чистеньком мире истина нечто такое, что всегда можно произнести вслух: сегодня хорошая погода, честное слово. И пусть не очень-то расстраивается из-за знакомства со мной, у нее есть кое-кто более близкий, кого бы следовало стыдиться. Настоящая воровская кровь по отцовской линии, плюс распущенность проститутки низшего пошиба по материнской линии. Пора бы ей получше разобраться в собственных генах, а то уж очень заносится.

Говорю, что читаю ее мысли; нет ничего проще — чернить человека, который и без того весь в шишках ходит. Я в одиночку несу ответственность за больного сына, а у меня такое сердце, что в любой момент может отказать, достаточно сильного потрясения, и я помру. Ей-то что. Ей начхать на беду какого-то одного человека. Разве что население це-

лого континента еще может рассчитывать на толику сочувствия с ее стороны.

— Если хочешь знать, по-моему, твое сочувствие африканцам что мертвому припарки. Не больно-то верь их улыбкам. Они сыты по горло примитивистами и благочестивыми тетушками. Была бы ты сегодня на почте, поняла бы, что я подразумеваю. Туземцы — каннибалы. Случись революция, голыми руками тебя прикончат. И не поможет тебе все твое восхищение Шекспиром.

— Что?

— Ты же говорила Грейс!

Она просит меня уйти, стоит, будто аршин проглотила, даже указка тут — в ней самой.

Обернувшись в дверях, говорю:

— Гибче в талии, душечка!

Ага, сразу побледнела.

Нет, Кэтлин не пристало общаться со мной. Вон сколько у нее забот с ее космополитической совестью, разве тут до меня. Она вольна выбирать — пребывать ли ей в приятном или неприятном расположении духа, общаться ли со своим состоятельным братом или с кем-нибудь из его крепостных, оставаться в Йобурге или использовать обратный билет.

Иное дело ее мать — Китти: у той выбора нет. Небось, тут совесть Кэтлин сразу оглохнет, не захочет слушать, как свобода Кэтлин ежедневно, ежечасно оплачивается Китти. Должен же я куда-то деть себя. Не обращусь же я в пар только потому, что Кэтлин не желает меня видеть. Каким бы я ни был, меня тоже из песни не выкинешь, я обязан совершить то, что мне на роду написано. Пусть Кэтлин запирает дверь, вызывает полицию, делает что хочет. Китти заплатит.

■

Отныне Кэтлин мой явный враг. Можно сказать, что она объявила мне войну, поставив под сомнение подлинность моих чувств к Игорю. Тигра, у которого есть детеныш, не дразнят. Не дразнят, если понимают, что значит детеныш для тигра. Кэтлин понимает. Она знает, что ради сына я способен на все. Что бы я ни сказал ей шутя, она знала, что, говоря об Игоре, я говорил всерьез. Она отлично понимала, какую рану мне наносит. Потому так и поступила. Теперь пусть пеняет на себя. Теперь я вправе сделать все, чтобы ранить ее. Таков закон вражды. Что до ее готовности верить туземке больше, чем мне, так мне наплевать. Другой принял бы это близко к сердцу. Я свободен от расовых предрассудков и смотрю на это совершенно спокойно. Но безнаказанно задевать Игоря и меня никому не позволю.

Следую за ней. Вижу, как она покупает одежду для Китти. Слышу, как она в книжном магазине жалуется, что во всем Йобурге нельзя купить Горького. Вижу, как она навещает своего брата-шотландца.

И я вижу, как она встречается с Сэмюэлом. А также реакцию «общественности» на черно-белую парочку: кровожадное изумление, будто при виде лунатика, который, улыбаясь, шествует по коньку крыши.

■

Укрывшись за кустарником в рост человека, вижу, как брат и сестра прогуливаются в саду — таком ухоженном и роскошном, словно здесь орудовала граблями сама Мария-Антуанетта.

Несмотря на разницу в возрасте и общественном положении, они схожи между собой. Ему, верно, сейчас столько же лет, сколько было отцу, когда тот в последний раз приезжал в Шотландию. Орлиный нос, ясные голубые глаза, увидел Китти, сказал: будь моей! И роза Китти досталась ему. Ток ревности пронизывает меня: если бы Ирма встретила этого человека, позволила бы она ему сорвать ее? До чего я его ненавижу! Властный, полный достоинства, сдержанный, никакого хвастовства, никогда не повысит голос на рабочего — потому что никогда близко к нему не подойдет. Для этого есть прислужники. А он может расхаживать с кротким видом и почитать память отца.

Снова и снова заверяет Кэтлин, что рад встрече.

— Едва ты вошла в кабинет, как я тотчас понял, кто ты. И все стало ясно. Я понял, почему у нас в семье всегда с таким благоговением говорили о «шотландской поездке», хотя отец не вдавался в подробности.

— Ты уверен... в этом?

— Встреть я тебя на улице в Шанхае, подошел бы и представился тебе как брат. Я не романтик, не ищу родни там, где ее нет.

— Не прими ты меня так радушно, я бы тотчас ушла. Ты не представляешь себе, чего мне стоило явиться к совершенно чужому человеку и затеять разговор об его отце.

— Что верно, то верно, нос у тебя был красный. В точности как у старика в тех редких случаях, когда он смущался.

Появляется жена, зовет его к телефону и берет Кэтлин на свое попечение — с тем умением очаровывать, которое стало уже второй натурой хозяйки дома, много лет вращающейся в лучшем обществе. Кэтлин все та же, ходит как бы на цыпочках, точно боится, что ее вот-вот выставят за дверь, необычная обстановка импонирует ей не меньше, чем Шекспир в мамином шибине. Она вечный подкидыш, дома у нее не будет. И она никогда не была розой, которую хочется сорвать. Пожалуй, больше всего похожа на отца. В уголке глаза осколок алмаза. Поборница самых благих теорий, и ей это ничего не стоит.

Невестка здесь как рыба в воде, она — одно целое с этим роскошным парком, цветы на клумбах перемигиваются с цветами на ее платье, браслеты звенят хрустальным звоном, и, когда она смеется или говорит, голос ее очаровательно гармонирует с журчанием фонтана и щебетом птиц. А как непринужденно критикует она свой образ жизни.

— Я как раз читаю дивную книгу про эскимосов, какую здоровую жизнь они ведут, как высоко у них развита способность телепатически общаться между собою. Я так очарована этой книгой, что смотрю кругом и спрашиваю себя: «Что я, собственно, делаю? Чего все мы добиваемся? Сколько нами утрачено такого, чем умеют наслаждаться примитивные народы!»

Мимо проходит садовник-бой, одетый в лохмотья, Кэтлин ошалело смотрит на него. Может, беспокоится, что он озяб? Ничего, вечер теплый.

Она говорит:

— Неужели, чтобы завидовать наслаждениям примитивных народов, надо обязательно забираться в такую даль, как Гренландия?

— Здесь, в Африке, все уже испорчено. Змей проник в рай черного человека. Черный заворожен всеми пороками белого. Они больше не развивают шестое чувство, а завидуют нашим телефонам и автомобилям. Знали бы, сколько нервов стоят эти «блага», не захотели бы меняться.

Кэтлин слегка краснеет — далеко не так нагло, как при нашей встрече, и она не произносит слов, которые напрашиваются, а спасается в Ледовитый океан.

— Может, ты все-таки поэтизируешь жизнь эскимосов? У них так

мало солнца. А каково вечно есть тюлений жир? Живут в грязных землянках. Никогда не моются.

— Но их интуиция, способность предсказывать события...

— Какие там у них события. Их разум и воображение получают слишком скудную пищу. В Гренландии я не бывала, но отлично помню, как было у нас в горах. Вечерами сидели без света и темноты боялись. Нам бы книги и свет, чтобы заполнить чтением часы, которые поглощал нелепый страх,— наверно, это принесло бы куда больше пользы. Теперь вот электричество провели, и дядя, мамин брат, изучил французский язык — сам, совершенно самостоятельно. Раньше ни за что бы не справился, у него вечно глаза болели от ужасных сальных свечей, которыми мы тогда пользовались.

Смех хозяйки словно поток бусинок.

— О, Кэтлин, как ты рассудительно на все смотришь. Конечно же вам в Шотландии нужно электричество, еще бы, старая культурная страна. Но в здешних зарослях о французском языке никто не мечтает. Им автомобиль подавай, чтобы шикануть можно было.

— И с автомобилем то же самое! Деревенским машина нужна — навещать друг друга, повидать страну, в случае болезни поехать за врачом, вместо того чтобы их калечили знахари и костоправы. А здесь, в городе, на каждом шагу либо автобус, либо трамвай. Так неужели вам жалко, если деревенские жители обзаведутся автомобилями, без которых вы можете обойтись?

Хозяйка четырехмашинного семейства смеется отлично срепетированным самокритичным смехом и говорит: слушать твои смелые речи, Кэти, все равно что ощутить дыхание свежего горного ветерка Шотландии. Заходи почаще, подсыпь нам гэльской соли.

Появляется безмолвный бой в белом костюме официанта, с широкой красной лентой через правое плечо, оканчивающейся на левом бедре аристократической кистью. И хозяйка приглашает — пойдем-ка поужинаем. Подходит к цветущей гардении, выбирает цветок попышнее и прикрепляет его на платье Кэтлин, все-таки лучше, а то на эту шею без бус больно смотреть. С каким изысканным удовольствием она порицает и прощает неуклюжее выступление Кэтлин в защиту ванной и электрического света. О, красивый жест, сколь ты всегда прекрасен!

И Кэтлин идет в дом, садится к столу богача и дозволяет черному слуге в белых перчатках подавать ей великолепные кушанья. Маме Китти и мне ничего не достанется. Мы — не «все». Нас Кэтлин предает.

■

Двое играют, ставка — мать

— Что тебя натолкнуло на мысль, что это она?

— Сэмюэл спросил, ела ли она что-нибудь с утра. И Китти ответила «аye»*.

— Ты это произносишь в точности, как отец, Кэти.

— А мне показалось — моя тетка говорит, словно с того света.

— А потом — еще какая примета?

— Нет, не примета — общее впечатление. Вдруг меня озарило. И я покраснела, точно меня на краже поймали.

— Тяжело было?

— Я пробовала сосредоточить свое внимание на подробностях, изо всех сил старалась убедить себя, что обозналась. Но на что ни взгляни, все, от волосатой бородавки на левой щеке до лунок ногтей, только лишний раз подтверждало, что мы принадлежим к одной расе.

* Просторечье, означающее «да» *(англ.)*.

— Ты хочешь сказать: что вы мать и дочь.

— Ну да. У меня от вина голова кружится. Я о другом думала.

— А я с тех пор, как мы с тобой встретились, почти только о твоей матери и думаю.

— И ведь с точки зрения африканской лексики я не так уж странно выразилась, здесь мать и ребенок вполне могут быть разной расы. Верно?

— Кэти, ты под мухой. Теперь я вижу, что и в самом деле не надо было заставлять тебя пить вторую рюмку портвейна. Последняя бутылка отцовского коллекционного оказалась сильнодействующей. Факт.

— Во всяком случае, вкуснее маминого пива.

— Но почему она не пришла к отцу?

— Она так говорит: когда наконец добралась, то к тому времени совершенно себя растеряла, как же она могла идти к нему.

— Растеряла себя... Нда... Но все равно человек себя предлагает. Оболочку. Обломки. Думает не о своих изъянах, а о совершенстве другого. Если любит. Или она его не любила?

— Странно звучат в твоих устах слова о собственных изъянах.

— Верно? Такой состоятельный человек — разве я знал в чем-либо недостаток! Разве мне когда-либо грозило, что меня взвесят и сочтут чересчур легким — в сравнении с пустым местом... Прости. Это я выпил лишнего. Расскажи еще про Китти.

— Я очень мало знаю о ней. Дома она олицетворяла Горе, которое надлежит переносить без ропота. Она отвечает на все вопросы — не смеет не отвечать,— но односложно. Сама же никогда не рассказывает. Два слова совершенно отсутствуют в ее словарном запасе — она никогда не произносит «я» и «нет».

— Ты думаешь, она его любила?

— Не будет ли вернее спросить, любил...

— Нет-нет, главное — что чувствовала Китти, привлекал ли ее отец как человек и мужчина или ей голову кружила романтика.

— Когда я произнесла его фамилию, она так разволновалась, что я больше не смею к этому возвращаться.

— Ты говоришь, она ко всему остальному безразлична?

— Во всяком случае, к тому, что касается Шотландии. Я пробовала рассказывать о дедушке, еще кое о чем — никакого впечатления.

— А на нашу фамилию, значит, реагировала.

— Еще как! Мне страшно стало.

— Это важный признак.

— Я могла промолчать. Довольствоваться письмом тетки, которое она написала перед смертью, и тем, что ты меня узнал.

— И все-таки: выяснила бы ты, как Китти.. была ли это с ее стороны настоящая большая любовь... она — молоденькая, все впереди, а он уже в летах...

— Будто молодость сама по себе такое уж сокровище.

— Ты сейчас в том возрасте, когда человек всему миру ровесник. Но на другом этапе и в определенной ситуации человек начинает измерять и подсчитывать годовые кольца. Я вполне могу себе представить, что Китти, девчонка, польщенная вниманием старшего, была ослеплена отцом. Но как бы она посмотрела на него десять лет спустя?

— Десять лет спустя она была вдвое старше, чем он.

— Но если бы он мог узаконить их отношения и жить с ней вместе — думаешь, она была бы ему верна?

— Тебе не кажется, что это бессмысленное гадание?

— Кажется. Но она не идет у меня из головы.

— Если бы существовали гарантии, что черные никогда не злоупотребят гражданскими правами так, как это извечно делают белые, белый мир еще мог бы пойти на то, чтобы возвысить их до своего уровня. Ты как рассуждаешь?

— Сегодня вечером я не в состоянии говорить о политике. Я думаю над тем, как мы можем помочь Китти.

— Она твердит, что ей хорошо, никогда так хорошо не было, как теперь. Африканцы не бьют ее.

— Я лишаюсь сна, когда представляю себе все, что ей пришлось перенести. Жизнь нищего белого в Йобурге — это ад, понимаешь.

— Хуже, чем быть черным нищим?

— В сто тысяч раз хуже. Черным не с чем сравнивать, для них нищета — естественное состояние. Но белый, который здесь не умеет пробиться, погибший человек.

— Думаешь, она осознала, что ты ее дочь?

— Сам факт до нее дошел, несомненно. Но для нее это не играет никакой роли. Только Фамилия вызывает в ней трепет.

— А отец... а для отца существовали лишь концерн и я. Я был для него Сыном с большой буквы. После того, что я узнал о Китти... словно осквернили право первородства. Колледж Сейнт-Джеймс, потом Стелленбош, дальше — год в Оксфорде, год в Сорбонне, и всегда: для единственного сына ничего не пожалею! А Китти в это время валялась в канаве.

— Но ведь он об этом не знал! Не знал ни о моем существовании, ни о том, что Китти приехала сюда.

— Того, что стоила одна моя верховая лошадь, хватило бы хоть оплатить ей проезд на родину.

— В этой стране не одна мама Китти расплачивается за благополучие единственных сыновей с большой буквы.

— Чтобы определить свое отношение к беде, надо о ней знать.

— А ты в Южной Африке иной беды не знаешь, кроме той, что поразила Китти?

— Почему же, но она меня касается больше других. Ты должна помочь мне искупить вину отца. Можешь привести ее сюда?

— Если бы ты ее видел, то понял бы, как нелепо твое предложение. Это было бы непозволительной бестактностью.

— Но можно подарить ей домик, выплачивать хорошее пособие. Что-то надо придумать.

— Она отказывается даже навестить меня в моей квартире. Я купила ей кое-какую одежду — она ее не носит. Приношу еду — отдает африканцам. А у самой вид такой, словно за все тридцать лет здесь ни разу не поела досыта. Что у нее в кармане: плесневелая корка, две-три изюмины — и все. И выпивает две бутылки пива в день.

— У моей мамы в последние годы только для личных ее нужд было пять слуг.

— А где их семьи жили?

— Это были старые преданные слуги, они всем пожертвовали для нее.

— По своей воле?

— Теперь, когда я услышал о Китти, я подчас ночи напролет не сплю, вспоминаю семейные торжества и сопоставляю с лишениями Китти. Что делала она, когда я совершал свадебное путешествие на Гавайские острова? Как она провела то воскресенье, когда мы крестили первенца? Где была в день семидесятилетия отца, когда его чествовали по-королевски? Стоит мне подумать о жизни Китти, и на всех наших раутах я вижу пятна грязи и крови.

— К чему копаться в том, что она сама забыла?

— Как можешь ты так говорить о собственной матери?

— Это потому, что я ее не понимаю.

— Когда ты делаешь такие строгие глаза, ты — вылитый отец.

— Он, наверно, был безжалостным. Но, видимо, Китти была во власти инстинкта, который неудержимо толкал ее к гибели. Какое бы ханжество ни царило тогда в Шотландии, внебрачный ребенок еще не причина, чтобы стать проституткой в Йобурге. Тем более с такой родней, как у Китти. Нет, Китти сама хотела очутиться на дне. И не успокоилась, пока не попала туда. Ненавижу такой нрав.

— Благовоспитанная учительница — и так говорит о голодающей матери. Тебя не назовешь сентиментальной.

— Она меня из себя выводит, у человека никакого инстинкта самосохранения. Спроси ее о чем угодно — ответит, даже если ей совсем не хочется отвечать, все ответит. Как же — вежливость, это в ее-то положении! На самые щекотливые вопросы отвечает, лишь бы — не дай бог! — не огорчить: скажешь «нет» — вдруг спрашивающий обвинит себя в бестактности... Теперь я жалею, что сказала ей, кто я. Кто дал мне право навязываться ей со своими суждениями и благодеяниями, приставать к человеку, который мечтает лишь о том, чтобы погибнуть незаметно?!

— ...не хочу утверждать, что я их знаю, они так на нас не похожи, что мы их никогда не поймем, но это в какой-то степени верно: им нравится прозябать на дне.

— Ты разве не слышал, что африканцы добиваются избирательного права, хотят участвовать в управлении страной?

— Это придумала какая-нибудь кучка политиканов. А массе на такие вопросы наплевать. Масса — те же дети.

— Откуда ты знаешь?

— Уже одно то, что у них до сих пор нет избирательного права, говорит за себя. Думаешь, три миллиона смогли бы помешать двенадцати миллионам, если бы те по-настоящему захотели чего-то добиться?

— Да ведь вы, белые, вооружены до зубов. У вас армия, которая считает африканцев «внутренним врагом». У вас полиция, которая беспощадно, словно злодеев, преследует тех, кто выражает интересы черных. А ты говоришь — не помешать!

— Будь у нас одни камни да палки, нас за сутки прикончили бы. А мы хотим жить, что в этом предосудительного?

— Значит, они не так уж довольны своим униженным положением?

— Массы безразличны. Есть отдельные, которые натравливают массы на нас, чтобы самим прийти к власти. Если бы это удалось, вот тогда страной действительно заправляли бы бандиты. У черного человека один враг — черный человек. Вспомни племенные войны, разве было что-нибудь подобное...

— ...если не считать какие-то две мировые войны! Выходит, белые здесь для того, чтобы защищать черных от них самих?

— Мы здесь в первую очередь для того, чтобы жить, но благодаря нам и африканцы живут лучше, чем до нас.

— И все-таки неизмеримо хуже белых. Почему?

— Ни способностей, ни честолюбия.

— Если у них нет естественных предпосылок для того, чтобы жить по-человечески, зачем же закон преграждает им доступ к подлинному образованию, почти ко всякой квалифицированной работе?

— Наши расовые проблемы вынуждают нас вводить законы, которые не нужны в странах с однородным населением.

— Что подразумеваешь ты под расовыми проблемами?

— Угроза со стороны отсталой массы поглотить меньшинство, которое является носителем культуры.

— Почему же не дать массе развиваться и воспринять блага культуры?

— Она развивается — в темпе и до уровня, которые для нее подходят.

— Откуда вы знаете, что для них подходит?

— Я родился в этой стране, Кэтлин.

— Сколько у тебя друзей-африканцев?

— Меня экзотические знакомства не привлекают так, как тебя.

— Но если ты не знаком ни с одним из них, как ты можешь знать, что для них подходит?

— Они любят жаловаться иностранцам. Черные всегда говорят то, что, по их мнению, тебе хочется услышать.

— Как бы ты говорил о своей жизни, окажись ты в таком положении?

— Рассказывают, нашему отцу не так-то сладко приходилось в Шотландии. Но он не болтал языком, а добился своего.

— Будь он африканцем и пойди он с другими к полицейскому участку в Шарпевиле добиваться своего, его бы могли застрелить.

— Мы не черные. К чему пороть лицемерную чушь: каково бы нам было, будь мы китайцами или индейцами? Хватит с нас тех забот, которые донимают южноафриканцев шотландского происхождения. Кой черт изображать кого-то другого.

— Наша способность ставить себя на место других — качество, которое следует скорее развивать, чем высмеивать. Без него мир сплошь состоял бы из одних затворников. Не было бы вообще никакой культуры, если бы люди не стремились познать жизнь друг друга.

— Это может быть справедливо в рамках отдельных народов, даже рас. Я не такой самонадеянный, чтобы утверждать, будто постиг мышление черных. Если только у них вообще есть мысли в нашем понимании этого слова.

— Почему не выслушать их? Очень часто встречаются африканцы, в которых ты чувствуешь братьев по духу и всему поведению настолько, что никакой цветной барьер не может помешать тебе ощутить и понять это.

— Мне достаточно одной сестры.

— Почему твой брат не должен обладать теми же правами, что ты?

— Кэти, поверь мне на слово: меня по-настоящему мучает то, как отец обошелся с Китти и с тобой. Разумеется, ты должна была пользоваться теми же привилегиями...

— Ты неправильно меня понимаешь. Я ни на что не променяла бы годы, которые прожила у тети и дяди, и я люблю свою профессию. Я говорю о твоем африканском брате.

— Африканский брат — избавь нас от этих миссионерских словечек. С какой стати мы будем навязывать туземцам культуру, совершенно чуждую их традициям и образу жизни?

— А пропуск этим традициям не чужд? С каких пор у них принято жить вдали от семьи?

— Никто их не гонит в город.

— Нужда гонит.

— Разве наша вина, что они не умеют возделывать свою землю?

— А кто отнял у них лучшие земли?

— На что им пашня, они с ней все равно не справятся.

— На землях белых фермеров они справляются. Они учатся водить трактор ничуть не хуже батраков в любой части света.

— У них нет чувства ответственности, чтобы самим вести хозяйство.

— Но вы берете на себя ответственность решать, что служит на благо африканцам?

— Нам не только об их благе приходится думать. Мы думаем обо всей стране в целом, о спросе и предложении. Мы люди и дельцы, а не святые. Дешевая рабочая сила Африки — фактор, который весь мир принимает в расчет.

— И ты это считаешь правильным?

— Вопрос поставлен нереалистически. Возьми, скажем, цены на золото — думаешь, их устанавливают какие-нибудь белые боссики в Йобурге? Если мы будем здесь платить горнякам столько же, сколько платят в других странах, то через месяц прогорим. Руда бедная, рабочие лентяи, откуда же взяться высоким заработкам? Только количество руды и избыток рабочей силы нас и спасают — на качестве мы бы далеко не уехали. И так себестоимость велика, дальше некуда.

— Настолько велика, что владельцы загребают огромную прибыль и все эти деньги вывозят за границу?

— Это уж дело хозяина, как он распорядится доходом от своих вложений.

— Почему бы не направить доход на развитие отечественной промышленности, на строительство школ, жилищ, больниц и библиотек для рабочих?

— Рисковать, что — если случится революция — у нас все отберут? Думаешь, твой отец и другие европейцы приехали сюда и создали состояние себе и детям для того, чтобы внуков прогнали из страны и снова обрекли на нищету? Наследие отцов обязывает.

— Когда африканцы получат право жительства в своем отечестве?

— Право жительства? Они им пользуются в полной мере...

— ...ища себе бесславную могилу — в Шарпевиле или в Лонга.

— Не будь излишне чувствительной. Все мы умрем. Погибнуть от пули и обрести на Западе славу мученика — не так уж плохо. Не один миллиардер кончил жизнь куда бесславнее — околел от рака или еще какой-нибудь дряни.

— Слушая, как ты об африканцах рассуждаешь, никак не скажешь, чтобы ты задумывался о смерти.

— Еще как! И моим привилегиям есть предел.

— Будь твое счастье и уверенность в завтрашнем дне пропорциональны твоим привилегиям, мне было бы легче понять, почему ты их так ревностно оберегаешь. Но ведь, коли разобраться, у тебя ничуть не больше, чем у любого из твоих рабочих, уверенности в том, что ты не умрешь завтра или что женщина, которой ты дорожишь, дорожит тобой.

— Вот именно — я ни в чем не могу быть уверен. Черные — беспечные дети, меня же терзает тревога, которой я ни с кем не могу поделиться.

— Выходит, что тревоги африканцев, которых бедность вынуждает вести непрекращающуюся борьбу за свое существование, вам, белым, покоя не прибавляют. Значит, вы ничего не потеряете, если поступитесь кое-какими привилегиями, вам они радости все равно не приносят, а черных могли бы избавить от наиболее горьких унижений.

— Ты полагаешь, кто-нибудь добровольно отказывается от привилегий? Думаешь, африканцы, если бы они оказались у власти, чем-нибудь поступились бы? Только дай им шанс — сразу нас оседлают!

— Значит, ты так считаешь: какое-то количество несправедливости всегда должно быть, либо с той, либо с другой стороны. И, следовательно, ни к чему заменять насквозь прогнившую систему.

— Я бы сказал иначе.

— Почему ты ненавидишь африканцев?

— Я их не ненавижу. Но при мысли о них мне делается не по себе.

— Почему?

— Очень уж их много.

— Но каждый из них живет и умирает в одиночку — как ты.

— Весь мир с давних пор причиняет им зло. Но только мы, живущие здесь, должны выносить их взгляды, только наши привилегии отмечены печатью вины. Думаешь, тут так бы все и продолжалось, если бы мир по-настоящему восстал против? Нас осуждают на словах, на деле — наживаются на нас. Уже не доставляет никакого удовольствия ездить за границу. Только услышат, что ты южноафриканец, и ждут: сейчас вытащит плетку из рукава! И заморские гости осточертели своими скороспелыми туристскими поучениями. Все те же старые аргументы, излагаемые все с тем же наивным убеждением, что босс-де их никогда не слышал, никогда не видел, ему в голову ничего похожего не приходило.

— Естественно больше всего спрашивать с вас, ведь вы к ним ближе.

— Это говоришь ты, хотя сама считаешь, что надо дать матери незаметно погибнуть!

— Ты не вправе проводить подобные параллели! Одно дело чья-то личная мазохистская судьба, другое дело целый народ.

— Это у тебя хватает дерзости сравнивать Китти, которая принадлежит нашему миру, с черными. Африканцам нравится, когда их эксплуатируют. Они все делают, чтобы очутиться на дне.

— И в Шарпевиле в них стреляли тоже потому, что они стремятся на дно?

— Горстка политических крикунов увлекла массы на демонстрацию Джим и паппіе ничуть не против пропусков. Но правительство допускает просчет, когда лишает всякой перспективы прослойку более смышленых, а они ведь есть среди черных. Если бы умерить их личное недовольство, открыв им доступ к некоторым профессиям, они бы не предавались мечтам о политической карьере. Небольшое африканское среднее сословие — буфер между белым меньшинством и черными массами — вот единственное, что нас может спасти от катастрофы.

— Ты уверен, что эти смышленые согласятся служить буфером ради чести именоваться средним сословием? Ты уверен, что они мечтают о привилегиях?

— Что уж они — такие аристократы духа, что пренебрегут рюмкой вина, малолитражкой и прочими благами, доступными человеку с приличным заработком?

— Взятки?! Я знаю африканцев, которых не купишь.

— ...тебе что, ты здесь временный гость. А я тут живу постоянно, у меня дел по горло, и я не располагаю временем, чтобы целые дни вздыхать из-за пропусков, хоть я и готов признать, что у кое-кого из африканцев они стали поперек горла.

— И все-таки непростительно, что ты не знаешь ни одного из них лично.

— А ты как-нибудь вечерком приведи сюда своих друзей! Устроим славную вечеринку, и пусть расскажут мне об Африке, которой я, по-твоему, совсем не знаю. Обещаю тебе, что я и Элеонора сделаем все, чтобы они чувствовали себя желанными гостями.

— Разве это не будет противозаконно?

— Если мы, к примеру, соберемся в этом саду и кто-то из соседей возмутится, он вправе позвонить в полицию. Если же никто не будет шокирован — опасаться нечего. А мои соседи десять раз подумают, преж-

де чем на меня донести, ха-ха. Правда, вином их угощать строго-настрого запрещено. Так что если вдруг нагрянет сыщик, он может всех нас арестовать — и хозяина, и гостей. Да только вряд ли тайная полиция станет сюда свой нос совать. Можете спокойно приходить и напиваться до чертиков.

— Я спрошу... как они... Но в таком случае ты должен дать одно обещание.

— Быть тактичным? Но ведь это же само собой разумеется.

— Я не совсем это имею в виду. Не обижайся, если окажется, что Сэмюэл и еще кое-кто... хорошо понимают тебя... босс...

— Не бойся, мы, боссы, за последнее время ко многому привыкли.

— Мне еще кое о чем нужно с тобой переговорить. Но сегодня у тебя для такого разговора слишком красный нос, милая.

— И у меня тоже есть кое-что на душе.

— Поговорим в следующий раз.

— Ладно. Или промолчим.

— И так можно.

— Кэтлин.

— Да?

— Ты подумала о том, что нам можно позавидовать — беседуем, ничего не скрывая, не обманывая друг друга.

— Да. Но можно завидовать и тем, кто все знает друг о друге.

— Если они обоюдно уверены один в другом. Но кто поручится?

— Поручись за себя сам, и тебе ответят тем же. И уж лучше все поставить на карту и проиграть, чем кривить душой.

— Лихо сказано! И, однако, когда ты встречаешься с Китти, которая жила по этому принципу, тебе становится противно.

— Что она ставила на карту? Свое тело?

— Кэтлин, это низко — говорить так.

— Согласна.

— За что ты ее ненавидишь?

— Ненавидишь — не то слово. Просто есть что-то отвратительное в человеке, который никогда не говорит «нет». В существе, открытом для всех без разбору.

— ...хоть то преимущество, что можно без помех встречаться с кем хочешь, даже завидно.

— На днях Грейс говорит: «Я завидую белым женщинам только в одном — они могут жить вместе с мужем и детьми».

— Элеонора могла бы ее излечить от этого заблуждения.

— Попробуй выведать у Китти, кто бы мог написать эти идиотские письма.

— У меня есть подозрение, но уж очень невероятное.

— Руки так и чешутся передать это дело в полицию. Нет ничего отвратительнее вымогательства.

— Верно, но ты все-таки не торопись. Если я не ошибаюсь, то речь идет о человеке, у которого пятилетний сын. Отец начисто лишен совести. Единственное, что говорит в его пользу,— мальчик. Я редко встречала такого очаровательного ребенка. А кто позаботится о малыше, если отец...

...Смотрю на жизнь в замочную скважину... Все улаживается без меня... Вещи одушевляются по мере того, как я хирею.

Какая-нибудь дверь гаража затевает со мной скандал, и я стою, онемев, скриплю зубами, а она говорит, говорит.

И ведь я сам виноват: игрок во мне непрестанно искал примет в неодушевленных предметах — теперь они мстят, они ожили, а меня превратили в вещь. Теперь уже я стал дурной приметой, кран в ванной при виде меня впадает в мрачность: «Стоит ему утром войти раньше десяти, и у меня весь день насморк»,— бурчит он раковине.

Не знаю, спал я или бодрствовал ночью, когда голос из-под ковра тихо произнес: «ты — вор».

Встаю и, прижимаясь к стене, иду в гостиную; никогда больше в спальню не вернусь, никогда. Прислушиваюсь, не идет ли голос следом. Тишина. Сажусь в кресло, стараюсь это сделать возможно естественнее, хотя при всем желании не могу вспомнить, как именно я садился раньше, когда не надо было задумываться над этим.

Голос из-под кресла шепчет мне в пятки: «вор, вор».

Если неодушевленные предметы бросают мне вызов, гоняют меня из комнаты в комнату, то люди и подавно только ждут случая оккупировать мое жизненное пространство.

Утром мебель глядит на меня уже не так вызывающе, и я говорю себе, что мне приснился кошмар.

Сидя у окна, смотрю, как несколько черных под присмотром белого босса спиливают высохший платан. На зулусском языке происходящее описали бы так: идет пилка, так что дерево упадет. Появилась смерть, так что мы остались без отца»,— как однажды сказала Глэднес.

Дерево напугало меня: рухнуло прямо на молодой куст. Но стоит африканцам убрать ствол, и куст как ни в чем не бывало выпрямляется, поднятый силой роста. Его прутья гибки, словно ива, а дерево было сухое, ничего не весило. И я, маленький человечишко, говорю господу богу дядюшки Уно: ничего, если я умру, лишь бы я при этом не раздавил Игоря, мое дитя. Да-да, говорю я, если для того, чтобы он во всем преуспел, необходима моя погибель, пусть я умру! Если так надобно, господи, то я и от всех своих врагов откажусь.

Утро, я всецело владею собой, хотел бы я видеть человека, который посмеет разглядеть во мне не того, за кого я себя выдаю.

Я — самоуверенный автомобилист, который заставляет других владельцев машин чувствовать себя дураками — как едешь, черт бы тебя побрал!

Я — капризный покупатель. Часами морочу голову продавцам. Примеряю костюмы, перебираю все, что есть для детей четырехлетнего возраста, критикую товар, если продавцы брюзгливые, заигрываю с девицами, если они хороши собой, даю им понять, как я обожаю моего сына Игоря, да-да, четыре года, о детской одежде и уходе за малышами знаю все, любой женщине сто очков вперед дам, хоть бы у нее десять детей было.

Мне нужен для моей машины радиоприемник, это единственное, чего ей не хватает. Из тех приемников, которые мне показывают, ни один не годится, и в магазине обещают выписать нужную мне марку.

Я приценяюсь к особнякам. Осматриваю дома, то хочу купить за наличные, то снять на год. Останавливаюсь на двух, которые мне нравятся; если выпадет крупный выигрыш на скачках, могу в тот же день въехать и обставить комнаты роскошной мебелью. То-то побултыхаемся с Игорем в бассейне. Будет уйма слуг. И собак.

Я так здорово играю эти роли, что никому и в голову не приходит, с какими чудовищами я все время сражаюсь. Бывает, они меня коварно выдают — скажем, когда я затеял спор с полицейским из-за стоянки и потерял власть над собственным голосом. Внезапно он стал громким, пронзительным, понес невесть что — столпился народ, а я никак не мог прекратить унизительную для меня перебранку. Люди глядели на сумасшедшего, я по их лицам читал, кого они видят перед собой.

Именно в таких вот случаях человек вдруг узнает, что значит слово *должен*.

Получаю у хорошенькой воспитательницы в детском саду взаймы пятьдесят фунтов, условие — больше ее не навещать. Вот и она уже боится меня, пересматривает свое мнение обо мне. Это неизбежно, потому-то и приходится всегда спешить, чтобы поскорее извлечь максимум из любого знакомства. Ведь знаю — и все-таки не могу заставить себя уйти, не дожидаясь, когда выставят. Окружающие считают себя вправе подвергать меня вскрытию и оценке — ну так и я вправе загребать, что удастся. К тому же в знакомстве, которое кончается по-хорошему, есть что-то фальшивое. Что-то незавершенное. Вот когда двое знают, что они враги, тогда они оба как на ладони, вся суть видна.

Назвав одну из своих фамилий, покупаю в рассрочку костюм — теперь очень важно, как я одет.

В собачьем питомнике добываю щенка от боксера. Я разбираюсь в собаках и мигом налаживаю дружбу с хозяйкой, которая о собаках знает все, о людях же лишь одно: кто умеет ладить с собаками, кто нет Рассказываю ей о моем сыне Игоре и о моей любви к моему сыну Игорю, о его болезни и о том, как необходимо приготовить к его возвращению подарок — щеночка. Утирая слезы, она дает мне щенка, сама сажает мне его за пазуху и просит меня обещать, что я непременно приду еще раз, когда мой сын поправится, показать ей мое дитя и крошку Долорес. Отвечаю, что Игорь, конечно, сам захочет поблагодарить ее — я уверен! — и она, увидев моего сына, не пожалеет о своей щедрости.

Уезжаю почти счастливый. Шелковистая ласковая собачонка так трогательно сопит у меня на груди. Беспомощное, нежное существо, доверенное мне на попечение, крошка, которой угрожает весь мир. Один только я в состоянии понять всю изысканность этого хрупкого создания. И как мне не ненавидеть весь мир, полный коварства. Стоит им разузнать, как сильно я успел полюбить Долорес, сразу вспыхнет зависть, они попытаются украсть у меня щенка, чтобы причинить ему зло.

Песик возвращает мне часть мужества, которого меня лишило отсутствие Игоря. До чего же моя уверенность в том, что я все могу, всегда вырастает от близости слабейшего существа.

■

Кэтлин взяла в школе годичный отпуск и теперь восседает в приемной конторы своего брата. Пришлось-де задержаться, чтобы попытаться сделать что-то для мамы. Удобная мать. Важный брат предложил сводной сестре на протяжении этого года быть его гостьей — она ответила отказом, мол, это помешало бы ей бранить его вволю и ссориться с ним. Теперь ничто не мешает им спорить до хрипоты друг с другом о том, как лучше всего управлять страной — будто это их страна! И улыбаться со спокойной совестью и учтивой миной. Но для иммиграционных властей Кэтлин все равно его гостья, иначе не пропишут. Как ловко они в случае надобности обходят закон — и как добросовестно его при-

меняют, когда им выгодно. Они без раздумья предпочтут отдать меня в руки «правосудия», чем отдать мне денежки, которые Китти совсем ни к чему.

Дочь Китти выросла и стала ладной женщиной, а мой сын, мое дитятко, которого я в жизни не брошу, лежит больной среди чужих детей. Я требую только одного: дайте нам жить! Почему закон должен подходить к нам с иной меркой, чем к этим шотландцам, которые им так лихо жонглируют? Нет ничего отвратительнее вымогательства... Разве это хуже, чем выжимать из тысяч чернокожих максимум работы за минимум жалованья? Разве мое желание обеспечить будущее моего сына отвратительнее его стремления устроить будущее своих сыновей? Почему у него чешутся руки передать полиции меня, а не Китти, она который год живет незаконной продажей спиртного. Тут он сразу вспоминает о своей матери — ее необходимо щадить, хотя она мертва. А я не вправе заботиться о моем сыне, который действительно болен!

В обеденный перерыв Кэтлин навещает мать; выждав, когда она уйдет, я собираю дань. Добыча невелика, но хоть на игру хватает. Собственно, я ведь только взаймы беру. Отхвачу выигрыш — и все верну Китти, с процентами. Я ей зла не желаю. Но ведь она все равно кому-нибудь отдает те крохи, какие ей перепадают, почему же не мне? С чего бы это черные нуждались больше моего? Только потому, что они черные? Мне уж вот так надоели эти охи и вздохи насчет цвета кожи. У белого тоже могут быть свои естественные потребности.

■

Ласкаю собачонку, но вот мне надоело сюсюкать, я должен ее подразнить. Тычу ей в морду пальцем, пока она не начинает кусаться, все это хрупкое создание дрожит от ярости. В конце концов, обессилев, она принимается скулить, уползает от меня под кровать и всхлипывает, будто младенец. О, как я переживаю ее горе! Иной сказал бы, мол, это всего-навсего животное, не чувствует так, как мы, но я-то знаю, ей больно не меньше, чем человеку, к тому же щенок — невинное существо. Что касается невинности, то тут с собачонкой может сравниться лишь Игорь, мой сын. Но вот мое сострадание достигает предела, я ложусь на пол, вытаскиваю свою любимицу из-под кровати и утешаю ее, позволяю ей лизать мне лицо и искусанные руки. О, как я ее ласкаю, какие лакомые кусочки даю и какой любовью вознаграждают меня ее доверчивые глазки. Она знает, что такое благодарность. Знает, что я не обреку ее на вечное унижение. Да, она может быть уверена, я ее вознагражу. Мне и в голову не придет ее предать.

Каким утешением для меня служит Долорес в те нескончаемые часы, когда я тоскую по Игорю.

■

Идя в мамин шибин, беру с собой Долорес. Кто, кроме меня, подумает о том, что старушке Китти, наверно, хочется подержать на руках что-нибудь пушистое, мягкое. За тридцать лет — ни одного ягненочка... Носятся, как угорелые, навязывают Китти новый образ жизни, а что они понимают в том, чего ей недостает.

Прихожу, и что же — Китти переменилась, словно дочь наконец все-таки прибрала ее к рукам. Правда, она не притронулась к отличным

бутербродам, лежащим на столе, но на ней новое платье, голова вымыта, волосы расчесаны. И вместо того, чтобы, как положено насильно вымытой старухе, сидеть с кислой физиономией, она выглядит очень даже довольной, чуть ли не счастливой. При виде меня пугается, но она так привязалась ко мне, что больше тревожится о моей безопасности, чем о себе. Делает знак, чтобы я уходил, мол, в соседней комнате кто-то есть. В щелку вижу, что там стоят Сэмюэл и Кэтлин.

Ловко рассчитано — превратили мамин шибин в свое личное прибежище, устраивают себе ленч здесь, пикник так сказать, правда, не на зеленой лужайке, но зато без помех. А Китти — в роли привратницы. Когда еще перевоспитаешь незаконную мать, а пока и так сгодится.

Они уже поели, теперь стоят у окна, закрашенного белой краской, чтобы не было видно снаружи. Идет разговор вполголоса — подумать только, Кэтлин на целую октаву понизила голос, и откуда у нее этот воркующий смех, вот не думал! А какая нежность сияет в глазах этих извергов, когда они смотрят друг на друга.

Но говорит он всего лишь те же слова, какие все обычно говорят: «Ты где?» И Кэтлин отвечает так же, как и многие до нее: «Здесь... Я хочу жить».

Сейчас будут объятия. Но они не прикасаются друг к другу, погрузились в созерцание, смысл которого я, кажется, улавливаю, хотя сам ничего такого не испытывал.

После смерти Ирмы в сумрачные часы сколько раз горевал я о том, что никогда не мог просто смотреть на нее, любоваться ею, думать о ней при ней, всегда я должен был пожирать ее, объедаться ею. Если бы я хоть один час мог смотреть на нее без вожделения.

Между ними начинается странный разговор, и я чувствую себя посторонним еще больше, чем если бы на моих глазах начались ласки. Он что-то произносит на зулусском языке, она отвечает по-гэльски, сперва они смеются над этой игрой, потом увлекаются и продолжают, все более серьезно; это будто диалог из сокровенной драмы.

Смотрю на Китти, она сидит так, что ей не видно парочку у окна. Зато она слушает с видом благочестивой деревенской старушки, сопровождая реплики Кэтлин одобрительным «ау», а слова Сэмюэла возгласом «yeabo». Изо всех нас пятерых она одна знает, что́ оба говорят. Шепотом велю ей переводить, потому что еще немного — и я не выдержу, меня доконает мираж. Слова — я должен знать слова, чтобы не сомневаться, что они несут все тот же древний вздор, на который и я способен, когда обхаживаю женщину. Одурманить ее ловкой лестью, чтобы тем вернее ее сокрушить, когда надоест. Мне ли не знать уловок любви, как своей слабостью подрывать ее сопротивление (она говорит подругам: «Он будит во мне материнское чувство»), а начнет потом увиливать, играй на том, что, дескать, ты меня предаешь как раз в ту минуту, когда я в тебе особенно нуждаюсь; говоришь, правда, все реже: «Ты для меня все», и ради того, чтобы иногда услышать эти слова, она и впрямь видит во мне все, а своим единственным долгом считает служить мне, услаждать меня. Когда моя прихоть станет для нее законом, заполнит все ее помыслы — как трогательно хороша бывает такая самочка! Можно покарать ее временной немилостью за то, что она пришла в платье, которое мне не по вкусу, и, доведя ее до грани самоубийства, сказать: «Ты для меня все». Меня не надо учить, как обращаться с женщинами. Уж я-то знаю, на что здесь можно рассчитывать — и когда больше не на что рассчитывать.

Женщины действуют теми же приемами. Своей беспомощностью они добиваются поклонения и послушания, и, когда он окончательно превращен в сюсюкающее чегоизволите и работать уже не способен, от-

куда только находится у них такая сила — на всю длину вонзить ему между ребер стальной каблучок-шпильку. Со мной такого никогда не бывало, я всегда побеждал, если попадался заслуживающий внимания объект, но отлично знаю, что все женщины этого жаждут. (Кроме Ирмы, но Ирма дело другое, ее я не причисляю к «женщинам».) Что кроме нудной междоусобицы предлагают друг другу мужчина и женщина, когда заводят шарманку, исполняя вариации на тему «собственность»: я-твой-только-твой-ты-моя-ты-всегда-должна-думать-обо-мне-потому-что-я-думаю-только-о-тебе-для-тебя-я-на-все-готов-ты-такой- такой-ты -такая-милая-что-я-готов-я-готова-съесть-тебя-ты-для-меня-весь- мир-все-остальное-мне-безразлично-была-бы-ты-моей.

Но Сэмюэл и Кэтлин... Можно подумать, что существует что-то помимо обольщения, что между мужчиной и женщиной возможен такой разговор, когда двое видят не только самих себя: каждый видит мир глазами другого. Неужели им открылось, что такое свобода?

Этого не может быть. Не должно быть взаимопонимания. Потому что я одинок.

Приказываю Китти переводить, она ноль внимания, сидит и будто хором дирижирует, чертит в воздухе тощим ведьминым пальцем, вот с возгласом «yeabo» уронила руку на колено, взмахнула другой рукой — и ее опустила, выдохнула «ау». Подхожу к ней вплотную, прямо в ухо шиплю: «Переводи!»

Она смотрит на меня и говорит: по.

Как бы рассеянна ни была Китти, это слово она не могла произнести нечаянно. Случилось неслыханное, она совершенно сознательно отвечает «нет».

У меня начинается сердцебиение, собачонка скулит, и вот не успел я улизнуть, как в дверях появляются Сэмюэл и Кэтлин. Стоя плечом к плечу, смотрят на меня и Китти.

Как они глядят на меня, сколько высокомерия, будто они кругом правы, а я кругом виноват!

Обоюдные угрозы, которые мы могли бы произнести, настолько очевидны, что мы воздерживаемся, и я, не говоря ни слова, ухожу восвояси.

Пусть пеняют на себя.

■

Дома — еще новость: скандал с хозяином, который отказывает мне от квартиры. Я-де уже на тринадцать дней просрочил плату. Будто я сам соглашусь дальше жить в квартире, где водятся привидения. Я и без того со дня на день хотел переезжать, а последний взнос платить не обязательно. Он грозится подать на меня в суд. Все равно не посмеет, поэтому я говорю ему: пожалуйста. Сейчас меня занимает вражда поважнее.

Поднимаюсь к Джеку и говорю: браток.

Он только что проснулся, домой явился в пять утра. Какие-нибудь интересные происшествия ночью? Нет, зато одно досадное. Девчонка из Скандинавии и кафр. Пришлось их пока отпустить, она назвалась лопаркой и заявила, что это славянская раса, она-де азиатка, а не белая. Черт их там разберет, все эти паршивые расишки. И выясняй теперь, прежде чем привлечь их к суду, куда относятся лопари, а то еще станешь посмешищем, нужно все точно узнать, чтобы действовать. Ничего.

быть им, голубчикам, за решеткой, сколько бы ни ловчили. Хуже другое: есть признаки разброда в наших собственных рядах. Один из наших лучших ребят, первоклассная ищейка, уйму учеников воспитал — и вдруг на попятный. Не желаю, мол, больше служить, вкус-де к этому делу потерял. Точно долг выполняют для своего удовольствия. Причина? Он, видите ли, женится! Вот-те на! Это что же — нами бабы будут заправлять?

А мне-то до всего этого какое дело? Я рассказываю о собственных заботах. Как ему известно, мой сын лежит в больнице, а там такие деньги дерут, что пусть уж не осудит мое желание немного приработать.

Что ж, пожалуйста, такса известна — пять фунтов, если интересная парочка. Конечно, интересная! Однако, услышав имена, он объявляет, что на эту парочку уже семь доносов бесплатно получил, они как раз из тех, кто уверен в своей безнаказанности, мол, разве могут соседи усмотреть что-нибудь необычное в том, что африканец навещает европеянку. Мы держим их под наблюдением. Вот так, за них ты, увы, ничего не получишь.

Предлагаю номер ее телефона. Он его уже получил от дворника.

Джек осведомляется:

— А тебя что, за живое задело?

Подавляя возмущение, говорю, что я, хоть и не родился здесь, но уважаю местные нравы. Знаю, что в Южной Африке считается гражданским долгом и борьбой за чистоту сообщать о подобных нарушениях. У меня в запасе кое-что почище, чем банальный случай Сэмюэл — Кэтлин. Сколько он мне даст за шибин мамы Китти?

— Эта бедняжечка? — говорит Джек с состраданием в голосе.— Господи, Китти, она уже столько отсидела. Пусть хоть немного на воле походит. Да и какой это шибин. Сама она не гонит, и никаких других грехов за ней сейчас не числится. Давным-давно ни скандалов, ни драк. Надо же им какую-то отдушину оставить.

— А ты не задумываешься, почему там стало тихо?

— Политика?

— Поставь за занавеской магнитофон, узнаешь, о чем они толкуют.

— А, и это не новость. Книги приносят? Вот это хуже. Будь моя власть, пусть пьют, но книги начисто запретил бы покупать. Ведь коли разобраться, то алкоголь их только дурманит, делает податливее. Книги — вот настоящий яд, угроза для общества. Скоро все тюрьмы в университеты превратятся. Глядишь, какой-нибудь черномазый толкует о французской революции так, что не только уголовники — надзиратели разинув рот слушают. Сам рассуди, каково с моралью в тюрьме, когда этакий самоучка начинает дисциплиной заправлять. И под шумок, незаметно натаскивает их в политике. Хуже всего, что даже иные из тюремного персонала заражаются. И бросают работу, дескать, совестно. Знал бы ты, с какими трудностями мы сталкиваемся. Если бы правительство поняло, какой вред приносят книги, оно бы приказало гнать скокиан и бесплатно поить черномазых, а печатное слово — конфисковать. Конечно, время от времени мы устраиваем обыски, забираем все огнеопасное, а надо бы все подчистую грести. Чтобы ни букашки не оставалось. Вот как, Китти читальню держит? Ладно, пятерка твоя — ради сына.

Ищу, чем бы его уесть на прощание, вижу на щеке у него царапину.

— Заведи лучше электробритву, чем с порезами ходить. Люди могут подумать, что тебя девка оцарапала!

— Брось, не купишь.

■

Спускаюсь к себе, утешаться собачонкой и Пэтом Буном. Они за меня. Одно меня заедает, даже трудно дышать: что значат вонючие семьдесят пять крон по сравнению с Киттиным «по». Вызов Сэмюэла и Кэтлин можно забыть, но чтобы Китти, слабейшее существо, которое я когда-либо встречал, посмело мне сказать «нет» — этого я не прощу.

Мечусь от окна к окну, чувствуя нависшую угрозу. За что ни возьмись, всюду опоздал.

Вижу под кустом кота, он подстерегает сидящую в листве птицу. Она поет-заливается, забыв об осторожности. Чудно́: птица от природы наделена таким преимуществом — крыльями и позволяет кошке перехитрить себя.

С добычей в зубах кот выходит на газон, вот дернул головой — и крыло сломано, можно посидеть, полюбоваться, как птица силится взлететь с помощью одного крыла. «Тщетное усилие»,— как говорили в старину.

Кот вонзает зубы в крохотное тельце, дегустирует птичью жизнь и снова отпускает пленницу. Вдруг показывается второй кот, покрупнее. Предвкушаю баталию, но большой кот без боя забирает добычу и не спеша удаляется. Только птица жалобно пищит. Меньший кот сидит с постной мордой, не обращает взор ни к небесам, ни к людям, безропотно мирится с тем, что лишен права апелляции. Немного погодя отправляется в засаду под другой куст.

Это предупреждение мне: не давай обмануть себя! Если я допущу, чтобы последнее слово осталось за Китти, мне конец. На Сэмюэла и Кэтлин мне наплевать — подумаешь, сочинили какую-то дружбу, лишь бы порисоваться и подразнить общественное мнение. В какой-нибудь другой стране, где все расы общаются запросто, их никто бы и не заметил, а сами они не видели бы ничего увлекательного в своих свиданиях. На меня свысока смотрят, не признают. Ну и пусть тешатся друг другом, пусть нарываются на неприятности. Я с ними не хочу и знаться.

Но Китти. Чтобы я дал себя унизить этому олицетворению слабости!

Кэтлин и Сэмюэл, должно быть, уже вернулись на работу, и вряд ли им удалось уговорить маму переехать. Вечером придут снова чтобы попытаться спрятать ее, увести против воли, а пока они будут с ней объясняться, полиция окружит шибин, и все вместе угодят в кутузку. Сейчас — затишье перед бурей. Она одна дома, к моим услугам.

Кэтлин была знамением, ну, конечно, предтечей Китти, архидоступной Китти, моего возлюбленного врага.

Ей так и не пришлось подержать на руках крошку Долорес, ощутить, какая она мягкая, пушистая. Так вот, пусть подержит, а потом мы посмотрим, много ли у нее в запасе «нет». На всякий случай беру с собой револьвер. Нет, мне и в голову не придет причинить ей зло, я только помахаю им, пошучу с Китти, вытяну из нее то, что мне надо. Пусть всеобщая мама не задается и не заводит любимчиков. Сортировать буду я, а не она. Действовать надо осторожно. Начну с Долорес. Уверен, что этого окажется достаточно.

■

Вот и Китти, лежит в новом платье на койке, отдыхает после обеда. Ладони обращены вверх, точно и во сне она хочет показать, что ей скрывать нечего. Я разбужу ее деликатно, пусть проснется с улыбкой, думая, что у нее в последний раз ищет защиты отверженный ягненок.

Кладу собачонку на ладонь Китти.

Долорес начинает дрожать, скулит, прыгает с койки на пол, больно ударяется и истерически визжит. Китти не просыпается.

Подхожу ближе, всматриваюсь. Какой огромный нос. И сухая улыбка человека, за которым осталось последнее слово.

Неужели это «по» обошлось так дорого, что стоило ей жизни? Неужели одно «нет» после тридцати лет поражений, скрепленных покорным «да», оказалось таким триумфом, что дало ей бесплатный билет на последний корабль?

Китти уехала, уехала навсегда от продуктовых корзин, наручников и допросов.

■

Если бы Китти была жива... Она меня бросила, выдала на съедение своей родне, умерла, чтобы налетели вороны и нашли меня. Теперь ничто не оправдывает моего пребывания здесь. Никто в этой стране не желает мне добра. Сам я думаю лишь о том, чтобы поскорее убраться. Но как уберешься, если в кармане всего несколько фунтов, если рука дрожит так, что с обычным ключом не справляется, не говоря уже об отмычке.

Мне нужен Игорь. Только бы мой сын был со мной рядом, ради моего сына я все что угодно сделаю.

Иду в больницу, когда часы свиданий уже истекли, и застаю Игоря в слезах. Ко всем приходили, кроме него, куда же я пропал. Шепчу ему на ухо один вопрос, чтобы не прошел его страх. Он вцепляется в меня и кричит, что больше меня не отпустит. Лилиан чуть не плачет при виде такой любви. Спрашиваю ее, разбирается ли она в психосоматических связях? Понимает ли, что Игорю необходимо побыть со мной до тех пор, пока он не успокоится? Как она считает: повредит это ему или пойдет на пользу, если он сегодня поедет со мной и переночует дома?

Конечно, это самое правильное, но ведь нужно разрешение лечащего врача, а он уже ушел, и она не смеет звонить и беспокоить его.

Этот лечащий врач — мой враг. Он не верит, что я забочусь о здоровье Игоря и что я собираюсь заплатить по счету больнице. И такой человек — врач! Даю Лилиан краткий урок на тему: «Мужество любви и готовность к риску». Пусть возьмет с меня любую клятву, я не подведу, утром, еще до прихода дневной сестры, Игорь будет на месте.

— Зачем, я больше верю простому обещанию и искреннему взгляду, чем громким словам,— говорит Лилиан.

Я целую ее, ухаживаю за ней вовсю. Уверяю, что еще ни одна женщина не оказывала мне такого доверия, что она будет вознаграждена — никогда не забудет. Она обольстительно горяча, мужчина послабее не устоял бы, но мне надо думать о сыне, мы должны до рассвета быть в Дурбане. Оставляю Лилиан в залог собачонку — до шести утра, если мы к этому времени не явимся, звони в полицию. Моя шутка ей не нравится, женщины лишены чувства юмора, приходится многочисленными поцелуями усыплять ее недовольство. Она дает мне плед — дорогой шотландский плед — завернуть Игоря и провожает нас до машины.

Спокойной ночи, Лилиан. Тебе не придется жалеть о своей доброте.

■

Игорь засыпает со мной рядом. К воде! Прочь из этого города, пораженного жаждой. К морю. Там будет ждать корабль. Я переговорю

с капитаном. Если не договорюсь с ним, спрячемся в трюме. Я готов работать на судне. Пусть хоть галерного невольника из меня делают — только бы мы оказались на борту, когда корабль отчалит. Куда угодно, лишь бы прочь из Африки.

Я еще не могу позволить себе скучать по Гокшё, позже — позже все уладится, добраться бы до моря. Индийский океан, зеленый, белый, желтый, над ним дуют теплые ветры. Добраться бы до океана!

У меня осталось пять фунтов, полученных за Китти, но их я не могу тратить. Заправляюсь бензином в колонке, которую обслуживают черные парни. Говоря, сколько литров надо, откидываюсь назад так, чтобы они видели спящего Игоря, а когда нужно рассчитываться, вместо кошелька вынимаю револьвер. Цикады стрекочут так, что невозможно забыть.

Еду словно одержимый. Мой сын и я, а кругом — коварная африканская ночь. Только бы поспеть с сыном к морю, тогда мы спасены. Мы уезжаем по доброй воле. Не ждем, когда нас поторопят черные экстремисты с их лозунгом «столкнуть белых обратно в море».

Мы должны быть в порту до рассвета. Черные парни не посмеют звонить в полицию. И не посмеют ждать утра, когда явится белый босс и потребует отчета. Ничего, они у себя в родной стране — найдут, где украсть, чтобы покрыть недостачу.

Фары освещают неправдоподобную синеву жакаранд. Освещают зелетые холмы с красными до жути трещинами оврагов. Почему земля в Африке такая красная? Чем она поражена? Красная земля ранит душу, она так же неожиданна и мучительна для глаза, как болячки на изъеденных щелоком руках матери Глэднес. Зачем эти ужасные раны на холмах Африки? Словно мне нужно напоминать, какого цвета человечья кровь.

Благодаря Игорю у меня уже не дрожат руки. Могу ехать быстро, с любой скоростью — и хоть бы что. Если выскочит полицейский, пусть пеняет на себя.

Только бы поспеть к воде, теперь лишь океан может спасти моего сына и меня от гнева Африки.

Мой сын головой касается моей левой ноги. Спит, я здесь, он может спать спокойно. Я не добыл ему богатства в этой стране, но мы поедем еще куда-нибудь, где меня никто не опознает. Африка оказалась недостаточно далеко.

■

Еще только два часа, мы заправились в Ледисмите, до Дурбана хватит.

Вдруг мой сын просыпается, он ничуть не спокоен, хотя мы и вместе.

Говорит, что хочет поехать к Глэднес.

Не меньше ста дней прошло, как он ее видел, и вот — не забыл. Кричит на меня, тогда я отвечаю тем же и говорю: если он тотчас не замолчит, я остановлю машину и высажу его. Он умолкает, но я по дыханию слышу, как он обижен, а остановиться и утешать его — некогда. Да и что я ему скажу?

Его не тянет к морю, он не боится Африки, как я, не помогает мне ненавидеть ее, не понимает моих устремлений, не сознает, чем я пожертвовал ради него. Не понимает, что́ могут означать эти фары позади нас.

Когда его любовь мне нужна особенно сильно, он предает меня — как и другие. Когда на карту поставлена жизнь, он льнет не ко мне. Африка забрала моего сына.

Опять заводит свое дурацкое нытье, теперь уже по-английски, с мягким африканским произношением, совсем как у Глэднес, и я шикаю на него.

Тогда, спасаясь от меня, он взывает к Глэднес на ее родном языке, слышу, как он твердит «Тхокозиле» — ее зулусское имя,— все остальное для меня абракадабра.

— Нгифунукуйя куТхокозиле, уТхокозиле нгумама, нгиямтханд' уТхокозиле, нгифунукуйя куТхокозиле...

Что толку, если я и поспею вовремя к морю, когда душой моего сына владеет Африка...

ОТ РЕДАКЦИИ

Существуют книги, творческая предыстория которых включается автором в самую ткань повествования.

До некоторой степени это относится и к роману известной шведской писательницы Сары Лидман. События и факты, побудившие ее в данном случае взяться за перо, отразились прежде всего в той гневной и сатирической интонации, которая пронизывает буквально каждую страницу романа. Здесь любая строка — выражаясь словами поэта — «облита горечью и злостью». Критик Сэм Юхансон в статье, напечатанной на страницах органа шведской компартии «Ню даг», подчеркивает, что «современная шведская литература не знает другого такого гневно-обличительного романа». В то же время здесь весьма уместно не только напомнить, что в основу его положены личные наблюдения и переживания автора, но и сообщить читателю о том, как эти наблюдения были накоплены.

Местом действия романа Сары Лидман, как уже известно читателю, является Южно-Африканская Республика — государство, где самый необузданный и бесчеловечный расизм возведен в ранг официальной политики, а расовой ненавистью белых к черным определяются все отношения — экономические, политические, социально-бытовые. По существующим там законам строжайше запрещены и браки между белыми и коренными африканцами, то есть черными.

Шведская писательница Сара Лидман отважилась приехать в ЮАР, активно не разделяя взглядов местных расистов. Находясь в стране, она, представительница «нордической расы», осмелилась полюбить человека с черной кожей (так по крайней мере было сформулировано предъявленное ей властями ЮАР обвинение на основании пресловутого закона «Immorality act»).

Возникло сенсационное «иоганнесбургское дело», приковавшее внимание мировой печати и вызвавшее возмущение общественности в Швеции и других странах. По всей вероятности, именно поэтому Саре Лидман удалось избежать привлечения к суду и покинуть страну.

В открытом письме, опубликованном ею на страницах влиятельной шведской газеты «Дагенс нюхетер», Сара Лидман обрисовала ход событий и мотивы своего поведения: «Почему я постаралась избежать громкого судебного процесса? Почему не произнесла на нем эффектную речь, которая вызвала бы отклик во всем мире? Разве не стоило пойти на то, чтобы просидеть несколько месяцев в тюрьме, если этим можно было добиться многого? Но в том-то и суть, что расплачиваться за все пришлось бы не мне... Если бы дело дошло до процесса, мне все равно не дали бы сказать ни слова. В таких случаях полиция зачитывает протокол, обвиняемый обязан коротко отвечать

«да» или «нет» на кучу нелепейших вопросов и выслушать приговор... Как иностранку меня могли бы присудить к шести месяцам тюрьмы, а в действительности я отсидела бы один месяц с последующей высылкой... Зато моего товарища посадили бы в одиночку, лишив книг, права писать письма... А пища в тюрьме такая, какую южноафриканский фермер не дает и своей скотине. К тому же африканцы отлично знают, что в тюрьме их ждут побои и издевательства».

Такова обстановка в ЮАР, где власти ведут себя откровенно бесстыдно.

Саре Лидман выпало на долю испытать все это на себе, и потому некоторые эпизоды ее романа как бы окрашены в автобиографические тона. В то же время очень явно ощутим сатирико-публицистический накал ее нашумевшей и смелой книги, что дает основание автору статьи в газете «Ню даг» вспомнить о манере письма и творческом почерке всемирно известного «неистового репортера» Эгона Эрвина Киша.

«Сара Лидман написала книгу, опасную для нее самой,— пишет Сэм Юхансон.— Излившись из раненого сердца, эта книга бурлит негодованием. Ничего не стоит наклеить на нее коммунистический ярлык. Мы-то знаем, что Сара Лидман не коммунистка. Но как художник она пришла к тому, к чему рано или поздно приходит всякий искренний художник: к правдивому воспроизведению действительности.

Путешествие в Южную Африку, завершившееся высылкой Сары Лидман, было не напрасным,— продолжает Юхансон.— Оно дало шведской литературе книгу, пылающую священным гневом и свидетельствующую о том, что писателя, которого не останавливают трудности путешествия, ждет и в наши дни важнейший материал».

Несколько слов о художественных особенностях романа. Сара Лидман прибегла в своей книге к довольно распространенному на Западе литературному приему самораскрытия героя. Однако, в то время как некоторые писатели в подобных случаях охотно щеголяют «достоверной психологической деталью» и готовы чуть ли не в этом видеть свою главную цель, в романе Сары Лидман всестороннее психологически углубленное раскрытие образа сознательно и властно подчинено главной задаче — суровому разоблачению центрального персонажа, а в его лице и всех колонизаторов.

Это разоблачение носит не только психологический, но и политический характер. Откровенные, грубо-циничные высказывания главного героя романа прямо свидетельствуют: перед нами не просто проходимец, а мракобес, фашист.

С первого взгляда может показаться, что Сара Лидман, столь подробно и многогранно рисуя любовь подлеца к своему сыну, тем самым готова, если можно так выразиться, отыскать «и в самой подлости оттенок благородства». Но читатель наверняка поймет, что все эти назойливо многословные и елейно-сентиментальные признания отца в любви к сыну — всего лишь своеобразный способ самозащиты. Недаром герой книги с ханжеским лицемерием восклицает: «Нет, отец такого ребенка не может быть дурным человеком».

Сара Лидман не оставляет этому своему персонажу никаких шансов на оправдание. Не случайно она вкладывает в его уста на первый взгляд чудовищное, но в действительности совершенно закономерное признание в том, что он способен из эгоистических побуждений даже убить собственного сына. Маска и здесь — по воле автора — оказывается сорванной, и подлинная сущность персонажа обнажается до конца.

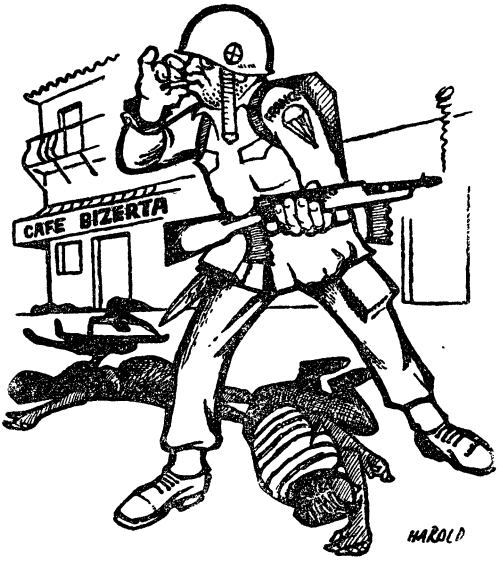
Карандашом и тушью

Рисунки из африканских газет и журналов

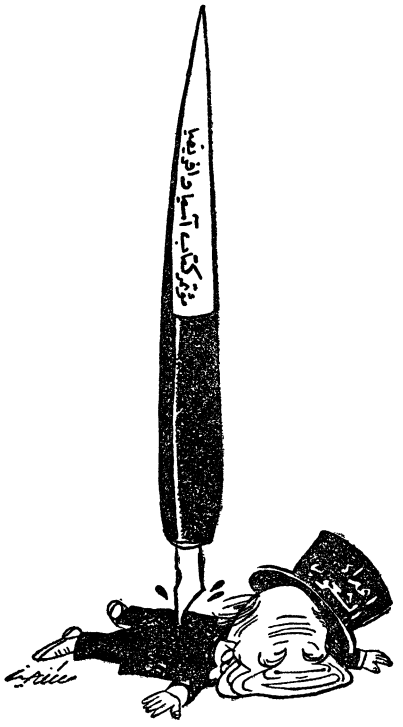
Народ тверже гранита.

«...и запомни, нам потребовалось три тысячи лет для того, чтобы создать нашу белую цивилизацию».

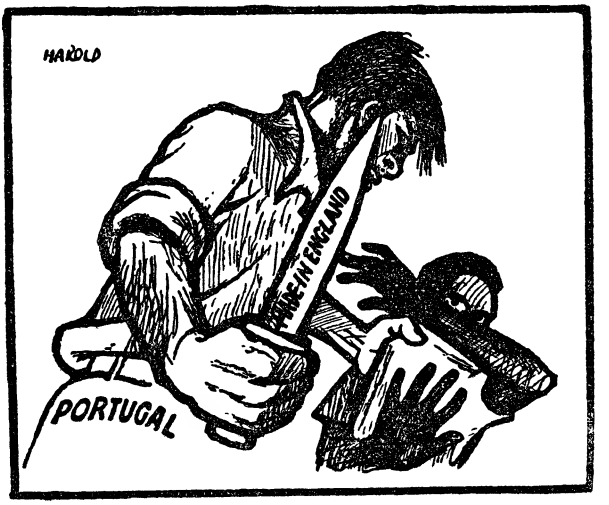
«Что я здесь делаю? Я защищаю свободный мир, дурак!»



Из серии «Арабские художники ко Второй конференции писателей стран Азии и Африки». (Надписи: на ручке—«Конференция писателей стран Азии и Африки», на цилиндре — «Враги народов».)

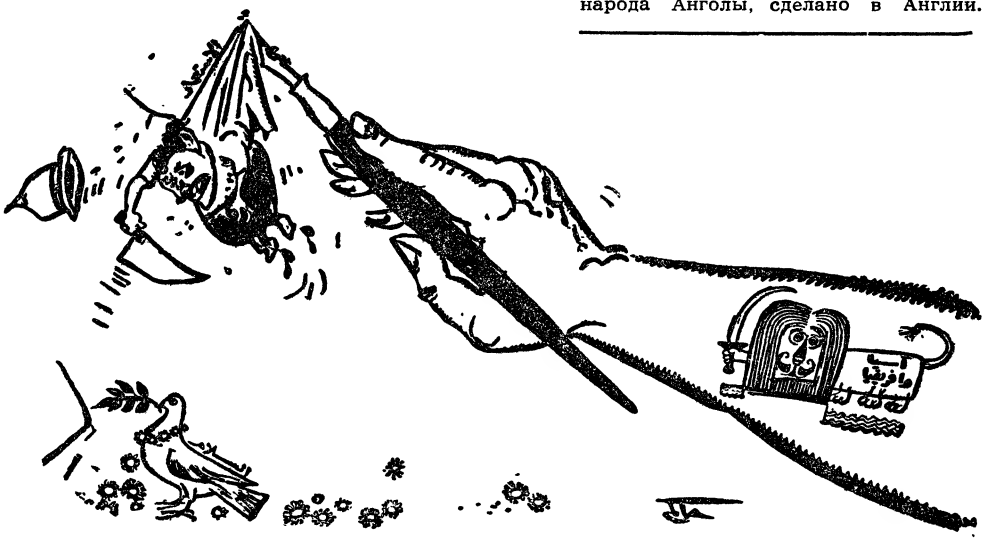


Во имя светлого, счастливого будущего Ганы!



Оружие, которое португальские колонизаторы используют в борьбе против народа Анголы, сделано в Англии.

Из серии «Арабские художники ко Второй конференции писателей стран Азии и Африки» (Надпись на руке — «Азия и Африка».)



Из путевого альбома

МАРИАМ АСЛАМАЗЯН

В ДОБРЫЙ ЧАС!

Тунис, Марокко, Сенегал, Гвинея, Берег Слоновой Кости... Это путешествие навсегда останется в памяти неповторимой яркостью красок, которая буквально потрясает художника. Природа и люди — сколько в них необычайной красоты! В Африке, пожалуй, не встретишь (нам, по крайней мере, не пришлось) сутулого или сгорбленного человека. Даже у портовых рабочих, занятых тяжким трудом, стройные, гибкие фигуры и руки с длинными, тонкими пальцами. Особенно грациозны женщины. Пройдет мимо тебя такая красавица, неся на голове тяжелую ношу, и даже дух захватывает: такая у нее изящная, плавная и легкая походка. Сначала я рисовала только людей. Мое внимание не привлекали ни дома, ни улицы с густыми аллеями пальм, я видела только этих людей, с их особенной, неповторимой красотой.

Дакар — первый город Черной Африки, который мы посетили. Когда наш теплоход подходил к Дакару, с левого борта мы увидели остров Гроэ — «Остров слез», скалистый, пустынный, свидетель бесчисленных человеческих трагедий. Несколько веков подряд он был главной базой работорговли в этой части Африки. До сих пор там сохранилось мрачное здание, где сортировали «живой товар» перед отправкой его в Америку и Европу. Страшно подумать, что еще не так давно здесь продавали людей, как скот, как животных...

Времена работорговли канули в вечность. Сегодня у сенегальцев своя республика, и перед ними открываются светлые перспективы.

Берег Слоновой Кости. Никогда не забыть мне изумительный золотистый песок, причудливые заросли пальм, непередаваемую красочность местных базаров. Особенно запомнился мне базар в Абиджане, где продавали ткани и всевозможные женские украшения. На большой площади разложены по лоткам свернутые в трубки, словно салфетки на праздничном столе, яркие ткани с большими декоративными рисунками. Тут же около лотков сидят портнихи и шьют покупательницам платья с короткой широкой баской...

Здесь в африканских городах мы видели ткани с портретами Патриса Лумумбы, видели женщин, одетых в платья, сшитые из таких тканей. Патрис Лумумба... Он живет в сердцах африканцев, он продолжает бороться вместе с ними за светлое будущее Африки. Сегодняшние сенегальцы, гвинейцы, жители Берега Слоновой Кости — это уже не те бесправные, униженные рабы, которых продавали с молотка на «Острове слез». Мы увидели людей с большими и прекрасными устремлениями, а не «взрослых детей» с примитивными желаниями, какими представлял их нам французский гид.

Радостно было нам встречать на полях Гвинеи советские тракторы ЧТЗ, управляемые гвинейскими юношами, слушать рассказы наших летчиков, обучающих гвинейцев совершенно новому для них делу — мастерству пилотирования.

Растут новые, гордые люди Африки, видящие светлые горизонты своей страны, люди, устремленные ввысь, в полет.

В добрый час, дорогие африканские друзья!

Танжер, белый город.

В гвинейском порту.

Окрестности Дакара.

На базаре.

Дакар вечером.

В африканских кварталах Дакара.

ДИТЕР НОЛЛЬ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ Вернера Хольта

РОМАН

■

Перевод с немецкого
Е. ЗАКС и Н. МАН

7

— Главное, чтобы мой пасынок не напал на след,— говорила Хольту фрау Цише.— Лишь бы Цише не пронюхал,— твердила она снова и снова,— иначе катастрофа!.. Он меня ненавидит, будь осмотрителен!

Одно время Хольт пытался хоть немного сблизиться с Цише. Как-то раз он спросил:

— А чем, собственно, занимается твой отец?

— Он уполномоченный по укреплению германской расы в генерал-губернаторстве.

Хольту его ответ показался маловразумительным.

— А как это делается?

— Ты же знаешь, что поляки — низшая раса. Но существуют известные градации, например, белокурые славяне, в жилах их предков некогда текла германская кровь. Мой отец разыскивает таких славянских детей в концентрационных лагерях, да и вообще в стране. Их отдают в немецкие семьи, в рейхе конечно, и воспитывают, как истых немцев. Впоследствии им будет обеспечен приток нордической крови. Контролируя этот приток из поколения в поколение, можно создать расу более высокого типа.

— А родители? — поинтересовался Хольт.

Цише пожал плечами.

Попытка сближения не увенчалась успехом. Вскоре Хольт случайно сделал открытие, которое привело не только к разрыву, но и к вражде между ними. У Цише был друг на батарее, низкорослый белокурый мальчик с мягкими волосами и мечтательным взглядом, по имени Финк. Хольт застал их вечером в орудийном окопе. Они его не заметили. Хольт ни одному человеку не рассказал о том, что видел.

Когда несколько дней спустя Хольт утром, часов около шести, старался неслышно прокрасться в барак, Цише бросил на него укоризненный взгляд, а после обеда, в присутствии Вольцова, Фетера и Гомилки, сказал:

— Тебе семнадцать лет, а ты только и знаешь, что путаться с бабами!

Продолжение. Начало в № 4.

Хольт опешил и промолчал. Вольцов ухмыльнулся.

— Это никого не касается,— сказал наконец Хольт.

— Удивляюсь, что, попав в болото, человек чувствует себя превосходно,— возразил Цише, презрительно глядя на Хольта.— Я, во всяком случае, всегда помню слова нашего писателя Флекса: «Оставаясь чистым, сделаться зрелым — вот самое высокое и самое прекрасное искусство жизни!»

Ярость охватила Хольта.

— Ах ты лживая тварь! Ты... ты говоришь о чистоте, а сам... с Финком...

Цише бросился на Хольта, но был так неповоротлив, что не мог с ним справиться. С той минуты они стали заклятыми врагами.

■

Хольт рассказал об этом столкновении фрау Цише.

— Очень неумно,— заметила она.— Ты сделал его своим врагом.

— Умно или неумно, а я не умею все рассчитывать, как ты! Он меня оскорбил, я не остался в долгу, вот и все.

По вечерам во время воздушных тревог они теперь оставались в квартире, возле радио. Зенитная артиллерия работала вовсю, но что ему было до этого?

— Если не сбрасывают бомб для указания цели,— объяснял он фрау Цише,— значит, сюда могут упасть две-три случайные бомбы, не больше.

Они чувствовали себя спокойно, квартира была тщательно затемнена.

Хольт любил часы воздушных тревог — в доме царила тишина, далекий гром зенитных батарей заглушал все остальные шумы. Он стоял на коленях перед фрау Цише у радиоприемника. Что-то в приемнике таинственно потрескивало, слабый свет шкалы освещал ее лицо. Он обнимал фрау Цише и неотступно смотрел ей в глаза, и чем дольше смотрел, тем больше подпадал под власть этой женщины. Она приникала к нему и часто-часто дышала от каждого его прикосновения. После отбоя они обычно шли в спальню и ложились на широкую кровать.

«Об этом спокойно можно говорить»,— любила она повторять название модной тогда книги.

Поначалу он возмущался цинизмом фрау Цише, но, когда однажды назвал ее бесстыдной, она его попросту высмеяла.

— Я лишаю тебя иллюзий? А кому они нужны? Да никому. Когда-нибудь ты еще будешь меня благодарить.

— Благодарить? — Нет, этого он не понимал.

— Большинство людей,— старалась она втолковать ему,— в любви неприхотливы, как животные.

— Животной любовь можно назвать, когда молчит сердце, когда чувство...

Но она заявила, что все это чепуха.

— К чему пустые слова! Животное не наслаждается — вот и все различие. Да и человек сначала должен этому научиться. Большинству это так никогда и не удается, особенно вам, мужчинам. Вы до того эгоистичны, что...

— А любовь? — упрямо переспросил он.

— Болтовня! Любви нет, есть только взаимное влечение.

Временами она пугала его.

— Любовь, поклонение, почитание,— говорила она,— все это очень мило, но в конце концов наводит скуку. Женщина не хочет, чтобы на нее

молились, чтобы ее обожали, она хочет подчиняться и испытывать наслаждение. Иногда — сама этого не понимая. Но если мужчина чего-нибудь стоит, он живо заставит ее понять. Запомни мои слова! Мужчина не должен улещать женщину, он должен подчинить ее себе и скорее силой, чем уговорами. Любовь? Каждая женщина станет изменять мужу, если он только любит, но не удовлетворяет ее.

Хольта в равной мере и отталкивали и привлекали ее речи, ее безудержная чувственность. Но, подпав под власть этой женщины, он мучился жгучей ревностью.

Однажды, уже утром, он со злобой спросил:

— Почему ты выбрала его в мужья?

Она полулежала, подпирая голову рукой, и с удивлением взглянула ему прямо в лицо.

— Ты его ненавидишь? Как странно. Ведь ты его и в глаза не видел.— Она взяла с тумбочки сигареты и спички. Он следил за движением голой руки. Она сунула ему в рот зажженную сигарету.— По правде говоря, я не знаю человека, который больше заслуживал бы ненависти.

Он, видимо, не понял.

— Ты хочешь сказать, он личность настолько сильная, что его можно либо чтить, либо ненавидеть?

— Вздор! Он грязное грубое животное с задатками преступника. Если бы нацисты не помогли ему вскарабкаться на высокий пост, не знаю, что бы из него вышло.

«Скотина, грубое животное, нацисты». Последнее слово он слышал всего раз или два в жизни, и оно, кажется, считалось бранным.

«Куда я попал?» — думал он. Но притворился, будто все это ничуть его не задело.

— Тем более не понимаю, почему ты вышла за него.

— Раз в жизни каждый ставит все на одну карту. И ему остается только надеяться, что это правильная карта.

— И ты все поставила на человека, который тебе отвратителен?

— Конечно, я не могла знать, что он будет заниматься таким гнусным делом. Да и вообще в ту пору многое выглядело по-другому. Я думала, он даст мне все, что я захочу, и... решилась.

— Ты... ты с твоей красотой? Тебе же это было совсем не нужно...

Она улыбнулась.

— Я была всего-навсего неплохой провинциальной танцовщицей. Надо же заботиться и о черном дне.

«Она продалась этому человеку»,— думал он.

— А в чем состоит его работа?

— Он выискивает детей в концентрационных лагерях для того, чтобы впоследствии скрещивать их с арийцами, как скот на случных пунктах! Он везде, где ужас и мерзость! От него зависит, отправят ребенка в рейх или в газовую камеру.

Хольт вдруг ощутил страшное стеснение в груди. Мельком слышанные разговоры, слухи стали уплотняться, принимать определенный образ.

— Не говори со мной об этом,— услышал он ее голос.— В генерал-губернаторстве эсэсовцы уничтожают сотни тысяч евреев и поляков. Цише называет это «необходимым ослаблением низшей расы». Евреи, можно сказать, уже истреблены.

«Низшая раса. Нордический сверхчеловек. Еврей и ариец. Так вот как это выглядит!» — мелькнуло в уме потрясенного юноши.

— Но... все это совсем не так обстоит... с расами... Мой отец профессор. Я однажды слышал, как он объяснял кому-то: расовая теория — это та же религия...

— Сравнение достаточно меткое,— перебила его фрау Цише.— Римляне истребляли христиан, инквизиция сжигала еретиков, а теперь мы

уничтожаем в газовых камерах евреев и поляков. Конечно, я ничего об этом не знала, когда выходила замуж за Цише. Он был крейслейтером и быстро делал карьеру. Это меня привлекло. Я тоже хотела быть среди тех, наверху.— Она говорила очень тихо.— Теперь все катится под гору. И, быть может, в один прекрасный день наваждение рассеется.

■

Перед самой утренней поверкой Хольт окольной дорогой подходил к бараку. Он просил Готескнехта разрешить ему увольнение не на день, а на ночь. Тот удивился:

— Надеюсь, вы не будете так глупы, чтобы добровольно отказаться от рождественского отпуска! — И, понизив голос, добавил: — Берите увольнительную, как обычно, а если вернетесь только утром, известите меня.

На рождество Хольт намеревался поехать к Вольцову. Но вдруг, поддавшись внезапному наитию, попросил оформить ему документы для поездки к отцу. Он не видел его без малого четыре года. Матери он об этом не написал ни слова. Да и отца не известил о своем приезде.

Уехать он должен был двадцать второго декабря. За несколько дней до отъезда, когда они с Вольцовом дежурили ночью у орудия, Шмидлинг отозвал их в сторону.

— Слушайте, ребята, что я вам скажу. Парни из Гамбурга да еще другие, с «Берты», хотят ночью напасть на вас, понятно?

На следующее утро, как только Цише ушел на занятия в другой барак, они устроили военный совет.

— А Гюнше, видно, еще мало надавали! — Вольцов злился не на шутку.— Я по горло сыт этой комедией! И считаю необходимым перейти к решительным действиям. Я ворвусь к ним и такое им покажу...

— Если мы начнем первые,— рассудительно заметил Гомилка,— мы же и будем виноваты.

— Вздор! — крикнул Вольцов.

Они стали готовиться. Нарезали ремней из портфеля Вольцова, прибили их к увесистым палкам, а Вольцов еще натер эти плетки жиром, прежде чем убрать в свой шкаф.

Много дней подряд шел снег. Бомбардировщики противника, теперь каждую ночь направлявшиеся к Берлину, вот уже несколько ночей подряд, долетев до Голландии, разворачивались и возвращались обратно. В этот вечер поднялась пурга, и можно было не ждать тревоги.

После того как дежурный закончил обход барака, они вскочили и оделись. Маленький Кирш, живший в бараке «Берта» и шпионивший в пользу Вольцова, доложил:

— Они пошли спать.

— Надеть каски! — приказал Вольцов.

Цише с рассеянным видом смотрел на их приготовления. Вольцов сказал ему:

— Теперь твоим дружкам придется присягнуть, что они от нас отвяжутся, не то я разнесу всю их лавочку! Ты останешься здесь,— приказал он.— Кирш, если Цише выйдет из комнаты, тебе не поздоровится.

Они обогнули барак «Цезарь», прокрались к «Берте» и по коридору подошли к большой комнате. Вольцов зажег свет. Рутшер и Фетер, не теряя ни секунды, задвинули столом дверь, открывавшуюся в коридор.

Гамбуржцы в испуге повскакали с кроватей.

— Добрый вечер,— сказал Вольцов.— Я слышал, что господа собираются на нас напасть, и притом превосходящими силами?

— Убирайся вон отсюда! — крикнул кто-то заспанным голосом.

— Молчать! — прорычал Вольцов.— Дайте честное слово, что вы не собираетесь на нас нападать. А то...

Гюнше обалдело снизу вверх посмотрел на Вольцова, стоявшего в опасной близости, и вяло проговорил:

— Мы не позволим принуждать нас к чему бы то ни было.

— Ну что ж, не будем! — в бешенстве закричал Вольцов.— Наступление — лучшая оборона, говорит Шлиффен. А ну давай, ребята!

И, пока Хольт и другие плетками избивали ошалелых гамбуржцев, Вольцов схватил аквариум, весивший не менее полцентнера,— крик ужаса вырвался из многих глоток — и швырнул его на постель Гюнше. Тот едва успел подобрать ноги, как огромный стеклянный ящик ударился о спинку кровати—да так, что кровать зашаталась,—разлетелся вдребезги. Пятьдесят литров воды пролилось на постель и на пол, всюду звенели осколки, меж них прыгали и бились рыбы... Гамбуржцев словно паралич хватил. Хольт три раза хлестнул Вильде по спине, прежде чем тому удалось заслониться. Вольцов, зайдясь от ярости, опрокинул шкафы, шмякнул о стену горшки с цветами, за ними последовали настольная лампа, вазы, пепельницы. Словно брошенный метателем диск, проплыла в воздухе картина и грохнулась оземь.

Вдруг дверь распахнулась. Зенитчики из других комнат, тоже в ночных рубашках, устремились было на помощь своим, но им помешал стол, вдобавок Фетер и Гомилка, как львы, защищали вход. Между тем Вольцов закончил свой подвиг разрушения. Напоследок он разбил еще подставку, на которой раньше стоял аквариум.

— С дровами будете! — крикнул он, в клочья изорвал календарь и швырнул радиоприемник в своего заклятого врага Гюнше, который в полном отупении сидел на кровати среди барахтающихся рыб и едва успел нырнуть под одеяло, спасаясь от пущенного в него снаряда.

— Готово! — заорал Вольцов.— Желаю приятного сна!

Комната выглядела как после прямого попадания бомбы. Вольцов и его приятели пробежали по коридору и помчались в свой барак.

На следующее утро настроение у всех было нервное и возбужденное. Хольт заметил, что гамбуржцы сторонятся «новичков». «Теперь они, вероятно, оставят нас в покое»,— подумал он. Готескнехт об этом случае начальству не доложил, ибо существовал неписаный закон — о методах так называемого самовоспитания не сообщать.

Капитан все же узнал о происшествии.

— Слушать меня! — прогремел он.— Пятеро бандитов с «Антона» сегодня ночью похозяйничали в «Берте». Форменные дикари!.. Швырять аквариумом... Да где же это видано? — И уже повернувшись, чтобы уйти, невесело добавил:— Из пятерых бандюг трое собрались в отпуск... Ну, да шут с ними.

Через два дня они получили в канцелярии свои бумаги.

— К отцу едете? — спросил Готескнехт.— Я ведь тоже из тех краев.

В Эссене Хольт, Вольцов и Гомилка остановили грузовую машину, которая и довезла их до Касселя. Оттуда поездом они доехали до Эрфурта, где им снова удалось поймать грузовик. Вольцов сидел впереди, в кабине, Гомилка, устроившись вместе с Хольтом в кузове под трепыхающимся брезентом, заметил:

— А жизнь-то, оказывается, недурна и без пушек.

Хольт, погруженный в раздумье, кивнул. Он ехал к человеку, которого уже почти не знал. Четыре года — немалый срок! Где-то в тумане

раннего детства маячили мать, отец. Его и сейчас еще пробирала дрожь при мысли о родительском доме.

— Ты с головой ушел в свою работу,— говорила мать отцу.— Зачем тебе, спрашивается, жена? — Или еще что-нибудь в этом роде.

Ссоры, ссоры!

— Почему ты так много работаешь, отец?

— У человека есть своя цель в жизни! Тот, кто не работает, влачит жалкое животное существование.

«Влачит жалкое существование, стреляет оленей, стреляет из пушки, дерется со «старичками». Какова моя цель? Сейчас война. Мы бьемся за Германию». С детства он читал: умереть за отечество, Лангемарк * и так далее.

Машина остановилась.

Хольт распрощался с друзьями.

Чужим выглядел город, неразрушенный большой город, непривычный, теснящий, смущающий. Хольт разыскал узкий переулок. По обе его стороны тянулись ровные ряды домов. «Гореть будет что надо»,— пронеслось в уме Хольта. Обшарпанный дом, третий этаж, вот и дверь... Хольту вспомнилась вилла в Леверкузене — жилище его матери,— очень современная, светлая, обсаженная деревьями, южный фасад весь из стекла. Здесь, в этой грязной дыре, на двери стояло просто «Хольт», без упоминания о докторской степени, о профессорском звании. Он позвонил. Неприветливая хозяйка дала ему адрес учреждения, где работал ее жилец.

Там вахтер переспросил его:

— Вам Хольта? Еще наверху. Вечно канителится. Идите-ка наверх.

Коридоры, лаборатория — тесная, слабо освещенная. Человек, склонившийся над микроскопом.

Так вот он, отец! Волосы на могучем черепе стали совсем белыми. Старый Хольт выпрямился и долго протирал глаза. Наконец он узнал сына.

— Вернер! Да, действительно Вернер!

Хольт неподвижно стоял в дверях. Он был разочарован, почему — и сам не знал. Его угнетала теснота этой скромной комнаты, скудный свет настольной лампы, потертый костюм отца... В памяти странным образом всплыли слова матери: «Чудак... Только работа на уме...»

— Я думал, ты обрадуешься,— сказал Хольт,— после стольких лет... Но не буду тебе мешать.

Профессор Хольт собирал свои вещи.

— Я очень рад. Ты нисколько не мешаешь, нет. Я здесь остаюсь после работы для испытания кое-каких красителей, прежде на это никогда не хватало времени.

«Это правда,— думал Хольт, еще более разочарованный.— У него на уме только работа...» Все еще неподвижно стоя у двери, он смотрел, как отец ставит в шкаф свои колбы и пробирки и осторожно убирает микроскоп в полированный деревянный ящик.

— Ну так, мой мальчик, мы можем идти.

Хольт молча шел рядом с отцом. Профессор был выше его ростом. Рассказать ему о себе? Да его ведь ничто не интересует. Он человеконенавистник, мизантроп...

В бедно обставленной комнатушке у окна стоял стол, заваленный бумагами, книгами, таблицами. В коридоре хозяйка брюзжала по поводу ненужных издержек, нежданных гостей и лишней работы перед самым рождеством. И опять мрачная атмосфера этой комнаты, этого чуждого и жалкого мира стала угнетать Хольта, заставила его с почти

* Место ожесточенных боев в Бельгии во время первой мировой войны.

враждебным интересом вглядываться в отца, спокойно набивавшего табаком коротенькую трубку. Чужой старый человек, человек с большим характером, раз у него достало сил жить в этой трущобе, носить потрепанный костюм, слушать брань злобной хозяйки, в то время как мать обитает в чудесной вилле. Что он там говорит?..

— О себе я самое важное уже рассказал,— произнес наконец Хольт.— А ты, отец, как ты прожил эти четыре года? — И тут же спросил себя: «Вправду ли это меня интересует? Или я спрашиваю его, только чтобы не молчать? Из всех чужих не самый ли чужой мне он?» Но в нем пробудилось любопытство к этой необычной судьбе.

— Как видишь,— отвечал профессор,— живу, работаю. То, на что мне прежде не хватало времени, я теперь делаю основательно, спокойно.

— Да, да, ты говоришь о своей работе... Я ничего в ней не смыслю. Я хотел спросить о... Ты живешь здесь очень небогато. Когда я вспоминаю прежние времена... У меня к тебе куча вопросов... В конце концов, я стал старше. Почему, собственно?..— Он умолк. «Не трогай этого»,— сказал в нем какой-то голос.— Почему,— упрямо повторил он,— расстроился ваш брак?

Удивление отразилось в глазах профессора. Он сосал свою трубку. Лампа на столе освещала его лицо, и тени ложились на глубокие морщины, сбегавшие от ноздрей к углам рта.

— Твоя мать,— неторопливо начал он,— и поныне кажется мне женщиной своеобразной и достойной самых лучших чувств... Но именно поэтому она была мне неподходящей женой.

— Так, так,— пробормотал Хольт.— Но повод! Когда ты уходил от нее, ведь должен был быть какой-то повод! Почему ты отказался от своего поста в Леверкузене? — И снова подумал: «Не спрашивай, не надо этого трогать!»

— Работа там меня не устраивала.— Это прозвучало так, словно отец уклонялся от прямого ответа.

— Но как же,— настаивал Хольт,— ты ведь уехал из Гамбурга, считая, что работа в промышленности сулит более широкие перспективы? И вдруг она тебе не подошла?

— Да. Вдруг она мне не подошла,— ответил профессор, устремив на сына задумчивый, оценивающий взгляд.

— А здесь,— вызывающе крикнул Хольт,— здесь, в дыре, работа рядового химика тебе подходит?

— Да, подходит.

Лицо профессора потонуло в сумраке комнаты. Голова, повернутая вбок, закрыла собою лампу. Седые волосы в ее свете блеснули серебром. Хольт, словно завороженный, не отрывал глаз от отца, неподвижно вглядывавшегося в темноту, погруженного в раздумье.

— Во второй половине жизни,— медленно начал профессор,— я похоронил немало иллюзий. Ты стал старше... отлично. К этим иллюзиям принадлежала вера в возможность работать на пользу человечества, по ту сторону житейской суеты. К этим иллюзиям, среди прочего, принадлежал и мой брак, а также желание... желание иметь сына и сделать из него человека по своему подобию... Но тот, кто лишился иллюзий, способен ждать. А для ожидания эта моя комната... нынешняя моя работа — самые подходящие.

Хольт тщетно пытался отвести взгляд от отца. Серьезность этой малопонятной речи невольно толкнула его на путь воспоминаний, и перед ним ожила давняя пора, раннее детство. В ту пору еще не началось отчуждение, в ушах еще не звучали уничижительные речи матери, и отец был олицетворением добра, всезнающий, всемогущий, ласковый и мудрый, друг и учитель.

— Отец,— сказал Хольт, и отзвук бессознательного тепла проник в его голос,— ты как-то сказал мне, очень давно: у человека должна быть цель в жизни, иначе он влачит животное существование. У тебя ведь была цель в Леверкузене. Скажи мне правду: почему ты отрекся от нее?

Старый Хольт наклонился и повернул свой стул. Теперь отец и сын сидели рядом в свете лампы.

— Цель,— повторил он.— Да, я так сказал. Но есть нечто, стоящее выше. Совесть, ответственность, верность самому себе. Возможно, для многих, и прежде всего в *наши дни* это ничего не значащие понятия. Но они значат многое. Я не мог нарушить врачебную присягу, а от меня этого требовали. По мнению моих коллег и сотрудников и твоей матери тоже, я не только легкомысленно подорвал основы своего существования, но еще и совершил бесчестный, предательский поступок. Но зато моя совесть будет чиста, когда все это минует.

— Когда что минует? — переспросил Хольт. Профессор бросил на сына такой взгляд, что у того кровь застыла в жилах.

— Так называемая «третья империя»,— ответил он.

Мысль, которую тысячи раз вдалбливали ему, всплеснулась в мозгу Хольта: «Измена... разложение...» Но ее тотчас же смыло, и опять остался только страх.

— Ты полагаешь, что?..— Он замолчал. Голос отца, трезвый и деловой, доносился до него, как из дальней дали.

— Ты носишь военную форму, носишь нарукавную повязку с этой штукой, свастикой, но ты отыскал меня и захотел от меня услышать правду. Под знаком, который у тебя на рукаве, национал-социалисты подготовили и развязали самую разбойничью, самую захватническую войну в мировой истории, и теперь они проигрывают ее, это очевидно и неизбежно. Тогда в «ИГ — Фарбениндустри» мне было предложено принять участие в разработке вещества, которое будет использовано для уничтожения людей. Я отказался. Более того, я назвал преступлением то, что ядовитое действие известных химических соединений испытывалось на запойных пьяницах, так как отлично знал, куда заведут эти широко задуманные опыты. И я оказался прав. Теперь в концентрационных лагерях эсэсовцы уничтожают сотни тысяч людей с помощью полученной в лабораториях «Фарбениндустри» комбинации из синильной кислоты и метилового эфира хлоругольной кислоты.

Хольт сделал какое-то движение рукой, не означавшее ничего, кроме растерянности и страха. Профессор, видимо, все понял. Он молчал. Тусклая лампа отбрасывала гигантские тени на выкрашенные маслом стены. Хольт несколько секунд боролся со страхом и поборол его, но заодно угасла и искорка тепла в его сердце.

Между ними вновь повеяло отчужденностью. Хольт дрожал, как от холода. Он смотрел на своего отца, и это снова был чужой, старый человек, нелюдим. «Швыряет мне свою правду, словно кость собаке, бросает меня наземь и оставляет лежать...»

Одно было ему ясно — надо скорей уходить отсюда. «Старик,— думал он,— старик сосет свою трубку и смотрит прямо перед собой. Здесь мое сердце стало глыбой льда! Что мне здесь надо? Что привело меня сюда, и зачем я стал задавать вопросы? Убежать! Но куда? К Герти»,— подумал он. И облегченно вздохнул. У нее тепло, укромно, радостно.

— Ну что ж, хоть повидались,— сказал он.— К сожалению, завтра утром мне уже надо уезжать. При нынешнем напряженном положении в воздухе...

Профессор понял. Теперь пришла его очередь сделать беспомощный жест рукой, и эта рука бессильно упала на стол.

— Тогда пойдем спать. В надежде, что воздушной тревоги не будет.

Утро настало морозное, колючее. Профессор, прямой и длинный, пошел в свою лабораторию. Хольт смотрел ему вслед. Отчужденность, разочарование и страх. Сейчас все это обернулось горечью и досадой. «Иди уж, иди,— злобно думал он.— Иди! Не нужен ты мне. Не хочу я ни тебя, ни твоей правды!»

И отправился на вокзал.

Скорый поезд для фронтовиков понес его на запад. Купе в вагоне были битком набиты солдатами всех родов войск. Заросшие лица, размякшие от сна, искаженные от бодрствования. И это — сочельник!

■

На следующее утро Хольт был уже в Гельзенкирхене, оттуда трамваем проехал в Эссен. Фрау Цише удивилась, услышав по телефону его голос.

— Можно мне прийти? — спросил он.

— Нет, Гюнтер Цише сегодня получил увольнительную и, вероятно, зайдет сюда.

Он стал умолять.

— Я сжег за собой мосты, ты не можешь оставить меня сейчас в одиночестве.

И услышал, как она сказала:

— Погоди! — Он ждал долго.— Так вот, поезжай в Боркен, это за рекой, как-нибудь доберешься. Затем пойдешь до развилки шоссе, повернешь направо и в ближайшей деревне, до нее каких-нибудь два километра, увидишь гостиницу «К источнику». Там мы встретимся. А Цише пускай злится. Я попрошу одного знакомого подвезти меня на машине. До скорого свидания. Я тоже рада.

Только к полудню добрался он до приветливой деревенской гостиницы. Фрау Цише уже была там и сидела в уголке, неприметная, скромная.

Потом они шли вдвоем по заснеженной равнине, уходящей далеко-далеко в сумерки. На луга, на ольху, на вербы, на болота и овраги медленно опускались большие снежные хлопья. Где-то поблизости проходила голландская граница. К вечеру снегопад кончился. Вдали стреляли зенитки. Но для них все это было вне жизни.

Он рассказал ей о поездке к отцу.

— Пожалуй, уж слишком пессимистично,— заметила она.— Но в общем-то он прав.— И она заговорила о роке, о бессилии.— Все мы только пешки в грандиозной игре.

Хольт был в подавленном настроении, эти речи пришлись ему по душе.

— Забудь обо всем,— требовала она.

«Ута тоже говорила: «Забудь!»

— Я не могу забыть.

— Погоди немного! Когда ты вернешься на батарею, все будет забыто.

После ужина они сидели у теплой кафельной печки, тесно прижавшись друг к другу. В радиоприемнике раздалось «Тихая ночь, святая ночь...», но слова были новые: «О, Бальдур *, свет изначальный...»

Хольт ничего не слышал. Теперь, когда за окном грозно и мрачно стояла ночь, он опять был растерян, на него нахлынули воспоминания, воспоминания о седовласом человеке и его словах...

Вскоре они ушли к себе в номер. Видимо, почувствовав, что с ним происходит, она отдалась ему покорно и безвольно.

* Персонаж германской мифологии.

«*Это* не должно меня свалить,— говорил он себе.— Тогда я нашел успокоение возле Уты, теперь здесь Герти... Нет, не дам этой болтовне сбить меня с толку. Не позволю!»

Утро настало белесое, окутанное ледяным туманом, но норд-ост разогнал тучи. На ясном морозном небе сияло зимнее солнце, и каждая верба отбрасывала на снег синие тени. Хольт и фрау Цише долго бродили вдвоем по белой равнине. Он шел рядом с нею, но был далек от нее, погружен в свои мысли. «Судьба,— думал он,— это то великое, темное, неведомое, во власть чего мы отданы...» Она рассказывала о себе. Ребенком она начала учиться танцевать, а в шестнадцать лет уехала в Европу с балетной труппой, побывала в Англии, во Франции, в России.

Он насторожился.

— Ты была в России?

— Это страна безбрежная, как небо, простирающееся над ней. Кажется, ты тонешь в нескончаемых далях. Словом, читай Достоевского,— донесся до него ее голос.

Его взгляд уперся в горизонт, где сверкающая белизна снежной пелены, без всякого перехода, сливалась с небесной синевой.

— Почитай, что пишет Рильке о русской душе,— сказала она, и паутина его мыслей внезапно разорвалась.

Он остановился.

— Я полагаю, что все они недочеловеки, разве не так?

Ее ответ был краток:

— Надо же иметь какой-нибудь предлог, чтобы истреблять их.

8

Стояла зима, снегопады сменялись морозами, потом опять выдавалось несколько дней потеплее. Но с января начался период жестоких холодов. Несмотря на это английские бомбардировщики каждую ночь пересекали границы рейха.

Зенитчики коченели у орудий. Пятая военная зима. Гомилка говорил:

— И дома топить нечем, и с питанием становится все хуже.

Фетер высказал гениальное предположение:

— Эти-то, наверху, должны отморозить себе задницы.

— Ничуть не бывало,— возразил Вольцов,— им тепло. Четырехмоторные имеют герметическую кабину, и летчики в комбинезонах с электрическим подогревом скорее обливаются потом, чем мерзнут.

— Замолчи, ты! Обливаются потом, какая чушь! — Хольт плотнее укутывал ноги шерстяным одеялом, но холод лез выше, и он дрожал, как в ознобе. Фетер не унимался:

— В сбитом «стирлинге» нашли шоколад и первосортные сигареты! И кофе они пьют настоящий!

Цише его перебил:

— Заткнись, это уже граничит с разложением.

— Я — и разложение! — вознегодовал Фетер.— Да ты просто скотина!

— Тихо! Воздушная обстановка! — Они умолкли и приготовились к стрельбе.

В эти морозные ночи Кутшера появлялся на батарейном командирском пункте только тогда, когда все орудия были готовы к открытию огня, и при первой возможности исчезал снова.

— Если произойдет что-нибудь чрезвычайное, дайте мне знать,— говорил он Готескнехту. Он приказал провести телефон с командирского пункта к себе в барак.

Покуда все было спокойно, Готескнехт в меховой и отнюдь не военной шапке ходил от орудия к орудию, распределяя по расчетам таблетки Виберта.

— Берите, Хольт, эта штука помогает от кашля и хрипоты, так, во всяком случае, написано на коробке.

Однажды ночью, когда ребята медленно превращались в ледяные статуи, Вольцов сварил грог. Спиртом он разжился у оружейника. О том, кто ссудил его араком, он упорно молчал. Они пили этот живительный напиток прямо из крышек котелков и пригласили Готескнехта разделить с ними пиршество. За это он поставил Вольцову единицу. Вскоре алкоголь до такой степени замутил головы юнцов, что наводчики стали делать ошибки в установках. В то время как бомбардировщики проходили на севере, «Антон» палил на юг. Вдобавок утром выяснилось, что они расстреляли все снаряды, специально подготовленные для стрельбы по низколетящим самолетам. Этого уже нельзя было утаить. Готескнехт переправил единицу Вольцова на шестерку.

Одиннадцатого января Хольту исполнилось семнадцать лет. Гамбургские родственники прислали ему ящичек сигарет, мать — открытку с небрежно написанной фразой: «Желаю всего лучшего ко дню рождения». Хольт затянулся сигаретой и сказал:

— Да, Зепп... Так называемые кровные узы, собственно, очень тонки. Сколько есть чужих людей, которые тебе куда ближе родных.

Ящичек с сигаретами Хольт получил накануне своего дня рождения, десятого января. Одиннадцатого по почте пришел пакетик от Уты. Хольт был удивлен. Он не помнил, чтобы когда-нибудь называл ей дату своего рождения. Из бумажных оберток появилась книжечка в шелковом переплете, стихотворения Фридриха Гёльдерлина. Хольт торопливо пробежал глазами письмецо. Ута писала, что ее подруга, Хельга Визе, назвала этот подарок «скудным», уверяя, что хорошо прокопченный ветчинный рулет доставил бы юным воинам куда больше радости, чем томик стихов. Но она, Ута, знает его поэтическую натуру, знает, что духовное наслаждение он всегда предпочтет еде. Хольт рассмеялся, но сконфуженно умолк, прочитав письмо до конца. Многие стихи в этой книжечке принадлежат к ее любимым произведениям. «Может быть, читая их, ты вспомнишь обо мне»,— писала она. Он полистал книжку.

Разве сердце мое не священно,
Не полно дивной жизни с тех пор, что люблю я.

Гомилка сидел рядом с Хольтом, не спуская с него глаз. Потом он встал и вышел из комнаты. Волна ледяного холода ворвалась в дверь. Хольт вздрогнул.

Под вечер позвонила фрау Цише и сказала, что хочет сегодня устроить ему «до чертиков уютный вечер». Он помчался в канцелярию. Готескнехт дал ему увольнительную. Но едва стемнело, раздалась команда «К орудиям!», и Хольт до утра просидел у орудия.

Самолеты опять искали дополнительные цели. Около сотни четырехмоторных бомбардировщиков сбросили свой груз на Ботроп, потом бомбы обрушились на северные районы Эссена, алое пламя взметнулось в морозно-синие небеса. Вольцов влез на бруствер и уставился взглядом на пылающее море домов.

— Нда, черт подери,— сказал он,— там уж никто на холод не жалуется.

Остальные коротко и мрачно рассмеялись.

Через три дня был день рождения фрау Цише. К великому своему огорчению и досаде, Хольт обнаружил, что у нее полным-полно балетных

девиц и актеров. Фрау Цише минут на десять подсела к нему, пытаясь его успокоить.

— Я тут ни при чем. Не выгонять же их. Погоди немножко, я уж устрою так, что мы с тобой два-три дня опять побудем вдвоем.

Со злости он все время пил французское вино, запас которого у фрау Цише был, видимо, неисчерпаем, нарочно не приглашал ее танцевать и отплясывал с захмелевшими балеринками. Он чувствовал себя чужим среди этих людей, чужой была ему и фрау Цише. Внезапно он решил уйти и стал торопливо прощаться. Она шепнула:

— Не спеши. При воздушной тревоге я их всех выставлю за дверь.

— Мне надо на батарею,— упрямо отвечал он.

Высоко вздернув брови, она смотрела ему вслед. Он с удовлетворением подумал, что огорчил ее. В темном коридоре Хольт наткнулся на усатого мужчину, тискавшего девицу. Усатый вдруг плаксиво сказал:

— Уже уходите, камрад! — Хольт с презрением взглянул на него и не ответил. Другой мужчина в штатском пел:

— «Сегодня дама... а завтра яма!» Наш-то Великая Германия, вы же его знали, унтер-офицер, убит!

Хольт с силой захлопнул входную дверь. Без малого две недели он ничего не знал о фрау Цише, а потом все-таки позвонил ей.

■

Морозы стояли до конца февраля. С топливом было худо, и все мерзли даже в бараках. Вольцов потихоньку сорвал крышу с домика на садовом участке и до отказа набил печку досками и толем.

— Бандиты! — орал капитан, к которому поступила жалоба.— Жгут садовые домики, а в них живут разбомбленные. Конечно, это Вольцов постарался. Если такая история повторится, я вас арестую!

Но никто не принял всерьез этой угрозы. Между Кутшерой и Вольцовом давно уже установилось полное взаимопонимание.

В последних числах февраля снег начал таять, и огневая позиция батареи превратилась в топь. Затем настали солнечные весенние деньки. Зенитчики теперь день и ночь сидели у орудий. По ночам налеты на города совершали англичане, а днем весеннее небо кишело американскими бомбардировщиками. Сопровождаемые эскадрильями истребителей, они бомбили города, промышленные объекты и железнодорожные узлы. В сорок третьем году преобладали ночные налеты. Теперь все было по-другому.

Четыре раза в день на батарее объявлялась воздушная тревога, бомбардировщики летели на Рур. Расход снарядов непомерно возрос, подноска боеприпасов все больше оттесняла в сторону школьные занятия. Каждый день шли воздушные бои, они начинались у голландской границы и продолжались над территорией Германии. Каждый день увеличивалось число сбитых машин, четырехмоторных «мустангов», «фокке-вульфов», «мессершмиттов». Но бомбардировщиков противника ничто не могло остановить.

Хольт лежал на своей кровати, у него болела грудь. Утром им опять делали прививки не то против тифа, не то против дифтерии, никто толком не знал. Вольцов читал. Фетер играл в скат с Киршем и Цемтцким.

— Опять мы сбили семь машин,— пропищал Цемтцкий,— когда-нибудь же это должно сказаться на противнике.

Гомилка деловито заметил:

— В среднем наша зенитная артиллерия сбивает пять из ста самолетов противника, и практически это никакого значения не имеет.

Тревога выгнала их из комнаты. У орудия Вольцов рассказывал о том, что происходит на фронтах.

— Вы даже представить себе не можете, что творится на Востоке! Я случайно читал комментарий. В сводке верховного командования ничего этого нет. Между южным и центральным участками фронта русские вбили клин шириною в триста километров! Житомир нами сдан, Кировоград сдан, Кривой Рог сдан.

— Но ведь фюрер девятого ноября ясно сказал: «Не имеет значения, если военная необходимость заставит нас поступиться сотней-другой километров...»

— Военная необходимость? Русские заставили — вот и весь сказ! Ах, да придержи-ка лучше язык,— накинулся Вольцов на Цише,— такому дурню, как ты, фюрер должен бы все это разъяснить помягче. Военная правда, она только для смелых мужчин, вроде меня.

■

Зенитчиков рождения 1926 года из Гамбурга и городов Рурской долины откомандировали на оборонительные работы. Унтер-офицер Энгель с тремя обер-ефрейторами еще в середине февраля отправились в путь, чтобы где-то на востоке подготовить новое пополнение — школьников рождения 1928 года.

После «блестящей операции» Вольцова распря между ним и гамбуржцами угасла. Но в один прекрасный день верный Шмидлинг сообщил:

— Те, гамбургские, ей-богу, не вру, говорят: раз все равно идти на оборонительные работы, так уж всыпем им хорошенько! — Вольцов только презрительно фыркнул.

Гамбуржцев должны были отпустить пятнадцатого марта. Двадцатого прибывала замена. Двенадцатого марта четыре орудия 107-й батареи, в том числе «Антон», на неделю снимались с огневых позиций и направлялись в ремонт. «Антона» вывели из окопа, и огромный тягач потащил его через поле. Вольцов, Хольт и Фетер сопровождали «Антона» в ремонтные мастерские. Фетер очень похудел за последние полгода. Его одолевала бессонница.

В последующие дни, поскольку батарея огня не вела, зенитчики решили хорошенько отоспаться. Но Кутшера внезапно спохватился, что дисциплина у них сильно хромает, и заставил всех заниматься строевой подготовкой. Вечером они докрасна раскалили печку и после обхода дежурным спальных комнат смертельно усталые повалились на койки.

Вдруг в комнату ворвался Цемтцкий:

— Гамбуржцы идут! С ними еще другие! Тридцать человек!

— Скоты проклятые! — крикнул Вольцов.— Живей, ребята, готовься! — Он взял на себя командование и первым делом схватил за плечи Цише.

— Если ты не поклянешься, что будешь держать нейтралитет, я тебя в бараний рог согну! — Волей-неволей Цише дал честное слово, но тем не менее стал одеваться.

Вольцов организовал оборону. Его план контратаковать приближающегося противника в открытом поле не нашел поддержки. Цемтцкий сообщил:

— Они сперли у оружейника ампулы со слезоточивым газом.

— Приготовить противогазы и каски! — приказал Вольцов.

Гомилка привез из отпуска пневматическое ружье и теперь заряжал его хлебными шариками. Для пробы он выстрелил в ладонь Вольцову.

— Отлично! — одобрил тот.— Пали им прямо в рыло, Зепп!

Выбивалки для мягкой мебели Вольцов забраковал.

— Нам нужно оружие посолиднее.

Они быстро разобрали решетчатый настил перед бараком. Кто-то притащил ящик с фантой — напитком вроде лимонада с кофеином. Гомилка опрокинул стол на ребро и укрылся за ним со своим пневматическим ружьем.

Вольцов и Хольт дожидались на холоде в дверях барака.

Около одиннадцати появились гамбуржцы. Хольт подал сигнал тревоги. Вольцов притаился в темном коридоре. Когда гамбуржцы открыли дверь, он ударил первого из них кулаком в живот, да так, что тот упал и увлек за собой еще двоих. Поскольку внезапное нападение не удалось, ни один из них не отважился приблизиться к Вольцову. Однако бомбардировка камнями и комьями глины принудила его отступить в комнату. Он изнутри запер дверь на щеколду. В коридоре уже было полным-полно народу.

Некоторое время все было спокойно. Но гамбуржцы пробили отверстие в верхнем углу двери, как оказалось, достаточно широкое, чтобы Гомилка мог просунуть в него ствол ружья. Он спустил курок. «А-а-а!» — раздалось в ответ, и дыру мгновенно заткнули.

— Великолепно, Зепп!

Гюнше вне себя от ярости проревел:

— Еще один выстрел из ружья, и мы так вас отделаем, что в госпиталь сволокут!

— Посмотрим! — крикнул Вольцов в ответ.

Цемтцкий протиснулся к нему.

— Гильберт, они говорят, что ты трусишь, трусом тебя назвали! — подзадоривал он, ухмыляясь.

Гамбуржцы опять пошли на штурм двери. На этот раз Гомилка промахнулся, а в комнату влетела ампула со слезоточивым газом, за ней вторая... Все поспешно надевали противогазы. Гамбуржцы были явно разочарованы и стали совещаться. Теперь уже Вольцов разъярился, одним ударом разбил табуретку и вооружился ее ножками.

Как только разлетелся дверной замок, гамбуржцы ворвались в комнату. Трое были немедленно сбиты с ног и со стонами уползли в коридор. Вольцов, как одержимый, размахивал ножками табурета, но вдруг упал. Целая свора гамбуржцев бросилась на него. Хольт, которому отчаянно съездили по физиономии и по голове, был почти без сознания. Перед его глазами проплыло широкое лицо Цише. «Скотина, грязное животное, насильник!..» Хольт ринулся на Цише, присевшего в углу за койками, и обеими руками схватил его за горло. Наконец-то! Оба повалились на пол. Цише хрипел. Вдруг кто-то треснул Хольта по голове. Он выпустил свою жертву. Голос капитана гремел:

— Эти бандиты истребляют друг друга! Да где ж это видано!

В дверях стоял Кутшера, за окном — Готескнехт. На полу, схватившись за головы, сидели и лежали несколько человек. Санитар бинтовал кому-то окровавленную голову. Вольцов, целый и почти невредимый, стоял перед капитаном, все еще держа в руках ножку стула, и бормотал:

— На нас напали превосходящими силами!

Кутшера прорычал:

— А тот, кто все это затеял, вышел сухим из воды! Вы, кажется, воображаете, что у меня можно чем угодно заниматься?

В результате семерых отправили в санчасть: Фетера, Гомилку и пятерых гамбуржцев. У Фетера была сломана переносица, Гомилка только беспомощно ухмылялся, у него был выбит зуб, лицо его казалось совсем другим, а улыбка скорее смахивала на гримасу, в волосах запеклась кровь, за ухом зияла рана.

Готескнехт прошептал:

— Я знал, что так все и будет!

Хольт, непроизвольно всхлипнув, пробормотал:

— Безумие! Вопиющее безумие!

Он навестил Гомилку в санчасти. Гомилка лежал с забинтованной головой. Рану ему зашили без наркоза.

— Живодеры, и все тут! — объявил он.— Что слышно на батарее? Я вот думаю — из-за чего мы, собственно, передрались? Все нервы.

— Из принципа,— отвечал Хольт.— Только из принципа. У Фонтане один герой презирает дуэль, отдает себе полный отчет в том, что это чепуха, и тем не менее стреляется и убивает тоже из принципа.

Гомилка с усилием повернулся к нему.

— Если из принципа совершают бессмысленные поступки, значит, это ложный принцип.

— Не стоит ломать себе над этим голову.

— Закон действий нам предписан! — Гомилка, видимо, утомился, потому что ничего больше не сказал.

Хольт от него поехал к фрау Цише. Увидев его, она воскликнула:

— Бог мой, на кого ты похож!

Он рассказал ей о случившемся.

— Я чуть не придушил этого Цише!

Она провела рукой по его волосам:

— Успокойся же! Хочешь чаю?

Прикосновение ее руки сделало его расслабленным и безвольным. «С ней все тяжелое легко»,— подумал он. Она наливала чай и болтала о пустяках. В комнате было тепло и уютно, его охватывал ужас при мысли о возвращении на батарею. Он решил остаться с фрау Цише на всю ночь, заранее зная, что Готескнехт не сумеет его выгородить. Но ему и это было безразлично.

— Я сегодня уволен до утра,— соврал он.

Она решительно сказала:

— Вернер, сегодня тебе нельзя оставаться здесь.

Он с удивлением смотрел на нее.

— Пойми,— продолжала она,— Цише должен приехать в отпуск, я жду его со дня на день.

Он с трудом понял, что она говорит не о молодом Цише, а об его отце, этом толстом противном старике.

— Но...— с трудом выговорил он,— а как же я?

— Не волнуйся. Он пробудет здесь всего два-три дня.

— Всего два-три дня...— Он схватил фрау Цише за локоть, грубо, яростно.— Если ты позволишь ему к себе притронуться...

Она испугалась. Но, когда он сжал ее локоть, ее лицо смягчилось, веки опустились. Она вырвалась и сказала:

— Ты слишком много себе позволяешь!

«Ах, так!..» Он выпустил ее руку, схватил шинель и надел пилотку. Она следила за ним равнодушным взглядом. Его энергия уже выдохлась. Он ждал, чтобы она сказала хоть слово. Но фрау Цише молчала. Спускаясь по лестнице, он впал в отчаяние: «Теперь я совсем один на свете!» Гордость оставила его, он вернулся и позвонил у двери. Она не сразу ему открыла. Он стоял на пороге с пилоткой в руке. Она потянула его в прихожую, откинула прядку волос с его лба и усмехнулась.

— Глупый мальчик, позвони, когда тебе снова дадут увольнительную.

Недвижимый, он стоял перед ней.

— Ты сумеешь?..

— За кого ты меня принимаешь? Женщина всегда сумеет.

Орудия из мастерской прибыли обратно, работы у всех было по горло. На следующий день и Гомилка вернулся из санчасти. Хольт и его одноклассники были произведены в старшие рядовые вспомогательной службы. Гомилка — затылок у него был залеплен пластырем — попытался сострить:

— Значит, мы теперь «старички», это здорово.

Под вечер на батарею прибыла замена, школьники 1928 года рождения, из Силезии. Хольт, Вольцов, Фетер и Гомилка, стоя возле канцелярии, смотрели, как новички вылезают из грузовика и дефилируют перед каптеркой.

— Вот и мы так прибыли когда-то,— заметил Гомилка.

Хольт молча кивнул. От того дня их, казалось, отделяла вечность.

— Ребята, мы своего добились,— хрипло гаркнул Фетер.— Теперь мы «старички»!

Батарея построилась на проезжей дороге. Новоиспеченные старшие рядовые из огневых взводов были распределены в качестве командиров орудий и наводчиков по всем шести расчетам. Шмидлингу с трудом удалось оставить Вольцова, Хольта, Гомилку и Фетера в расчете орудия «Антон». Кутшера, как всегда простоволосый и как всегда сопровождаемый сеттером, встал перед строем.

— Слушать меня! — Впрочем, на этот раз он ни словом не упомянул о самовоспитании.

9

В последующие недели по приказу Кутшеры ежедневно проводились занятия по боевой подготовке.

Англичане совершали налеты на Германию каждую ночь, американцы — каждый день. В апреле налеты стали еще более интенсивными. Постоянные занятия не оставляли зенитчикам ни секунды свободного времени.

— Это верный признак,— говорил Шмидлинг,— что скоро приедет комиссия.

И действительно, в конце апреля командир подгруппы известил о своем приезде. Правда, этот приезд все откладывался, и только в мае на огневую позицию батареи прибыла целая колонна машин.

Майор, а за ним, как за кометой, хвост капитанов и лейтенантов скрылись в бараке командира, предоставив выстроенной батарее ждать.

— Сейчас они по случаю встречи водку хлещут, да еще первосортную,— громко и бесцеремонно заметил Фетер.

— Не разговаривать в строю! — прикрикнул кто-то.

Вскоре подошел майор Белинг со своей свитой, но едва капитан Кутшера успел ему доложить, как на огневую позицию батареи, сигналя, въехала еще одна автоколонна. Гомилка в положении «смирно» пропел:

— «Ах, не знаешь ты, не знаешь!..»

Из лимузина вылез генерал артиллерии Бергман, сопровождаемый полковником и стайкой подполковников и майоров. Кутшера, стараясь растянуть в ширину свою лошадиную физиономию, встал на правый фланг.

Генерал сам проверил у солдат личные знаки и даже осмотрел подметки солдатских ботинок. Затем высказал желание присутствовать при учебно-боевой стрельбе батареи. День был теплый и ясный. Мишенью служил самолет «хейнкель-111». На батарейном командирском пункте набилось столько офицеров, что трудно было работать на приборах. Генерал пожелал также проверить знание тактики капитаном Кутшерой

и умение одного из вахмистров управлять огнем батареи. Но прежде чем команды генерала успевали пройти по инстанции от генерала до капитана, их уже выполняли.

— Я вижу,— удовлетворенно заметил генерал,— что ваша батарея работает с безупречной слаженностью.

Через десять минут раздалась команда «Воздушная тревога!», и Готескнехт приказал выложить опознавательные полотнища. «Хейнкель» пролетел над батареей и, урча, направился к ближайшему аэродрому.

Генерал поспешил уехать. На батарее остался майор. Десятью минутами позднее поступило сообщение: «Большая группа бомбардировщиков в сопровождении истребителей приближается к границам рейха». Подав команду «К бою!», Кутшера снял каску, шинель, китель и велел принести себе из барака плащ. Казалось, он одновременно видел все, что происходит на батарее.

— Убрать опознавательные полотнища, живо!

— В воздухе пока только наши машины,— заметил майор.— Полотнища убирать нельзя.

Кутшера обернулся к майору и прищурил глаза.

— Устав, господин майор! Батарея в готовности к открытию огня. Через две-три минуты бомбардировщики будут над нами.

На командирском пункте царило смятение. Выполнять команду Кутшеры или не выполнять? Уязвленный майор сказал:

— Оставьте полотнища на месте, нельзя слепо придерживаться буквы устава.

Огромный, десять на десять метров квадрат из белых полотнищ с большим крестом посередине, хорошо видный с высоты и в двенадцать тысяч метров, остался на месте — яркая мишень в самом центре огневой позиции. Через несколько минут ни один человек об этой мишени уже не думал.

С северо-запада, на высоте пять тысяч метров, приблизился первый эшелон бомбардировщиков, и команда Кутшеры «Огонь!» не вызвала возражений майора. Батарея стреляла четырьмя орудиями, и стреляла очень точно, так что даже майор, все время смотревший в бинокль, воскликнул: «Отлично!» Эшелон за эшелоном проходили над ними бомбардировщики в юго-восточном направлении. Зенитчики работали четко и ритмично, без каких бы то ни было признаков нервозности. Вдруг шестнадцать бомбардировщиков «боинг» отделились от первой группы и ринулись прямо на батарею.

Все разом вспомнили об опознавательных полотнищах, но было слишком поздно.

Гремели выстрелы. Люди у прибора управления и у дальномера пригибались к земле и с искаженными лицами считывали данные для стрельбы, покуда в оптические приборы не стало видно, как бомбардировщики сбрасывают бомбы. Все, от майора до последнего солдата, бросились в укрытие. Только Готескнехт, скрючившись в три погибели, оставался на месте, а Кутшера, стоя с непокрытой головой, орал:

— Убирайте же полотнища, бандиты проклятые!

Внезапно перед ним очутился маленький Цемтцкий. Видимо, он выскочил из убежища, лицо у него было багровое, а указательным пальцем он тыкал в воздух, точь-в-точь как в школе.

— Я... господин капитан... я! — Он стремглав помчался через поле и скатал полотнища. Но в это мгновение назойливый шум моторов в воздухе сменился свистом, быстро переросшим в ураганный шум. Затем все умолкло. Тишину прорезали выстрелы двух пушек, к ним тотчас же присоединились другие орудия, заработал прибор управления огнем, и батарея стала яростно, но вразброд палить вслед улетающим бомбардировщикам. Ни одно орудие не пострадало. Несколько беспорядочный вид

имел командирский пункт, но и там ничего страшного не случилось. Только Цемтцкий, Фриц Цемтцкий, мертвый лежал возле командирского пункта.

■

Хольт стоял в бараке оружейника, где среди инструментов и запчастей на полу лежал Цемтцкий, с головой накрытый одеялом. Глаза Хольта горели. Долго стоял он перед серым свертком. И вдруг, поддавшись смешанному чувству страха и любопытства, откинул одеяло. Лицо у Цемтцкого было, как всегда, юное и задорное. Но половины грудной клетки не было... и сердце больше не билось. Цемтцкий был мертв.

Дверь скрипнула. Гомилка искал Хольта. Он вошел, и губы у него скривились, словно от отвращения. Дырка вместо переднего зуба искажала его лицо. Хольт нагнулся и прикрыл труп одеялом.

— Первого июня ему бы стукнуло семнадцать,— сказал Гомилка.

В орудийном окопе Хольт присел на станину лафета. Гомилка прислонился к стенке. Оба курили. Гомилка проговорил:

— Следующий, возможно, я!

— Или я,— перебил его Хольт.

— У меня день ото дня все тяжелее становится на душе.— Гомилка слегка шепелявил из-за отсутствия зуба.— Оттого, что нас еще не раздолбали. Мой двоюродный брат служит в Дармштадте. Там расколошматили все радары, а от четырнадцати батарей осталось ровнехонько двадцать орудий. Каждый третий солдат убит, каждый второй ранен. Завод, конечно, тоже снесен с лица земли. Верь мне, скоро придет и наш черед.

— Они нас в котлету превратят,— отозвался Хольт.

— Они всю Германию в котлету превратят,— заметил Гомилка.

Приятели долго молчали. Но Гомилка начал снова:

— Русских мы не остановили. Наши уже из Одессы ушли. Если так пойдет дальше...

— Что-то должно случиться в самое ближайшее время,— решительно сказал Хольт.

— Вопрос только в том, что именно?

— Не знаю.

В комнатах чуть не до утра шли споры, виноват ли командир в смерти Цемтцкого или нет. Цише взволнованно твердил:

— Принцип единоначалия не терпит разлагающей критики. Вы в заговор вступаете, что ли? Подобные разговоры о действиях начальника — это же разложение армии!

Вольцов тоже накричал на Гомилку, но потом хлопнул ладонью по столу:

— Точка! У нас война, и, значит, каждого может пристукнуть.— И он развернул на столе свои карты.

■

Наутро после беспрерывной ночной стрельбы весь личный состав батареи, выстроенный на утреннюю поверку, испытал немалое удивление — Кутшера вышел в полной форме.

— Батарея, хайль Гитлер! Майор остался доволен. Так же, как и господин генерал. И еще: штаб дивизии закончил проверку документации и установил, что из тридцати четырех сбитых в сентябре самолетов четыре числятся за нами. Не разговаривать в строю! Четыре сбитых самолета занесены на наш счет! Если у вас имеется краска, вахлаки несчастные, можете намалевать кольца на стволах.

Шеренги пришли в движение.

— Батарея! Смир-рно! — рявкнул Кутшера.— Почтим память камрада Цемтцкого, павшего за фюрера и отечество! Смир-рно! Слушать меня! Еще в Гамбурге батарея понесла тяжелые потери. Убитый — тут ничего нового нет, Цемтцкий был храбрый парень, за это майор пожаловал ему «Железный крест» второй степени. Соблюдать тишину в строю! Я говорю: если трепотня по комнатам относительно опознавательных полотнищ не прекратится, я доищусь зачинщиков и арестую их! Война без убитых — да где же это видано!

Четыре сбитых самолета! Цемтцкий был забыт. Вольцов из себя выходил:

— Еще два, и мы получим значки за отличную зенитную стрельбу.

Хольт шел с Гомилкой по решетчатому настилу, он чувствовал себя вконец разбитым.

— Зепп, четыре самолета — это же просто нечистая совесть майора.

— Посмотри кругом,— ответил Гомилка,— вчера все были в подавленном состоянии, а сейчас?

На занятиях Хольт сидел рассеянный и невнимательный. Потом ушел в барак и повалился на койку. «Если меня убьют, уже на следующий день ни одна душа обо мне не вспомнит».

Готескнехт распахнул дверь.

— Черт знает что, вы опять отлыниваете от занятий! Подите-ка вызовите Гомилку.— Хольт повиновался.— Вы оба ближе знали Цемтцкого, помогите мне написать письмо его матери.

Уже в канцелярии он сказал Хольту:

— Тут одна дама звонила, спрашивала, не случилось ли чего с вами. Слух разнесся, что у нас на батарее было жарко. Я сказал, что вы целы и невредимы и Цише тоже.

«Она боялась за меня»,— с радостью подумал Хольт. Но тут же испугался: «И о Цише спрашивала?.. Знает ли Готескнехт?» Он покосился в его сторону. Вахмистр усердно что-то писал, и только Гомилка состроил ироническую физиономию.

— Он был единственным сыном,— сказал Гомилка. На письменном столе лежал «Железный крест» на красной орденской ленте.

«Цемтцкому от этого никакого проку нет,— подумал Хольт.— Если бы у меня, простого рядового, был на груди «Железный крест», он привлекал бы всеобщее внимание!»

— «...Выполняя свой долг...» — прочитал Готескнехт.

«А было ли его долгом,— думал Хольт,— бежать под градом бомб? О чем, собственно, он думал? Может ли быть, что он хотел отличиться?»

— Что вы на меня уставились? — воскликнул Готескнехт.— Не могу же я писать, как все было с этими полотнищами.

— Они и без того все узнают,— возразил Хольт.

— Хватит! — заявил вахмистр.— То, что вы еретик, у вас на лбу написано! В этой войне, Хольт, уже погибли миллионы — солдаты, женщины, дети, вам это хорошо известно, но до вчерашнего дня вас это не тревожило.

— Господин вахмистр,— начал было Гомилка,— мне думается...

— Придержите язык,— набросился на него Готескнехт,— вы воображаете, что я завел с вами беседу насчет той ерундовины, которой набита ваша башка?

Хольт непонимающе взглянул на него. Что это еще за новости? Готескнехт склонился над столом и, понизив голос, сказал:

— Цише ведет дневник. Записывает каждое слово, сказанное вами в его присутствии. «Откуда Г. знает точную цифру сбитых самолетов противника?» Знак вопроса! Краснеть не имеет смысла, Гомилка! Листовка английского маршала авиации Гарриса к немецкому народу, а? Покор-

нейше вас прошу впредь держать язык за зубами. Не устраивайте неприятностей, мне и так нелегко приходится, я ведь играю роль буфера между вами и начальством. Вы меня поняли?

Оба промолчали, потом отдали честь и вышли из барака. Мысли Хольта мешались. «В этой войне уже погибли миллионы... но до вчерашнего дня вас это не тревожило... Что это? Упрек?»

— Зепп, как ты понимаешь слова Готескнехта? Что он имел в виду? Что подразумевал под «листовкой к немецкому народу»?

— Мне это не совсем ясно.

— Прежде я понимал, что происходит,— продолжал Хольт.— А с тех пор как я здесь, мне кажется, что почва уходит у меня из-под ног.

— Прежде ты понимал, что происходит? Неужто?

— Это... это внутренний подлый голос. Мы обязаны отупеть. Все солдаты тупицы!

Но подобная мысль не принесла ему успокоения. «Судьба, закон действия, необходимость фанатической веры,— думал он.— Неужели мы и вправду помимо собственной воли преданы во власть... Всего-навсего пешки в большой игре? Нет, нет, размышления, копание в себе до добра не доведут. Быть твердым. Верить. Быть фанатически преданным. Нельзя, чтобы две-три бомбы выводили человека из равновесия. Но что со мной?»

Готескнехт отпустил его до вечера в город, «к зубному врачу», как записал дежурный унтер-офицер. Хольт посидел минут пятнадцать в кафе на Ротхаузенерштрассе, где уволенные в город зенитчики всех батарей со своими девушками пили кофе, встретил там нескольких знакомых. Все только и говорили, что о налете на 107-ю батарею. Исхудалые, невыспавшиеся пареньки с покрасневшими глазами в один голос поносили майора. «Он-то, наверно, первый перетрусил». Хольт задиристо возразил:

— Э нет, так не годится! Эти разговоры — разложение армии! — «Слова Цише,— Хольт огорчился.— Кому я подражаю? Цише?!»

Он попытался позвонить Герти, но во время последнего налета телефонная сеть была повреждена. Наконец в каком-то почтовом отделении его соединили.

— Почему ты не приходишь? Я беспокоилась о тебе.

Ее слова вдохнули в него радость.

Но когда они уже были вместе и она включила радио, сводка верховного командования сообщила такие новости, что он почувствовал себя уничтоженным.

— «Бои в Южной Италии. Массированные налеты на Вальмонтоне... Оставили Севастополь. Американские самолеты бомбили вчера различные пункты в Северной и Центральной Германии... Потери... Ночные воздушные бомбардировки Киля и Дортмунда... населенных пунктов в Вестфалии и на Рейне...»

— Вот так мы! — сказал Хольт.— Налеты становятся все более наглыми...

Фрау Цише равнодушно выслушала сообщения и все допытывалась, почему он так приуныл, это же, право, несносно. Он попытался выложить ей все, что было у него на душе, и описал бессмысленную гибель Цемтцкого. Но она сказала:

— Возьми себя в руки и вспомни о наших солдатах на Восточном фронте. По сравнению с этим твоя батарея курорт! — А когда он стал мрачно прощаться с ней, примирительно сказала: — Смотри выспись хорошенько. И не принимай все так близко к сердцу.

■

На огневую позицию под конвоем пригнали человек сто русских пленных.

— Русские — зачем они здесь? — удивился Вольцов.

Латинская грамматика, в которой Хольт давно уже ничего не понимал, сегодня так докучала ему, что он потихоньку выбрался из класса и у себя в комнате лег на койку. В окно ему было видно, как пленные, человек десять-двенадцать, забрасывают землей воронки. Он закурил сигарету, вышел из барака и стал смотреть, как они работают.

Невероятно исхудавшие, изможденные люди с трудом ворочали лопатами и на расстоянии нескольких метров казались какими-то призраками со впалыми щеками, с непропорционально большими черепами, серые, как шинели, болтавшиеся на их иссохших телах. Хольт бездумно протянул зажженную сигарету одному из пленных. Тот огляделся и нерешительно посмотрел на Хольта запавшими темными глазами. Он глубоко вдохнул в легкие дым и передал окурок другому.

У Хольта болезненно стеснило грудь. «Сострадание — это слабость»,— сказал он себе и тут же сунул руку в карман и вытащил всю пачку. Он хотел швырнуть ее пленным, но раздумал, шагнул вперед и вложил сигареты в чью-то загрубелую руку. Объятый смятением, он хотел передать им еще и спички, но пленный с трудом, словно каждое движение губ причиняло ему боль, проговорил: «Хлеб!»

Хольт опрометью кинулся назад в барак и рванул дверцу своего шкафа. В одном из отделений лежали продукты. Печенье и леденцы, выдававшиеся им в качестве дополнительного пайка, скапливались у всех. Он рассовал все это по карманам и надел шинель — выносить продукты из барака запрещалось. То, что он намеревался сделать — Хольт прекрасно отдавал себе в этом отчет,— было не только подзапретно, но и наказуемо. На мгновенье он заколебался. Потом глубже засунул хлеб под шинель, в мозгу пронеслось: «Пусть запрещают, пусть наказывают, мне все равно... но там ведь их человек десять-двенадцать...» Он торопливо открыл шкаф Гомилки. «Зепп меня не осудит, в нем я уверен. Половина копченой колбасы, банка искусственного меда, пачка печенья...» Он сгреб все это в кучу, заметил бутылку водки, которую Гомилка берег ко дню своего рожденья, прихватил и ее.

По полю он бежал бегом. Пленные разломили хлеб на куски и спрятали под гимнастерками. Они продолжали работу, но поочередно спускались на дно воронки и отпивали по глотку из бутылки. Хольт пошел обратно в барак и лег. Он пытался уснуть.

Часом позже он изловил в коридоре Гомилку и вывел его из барака. Выслушав Хольта, Гомилка стал невольно озираться, потом сказал:

— Ладно, я не против.

— Правильно ли я поступил? — допытывался Хольт.— Они же наши враги.

— Не они все это затеяли! — ответил Гомилка.

В комнате Вольцов, сидя на табурете, пытался перочинным ножом остричь ноготь на большом пальце правой ноги. Фетер и Рутшер лежали на койках. Цише разглагольствовал, а остальные, против обыкновения, его слушали.

— Посмотрите на них вблизи,— говорил Цише, когда Хольт и Гомилка вошли в комнату. — Это весьма поучительно. Яснее ясного, что здесь мы имеем дело с расово неполноценным типом...

— Ты это о русских? — поинтересовался Гомилка.

— Да, достаточно вглядеться в их лица, чтобы...

Гомилка снова прервал его:

— Но русские ведь славяне, а следовательно, арийцы.

— Как так арийцы? — опешил Цише.

— Разумеется, кому-кому, а тебе бы это следовало знать.

— Но, понимаешь,— Цише старался привести в порядок свои мысли,— и арийские расы не все одинаковы... Словом, над всеми арийцами

возвышаются немцы, в них чистейшим образом воплощена нордическая раса.

Хольт только сейчас заметил, что Гомилка сбил с толку Цише.

— Тебе-то это должно быть ясно,— раздраженно проговорил Цише,— но ты с твоим славянским именем ленив и заражен язвой...

Вольцов до сих пор слушал, положив правую голую ногу на левое колено и держа нож в руке.

— Что это, собственно, значит? Ты, кажется, вообразил, что из всех нас только ты хороший национал-социалист?

— Цише — тоже не арийское имя,— вставил Хольт.

Фетер захихикал. Цише побагровел и затряс головой:

— Мое имя чисто германское, только претерпевшее некоторые изменения! Но дело, в конце концов, не в имени, а...

— Ладно уж! — перебил его Гомилка.— Мне неясно только одно: если даже славяне и не такая чистая раса, как нордическая, то ведь они все-таки арийцы! И разве можно называть их недочеловеками?

Цише снова почувствовал почву под ногами.

— Твое замечание было бы правильно в те времена, когда в России у кормила правления стояло германское дворянство. Власть большевиков все изменила. Конечно, большевизму приходит конец.

— Да-а-а,— протянул Гомилка,— но я тебе советую, присмотрись-ка к положению на Восточном фронте.

Цише, страшно возбужденный, крикнул в ответ:

— На Восточном фронте против нас сражается фанатизированный сброд! Они бросают в бой последние резервы — стариков и калек!

Вольцов зашнуровал башмак и разразился бранью.

— Сейчас я тебе скажу словечко, чистокровный германец! Я не позволю тебе так отзываться о нашей армии. Ты что же, хочешь сказать, что это старики и калеки расколошматили наши дивизии?

— Уж и расколошматили...— запротестовал Цише, но Вольцов запальчиво крикнул:

— Конечно расколошматили! На Волге уничтожили, под Радомышлем и Брусиловом разбили наголову! В Кировограде смели с лица земли. Под Шумском и Остополем то же самое. Под Каменец-Подольским разбили вдребезги! И кто же, старики да калеки, а?..

Хольт, поначалу злорадствовавший, снова ощутил холодок в сердце. Цише вскочил и не своим голосом крикнул:

— Численное превосходство противника временно так велико...

— Превосходство! — насмешливо подхватил Гомилка.— А сколько молодых и здоровых должно быть у нас, чтобы нас численно превосходили старики и калеки?

Вольцов с размаху всадил в доску стола перочинный нож.

— Ну до чего же ты глуп, Цише! Глуп, как пробка! Ей-богу, пожалеть надо такого идиота! И этакий балда воображает себя национал-социалистом! Несет какую-то чушь про катастрофу и последние резервы! Может, тебе на карте показать, что произошло на Восточном фронте?

Цише, тоже разъяренный, завопил:

— Так, так! Ты, значит, полагаешь... Ты имеешь в виду... А знаешь ты, что фюрер сказал?..— Но вдруг все вздрогнули. Зазвонил колокол, и напряжение мигом рассеялось. «Каску, противогаз»,— успел подумать Хольт и вместе с другими ринулся к орудию.

(Продолжение следует).

Мы считаем неотъемлемым право народов покончить с чужеземным гнетом и будем поддерживать их справедливую борьбу. Колониализм обречен, и в его могилу будет забит осиновый кол. Такова воля народов, таков ход истории!

Н. С. Хрущев.

Отчет Центрального Комитета КПСС XXII съезду партии.

Ангола сегодня

БЭЗИЛ ДЭВИДСОН

ОТ ОТЧАЯНИЯ К ВОЗМУЩЕНИЮ

В 1961 году впервые в истории Ангола привлекла к себе широкое внимание общественности всего мира.

Это произошло потому, что ангольцы снова перешли от отчаяния к возмущению — на этот раз по всей стране. Это произошло также потому, что войска и бомбардировщики португальского диктатора Салазара ответили на восстание истреблением африканцев — мужчин, женщин и детей.

Ангола стала жертвой одной из самых жестоких расправ во всей колониальной истории. И тем не менее в решающем 1961 году английское правительство оказывало значительную и даже активную поддержку Салазару и его порочной колониальной политике.

Ангола — далекая и малоизученная страна. Что же там произошло?

Цель настоящего обзора — дать ответ на этот вопрос, подкрепив его фактами, и наметить кое-какие практические выводы.

Ангола — обширная страна площадью в четыреста восемьдесят одну квадратную милю, расположенная на юго-западе Африки. На севере она соседствует с Республикой Конго, на востоке — с Северной Родезией. К югу от нее находится бывшая подмандатная территория Лиги Наций — Юго-Западная Африка (территория, на которую претендует и которой управляет Южно-Африканская Республика). На западе простирается Атлантический океан. Население Анголы насчитывает около двухсот тысяч португальцев (большей частью это крестьяне, мелкие торговцы и чиновники) и более четырех с половиной миллионов африканцев. Эти африканцы в большинстве своем принадлежат к многочисленным древним народностям — баконго, кимбунду и овимбунду и говорят на языках, относящихся к лингвистической группе банту.

На землю, которая ныне зовется Анголой, португальцы ступили впервые в 1482 году. В течение последующих ста лет они заняли опорные пункты вдоль побережья. С того времени вплоть до 1850 года эта часть страны использовалась для вывоза больших партий рабов, которых отправляли в Бразилию. С 1850 года португальцы начали проникать в глубь страны, занимая остальную территорию, так же как заняли побережье. Они наталкивались на постоянное сопротивление своим колониальным порядкам; с того дня как началось завоевание Центральной Анголы, в этой стране примерно через каждые двенадцать лет вспыхивали более или менее значительные восстания. Но восстание 1961 года — самое крупное в истории этих многочисленных выступлений.

Бедная, отсталая страна, с трудом удовлетворяющая свои насущные потребности, страна, где процент неграмотности даже теперь еще необычайно высок, Португалия сумела лишь «оккупировать и освоить» Анголу. Речь идет о типичной слаборазвитой стране. Имеющиеся там многочисленные плантации кукурузы и сахарного тростника принадлежат европейцам. До сих пор главное богатство Анголы составляли алмазы, идущие на экспорт: их добывает в Северо-Западной Анголе португальская компания, тесно связанная с международной организацией по торговле алмазами — Де Беерс.

За последние тридцать лет в условиях деспотического реакционного режима Салазара португальская колониальная политика по существу сводилась к беззастенчивой эксплуатации африканцев — их земли и рабочей силы. Прежнее рабство, от которого так долго страдала Ангола, уступило место его скрытой форме — периодическому рабству, которое именуется «работами по контракту».

Почти все взрослые африканцы мужского пола — от юношей, не достигших двадцати лет, до глубоких стариков — принуждаются законом к этому периодическому рабству. Продолжительность его формально составляет шесть месяцев в году, однако многие ангольцы возвращаются домой только после нескольких лет принудительного труда. Они не имеют гражданских прав. Им не разрешается заниматься какой бы то ни было политической деятельностью. Они не могут получить никакого образования. Медицинского обслуживания почти не существует. С ними обращаются, как с животными, хуже, чем с животными. «В некоторых отношениях,— писал капитан Галвао четырнадцать лет назад, когда в качестве инспектора заморских провинций докладывал правительству Салазара о состоянии дел в Анголе, — их положение хуже, чем обыкновенное рабство. В условиях рабства туземца покупают, как скотину; его владелец заинтересован в том, чтобы он был здоров так же, как лошадь и бык. В нашем же случае туземца не покупают — его берут взаймы у государства, хотя и называют свободным человеком. И его хозяина мало заботит, что он может заболеть или умереть: если он заболеет или умрет, его наниматель просто потребует себе другого». Таково было то безнадежно бедственное положение, против которого восстали ангольцы в феврале прошлого года.

Подобные наблюдения показывают всю лживость утверждений португальцев о том, что они правят Анголой «без расовой дискриминации». В Анголе, так же как в Мозамбике, существует «цветной барьер», непреодолимый для более чем 99% африканцев. Яснее всего это доказывается тем, что меньше одного процента африканцев допускается португальцами в разряд «ассимилированных» («assimilados») и в силу этого освобождаемых, по крайней мере в теории, от «работ по контракту», которые на самом деле суть не что иное, как принудительные работы.

После целого века португальской оккупации и почти пяти веков контакта с португальцами Ангола стала политической и экономической трущобой, обитателей которой держат в повиновении с помощью голода и кнута, тюрем и карательных отрядов.

Другие африканские страны продвинулись вперед. Другие африканские народы завоевали равенство и независимость. Но португальские властители в Анголе остались слепы и равнодушны ко всем преобразованиям двадцатого века. Не далее как в 1957 году они, подобно страусу пряча голову под крыло, все еще тянули свой неизменный припев: «В Анголе все спокойно и все останется, как было прежде». Они заблуждались. Почва у них под ногами уже начала колебаться.

Ни одной уступки

Первые вспышки сопротивления — пока еще слабые и замаскированные — возникли в начале 50-х годов. Как раз в это время в Анголе стали распространяться известия о политических сдвигах, совершающихся в некоторых французских и английских владениях. Как раз в это время на сессиях Организации Объединенных Наций начал звучать голос независимой Африки — негромкий, но отчетливый. Известие об этом также преодолело колониальный барьер, за которым находилась Ангола. Новые идеи — идеи свободы и независимости — проникли через границу Анголы.

В столице Анголы Луанде и в других городах мало-помалу стали сплачиваться небольшие группы африканцев. К ним присоединились и некоторые португальцы, достаточно сильно ненавидящие жестокую диктатуру Салазара, чтобы вступить в борьбу с ней. Эти группы не совершили ничего грандиозного, но они зажгли огонь сопротивления. При данных обстоятельствах и это было уже много. Раз вспыхнув, дух сопротивления продолжал гореть. В 1953 году пятьдесят человек из числа этих смельчаков направили манифест в Организацию Объединенных Наций. В этом документе ангольские патриоты решительно протестовали против нищеты и террора, которые терпит народ. Год спустя втайне стали формироваться первые африканские политические партии. С 1957 года, несмотря на многочисленные аресты, сотни ангольцев (и немало европейцев) сделали решительный шаг, примкнув к той или иной из этих партий. Чиновники Салазара продолжали аресты и еще более усердствовали в притеснениях и пытках. Численность полиции возросла.

Новая волна репрессий началась в 1960 году с политического процесса против сорока африканцев и семи европейцев (португальцев). Сознавая, какую серьезную опасность для жизни заключенных представляет собой этот процесс, Международная комиссия юристов поручила португальскому адвокату — д-ру Пальма Карлосу из Лиссабона присутствовать в качестве наблюдателя на заседаниях суда. Португальские власти не дали ему вылететь в Анголу. В течение августа судьи, состоящие на службе у Салазара, заседая при закрытых дверях, вынесли несколько жестоких приговоров без права апелляции.

Аресты происходили все чаще и чаще. Число их достигло максимума в июне 1960 года, когда салазаровской полицией были схвачены пятьдесят два ангольца и среди них — преподобный Жоаким Пинто де Андраде, казначей католического архиепископства в Луанде, который был взят по одному только подозрению в сочувствии национально-освободительному движению. С тех пор многие сотни людей находятся в тюрьмах.

В их числе — один из крупнейших руководителей ангольского освободительного движения, поэт и врач по имени Агостинью Нету, председатель подпольной организации Народное движение за освобождение Анголы. Хотя Нету еще молод, он уже широко известен народу Анголы. Его внезапный арест вызвал всеобщее возмущение. Слухи о демонстрации протеста и о расправе, учиненной португальскими войсками над отважным ангольским патриотом, просочились даже в Европу.

Впоследствии слухи эти получили подтверждение. Важно отметить, что эта вспышка насилия, которая, как выяснилось, послужила прелюдией к его последующему разгулу, была вызвана вовсе не африканцами, а Салазаром. Африканцы в то время протестовали еще мирным путем. Но Салазар и его вооруженные банды уже жаждали крови.

Спустя четыре месяца после ареста Нету, в октябре 1960 года в Лондон наконец проникло известие, пролившее яркий свет на июньские события. Мне хочется привести это сообщение полностью, сохранив имя автора в тайне.

«После ареста д-ра Нету 8 июня 1960 года жители Бенго — родины д-ра Нету, а также обитатели соседней деревни Иколо решили отправиться в окружное управление Катете, городка, расположенного примерно в 90 километрах от Луанды, чтобы потребовать освобождения Нету.

Как только окружному начальству донесли об этом решении, оно затребовало подкрепление из Луанды, и оттуда прислали в Катете сотни две солдат с автоматами. Через неделю после ареста Нету мужчины, женщины и дети из этих деревень, числом около тысячи человек, пришли в Катете с мирной демонстрацией. Но солдаты без предупреждения открыли огонь по толпе. Тридцать человек было убито, более двухсот ранено.

На следующий день солдаты заняли Иколо и Бенго; там они убивали или арестовывали без разбора всех, кто еще оставался в этих деревнях. Потом солдаты подожгли деревни. Теперь они совершенно разрушены, и там больше не живет ни один человек».

Описанные события произошли в Центральной Анголе, недалеко от столицы страны, Луанды, в июне 1960 года. В то же самое время, в конце июня, совсем близко, в Бельгийском Конго, совершались другие решающие события. 1 июля Бельгийское Конго стало Республикой Конго.

Это событие имело чрезвычайно важные последствия для Анголы. Баконго, живущие в Северной Анголе, давно уже знали, что их сородичи из Французского Конго добились для себя независимости. Теперь они увидели, как завоевывают свободу также их соплеменники из Бельгийского Конго. Если же «французские» и «бельгийские» баконго созрели для политической свободы, почему не созрели для нее баконго «португальские»?

Итак, примерно с этого времени идеи действенного сопротивления колониальным властям начинают быстро и уверенно прокладывать себе путь в лесных районах и городах Кабинды и Северной Анголы. Несмотря на это, португальский страус по-прежнему глубоко зарывает голову в песок обанкротившихся идей.

Салазар отдал приказ продолжать репрессии, не делать африканцам никаких уступок — ни единой.

Напряжение достигло предела. Вскоре положение еще более обострилось и стало совершенно нетерпимым. Политика Салазара, выразившаяся в жестоких репрессиях, массовых арестах, пытках и расстрелах ни в чем не повинных людей, вызвала наконец в феврале 1961 года ответ со стороны африканцев. Это был ответ, какой всегда давали отчаявшиеся и измученные люди, когда в их среде находились смельчаки, способные возглавить их, и когда доводы рассудка, которыми они пытались увещевать угнетателей, оказывались тщетными. Африканцы увидели выход в вооруженном восстании.

В феврале 1961 года борьба за свободу Анголы вступила в новую и решительную фазу — фазу революционную.

Восстание

Первое столкновение, открывшее собой ангольское восстание 1961 года, произошло 4 февраля в столице страны Луанде.

Представители ангольцев в течение нескольких недель предупреждали португальские власти, что ответят на насилие насилием.

Португальцы игнорировали эти предупреждения и с удвоенной силой продолжали репрессии.

4 февраля толпы африканцев атаковали тюрьму Сан-Пауло и полицейский участок в столице. Атакующим не удалось овладеть тюрьмой, так как они были плохо вооружены, но в этот первый день из их числа, по имеющимся сведениям, было убито только семь человек. Они возобновили атаку 5 февраля; теперь сражение приобрело больший масштаб и потери возросли. За ночь полиция и португальские войска подтянули силы и получили подкрепление в лице охваченных паникой колонистов. Тогда началась расправа с африканцами.

Никто не знает, сколько беззащитных африканцев было убито в ночь на 5 февраля и в последующие дни. Является доказанным фактом, что полиция, солдаты и колонисты врывались в перенаселенные негритянские кварталы (так называемые «мусеки») Луанды и без разбора убивали и расстреливали африканцев...

Но битва, по сути дела, только начиналась. Спустя всего пять недель после зверств португальцев в Луанде баконго Северной Анголы откликнулись на данный 4 февраля сигнал к началу восстания и поднялись против своих угнетателей.

Португальцев, однако, события ничему не научили. Как мы увидим, они ответили на восстание Севера истребительной войной. «Нельзя,— читаем мы в журнале «Экономист» от 25 марта 1961 года под сообщениями из Северной Анголы,— не испытывать ужаса перед этим новым кровопролитием на африканском континенте, где в этом году уже пролилось достаточно крови. И тем не менее нельзя сомневаться в том, что ее прольется еще больше, если португальское правительство не сумеет обновить и улучшить свою африканскую политику».

Пустые слова. Португальское правительство не имело ни малейшего намерения обновлять и улучшать что бы то ни было, кроме оружия для террора и истребления.

После новых вспышек восстания на севере страны колонистов и местные власти охватила паника. В середине апреля в Лиссабоне уже начали заниматься созданием военной машины большого масштаба. «Нам передают,— сообщала 17 февраля 1961 года из Лиссабона «Дейли телеграф»,— что будет послано (в Анголу) подкрепление численностью в двадцать пять тысяч человек... Вооруженные силы, имевшиеся до сих пор в Анголе, не превышали пяти тысяч человек... Очевидно, Салазар твердо намерен стабилизировать положение в Анголе с помощью решительных военных действий». (Слово «стабилизация» следует понимать как смерть, слова «решительные военные действия» — как уничтожение целых деревень.)

К этому времени правительство Салазара, продолжая свою политику войны, стало искать открытой или тайной военной помощи у своих постоянных союзников, а именно — у Великобритании и Южно-Африканского Союза. Одновременно, в соответствии с нелепыми идеями Лиссабона о методах, какими следует убеждать весь остальной мир в том, что Салазар честный, благородный и добродетельный христианин, делалось все возможное, чтобы представить ангольское восстание как результат «влияния извне» — разумеется, влияния коммунистов — и как дело рук озлобленных и кровожадных «подстрекателей».

Поборники «цивилизации» реагировали в своей обычной манере. В каких страданиях и жертвах выражалось это для африканцев, показал корреспондент «Дейли миррор» 3 мая, спустя каких-нибудь семь недель после начала восстания.

«Я считаю, что мы убили тридцать тысяч этих животных,— сказал мне один офицер.— Осталось, наверно, еще сто тысяч тех, кто помогает террористам. Мы намерены уничтожить их, когда начнется сухой сезон,— недель через шесть».

Сухой сезон длится приблизительно четыре месяца, значит, чтобы выполнить эту задачу, надо убивать около тысячи человек в день.

Португальцы решили, что это — единственное средство, с помощью которого они могут удержать свой опорный пункт в Африке — территорию, изобилующую кофе, алмазами, кукурузой.

Корреспондент «Дейли миррор» описал также поведение белых колонистов в Луанде. Он видел, как одного африканца сбросили с крыши шестиэтажного дома и он упал на мостовую. «На углу одной из улиц толпа белых буквально разорвала на части другого африканца».

«Тайм» от 19 мая, сообщая о событиях в статье «Разгул террора», приводит рассказ одного молодого ангольца, который будто бы назвал себя Жаном Феликсом. Это был один из беженцев, которые тогда сплошным потоком устремились через границу Северной Анголы в Республику Конго. Молодой человек был тяжело ранен. Вот что он заявил:

«Было уже совсем темно, только кое-где в очагах еще горел огонь, когда прибыло семь грузовиков с португальскими солдатами. Меня и многих других людей из нашей деревни повели на берег реки. Я услышал несколько выстрелов, и рядом со мной четыре человека упали в реку. Потом один португальский солдат несколько раз ударил меня в спину ножом, который приделан к винтовке. Пинком ноги он столкнул меня в реку. Я уцепился за ветку, и меня понесло по течению. Ползком я выбрался на берег и весь день отлеживался в кустарнике. Друзья отыскали меня и принесли сюда, где меня лечат».

Наблюдатели, находящиеся в Конго, основываясь на отрывочных сведениях, миновавших железную цензуру, которую установил в Анголе диктатор Салазар, полагают, что число убитых ангольцев достигает семи тысяч,— «большинство из них погибло

безвинно, так как, по всей вероятности, активное участие в восстании принимают не более двух-трех тысяч туземцев». Так сообщал журнал «Тайм».

«Одна волна арестов следовала за другой,— писал корреспондент английской «Санди телеграф».— Только в округе Лобито было арестовано полторы тысячи человек. В этом округе как будто нет лагерей. Местная тюрьма вмещает только сто человек. Бесследное исчезновение арестованных африканцев наводит на самые мрачные подозрения».

«В число арестованных,— продолжает корреспондент,— входят учителя, «assimilados» и почти все африканцы, умеющие читать и писать. Арест грозит каждому, кто имеет хотя бы элементарный учебник грамматики, радиоприемник или даже велосипед. Во многих случаях под тем или иным предлогом отправляли в Португалию африканских священников. Таким образом салазаровцы пытаются лишить страну всех тех африканцев, которые, по их мнению, впоследствии могут стать народными вождями».

Кровавая расправа

Чтобы оправдать действия португальцев, писаки, продавшиеся Салазару, публиковали всякого рода вымыслы, приходившие им на ум. Подчас эти вымыслы оказывались до того нелепыми, что вызывали лишь насмешки и навлекали презрение и позор на самого Салазара. Так, например, в начале мая салазаровская пропаганда объявила, что захвачены семьдесят ганцев, сражавшихся на стороне повстанцев Севера. Месяц спустя появилось робкое опровержение допущенной «ошибки».

Но сколько бы ни разоблачались лживые измышления и акты террора, власти Салазара так и не пришли к мысли о том, что они могут и должны пересмотреть свою политику.

В середине мая группа видных португальских деятелей (шестьдесят один человек) потребовала радикальных изменений в конституции для создания более демократического управления в метрополии, что явилось бы первым шагом к решению португальских колониальных проблем, малоизученных и возникающих за пределами страны. За месяц до этого в самой Анголе было опубликовано обращение духовенства, которое содержало аналогичный призыв и требовало создания «более совершенных социальных отношений, в большей мере основанных на справедливости и милосердии». В этом документе говорилось, что «законные и справедливые требования заслуживают быть принятыми во внимание». Ничего этого Салазар и его присные также не приняли в расчет.

Сколь мало значения придавали они доводам разума, явствует из интервью, данного Салазаром корреспонденту «Нью-Йорк таймс» в начале июня 1961 года.

«Предполагает ли он (Салазар) провести в терпящей ужасные бедствия Анголе экономические и социальные реформы?» «Темпы проведения в жизнь программы социального прогресса (так португальские колонизаторы именуют геноцид!) будут не замедлены, а, наоборот, по возможности ускорены,— отвечал диктатор.— Может быть,— продолжал он,— мы повинны в излишней осторожности и терпимости».

Крови пролито недостаточно — так оценивает положение Салазар. Но каковы факты? Никто не знал и по сей день не знает в точности, сколько людей убили или замучили до смерти португальцы, сколько домов и деревень они опустошили, сколько разбили семей. Однако в середине июня Британское общество миссионеров-баптистов сделало тщательный подсчет, признанный приблизительным, хотя он был основан на подробном изучении данных, почерпнутых из многих источников.

Миссионеры установили, что число африканцев — мужчин, женщин и детей,— убитых португальцами на Севере в течение первых трех месяцев восстания, составляет около двадцати тысяч. Они говорили о «смерти и бедствиях». Они называли Анголу «самым мрачным местом на всем африканском континенте». Они высказывали мнение, что португальское правительство планирует операции, которые могут привести к уничтожению еще пятидесяти тысяч мужчин, женщин и детей.

Двадцать тысяч убитых — в других сообщениях называют еще более высокую цифру,— и тем не менее Салазар решился сказать, что он и его правительство «может быть, повинны в излишней осторожности и терпимости». Еще мало террора — таково было заключение Салазара, им он и руководствовался в своих действиях.

Миссионеры засвидетельствовали, что португальцы применяли против африканцев «самые варварские» меры, истребляя десятки тысяч мужчин, женщин и детей. Но даже самое крайнее варварство, как это на собственной шкуре узнали нацисты во время второй мировой войны, не может подавить отчаянную отвагу людей, готовых умереть за свою свободу. Восстание продолжалось. К нему примыкали новые участники, новые борцы. Оно распространилось на всю страну, охватив все основные народности Анголы. О национальном характере восстания свидетельствуют высказывания ангольцев, которым удалось бежать через Республику Конго и добраться до Парижа и Лондона. Их заявления с полной определенностью подтвердили тот факт, что все основные народности Анголы в то время прямо или косвенно участвовали в дейст-

виях, имеющих целью положить конец безобразным португальским порядкам. В движении активно участвовали северные баконго, равно как кимбунду и овимбунду — многочисленные народности Центральной Анголы. Если на Севере борьба была наиболее ожесточенной, это отчасти объясняется близостью границы с Конго, а отчасти тем, что рельеф местности на севере страны более удобен для партизанской войны, чем в других ее частях.

Но, подобно нацистам, которые в дни войны в Европе сталкивались с такими же восстаниями, португальцы признавали только одну линию поведения.

Не был забыт ни один вид оружия, несущего огонь и смерть. 1 июля только что приехавшая из Северной Анголы жена миссионера Маргарет Гренфелл сообщила журналу «Обзёрвер», что она и ее муж стали свидетелями напалмовой бомбежки той деревни, где помещались их миссия и дом. «Коробки,— рассказывала г-жа Гренфелл,— походили на бидоны для масла, суживающиеся на конце. Мой муж пошел хоронить одного из наших рабочих-христиан, убитого во время бомбежки. Он видел на одной из коробок инструкцию, написанную на английском языке».

Исчерпывающие свидетельства были слишком убедительными, чтобы их можно было опровергнуть. «Более восьмидесяти тысяч беженцев из Анголы потянулись прошлой ночью через конголезскую границу,— писала «Гардиан» две недели спустя.— Некоторые из них получили ожоги и нуждались в пластической операции».

«Многочисленные показания возвратившихся миссионеров и африканских беженцев, подтверждающие, что на деревни сбрасывались напалмовые бомбы и что производилось массовое истребление людей,— отмечала 1 июля «Санди таймс»,— слишком совпадают друг с другом, чтобы их можно было не замечать».

Откуда английские «бидоны»?

Каким путем эти английские или американские «бидоны» с напалмом попали в Анголу?

Ответ таков: вооруженные силы и военная техника Португалии существуют за счет регулярной помощи, которую ей оказывают основные державы НАТО оружием, боеприпасами и инструкторами. Не может быть и тени сомнения в том, что Португалия использовала и по сей день использует оружие, поставляемое НАТО, для подавления восстания в Анголе. Без этой помощи НАТО правительство Салазара никогда не смогло бы применить ни воздушные силы, ни вооружение, ни технику новейшего образца, которые оно пускало и продолжает пускать в ход против африканцев — мужчин, женщин и детей.

Таким образом, все державы, входящие в НАТО, несут долю ответственности за преступления, совершаемые Салазаром в Африке.

Однако общей помощи НАТО Салазару оказалось недостаточно. Как мы уже видели, он обратился за помощью к нескольким избранным: к Южно-Африканскому Союзу, к Федерации Центральной Африки (Родезия и Ньясаленд) и к Великобритании.

■

20 апреля 1961 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую Португалию принять срочные меры, чтобы применить принципы ООН в вопросе о свободе колоний. Эта резолюция была одобрена семьюдесятью тремя голосами; представители двух стран голосовали против (Испания и Южная Африка), девять государств воздержались. Среди воздержавшихся была Великобритания, а также Франция, Бельгия и Нидерланды.

Английские официальные документы содержат материал, который показывает, что позиция британских властей еще хуже, чем позволяют предположить подобные действия. Сколь ни были потрясены английские министры — как частные лица — все большим числом свидетельств о зверствах португальцев и отказом Салазара хоть на йоту изменить свою политику,— как государственные чиновники, они не преминули выразить свои симпатии его режиму и лично диктатору. Вот факты:

15 марта. Английское правительство способствовало провалу резолюции Совета Безопасности, требующей реформ в африканских владениях Португалии.

20 апреля. Английский делегат воздержался от голосования в Ассамблее ООН (по поводу Анголы).

15 мая. Английский военный корабль «Леопольд» прибыл в Луанду с визитом доброй воли, имея на борту командующего английским флотом в южной Атлантике.

16 мая. Английский консул в Сан-Пауло (Бразилия), действуя по указаниям лондонского министерства иностранных дел, отказал капитану Галвао, одному из главных представителей оппозиции в Португалии, в визе на въезд в Великобританию.

26 мая. Лорд Хьюм, министр иностранных дел, прибыл с официальной миссией доброй воли в Лиссабон, где присутствовал на празднествах в честь годовщины государственного переворота, установившего нынешний режим.

9 июня. Англия снова воздержалась в Организации Объединенных Наций — на сей раз в Совете Безопасности — при голосовании резолюции, порицающей Португалию.

15 июня. Правительство отказалось отменить или отложить визит в Португалию частей 19-й бригады для проведения учений. (Позднее визит был отложен в связи с кувейтским кризисом.)

16 июня. В Лиссабон прибыли шесть кораблей 2-й эскадры английского флота после маневров, проведенных совместно с португальским флотом и авиацией.

17 июня. Правительство объявило о продаже Португалии двух крейсеров — «Маунтс бэй» и «Морекамбэ бэй».

Итак, в те страшные июньские дни, когда бомбардировщики превращали в пепел ангольские деревни, когда португальские солдаты стреляли в беззащитных африканцев, а ангольские повстанцы сражались за освобождение своей страны, английское правительство обращалось к Салазару с изъявлениями симпатии.

Правда, министр иностранных дел лорд Хьюм заявил по возвращении из Лиссабона, что он призывал португальцев изменить колониальную политику. Но это он сделал как частное лицо, а тем временем Лондон по-прежнему официально изъявлял благожелательность.

Напрашивается вопрос: чьи частные или государственные интересы, по мнению английского правительства, оно защищает, оказывая помощь и поддержку Салазару?

Представители Советского Союза решительно и неоднократно осуждали режим Салазара и его колониальную политику. Не это ли дает основание защищать Салазара? Премьер-министр Индии Неру осудил деспотичные методы Салазара. В том же духе высказался президент Ганы Нкрума. Не в этом ли причина поддержки Салазара?

Правительство Англии не может заявить, что выступает от имени английского общественного мнения. Его действия не имеют с этим мнением ничего общего.

Столкнувшись с гневным протестом, английское правительство пошло на временную уступку. В начале июня (после того как главное наступление Салазара на Анголу приняло широкий размах) правительство объявило, что, отнюдь не запрещая продажу английского оружия самой Португалии, оно протестует против того, чтобы это оружие использовалось против Анголы. В связи с этим «Дейли миррор» без обиняков поставила следующий вопрос: «Как может оно знать, куда попадет это оружие? Кто может сомневаться в том, что португальцы готовы использовать любое оружие, откуда бы оно ни поступило, для расправы с африканцами?»

Удар по диктатуре

Рассказ о восстании в Анголе еще далеко не закончен.

В середине июля португальцы разбомбили и опустошили значительную часть Северной Анголы, и там воцарился покой отчаяния. Они согнали с насиженных мест около ста тридцати тысяч несчастных — мужчин, женщин и детей, вынужденных искать спасения в Конго. Многие из этих людей шли неделями, чтобы добраться до цели, хотя и страдали от тяжелых ожогов и ран. Салазаровцы похвалялись своими «подвигами». Но им было рано торжествовать победу. Сообщение из Лиссабона в «Таймс» от 18 июля гласит:

«Корпус хорошо вооруженных добровольцев выступил из Кармоны, чтобы помочь провести сбор кофе на плантациях, находящихся в округе Зала, в двухстах тридцати четырех километрах от Луанды.

Колонна солдат была также отправлена из Луанды для охраны сборщиков хлопка на плантациях Иколо-Бенго, расположенных по течению реки Бенго. Многие имения и фермы этого округа подверглись нападению».

Отметим, что округ Иколо-Бенго расположен к востоку от Луанды, в самом сердце Анголы. Таким образом, сопротивление здесь шло тем же путем, что и в Европе, оккупированной нацистами во время второй мировой войны. Как прежде нацисты, португальцы объявляли, что «ликвидировали» своих противников в одном месте, но тут же обнаруживали вспышку сопротивления в другом — на севере, в центре или на юге. И португальцы пали духом.

«Португалия близка к тому, чтобы проиграть войну в Анголе,— сообщал 22 июля из Луанды корреспондент «Обзёрвер».— За восемь недель с начала сухого сезона — а в Лиссабоне заявили, что именно в течение сухого сезона «мятежники» будут уничтожены,— армия не совершила ничего такого, что можно было бы назвать наступлением на «мятежников», если не считать издания коммюнике Верховного командования».

К этому времени стало очевидно, что несмотря на все зверства португальцы терпят поражение и что война нанесла удар по диктатуре Салазара и в самой Португалии.

«Согласно сообщению министерства информации, имели место выступления подрывной пропаганды против посылки войск в Анголу,— писал 18 июля корреспондент «Таймс» из Лиссабона.— В заявлении министерства говорится, что в последние

дни, во время посадки войск на суда, женщины, находившиеся в порту возле доков, громкими криками выражали свою скорбь и свое возмущение...» А официальные органы, пытаясь дать сколько-нибудь удовлетворительное объяснение этой демонстрации, глупейшим образом заявляли, что оппозиция «заплатила» за это женщинам и солдатам.

Диктатуре Салазара в Анголе и, быть может, также в самой Португалии уже нанесен удар, более ощутимый, чем решаются признать португальские власти.

Борьба за свободу в Анголе несомненно связана с делом свободы в самой Португалии.

Надо действовать

...Правительство Салазара перешло от репрессий к открытому истреблению африканцев. И в этом оно получало — и получает по сей день — поддержку со стороны английского правительства так же, как и правительств других стран — членов НАТО.

Все те, кто возмущен политикой Салазара и сожалеет о поддержке, которую ему официально оказывает Англия, должны задать себе простой вопрос. Доколе же мы будем позволять, чтобы наше доброе имя позорили в тюрьмах Португалии и топили в крови и страданиях Анголы?

г. ЛОНДОН

П. ЕВСЮКОВ

НАРОД АНГОЛЫ ЗАВОЮЕТ СВОБОДУ

С тех пор, как была написана статья Бэзила Дэвидсона, прошло уже несколько месяцев.

Мужественный народ Анголы вступил во второй год самоотверженной борьбы против жестокого и ненавистного врага — португальских колонизаторов, которые, как отметил Н. С. Хрущев в своей речи перед избирателями 16 марта 1962 года, «пытаются утопить в крови национально-освободительное движение в Анголе, предают огню и разрушению города и села этой страны».

50 тысяч убитых ангольцев и 170 тысяч бежавших от неминуемой смерти в соседние страны, главным образом детей, женщин и стариков,— такова статистика жертв грязной колониальной «войны на уничтожение», развязанной португальскими колонизаторами.

Салазаровских молодчиков, щедро снабженных оружием с клеймом «Made in USA» и охотно позирующих перед объективом на фоне нанизанных на колья «трофеев», можно сравнить по человеконенавистничеству и жестокости только с гитлеровскими выкормышами.

Фотодокументы, которые 4 февраля 1962 года поместила в своем специальном номере, посвященном годовщине борьбы, газета «Унидаде анголана» — орган прогрессивной ангольской партии Народное движение за освобождение Анголы,— изобличают зверства колонизаторов. Одних этих страшных фотографий более чем достаточно, чтобы показать все лицемерие салазаровских дипломатов, разглагольствующих о «высокой цивилизаторской миссии» Португалии в Африке.

В первые месяцы вооруженной борьбы отряды ангольских патриотов добились крупных успехов, овладев значительной частью территории страны и установив свой контроль почти над всей северной Анголой. Португальцы в паническом страхе покидали охваченные восстанием районы. Однако, воспользовавшись летним засушливым периодом 1961 года, португальское военное командование, перебросив заранее из метрополии много вооружения и живую силу (около 70 тысяч солдат и офицеров), предприняло широкие карательные операции. Португальцам удалось оттеснить патриотов в малодоступные районы, однако добиться решающего успеха и подавить национально-освободительное движение они оказались не в состоянии.

Выдавая желаемое за действительное, португальская пресса по указке свыше поспешила раструбить о восстановлении в Анголе «мира и прежнего порядка». Но известия, поступающие из этой страны, несмотря на цензурные рогатки и бдительность португальских властей, говорят о всевозрастающей активности патриотов.

Характерно свидетельство одного из очевидцев, проведшего в начале этого года одиннадцать дней на территории, освобожденной повстанцами на севере страны,

Джорджа Хаузера, директора Американского комитета по вопросам Африки. Как передал 1 февраля 1962 года корреспондент агентства «Юнайтед пресс интернейшнл», Хаузер заявил на пресс-конференции: «Утверждение португальцев, что восстание закончилось, не соответствует действительности. Мы не нашли абсолютно никаких доказательств этого. Наоборот, все говорит как раз о противоположном».

Во главе героической борьбы ангольского народа против португальских колонизаторов стоят две наиболее крупные организации — партия Народное движение за освобождение Анголы (НДОА) и Союз народов Анголы (СНА). НДОА имеет четкую программу борьбы за ликвидацию португальского колониализма, за достижение полной независимости страны и установление демократического строя.

Председатель партии НДОА — Мариу ди Андради, генеральный секретарь — Вириато да Круз; оба они известны не только как политические руководители, но и как деятели африканской культуры, внесшие, несмотря на свою молодость, заметный вклад в развитие национальной поэзии. Они являются соратниками и продолжателями дела их товарищей по борьбе — мужественных борцов национально-освободительного движения, брошенных колонизаторами в застенки салазаровского гестапо. До сих пор неизвестна судьба арестованного в 1959 году первого председателя партии НДОА Илидио Машадо.

Среди сотен арестованных патриотов национально-освободительной борьбы, в том числе активистов и членов руководства НДОА, большое число представителей ангольской интеллигенции, известных деятелей национальной культуры и искусства, чья жизнь в любую минуту может быть оборвана палачами ПИДЕ *.

Голос мировой общественности, выступающей в защиту мужественных сынов ангольского народа — жертв португальских колонизаторов, звучит все громче и громче.

Жестокая расправа над патриотами Анголы — политическими деятелями и представителями национальной культуры является еще одним звеном в цепи бесчисленных преступлений португальских колонизаторов, решивших путем физического уничтожения целых слоев населения колоний обезглавить национально-освободительное движение и лишить колониальные народы их национальной интеллигенции.

В настоящее время НДОА предпринимает энергичные усилия, чтобы объединить патриотические силы в рамках фронта освобождения Анголы. Руководители НДОА справедливо считают, что объединенным силам колонизаторов должен быть противопоставлен единый фронт борцов за свободу,— в этом их сила и залог скорой победы.

Однако некоторые лидеры СНА во главе с председателем партии Холденом Роберту, вопреки интересам национально-освободительного движения, отказываются от сотрудничества с НДОА и претендуют на исключительную роль в руководстве вооруженной борьбой. Подобная позиция идет вразрез с интересами ангольского народа и может принести серьезный вред делу освобождения страны.

Опыт борьбы многих народов против колонизаторов дает наглядный пример того, как империалисты, используя неустойчивые элементы, стремятся заранее насадить свою агентуру в национально-освободительном движении, чтобы в случае его победы поставить во главе молодого государства послушных людей. Империалистические круги США, оказывая помощь Португалии в ее борьбе с национально-освободительным движением, в то же время не прочь воспользоваться этим приемом, характерным для неоколониализма.

Явная безнадежность попыток португальских колонизаторов погасить пожар национально-освободительной борьбы в Анголе, потеря Гоа, Дамана и Диу, накаленная атмосфера в Португальской Гвинее и Мозамбике, наконец, тревожное внутриполитическое положение в самой Португалии ввергли режим Салазара в самый тяжелый за все время его существования кризис.

В последних заявлениях руководителей национально-освободительного движения говорится о твердой решимости народа Анголы, несмотря ни на какие лишения, продолжать борьбу до полной победы.

Ангольский народ не одинок в своей самоотверженной борьбе, на его стороне симпатии всего прогрессивного человечества, всемерная поддержка великого социалистического лагеря.

Борьба народа Анголы глубоко волнует советских людей, и они горячо желают мужественным ангольским патриотам победы над ненавистным врагом.

---

* Тайная полиция Салазара.

В великой борьбе за мир, в борьбе против империализма и колониализма все народы высоко ценят благородный подвиг писателей стран Азии и Африки, активно выступающих вместе со всеми прогрессивными силами во имя светлого будущего человечества.

Н. Хрущев

Из приветствия Второй конференции писателей стран Азии и Африки

АБД АР-РАХМАН АШ-ШАРКАВИ

(ОАР)

ВСТРЕЧА НА БЕРЕГАХ НИЛА

Несколько лет назад под теплым солнцем октября впервые в истории встретились писатели Азии и Африки в Ташкенте, в городе, хранящем наследие замечательной цивилизации и создающем новую молодую культуру. На этой встрече писатели, отличающиеся самым разнообразным цветом кожи — от черного до белого,— договорились хранить честь слова, сделать культуру крепостью мира, а литературу — выражением их свободолюбивых устремлений на пути к Будущему. Они решили превратить литературу в крепость, которая охраняла бы человеку его честь, достоинство, его право на лучшую жизнь.

А совсем недавно под приветливым февральским солнцем на берегах Нила, который тысячи лет несет свои воды, храня вековые тайны и даруя плодородие и красоту земле, вновь встретились азиатские и африканские писатели, чтобы выразить солидарность своих народов, укрепить узы дружбы между ними, чтобы дать место под солнцем новому человеку, который распрямляется в джунглях Африки, стряхивая с себя бремя длительной эксплуатации.

Время, отделяющее конференцию в Ташкенте от встречи в Каире, исчисляется всего лишь несколькими годами. Однако за этот непродолжительный период совершились события огромной важности, которые безусловно войдут в историю нашего века. Человек проложил дорогу в космос, человеческий разум постиг, казалось бы, невозможное, открыв широчайшие перспективы для развития новых понятий и новых отношений.

Встреча в Ташкенте и встреча в Каире... За это время освободились многие африканские народы, возникли молодые республики, поднявшие знамена независимости. За это время продвинулось вперед дело национально-освободительной борьбы в Алжире. Народ этой страны полон решимости добиться полной и окончательной победы в своей борьбе за свободу и независимость. Сейчас алжирский народ стоит на пороге этого исторического события.

Встреча в Ташкенте и встреча в Каире... За это время убит Патрис Лумумба и отдан в руки палачей Антуан Гизенга... Пали тысячи борцов за свободу в Азии и Африке...

Азиатские и африканские писатели прибыли в Каир с пылающим огнем в сердцах, который никогда не загасить.

Они собрались, зная, что являются выразителями чаяний своих народов, их бед, стремлений, их боевого духа.

Они прибыли на эту встречу, желая сблизиться друг с другом, взяться за руки, чтобы общими усилиями использовать все художественные средства, которыми они владеют, для защиты мира во всем мире, свободы народов, их культурного наследия, для защиты будущего литературы и искусства.

Они прибыли в Каир, страстно желая, чтобы на земле продолжали расти цветы, чтобы в небесах летали мирные голуби, а не реактивные бомбардировщики, чтобы девушки и юноши могли пользоваться радостями жизни.

На берегах Нила встретились десятки людей различного цвета кожи, говорящие на разных языках. Однако их взоры выражали единство, сердца бились в унисон, мечты были схожи и каждый был полон надежды на лучшее будущее.

Писатели пришли к единодушному решению, что каждый из них будет использовать свое перо в интересах свободы другого, счастья другого и права другого на лучшую жизнь!

Они единодушно решили добиваться освобождения борца за независимость Конго Антуана Гизенги.

Они — сыновья древних культур, хранящие историю борьбы многих поколений человечества за истину, добро и свободу,— решили защищать свои цивилизации от уничтожения.

Они решили защищать мир.

Они решили защищать свою свободу.

Они решили, что единство и солидарность являются лучшей гарантией защиты их прав.

Они решили обмениваться опытом.

Они почувствовали ответственность за ознакомление их народов с литературами других стран Азии и Африки, и они решили обмениваться переводами.

Только литература может наиболее ярко отразить поступь народов. Наши народы питают друг к другу великую любовь. Но их взаимная дружба станет еще крепче, когда они познакомятся друг с другом через литературу. Таким образом, переводческое дело становится одним из важных средств для достижения взаимопонимания между народами.

Конференция обсудила многие проблемы литератур и национальных языков, которые империализм пытался уничтожить. Она уделила значительное внимание вопросам критики и художественного мастерства. Однако события, совершившиеся в период между встречами в Ташкенте и Каире, и, прежде всего, еще более ожесточенная подготовка империалистов к войне, их заговоры против свободы народов Азии и Африки — все это поставило перед писателями вопрос о их непосредственной политической ответственности, выдвинуло их на передовые участки борьбы. Поэтому Конференции трудно было уделить непосредственным проблемам литературы, критики и художественной выразительности больше времени.

Как бы мы хотели продлить срок работы Конференции, хотя бы на несколько дней! Однако писатели — участники Конференции — встретились со своими братьями, оставив неотложные дела в своих странах, им надо было как можно скорее возвращаться домой. Но эта встреча породила во многих сердцах огромное желание работать. Конференция придала силы для борьбы с империализмом многим отчаявшимся...

Эта встреча вложила в души арабов большую уверенность в том, что у нас есть братья — литераторы, которые постоянно участвуют в нашей общей борьбе против империалистических заговоров, за упрочение мира во всем мире.

Дни работы Каирской конференции пронеслись очень быстро. Но это были незабываемые дни, наполненные творческим трудом. Они дали возможность писателям познакомиться друг с другом, дали нам действенное средство для укрепления взаимного сотрудничества, для развития литератур в наших, африканских и азиатских, странах, для осмысления ответственности писателей перед народом, для уяснения роли литературы в борьбе за жизнь, свободу и право.

Этот короткий, но плодотворный период времени оставит добрую память о нашей дружбе. Мы хотим чаще встречаться, чтобы росли и крепли наши силы в строительстве будущего, достойного нашей эпохи и наших надежд, достойного устремлений нового человека Азии и Африки.

г. КАИР

Привет тебе,
утро Африки –
чистое,
как взгляд
ребенка,
светлое,
как улыбка
ребенка,
радостное,
как игры
ребенка.

ДЖ. КОИНДЕ ВОГЕН
(НИГЕРИЯ)

КИНОЛОЖЬ ОБ АФРИКЕ

Африку на протяжении многих столетий называли «темным континентом». И по сей день она остается непонятной для большинства европейцев и американцев, несмотря на бесчисленное множество киносъемок, проведенных к югу от Сахары иностранными кинокомпаниями. Коммерческое кино, которое всячески использует в своих интересах широко распространенные заблуждения и, по существу, кормится ими, создало свою Африку, имеющую так же мало общего с реальной действительностью, как и вымыслы путешественников XIX столетия. Не понимая африканских языков и не зная обычаев африканских племен, постановщики таких фильмов не желают видеть в африканцах людей, разделяющих общечеловеческий опыт всех других народов. Они предпочитают использовать Африку в качестве экзотической декорации, показывая главным образом диких зверей и расписанных боевыми красками «туземцев». По существу же коренному населению отводится в этих фильмах самая незначительная роль.

Следует разобраться в том, какие идеи выражают художественные фильмы «на африканскую тему», поставленные крупными кинокомпаниями. В книгах таких писателей XIX столетия, как Райдер Хаггард, Африка предстает окутанной покровом таинственности. Эти книги рассказывают о диких африканских племенах, обитающих в непроходимых джунглях, и о странных ритуалах тысячелетней давности. Те же самые тенденции можно проследить и в современных романах Джона Бьюкена, Соммерсета Моэма и других.

«Неприступные горы, полные кладов, охраняемых джинами; непроходимые чащи, где обитают многотысячные стаи огромных, в человеческий рост, бабуинов, которые опустошают кукурузные поля и расправляются с леопардами. Двуногое животное — человек — еще диковиннее, а подчас и куда опаснее четвероногих. Невольно содрогаешься при мысли о собирателях фаллосов и берцовых костей, о членовредительстве, кастрациях и кровавых бойнях. На пиршествах там подается сырое мясо, его запивают медом из огромных рогов и выдолбленных тыкв. Гости вонзают зубы в окровавленную мякоть, а затем отрезают ее куски ножом...»— так писал в 1956 году рецензент лондонской газеты «Санди таймс» об одной из новых книг, посвященных Африке

Кинопромышленники с самого начала учуяли, каким коммерческим потенциалом обладают подобные нелепые идеи. Роман Райдера Хаггарда «Она», где описывается довольно странное африканское племя, которым управляет белая царица, сохраняющая вечную молодость, показался голливудским постановщикам столь неотразимо притягательным, что по нему было поставлено два фильма. Другой роман Хаггарда — «Копи царя Соломона» — также послужил сюжетом для двух фильмов. В этом романе рассказывается о баснословных богатствах, принадлежащих некоему африканскому племени, которое с помощью магии и зверств стремится оградить их от четырех бесстрашных англичан — любителей приключений. Компания «Метро-Голдвин-Мейер» поставила аналогичный фильм «Рог торговца», героиня которого, белая царица, окружена экзотическими аксессуарами: здесь и пещера, заваленная человеческими черепами, и свиты расписанных боевыми красками телохранителей, воинственно размахивающих копьями.

Коммерческое кино любит показывать жизнь зверей в африканских джунглях, и надо сказать, что во многих случаях животные изображаются с большей симпатией, чем «туземцы». Картина «Тарзан из обезьяньего племени», поставленная в 1918 году, была первой в бесконечной серии фильмов о Тарзане, выпускаемых и по сей день, а ранние фильмы Мартина Джонсона из жизни животных (например, «Конгориял») перекликаются с африканскими картинами Уолта Диснея («Африканский лев»).

Что бы ни показывал фильм — жизнь животных или жизнь «туземцев»,—сценаристы неизменно прибегали к одной и той же избитой схеме: подлинная африканская природа в сочетании с комплексом ложных, но привычных представлений об Африке. Соответствует ли подобное представление реальной действительности — над этим они не задумывались. Во время съемок одного из таких фильмов (производство фирмы «Метро-Голдвин-Мейер») для оживления действия в Восточную Африку были доставлены на самолете звери из нью-йоркского зоопарка; толпы пестро разрисованных «туземцев» составляли живописный фон, на котором ра-

зыгрывалась мелодрама с участием двух популярных американских кинозвезд. В такого рода грандиозных постановочных фильмах африканцы либо служат живым реквизитом (живописные толпы «туземцев» с копьями), либо исполняют роли слуг, отличающихся поистине поразительной тупостью.

Помимо увлечения ложной экзотикой, существует и другая тенденция в изображении Африки, особенно широко распространенная в Англии. Во многих фильмах проводится мысль, что африканцы нуждаются в покровительстве белых, которые должны управлять ими и заботиться об их развитии...

Идея таких фильмов ясна: англичанам необходимо и впредь оставаться в Африке, ибо сами африканцы либо примитивны и невежественны, а стало быть, нуждаются в опеке, либо настолько дурны и злонамеренны, что непременно должны чувствовать над собой власть закона. Англия издавна владеет колониями в Африке, и потому герои английских фильмов во многом отличаются от героев аналогичных американских фильмов — сугубых индивидуалистов, привыкших попирать закон и приезжающих в Африку в поисках любовных и охотничьих приключений. В английских картинах превозносятся доблести британских колонизаторов, полицейских офицеров, окружных комиссаров, служащих колониальной администрации и белых поселенцев...

В 1943 году в Англии началась работа над большим фильмом, в котором предполагалось поднять «важнейшие проблемы современной Африки». В итоге через три года на экраны был выпущен фильм «Человек двух миров». Герой фильма, композитор и пианист Кисенга, африканец по происхождению, после пятнадцатилетнего пребывания в Европе возвращается к своему племени, проживающему где-то в Британской Восточной Африке. Он узнает, что шаман Маголе держит в страхе все племя и английскому окружному комиссару, желающему местным жителям добра, никак не удается уговорить их покинуть родные места, где им грозит смерть от мухи цеце. Основное содержание фильма составляет конфликт между Маголе, который олицетворяет темные силы суеверной старой Африки, и Кисенгой, получившим образование в Англии. В итоге Маголе, разумеется, терпит полное поражение и племя покидает болотистую местность. Характерен конец фильма: Кисенга, осознав, что он нужен своему народу, отказывается от карьеры пианиста, чтобы помочь продвижению своих соплеменников по пути прогресса.

Фильм «Человек двух миров» был провозглашен новой вехой в развитии английского кино и вызвал восторженные отклики в английской печати. Даже издаваемый в Америке негритянский журнал «Эбони» писал, что «Человек двух миров» знаменует собой отход от старых традиций, ибо африканцы изображены в нем с симпатией и уважением.

Однако большинство африканцев сочло этот фильм оскорбительным. В самом деле, почему Кисенга — единственный африканец, вызывающий уважение и сочувствие, тогда как остальные люди его племени изображены жалкими кретинами? Напрашивается вывод, что это лишь очередная попытка навязать зрителям официальную точку зрения, согласно которой основные проблемы Африки могут быть решены только с помощью «импорта» (в данном случае — представителя английских колониальных властей и африканца Кисенги, получившего образование в Англии).

Жители африканской деревни, фигурирующие в фильме «Человек двух миров»,— бесплотные тени, а не живые люди. Зритель так и не узнает, что они переживают, о чем думают. Вместо того чтобы показать подлинную трагедию народа, постановщики фильма предпочли положить в основу сюжета традиционный конфликт между старой Африкой — вернее, давно знакомой карикатурой на нее — и «новыми элементами», которые насаждаются колониальной державой и именуются носителями прогресса...

■

После второй мировой войны в Африке стали снимать больше художественных фильмов. В картине «Могамбо», поставленной компанией «Метро-Голдвин-Мейер», показан бурный роман между белым охотником и девушкой, появляющейся на месте действия совершенно случайно, благодаря тому, что сорвалась ее встреча с неким магараджей. В этом фильме, как и в «Белом шамане» — другом аналогичном образчике голливудской продукции,— интересно показаны только звери. В английских картинах «Там, где не летают стервятники» и «Одонго» тоже изображается в основном животный мир Африки, а «туземцы» фигурируют лишь в качестве обслуживающего персонала. В конце фильма «Там, где не летают стервятники» белый герой произносит страстный монолог в защиту Африки. Он спорит с браконьером-европейцем, готовым на что угодно ради наживы. «Черная мразь скоро выбросит нас отсюда»,— объявляет браконьер и советует своему собеседнику использовать в Африке все, что можно. Однако «благородный герой» — англичанин, которого, к слову сказать, африканец только что спас от когтей гепарда, выражает надежду на лучшее будущее для всех людей — белых и черных. И все же, судя по содержанию фильма, благонамеренный герой, несмотря на все свои разглагольствования, едва ли согласится допустить африканцев в это царство надежды в качестве полноправных граждан.

Тематикой более поздних фильмов послужило восстание племени кикуйю в Кении, вызвавшее злобную антиафриканскую пропаганду. Так, в фильме «Мау-мау», распространявшемся американской кинопрокатной компанией «Юнайтед артистс», постановщики стремились показать, что кровожадность — отличительная черта африканцев.

В первых кадрах фильма «Симба» (производство компании Дж. Артура Рэнка) мы видим африканца, мирно едущего на вело-

сипеде. Услышав крики раненого европейского фермера, он спокойно слезает с велосипеда и приканчивает белого ударом ножа.

В американском фильме «Сафари» эти порочные идеи доведены до своего логического завершения — восстание племени кикуйю изображается как разгул кровавого насилия. Герой фильма — американец, охотящийся в Кении, оставляет маленького сына в своем бунгало на попечении тетки и «верного» слуги-африканца. Вернувшись, он обнаруживает трупы своих близких, убитых бандой участников «тайного негритянского общества «Мау-мау», которую, как выясняется, возглавляет его слуга. Заключительная часть фильма посвящена подвигам белого охотника, осуществляющего возмездие. Беспечный индивидуалист, он являет собой воплощение идеального героя, каким его мыслят себе американские киносценаристы. С нескрываемым презрением относится американец к методам английских колониальных властей и один отправляется на розыски своего сына, убивая между делом льва, буйвола, несколько крокодилов и десятки негров из «тайного общества «Мау-мау». Истребляя чернокожих, он умудряется выкраивать время и для любовных похождений. «Странные вещи творит Африка с человеком»,— говорится в фильме, и зритель едва ли усомнится в справедливости этого замечания.

От постановщиков коммерческих кинофильмов, пожалуй, и нельзя было бы ожидать иной реакции на трагические события в Кении. Ведь основной товар, которым они промышляют,— это либо кровавая резня и насилие, либо эффектные романтические похождения. И подобная продукция кинокомпаний все еще находит себе сбыт: пока лишь немногие в Англии и Америке выступают с протестом против искаженного изображения африканской действительности.

■

В течение многих лет английские колониальные власти в Африке в отличие от крупных кинокомпаний создавали свои фильмы иными, более примитивными методами. Это делали обычно небольшие съемочные группы, получающие весьма скудные ассигнования. Своими фильмами они пытаются внушить лживую мысль о том, что колониальные державы стремятся выступать в роли просветителя, который ведет своих подданных по пути «прогресса». Такие фильмы, имеющие целью идеологическую обработку африканцев, выпускаются во всех английских колониях в Африке. Их постановщики, воспитанные в атмосфере колониализма, совершенно не способны понять африканское общество, которое они изображают.

Если документальные фильмы ставятся с целью показать «прогресс», достигнутый под господством колониальных властей, то художественные фильмы должны, по замыслу их создателей, носить познавательный или нравоучительный характер.

Так, например, фильм «Сберегательная касса» (1936) должен был убедить африканцев Кении, что им выгодно хранить деньги в сберкассах. Сюжет его таков. Два африканца работают на ферме, принадлежащей европейцу. Один из них прячет свои сбережения у себя в хижине, но вскоре обнаруживает их пропажу. Соседи рассказывают ему о каком-то подозрительном чужаке, шныряющем около деревни, и наш герой пускается на его поиски. В ходе их он встречает другого африканца, работающего вместе с ним на ферме, и тот пространно объясняет ему выгоду хранения денег в сберегательной кассе. После столь скучного вступления следуют трафаретные сцены погони за таинственным чужаком, которого герой преследует с ножом. Тот в страхе забирается на дерево, но оно ломается под его тяжестью, и вор разбивается насмерть.

Интересно, что цель кинокартины — популяризация сберкасс — не была достигнута, ибо основной реакцией на него африканской аудитории было негодование по поводу жестокости героя фильма: сами африканцы никогда не проявляют такую жестокость. Этот пример ясно показывает, как плохо постановщики фильма представляли себе душевный склад африканского зрителя.

Излюбленной темой кинокартин, выпускаемых колониальными властями, является конфликт между африканскими суевериями и западной цивилизацией. В этом отношении характерен фильм «Ребенок Амену». Действие происходит на Золотом Берегу *. У деревенского жителя Амену заболел малыш. Друзья и родные дают ему различные советы относительно лечения, но все они оказываются бесполезными. Тогда Амену и его жена отправляются с больным ребенком в дальний путь к знаменитому шаману и берут с собой живого цыпленка, чтобы принести его в жертву. В своей мрачной таинственной хижине шаман осматривает малыша, затем, бормоча заклинания, поднимает руки, взывая к помощи духов. Отблагодарив шамана за хлопоты, Амену с женой возвращаются домой, но на обратном пути ребенок умирает. Таким образом, вред суеверий доказан, а дальше следует другой вариант этой же истории, но со счастливым концом: больного ребенка относят не к знахарю, а в организованную англичанами бесплатную амбулаторию (к слову сказать, она расположена еще дальше от деревни, чем хижина шамана). Образы этого наивного фильма крайне стереотипны, столкновение идей показано в самой упрощенной форме. Так же, как и в других картинах, поставленных по заказу колониальных властей, жизнь африканцев под владычеством англичан изображена здесь в самом розовом свете.

Небезынтересны высказывания участника одной из съемочных групп англичанина Джорджа Пирсона по поводу того, как фильмы, поставленные по заказу колониаль-

* Так называлась Гана до провозглашения независимости

ных властей, воспринимаются африканцами, для которых они предназначены. Пирсон утверждает, что «обычные развлекательные коммерческие фильмы, характерные для современного кино, а также сложные документальные фильмы здесь не пригодны. В силу различных жанровых особенностей они чересчур сложны... Ошеломленный лесной житель успевает лишь заметить, что на экране что-то происходит, но что именно — этого он понять не может». Пирсон приходит к следующему выводу: «Необходимо, чтобы действие развертывалось медленно. Для того чтобы идея дошла до зрителя, требуется много времени. При перемене места действия из одного кадра в другой должен неизменно переходить какой-нибудь движущийся предмет или фигура... Если такого связующего звена не будет, то перемена места действия отвлечет внимание зрителя и он может позабыть, о чем шла речь раньше». У любого африканца может законно возникнуть вопрос: а насколько сам мистер Пирсон и его коллеги сумели понять африканскую аудиторию?

Когда нашим кинозрителям — а число их растет с каждым днем — приходится делать выбор между упрощенным киноповествованием и подлинным художественным фильмом, они всегда отдают предпочтение художественному фильму, несмотря на его «сложность», вызываемую различными «жанровыми особенностями». В таких городах, как Аккра, Фритаун, Кумаси, Лагос и Найроби, имя Чарли Чаплина и имена многих других популярных киноактеров известны всем и каждому...

■

Естественно возникает вопрос: каковы предпосылки создания киноискусства, которое сможет показать подлинную Африку, десятилетиями изображавшуюся в искаженном свете? Мы убеждены, что кинофильмы из африканской жизни — а прошлое Африки и ее современная действительность открывают для сценаристов безграничные возможности — могут быть успешно поставлены лишь самими африканцами, стремящимися рассказать всему миру о чаяниях своих народов и сознающими, какой огромный вклад предстоит нам внести в искусство кино. Ясно, что ни голливудские фильмы, ни коммерческая продукция прочих кинокомпаний Запада не могут быть образцом для наших кинематографистов. Источником вдохновения для них должны послужить подвиги национальных героев, непримиримая борьба старых и новых идей в африканском обществе и замечательный фольклор, отличающийся редким богатством образов.

ЭТИДАЛЬ МУНИБ. Рисунок из серии «Арабские художники ко Второй конференции писателей стран Азии и Африки».

КОНДОТТО
НЕНЕКХАЛИ-КАМАРА
(ГВИНЕЯ)

ПОЭЗИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ

В искусстве, так же как и в жизни, человек стоит перед необходимостью решительного выбора: быть активным участником событий или оставаться равнодушным наблюдателем. В первом случае человек обдуманно выбирает средства улучшения условий существования и усовершенствования общества, в другом же он отказывается от участия в процессе изменения мира.

Искусство является выражением того общества, в котором оно возникло: в обществе буржуазного типа оно неизбежно несет на себе черты буржуазного строя, в социалистическом обществе оно отражает социалистические отношения. В буржуазном обществе, где существуют классовые столкновения, искусство своими средствами отображает эту борьбу, и, следовательно, в буржуазном обществе всегда будут присутствовать элементы пролетарского искусства; в то же время в обществе, строящем социализм и коммунизм, но сохраняющем еще некоторые отрицательные черты старого, не исключено влияние упадочного буржуазного искусства.

В искусстве любого народа можно обнаружить черты, характерные для различных этапов и стадий исторического развития этого народа. Достаточно взглянуть на историю негро-африканской литературы на французском языке, чтобы убедиться в этом.

■

Африканская литература на французском языке могла появиться лишь с возникновением колониального режима после военных завоеваний конца XIX века. Захват континента немцами, англичанами, бельгийцами, испанцами, французами, итальянцами и португальцами привел прежде всего к разложению старой традиционной структуры африканского общества и систематическому разрушению культурных ценностей. Делалось это для того, чтобы предупредить всякую попытку кристаллизации культурного самосознания африканских народов, которое могло бы помешать их политическому и экономическому порабощению. Отказав африканцам в политических правах, французский колониализм стремился осуществить культурную ассимиляцию, насилуя сознание, разум и чувства африканцев.

Первыми интеллигентами-африканцами были воспитанники педагогической школы Вильяма Понти*. Из их среды вышли и первые писатели. Их произведения хотя и обладали известными литературными качествами, представляли главным образом этнографический интерес. Темы этих произведений были ловко подсказаны учителями школы, которыми руководил здесь не столь-

* Учебное заведение, созданное французской колониальной администрацией в Сенегале, которое готовило чиновников из числа африканцев для всей бывшей Французской Западной Африки.

ко научный интерес, сколько желание познакомиться с некоторыми чертами африканской культуры. Подобного рода литература помогала завоевателям лучше понять психологию африканца.

Так родилось первое поколение писателей; субъективно честные, сами того не ведая, они создавали литературу по чужой подсказке.

Из этих писателей наиболее известны Дим Делобсон из Верхней Вольты, Поль Азуме и Максимилиан Кенум из Дагомеи, Мапате Диань и Абду Салам Кане из Сенегала, Мамби Сидибе и Мусса Травеле из Судана.

В 1916 году они положили начало традиции «интеллектуального негризма». Изображая Африку наивно и идиллически, они использовали краски, которые казались естественными, и тем не менее искажали и извращали реальную картину, лишая ее подлинного динамизма. «Хороший негр» стал объектом нездорового любопытства Запада.

■

Эта тяга ко всему африканскому возникла в обстановке морального кризиса буржуазной интеллигенции, порожденного всемирным потрясением 1914—1918 годов и—в еще большей степени—победой Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, которая впервые в истории человечества поставила под сомнение основы, сущность и мораль буржуазной цивилизации. Идеалистический Запад вынужден был отправиться на поиски некоего «пополнения души» и решил, что нашел его в псевдонегритянских художественных ценностях.

Но это увлечение не коснулось самих африканских негров. Толчком, возбудившим их творческие силы, послужило начавшееся в те же годы движение негров в Северной Америке. Важно подчеркнуть первые усилия (как политические, так и литературные), предпринятые в те годы североамериканскими неграми: они призывали вернуться в Африку, воспевали «колыбель своих предков». Политическое движение панафриканизма, вдохновляемое ученым-историком и писателем Уильямом Дюбуа, заставило говорить о себе. А в это время немногочисленные представители африканской интеллигенции еще робко ищут себя; они часто испытывают влияние антильских собратьев, которые находились в лучшем, чем они, положении, поскольку образование и европейская культура оказались доступнее неграм с Антильских островов и они были ближе к движению североамериканских негров. В это же время литература пробивает себе дорогу на Мадагаскаре и во французских колониях в Азии. Тогда уже стали известны имена Этьена Леро, Рене Мениля, Лионеля Атюлли, Эме Сезэра, Леона-Гонтрана Дамаса, Либера Шатне, Люси Тезе, Жоржа Депорта, Люсьена Дегра, Ги Тирольена, Поля Нигера с Антильских островов и Гвианы, Максимилиана Кенума, Леопольда Седара Сенгора, Бираго Диопа, Рабеаривело и Рабемананджары из Черной Африки и Мадагаскара. Однако самым одаренным писателем, влияние которого не сравнимо ни с чьим, остается Эме Сезэр.

Он первый открыл поэтический стиль, ритмика которого приближается к музыке тамтама, стиль, ставший основой новой эстетики, наиболее полно отвечающей духу и вкусам африканцев. Сезэр — подлинный поэт, по искренности и силе своего слова он мало имеет себе равных. Он сумел уничтожить различие между прозой и поэзией и создал новый, уникальный жанр, в котором из самых обыденных слов рождаются сверкающие образы. Нет ничего удивительного в том, что Андре Бретон хотел привлечь Сезэра к сюрреализму, восхваляя его «слово, прекрасное, как озон». Страстный и искренний, неистовый и честный, он смог бы возглавить культурную революцию, если бы его политические взгляды основывались на диалектическом и историческом материализме. У него был большой опыт антиколониальной борьбы, однако его деятельность и взгляды на пролетарский интернационализм и развитие международного рабочего движения изобилуют ошибками.

Поэтический гений Сезэра бесспорен, но его идейная несостоятельность значительно уменьшила взрывную и новаторскую силу его поэзии и ритмики, ибо кругозор национализма всегда ограничен. В результате блестящий поэт не чувствует себя более «плотью от плоти трепетного мира и его движения».

■

Велика ответственность национальных литератур как стимулирующей силы в общем движении колониальных народов за освобождение. Однако влияние этих литератур

ограничено узкими рамками, поскольку писатели творят на чужом языке и пока еще нет того единения между писателем и народом, благодаря которому они могли бы обогащать друг друга в ходе борьбы за освобождение.

Влияние африканского писателя ограничено средой людей, получивших европейское воспитание и образование. Широким массам народа не известны его произведения, так как народ не владеет языком, на котором творит писатель.

Большая заслуга Сезэра в том, что в своей книге «Дневник возвращения на родную землю» он сумел раздвинуть рамки своего сознания и заговорить о гуманизме, который породнит негра с бывшим китайским кули и белым докером из Ливерпуля. Поэт желает гибели капиталистического общества, он хочет «увидеть ее (свою расу) свободной и из глубины ее души закрытой достать живительный нектар», чтобы утолить «всемирную жажду и голод всемирный». Однако в этой книге, написанной с огромным художественным мастерством, антиимпериалистические силы изображены весьма туманно, а иногда и в искаженном виде. Поэт воспевает и защищает прежде всего достоинство, гордость и вдохновенность черной расы — те самые качества, которые легли в основу так называемого негритюда *.

В первый период своего существования негритюд был прогрессивным явлением в той мере, в какой эта литературная доктрина противостояла положениям защитников колониального господства в области культуры. Опасность состояла в том, что такая доктрина могла выродиться в герметическое интеллигентское учение. Это действительно произошло, и не без помощи неоколониалистов. Приспосабливаясь к растущему движению за национальное освобождение, они поддерживали негритюд, поскольку опасались создания боевого антиимпериалистического искусства, которое, внедряя новые ценности, смогло бы помочь рождению нового гуманизма, соответствующего великой социальной революции XX века, то есть социализму.

Не нужно было быть очень проницательным, чтобы понять закономерность того, что после второй мировой войны, после изменений, происшедших в мире, и разделения мира на два лагеря неизбежно встанет вопрос о развитии колониальных стран и их освобождении.

■

Несколько слов о роли сенегальского писателя Леопольда Седара Сенгора в африканской литературе на французском языке.

Сенгор выступает как критик и ученый, но прежде всего он поэт. Однако огромное эмоциональное богатство его поэзии скована чрезмерной изощренностью поэтической формы.

Сенгор отвергает разум во имя чувства, считая примат чувства над разумом характерной особенностью негра. Забывая о том, что условия человеческого существования определяются природой и обществом, Сенгор, пытаясь выдвинуть новую биологическую и этническую категорию «негритянского мышления», создает образ негра, близкий тому, который кочевал по страницам книг философов типа Гобино *.

Поэтической манере Сенгора присущи паузы и другие приемы, явно заимствованные у гриотов **. Однако искусство гриотов было синтезом музыки и поэзии, и объявление принципов этого искусства эстетической основой поэзии — ошибка Сенгора. Музыка заполняет паузы, которые возникают, когда гриот прерывает повествование: она позволяет слушателю отдохнуть и в то же время развить в своем воображении эпизоды, о которых рассказывал или пел гриот. И тем не менее у гриотов главным остается искусство слова, идущее от исторических традиций народа и дидактической поэзии. Поэтому основное внимание в их искусстве уделяется содержанию. Сенгор же извратил наследие гриотов, влив в их поэтическую форму мысль, по существу очень далекую гриотам. О чем поет Сенгор? О сладких мимолетных впечатлениях, тенях, отказе от повседневной борьбы. Короче говоря, мы находим у него мотивы, характерные для запоздалого романтизма. Писатель «подслащивает» наиболее мужественные те-

* Негритюд — теория, согласно которой существует некая «общенегритянская культура», негро-африканская цивилизация и особый, «темный и загадочный дух негро-африканской личности» якобы отличающий негров, где бы они ни жили.

* Гобино, Жозеф-Артюр (1816—1882) — реакционный французский социолог, один из создателей расовой теории, дипломат и писатель.

** Народные певцы сказители.

мы. Под его пером даже Чака теряет всякую мужественность — эпопея о знаменитом народном герое зулусов превращается в ноктюрн. В искусстве необходимо уважать историческую правду. Народные певцы — создатели африканского эпоса — вдохновляли бойцов на подвиги. А куда ведет африканский народ поэзия Сенгора — писателя, считающего себя носителем народных традиций?

Эме Сезэр и Леопольд Седар Сенгор продолжают оказывать большое влияние на других представителей африканской поэзии. Это не значит, однако, что можно говорить о каких-то литературных школах, которыми они руководят.

■

К поколению поэтов, которые выступили в конце сороковых годов, принадлежат Кейта Фодеба (Гвинея) и Бернар Дадье (Берег Слоновой Кости).

Кейта Фодеба выступил как первый пропагандист африканского искусства на сцене и познакомил с ним широкую европейскую и африканскую публику. Будучи хореографом, он стремился создать искусство, объединяющее в себе танец, музыку и поэзию. Следовательно, речь идет не просто о литературных произведениях — его стиль совмещает в себе традиционные формы народного искусства. Источником его творчества являются песни, сказки и народные легенды. В произведениях Фодеба чувствуется огромная любовь к своему народу, его быту и обычаям; в сценах, написанных им, мы находим революционное разоблачение жестокости колониальной системы. Его поэзия рождается не из «магии слова», она не плод пустого воображения — поэзия заключена в самой атмосфере, окутывающей каждый его маленький рассказ, атмосфере, которую писатель создает средствами, отличающимися чрезвычайной простотой. Его творчество, несомненно, приближается к эстетическим канонам гриотов, так как его произведения сочетают в себе декламацию, пение и музыку.

Творчеству Бернара Дадье свойственны глубокая эмоциональность и богатство выразительных средств. Дадье отлично владеет языком, он замечательный стилист. После сборника стихов «Африка во весь рост», где звучали мотивы решительного протеста, творчество поэта отразило, как нам кажется, разочарование предательской политикой руководства Африканского демократического объединения, которое сошло с революционного пути. Эта горечь пронизывает второй сборник его стихов «Череда дней». В своем отношении к литературе Дадье глубоко серьезен, однако сердце его «не чувствует уже порыва первых дней». В творчестве Дадье больше полноты и глубокого знания жизни, чем в творчестве Сенгора, и в его лице можно приветствовать одного из лучших африканских поэтов.

■

Поэзию реальной жизни, новую, социальную поэзию, поднимающуюся на руинах колониальной поэтики, необходимо развивать, применяя ее в новых условиях и направляя в русло большого течения жизни. Мне кажется, что многие поэты нынешнего поколения взяли у Сезэра всего лишь внешнюю сторону его манеры, а у Сенгора — ложное стремление во что бы то ни стало вводить в свою поэзию африканские реалии и слова языка своего народа. Существует опасность увлечения поэзией африканских слов и имен в оболочке французского языка, опасность излишнего увлечения звукописью, передачи в фонетической транскрипции африканских речений и афоризмов. Нельзя забывать, что поэзия создается на основе образов реальной жизни, средствами языка и ритма, не свойственными прозе. Строчки и столбики, дробление фразы на половины или на трети еще не создают поэзии и не только поэзии, но и образа реальной действительности. Запад сочинил еще один миф, будто все негры — поэты и, чтобы быть признанными, им достаточно на клочке белой бумаги поставить рядом друг с другом несопоставимые образы.

В поэзии нового поколения выделяется фигура талантливого поэта Давида Диопа (к сожалению, рано погибшего). В его поэзии нет ни капли романтизма. Ей свойственна сдержанная строгость, сатирические стихи Диопа беспощадны. Творчество Давида Диопа является наглядным примером того, каких высот может достичь поэзия, не пренебрегающая правдой, реальной жизнью, разумом и логикой. В его стихах нет ни одной необоснованной уступки негритюду, который для Диопа был лишь исходной точкой творческого развития.

Поэтический темперамент таких своеобразных поэтов, как Ламине Диакате и По-

лен Иоахим (если им удастся освободиться от сенгоровского влияния), Амаду Мустафа Ваде, и других внушает надежды на обновление негро-африканской поэзии на французском языке.

■

Африканская поэзия на французском языке отображает реальный жизненный опыт, но остается неведомой народам, которым принадлежит, поскольку в своем подавляющем большинстве они не владеют французским языком. Но у нее будет немного читателей даже в среде африканцев, получивших образование во Франции, если все ее значение будет ограничиваться пределами узкого индивидуального мира писателя, его личного опыта. Необходимы поиски форм и жанров в сокровищнице народного творчества, которые отнюдь не должны означать отказа от индивидуальности. Нужно задуматься над опытом гриотов и выразительными средствами, которые они используют.

Не обречены ли африканские поэты на отказ от непосредственного разговора со своим народом, с широкими массами своих соотечественников? Мне кажется, что на них лежит величайшая историческая ответственность — они должны подготовить рождение в Африке новой, подлинно национальной поэзии на родном языке. Произведения на родном языке несомненно будут написаны лучше, чем на французском, ибо мы знаем, сколь трудна та поэтическая алхимия, к которой мы прибегаем в своем творчестве на чуждом нам языке. Пока никто из нас не может передать то огромное богатство образов и метафор родного языка, которое нам известно.

Преодолев языковый барьер, африканские поэты окажутся перед своим настоящим судьей — африканскими народами.

г. КОНАКРИ

Рисунок художника Н. ДОЛГОРУКОВА.

Это в наши великие годы
Рвутся цепи и рушится гнет.
Африканец с дороги свободы
И с дороги борьбы не свернет.

Пусть до нас раскаленное слово
Донесет через тысячи верст
Образ Африки светлой и новой,
Путь которой суров и непрост.

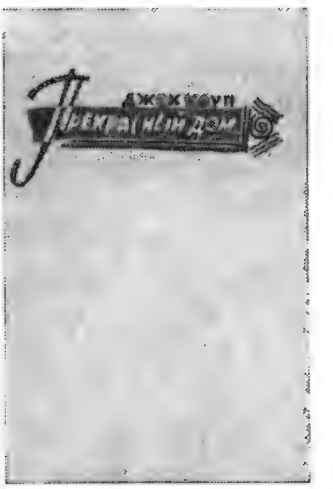
Голоса новой Африки

ЗАЛОГ ГРЯДУЩЕГО РАСЦВЕТА

Джек Коуп. Прекрасный дом. Роман. Перевод с английского Н. Емельянниковой. Послесловие А Давидсона. Редактор С. Апт. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 387 стр.

Филис Альтман. Закон стервятников. Перевод с английского С. Кругерской и В. Рубина Москва, «Молодая гвардия», 1960. 251 стр.

Монго Бети. Завершенная миссия. Перевод с французского М. Амаровой. Послесловие М. Малышева. Москва, Гослитиздат, 1961. 199 стр.



Долгое время для многих из нас Африка оставалась континентом чудес, страной необычной и непонятной. Теперь зыбко-пеструю пелену экзотики смела правда о политических событиях на африканском континенте. Восстания, освободительные войны, борьба, подлые убийства лучших сынов африканского народа... Карта Африки неуклонно меняется, вспыхивая новыми, яркими цветами,— одно за другим возникают молодые самостоятельные государства. Наступил перелом во всемирной истории — приходит конец колониальной системе.

...Передо мной три книги, написанные приблизительно в одно и то же время, но в разных странах африканского континента, непохожими друг на друга авторами. Монго Бети, камерунский писатель, создал роман «Завершенная миссия». Джек Коуп и Филис Альтман посвятили жизни своей родины, Южно-Африканской Республики, книги «Прекрасный дом» и «Закон стервятников». При тематической и художественной несхожести в этих вещах легко открыть одну внутреннюю тенденцию, свойственную сегодня всем африканским литературам,— они рассказывают о становлении общественного самосознания африканских народов.

«Прекрасный дом» Джека Коупа — роман исторический.

В нем нет встречающегося иногда в произведениях

этого жанра механического соединения собственно исторического — событийного — фона и сугубо личных историй героев. Происходящее властно вторгается в сферу интимных отношений людей — дружбы, любви, родственных связей. События не только сводят или разъединяют героев, они ломают, проясняют и формируют их мировоззрение. Потому что за фактами истории писатель увидел общественные проблемы, далеко еще не решенные в колониальном мире и по сей день.

События романа развертываются в Южной Африке в течение весны, лета, осени и зимы 1906 года.

...Когда-то давно, еще за рамками романа, произошла несколько идиллическая история. Белый мальчик оставшийся без матери, был воспитан зулусской женщиной. Он играл с ее внуком, которого стал называть братом, ничего не ведая о пропасти, разделяющей людей с разным цветом кожи. А потом жизнь далеко увела их друг от друга. Белый мальчик Том Эрскин стал фермером, офицером колониальной полиции, зулус Коломб Пела — рабочим-кузнецом, активным участником борьбы с колониализмом.

В этой экспозиции содержится мысль о том, что расовые рубежи, разделяющие людей, не просто жестоки и неумолимы, но и противоестественны. Ни о каких «врожденных» различиях между белыми и цветными не может быть и речи — они созданы искусственно.

В романе жизненные пути Тома Эрскина и Коломба Пела переплетаются сложно, порой трагически. Но не только события, бросившие названых братьев по разные стороны баррикады, определяют эту драматическую сложность. В душе Тома происходит длительная и тяжелая борьба. И, собственно, роман в целом — это рассказ о том, как сын владельца крупных поместий в Африке, белый человек, начинает в конце концов по-новому относиться к проблемам борьбы африканцев за свою независимость.

Сперва Тома не покидало смутное предчувствие беды. Лишь потом, ближе столкнувшись с колониальной «аристократией», он начал понимать истину. Напряжение нарастало с обеих сторон. «Хозяева» стремились спровоцировать восстание, чтобы укрепить свою шатающуюся власть, показать силу оружия, а то и просто пограбить.

И начались душевные метания Эрскина между чувством и долгом, привязанностью к друзьям-зулусам, простыми соображениями здравого смысла и гуманности и положением белого в колонии, званием офицера.

Стремление Тома сохранить порядочность среди разгула усмирительной кампании не увенчалось успехом: нельзя, находясь в центре схватки, пытаться встать над схваткой.

Ему приходится участвовать в подавлении восстания. За попытку воспрепятствовать убийству пленных зулусов он попадает в тюрьму. Лишь пройдя через многие испытания, он понимает, что пассивная «порядочность» невозможна, что нельзя бороться в одиночку. Роман заканчивается тогда, когда Эрскин порывает со своей прежней жизнью и решает избрать новый путь. Мы не знаем, как герой будет дальше бороться с несправедливостью и колониализмом, но можем сделать некоторые предположения, ибо в его решении немалую роль сыграли встречи и беседы с названым братом — Коломбом Пела.

Коломб — участник восстания. Но он, как и Эрскин, в какой-то мере фигура трагическая. Человек образованный, получивший «пролетарскую закваску», он намного перерос ту стихийную ярость, организационную беспомощность и темные суеверия, которые были свойственны основной массе восставших и которые в конце концов обусловили поражение восстания. Коломб глубоко страдает, но он не теряет веры в то, что стихийный протест рано или поздно выльется в политически осознанное выступление, вдохновленное великой идеей: африканцы должны жить без колониального ига. В сознании Коломба все это облекается в прекрасную поэтическую мечту об Африке — континенте несметных природных богатств и древнейших цивилизаций,— которая может стать «прекрасным домом» для людей с разным цветом кожи, если они будут жить по законам равенства и братства.

Так писатель в прошлом своей родины увидел ту идею, которая сейчас вдохновляет лучших сынов Африки на борьбу за свою независимость.

В романе Филис Альтман «Закон стервятников» ставится вопрос о путях борьбы с колониализмом, истинных и ложных, плодотворных и заводящих в тупик. Писательница является активным деятелем многонациональной профсоюзной федерации, борющейся за права как цветных, так и белых. Этот роман, действие которого развертывается во второй половине сороковых годов нашего столетия,— плод длительных раздумий писательницы над судьбами национально-освободительного движения в Южно-Африканской Республике. Материалом для этих раздумий послужила живая практика участия в этом движении.

В центре ее книги «герой», которого нельзя назвать героем в подлинном смысле этого слова. Он нужен писательнице лишь как пример для доказательства от противного: куда может завести непонимание общественных обстоятельств и эгоистическое желание действовать по собственному разумению. Однако Таэлэ — живой человек со сложной психологией. Беспощадно точный авторский анализ показывает те предпосылки, которые привели его к бессмысленно жестокому анархизму.

Таэлэ, тяжким трудом и изнурительной учебой по ночам завоевавший себе место клерка в одной из

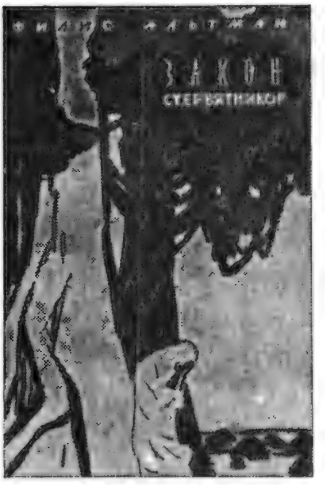
контор Иоганнесбурга, был прилежен и безропотен. И не только по обязанности, но и в силу душевных качеств. Ему доставляло особое удовольствие тщательно выводить заглавные буквы, переписывая документы, держать в безукоризненном порядке свое рабочее место — бумагу, авторучки, линейку, резинки... Он весь жил в этом ограниченно-убогом мирке. Кроме службы, для Таэлэ существовала лишь семья и уютный домик с минимумом комфорта. И вдруг в один прекрасный день всему этому благополучию пришел конец.

Клерка-африканца по ложному обвинению в краже отдали под суд и отправили в тюрьму. Совершилась чудовищная несправедливость: одно утверждение белой женщины, что она нашла в столе Таэле казенные деньги, послужило основанием для приговора к шестимесячному тюремному заключению!

Однако Таэлэ оказался не в состоянии осмыслить подлинной сущности того, что с ним произошло. Он вспыхнул дикой, почти беспредметной ненавистью к «белым вообще». Таэлэ не увидел за своим горем общественной закономерности, жертвой которой падает множество других людей. Это было, конечно, его бедой, обусловленной узостью того мирка, в котором он жил. Но после выхода из тюрьмы Таэлэ стал пытаться вдохнуть свою анархическую ненависть в души других. И тут уже может идти речь об общественной вине Таэлэ, об его ответственности за судьбы тех, кто пошел за ним.

Книга Альтман делится на две части. В первой повествуется о судьбе Таэлэ. Во второй — вводится новый герой, Нкози, оказавшийся под влиянием Таэлэ и попавший из-за него в тюрьму.

Нкози пришлось испытать на себе колониальную «справедливость» несколько в другом варианте. Он сражался против фашистов в туземном гарнизоне британской армии. Он совершил подвиг — спас от смерти белого лейтенанта, за что



был награжден медалью. А когда Нкози вернулся в родную деревню, ему так и не удалось получить обещанную компенсацию за пришедшее в упадок во время войны хозяйство. Здесь он снова почувствовал весь ужас положения цветного: стеклянные, словно смотрящие сквозь человека, глаза белых чиновников, унизительная неловкость при встрече с тем самым лейтенантом, которому он спас жизнь. И его охватило лишь одно желание: «немедленно уйти из этого мира белых людей». Здесь-то судьба и свела его с Таэлэ.

Бывший клерк давно уже превратился в ловца обиженных душ. Он вынашивал план мести с их помощью, мести, не имеющей ничего общего с борьбой за освобождение от колониального гнета.

Но Нкози встретился и с другим человеком — Дхламини, профсоюзным организатором на той фабрике, куда он устроился работать. И тут Нкози начинает впервые постигать азбуку великой солидарности трудящихся, слышит неведомые ему раньше вещи — о связи национального угнетения с несправедливостью, царящей в обществе, где богатый притесняет бедного, о том, что нельзя бороться необдуманно и в одиночку. Писательница убедительно показывает, как эти истины быстро находят отклик в душе людей, не могущих принять «цивилизацию» неравенства и угнетения, с детства усвоивших простую и великую мудрость своего народа: «Все люди — братья».

Нкози долго колеблется между тем, что он услышал от Дхламини, и «правдой» Таэлэ. Но глаза у него открылись слишком поздно. Он невольно оказывается втянутым в безрассудную акцию, задуманную Таэлэ, когда последний призывает разрушить «все, все!», начиная «с домов тех белых, которые заставили нас страдать».

Нелегкие пути ведут к обретению подлинного национального и политического самосознания. Но книга «Закон стервятников» заканчивается оптимистически. Несмотря на то, что Нкози еще не пришел к правильному выбору, автор верит: «В будущем он узнает, что Дхламини и тысячи таких, как он, создадут настоящее справедливое общество разных рас и народов, где все люди будут свободны».

«Завершенная миссия» Монго Бети может показаться вещью камерной. С легким, немного грустным юмором в ней повествуется о том, как образованный юный африканец отправляется в глухую деревушку с особой миссией — вернуть в семью сбежавшую жену одного из своих родственников. Эта миссия завершается успешно. Но так можно обозначить лишь на поверхности лежащую фабулу, и проблематика этого романа при ближайшем рассмотрении оказывается далеко не камерной. И не только потому, что по тексту разбросаны саркастические замечания по адресу колониализма, его проявлений и последствий. «Завершенная миссия» — история возмужания африканского юноши, новыми глазами взглянувшего на жизнь родного народа.

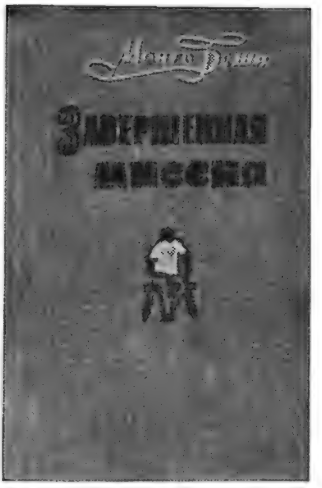
В деревушке Медзу приняли с почестями: ведь он учился в лицее, он человек образованный! И нача-

лись встречи и разговоры с жителями деревушки Кала. Здесь юноше пришлось выполнить иную, неожиданную для него самого, миссию. Его спрашивали о многом. Чему вас обучают белые? Что такое география? Он рассказывает о России, о колхозах, о распределении урожая, о тракторах... Медзу поразил интерес этих людей к незнакомой стране, где они увидели торжество коллективистских начал жизни, которые так или иначе всегда входят составной частью в подлинно народную мораль.

Именно здесь, а не в лицее пришлось Медзе сдавать настоящий экзамен. И тут впервые пробудилось в нем недовольство собой, ограниченностью собственных знаний, впервые он почувствовал связь с другими людьми, впервые проснулась в нем боль, вызванная угнетенностью и темнотой родного народа.

Однако встреча с жизнью была не только горькой и печальной. Эти люди умеют по-настоящему трудиться и радоваться, чувствовать прелесть природы и поэзию песни, любоваться красотой женщины. Все это животворным потоком хлынуло в душу молодого образованного африканца, не утратившего за годы учебы «у белых» сердечной чистоты и чуткости. Отсюда — светлая лирическая интонация, постоянно соседствующая с тем грустным юмором, которым пронизана вся книга, написанная от первого лица. Особенно проникновенен лиризм там, где говорится о первой любви Медзы к нежной и хрупкой Эдиме, которая неожиданно для него самого, по воле отца девушки — правителя деревни,— становится его женой.

Как бы ни был комичен случай с женитьбой Медзы, о которой ему самому сообщили лишь на тайком от него организованной свадьбе, это событие играет в книге большую роль. Оно стало началом бунта героя, почувствовавшего себя в новом положении человеком самостоятельным, бунта, подготовленного всем предыванием юноши в деревне. Сын решил восстать против своего отца. Но этот «сыновний бунт» выходит далеко за пределы узкосемейного происшествия.



В фигуре отца Медзы воплотилось все самое худшее, что только можно было воспринять от двух цивилизаций, встретившихся на африканском континенте: мелочный деспотизм местных царьков и цепкое хищничество европейского ростовщика. Стяжатель, бессовестно обиравший собственных соплеменников, он в учебе сына видел лишь выгодное предприятие, лишь повод возвыситься над ними, покрепче прибрать их к рукам. Медза, с его пытливым умом, давно уже объективно оценил эти «достоинства» своего родителя. Но лишь по возвращении из деревни Кала его скрытая ненависть к отцу выливается в открытое неповиновение. Протест сына выглядит несколько анархическим: дерзость, вызывающее поведение, отказ подчиняться... Но это все в конце концов приводит к решению уйти из семьи, освободиться от деспотизма, от обязанности быть косвенным пособником ростовщичества. И повторяя: «Свободу нам!», Медза уходит.

В его поведении проявились типические настроения африканской молодежи, о которых рассказывает автор романа. Это совсем другие люди, нежели их отцы. Им ни в коей мере не свойственно чувство униженности и беспомощности, они отнюдь не склонны с покорностью принимать существующий порядок вещей. Пусть это пока ограничивается эмоциями, мыслями, настроениями. Но именно перелом в психологии является залогом того, что наступит и для них пора решительных действий. Произошло духовное раскрепощение. Значит, приходит подлинная зрелость, не только личная, но и национальная, общественная, политическая.

Три книги, три повествования о судьбах народов и отдельных людей. Они позволяют понять, что Африка действительно проснулась к новой жизни. Колониализм совершил страшное преступление в этой части света. Как говорил Патрис Лумумба, «колонизаторы уничтожили насилием, коварством и пропагандой все то, что давало африканцам повод для гордости: поэзию, их верования, их философию, их традиции, их фольклор. Целью колонизаторов было превращение африканцев в людей без души, без личности, без своеобразия — в слепых исполнителей их желаний, вечных слуг, которые должны были бы лишь работать, покоряться собственной судьбе и молчать». Но им не удалось убить живую душу народа. Африканские народы обретают в борьбе не только национальную независимость, но и духовную свободу. А в этом — самый могущественный залог грядущего расцвета континента.

З. ФИНИЦКАЯ

ЖАК РАБЕМАНАНДЗАРА — ПОЭТ И ПАТРИОТ

«Веками европейское соло повелительно звучало в мире. Уделом большей части человечества было лишь прислушиваться к голосу своих хозяев... Гонг Бандунга возвестил об окончании этого многовекового монолога»,— так говорил на I конгрессе негритянских деятелей культуры в Париже в 1956 году Жак Рабеманандзара, крупнейший поэт Мадагаскара, незадолго до этого освобожденный из тюрьмы, где он провел более девяти лет. Коротко и образно раскрывал он в своем выступлении сущность колониализма и начало его конца. Не по доброй воле отступили колонизаторы. Право на голос завоевывалось в длительной и тяжелой борьбе, активным участником которой был и Жак Рабеманандзара.

Свою литературную деятельность он начал в ранней юности. Первые книги стихов Жак Рабеманандзара издает в тридцатых годах. А в 1936 году, когда ему было двадцать три года, он организует в Тананариве «Журнал молодых», вокруг которого объединяется писательская молодежь, поставившая перед собой задачу овладеть богатствами французской культуры, чтобы использовать свои знания в борьбе за государственное и культурное возрождение Мадагаскара.

В 1939 году Жака Рабеманандзару как служащего колониальной администрации посылают в Париж. Начавшаяся война помешала ему вернуться на родину. В эти годы Рабеманандзара напряженно учится и продолжает писать стихи.

Довольно долго не мог он освободиться от непосредственного влияния французской поэзии. Но пройдя через этот этап, характерный для многих писателей Африки, получивших французское образование, Рабеманандзара сложился в своеобразного, яркого поэта со своим стилем, своей поэтической манерой, своей системой образов. В его стихах подкупает сочетание мягкого прозрачного лиризма с романтической приподнятостью, торжественностью интонации, со смелыми, необычными образами. Внутренняя основа его поэзии — это пафос силы и красоты чувств, это верность красоте и любви. Красоте женщины и красоте родного острова, любви к женщине и любви к родине. Но чтобы написать такие поэмы, как «Антза» и «Ламба», он должен был получить крещение в борьбе. Именно в годы активного участия поэта в национально-освободительном движении окреп и расцвел его талант.

В феврале 1946 года создается партия Демократическое движение за мальгашское возрождение, целью которой было восстановление независимости Мадагаскара. В ноябре на выборах в Национальное собрание Франции она одерживает большую победу: три лидера этой партии избраны депутатами. Стал депутатом и Жак Рабеманандзара. Победа партии ДДМВ доказала популярность идеи государственного возрождения Мадагаскара среди населения острова. Это не могло не встревожить колонизаторов. В конце марта 1947 года они спровоцировали на Мадагаскаре восстание, послужившее поводом для такой жестокой расправы, каких мало знает даже история колониализма. Карательные отряды уничтожили десятки тысяч мальгашей. Ответственность за волнения была возложена на руководство партии ДДМВ, и депутаты в числе других членов партии были преданы суду.

12 апреля 1947 года Жака Рабеманандзару арестовали и заключили в тюрьму Антанимора. Но ни пытки, ни издевательства тюремщиков, ни угроза смерти не сломили поэта. Его мысли обращаются к родине, истекающей кровью в неравной борьбе. Чем он может помочь ей? У поэта осталось только одно оружие — его стихи. И вот через месяц после ареста он пишет поэму «Антза».

В этой поэме нет фабулы, пересказать ее почти невозможно. Здесь слились воедино и преклонение поэта перед красотой родного острова — прекрасной амазонкой, оседлавшей океан, и плач о страдающей, обманутой родине, на шее которой затянута веревка молчания, и гневное презрение к тем, кто думает, что насилием можно задушить ростки свободы, и уверенность в том, что будущее Мадагаскара прекрасно и свободно. Поэт без конца повторяет имя родного острова — Мадагаскар, прислушивается к нему, и само звучание этого слова дает ему ощущение счастья. Последние страницы поэмы звучат страстным гимном свободе. Не только той свободе, которой так не хватает самому поэту, но грядущей свободе родины. Слово «свобода» полно для поэта глубочайшего смысла:

В нем — яркость битвы,
В нем — клич победы,
В нем — знамя мира.

Это «слово-молния, слово-копье, древнее, как сотворение мира, и молодое, как день», способно совершать чудеса: оно разрушает стены тюрем, срывает оковы с помертвевшего тела народа, оно возрождает день. И перед поэтом встает образ обновленной родины — свободного Мадагаскара.

Написанная короткими, упругими строфами, приподнятым, взволнованным стихом, эта поэма оставляет незабываемое впечатление.

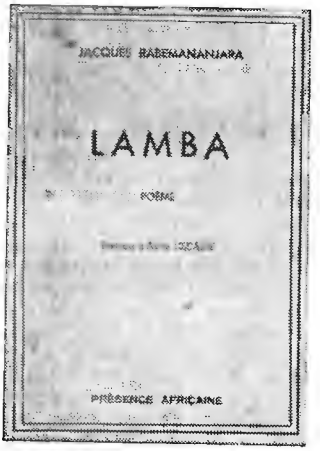
...Следствие продолжалось полтора года. Полтора года допросов, пыток, глумления над человеческим достоинством. Стихи, написанные в этот период, раскрывают душевное состояние поэта. Здесь и тоска узника, отгороженного от жизни тол-

стыми тюремными стенами, когда нет сил отвести глаза от синевы неба в решетке окна, а слух его напряженно ловит голоса детей, играющих на улице. Здесь страх за любимую, чьи мечты были так грубо разрушены, когда в дом, где жило счастье, ворвались вестники пыток и смерти. Здесь и печаль одиночества, особенно мучительная в те вечера, когда на воле люди отмечают праздники, а у заключенного лишь два собеседника: звезда в ночном небе да мышь, скребущаяся в углу. И яростный бунт человека, который не знает за собой вины перед народом, но обречен на смерть.

Однако нет в этих стихах уныния, отчаяния. Страстная вера в торжество жизни наполняет их. Свобода — вот единственное, ради чего стоит жить и умереть. Тюремщики называют его коммунистом, антифранцузом, террористом. Нет. Он просто не желает жить в наручниках — вот почему поэт вступил на трудный путь борьбы за свободу и теперь готов заплатить за нее своей жизнью. Он вспоминает французскую революцию 1789 года, Коммуну, Сопротивление — всех, кто погиб на этапах великой битвы за свободу. Однако битва еще не окончена, и сейчас угнетенные всего мира — и грек, и малаец, и алжирец, и мальгаш — должны объединить свои силы в последнем, решающем бою, который навсегда освободит человека. И поэт уже ощущает ветер свободы на своем лице, он слышит ее шаги: она идет по земле, крадется в ночи, пробирается вдоль стен и уже стучит у дверей. И никаким палачам не остановить грядущего ее торжества.

Суд состоялся в ноябре 1948 года. Жак Рабемананд-зара был приговорен к пожизненной каторге. Но и в каторжной тюрьме Нози-Лава, на знойном островке в Мозамбикском проливе, он продолжает писать.

1950 год. Уже три года, как поэт изолирован от жизни. Тоска по родине день ото дня все мучительнее. И вот она выливается в волнующие строки «Ламбы»*, поэмы о любви к мальгашской женщине. Складки ее ламбы стали для поэта «парусом, одержимым жаждой возвращения на родину». Эта поэма написана уже в ином регистре, чем «Антза»: очень лирическая, напевная, она родилась из нежной любви, из печали пленника, оторванного от прекраснейшей в мире земли — своей родины. Память о родине чрезвычайно остра: поэт ощущает вкус плодов, ароматы цветов, свежее дыхание ветра, слышит шум водопадов и рокот прибоя. С необыкновенной зримостью встают перед ним пейзажи родного края, его горы, реки, деревья. И вновь гнев охватывает поэта, когда он думает о том, что плоды этих деревьев принадлежат не их истинным хозяевам. Пленительная напевность поэмы разрывается гневными интонациями. И тогда ламба становится знаменем — символом гордого вызова палачам.



Но поэту так не хватает родины! Сколько мучительной тоски в последних строках поэмы:

О, если б знать, какая
погода стоит там, у нас...

Постоянные размышления о судьбах родины, о ее прошлом и будущем, заставляют поэта обратиться к истории своего народа. В 1951 году он создает историческую драму «Мореходы Зари», которая воспроизводит легенду о происхождении мальгашей. Много веков назад, рассказывает эта легенда, первые малайские переселенцы высадились в бухте Антонжиль на восточном побережье Мадагаскара и заложили здесь основу мальгашской цивилизации.

...В 1956 году прогрессивным силам Мадагаскара и Франции удалось добиться амнистии политическим заключенным. Жак Рабемананд-зара, незадолго до того переведенный в марсельскую тюрьму, был освобожден, но оставлен под надзором полиции. Ему запретили возвратиться на Мадагаскар. Работая в Париже в редакции журнала «Презанс африкен», Рабемананд-зара продолжает борьбу за независимость Мадагаскара и за культурное возрождение мальгашского народа. Его публичные выступления, лекции по радио, статьи и книги посвящены культуре Мадагаскара и его истории, современному положению и задачам на пути к независимости.

В философских взглядах Рабемананд-зары, в его оценке некоторых явлений много противоречивого, такого, о чем можно с ним спорить и спорить. Например, нельзя согласиться с его идеалистической концепцией негро-африканской цивилизации. Но его свободолюбие, его влюбленность в национальную культуру своего народа, его стремление возродить эту древнюю культуру не могут не вызывать уважения. И трудно оставаться равнодушным к поэзии Рабемананд-зары — яркой, взволнованной, своеобразной, в которой с редкой эмоциональной силой отразился подъем национально-освободительной борьбы Мадагаскара.

Мне довелось видеть Жака Рабемананд-зару в феврале 1960 года. Это было в Риме, уже по-весеннему теплом и солнечном. Здесь в старинном здании Палаццо Фиренце состоялась встреча

* Ламба — вид покрывала, деталь национальной мальгашской одежды.

двух культурных Обществ — Африканского и Европейского. Мне было известно, что Рабеманандзара, стихи которого я давно знала и любила, приедет на коллоквиум.

Обстановка на коллоквиуме сложилась напряженная. По замыслу инициаторов — руководителей Европейского общества культуры, эта встреча рассматривалась как «диалог двух цивилизаций». В ходе этого диалога должны были обсуждаться условия, которые помогли бы новой Африке скорее включиться в единый процесс мировой культуры. Дискуссия развернулась главным образом по вопросу о так называемых «универсальных культурных ценностях». Представители Запада говорили: существует мировая культура, существуют универсальные культурные ценности, они не зависят от расы, нации, классовых и социальных систем, они — общие для всех народов, и именно их должны положить африканцы в основу своей современной культуры. Африканцы резко возражали. Обсуждение культурных проблем вылилось в жаркие политические споры.

Пришла очередь выступать Жаку Рабеманандзаре. Он встает и начинает говорить негромко, спокойно. Но постепенно увлекаясь, он загорается. Говорит быстро и горячо, приподнимаясь на носки, то выбрасывая руку вверх, то резко опуская ее. Он говорит о том, что народы Африки, которых не раз обманывали, должны знать, что Европа — двуликий Янус: она дала миру великую культуру, но она же принесла войны, человеконенавистничество, расизм. Голос его взволнованно звенит под сводами старинного зала.

Второй раз мы встретились с Жаком Рабеманандзарой в Париже, в редакции «Презанс африкен». На этот раз мы увидели его в будничных хлопотах. Рабеманандзара работал тогда заместителем главного редактора, на его обязанности лежала вся организационная работа, а при постоянных финансовых затруднениях журнала это было делом очень сложным. Собственной типографии у журнала нет. И всякий раз, когда очередной номер был готов к изданию, Рабеманандзара отправлялся на поиски типографии куда-нибудь в провинцию, где печатание номера обошлось бы дешевле, чем в Париже.

Редакция помещалась в двух крошечных темных комнатушках за книжным магазином, работали с утра при электрическом освещении. Разговаривая с нами, Рабеманандзара все время отрывался, чтобы ответить на вопросы сотрудников, поговорить по телефону. Это были дни редакционной лихорадки: шли гранки специального номера журнала, составленного из статей советских африканистов. Издатель торопил редакцию, грозя «заморозить» сборник, надо было ехать к нему и уговаривать, чтобы он подождал несколько дней.

А через три месяца после нашей встречи Мадагаскар получил независимость, и Жак Рабеманандзара вернулся на родину.

Г. ПОТЕХИНА

К СВОБОДЕ, К СВЕТУ

Mohamed-Aziz Lahbabi. Misères et lumières. Casablanca. 1961.

В 1961 году в Рабате состоялся I конгресс писателей стран Магриба. И едва ли не самым важным его решением было учреждение магрибского Комитета по изданию произведений писателей Северной Африки и переводам.

Одна из первых книг, подготовленных этим комитетом,— сборник стихов видного марокканского деятеля культуры, профессора Рабатского университета, философа и поэта Мухаммеда Азиза Лахбаби «От мрака к свету»*.

Это уже третье издание сборника. Но если первые два вышли за границей, в Париже, то последнее — на родине поэта.

Мухаммед Азиз Лахбаби пишет на французском языке, и читателям он был уже известен как автор «Песен надежды», которые появились в 1952 году, когда в Марокко ширилось национально-освободительное движение. А через несколько лет, в 1959 году, Лахбаби получил Большую премию независимого Марокко за сборник стихов «От мрака к свету», который он сам называет «новыми песнями надежды».

Марокканская общественность и прогрессивная литературная критика за рубежом высоко оценили этот сборник Лахбаби. И действительно, перед нами поэт исключительно своеобразный, глубоко национальный, в голосе которого звучат и нежная лирика, и кипучая ненависть к угнетателям и войне, и призыв к борьбе, и надежда на светлое будущее своего народа.

Сборник «От мрака к свету» состоит из нескольких частей. Но хронологически и по содержанию его можно разделить на два больших цикла: парижский, написанный с 1950 по 1954 год — годы учебы Лахбаби во Франции,— и цикл стихов, созданных после его возвращения на родину, в период подъема национально-освободительного движения в Марокко.

* Некоторые стихи из сборника «От мрака к свету» публикуются в этом номере.

Парижские стихотворения Лахбаби — преимущественно лирика интимная. Но и в них уже слышны мотивы, столь характерные для его творчества в дальнейшем, те интонации, которые определяют его поэзию в целом. Поэт воспевает природу, любовь, дружбу. Но вот тихая и нежная колыбельная неожиданно переходит в торжественное обещание отца:

... спи,
мы будем бороться
за тебя,
и у тебя будет мир, дом
и розы...
(«И из колыбели вылетел голубь»)

Ребенок становится символом счастья, надежды:

... спи,
ты будешь для нас
зарей новой жизни. .
и пусть те, кто готовит
войну,
исходят бешеной
злобой —
ты не увидишь грозы.

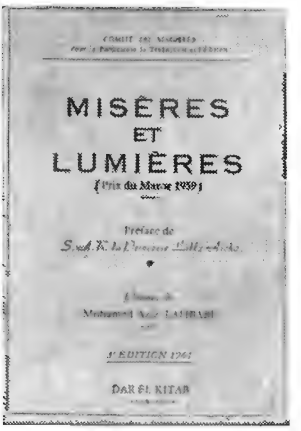
Поэт бесконечно любит жизнь, землю, взрастившую его, ему дорого и близко все человеческое. Ведь мир так прекрасен, «когда смеются дети... когда счастливые матери напевают им ласковые песни, оберегая их светлый и радостный сон». Но для поэта любить жизнь — значит «жить достойно», «никогда не вставать на колени и всегда высоко держать голову». Любить жизнь — значит жить свободно, это значит — «гореть»:

...ведь народ никогда
не умрет,
если жизнь его — пламя.
(«Циникам»)

Сердце поэта должно «будоражить людей», звать их вперед, «к свету, к свободе». Но... «лишь та только песня тронет... лишь только тогда она искренна, когда звучит в ней любовь к человеку...» («Учиться петь»).

И вот поэт возвращается к своему народу, к земле и небу родной страны. Он увидел здесь нищету и голод, слезы и горе, «бесконечную ночь, что идет по пятам». Он услышал «стоны и крики, которые нужда вырывает из горла».

С болью и гневом поэт спрашивает тех, кто несет ответственность за тяжелую долю его народа:



Почему вы нас вынудили
голодать и лишили любви
и хлеба ..
Мы ведь тоже хотим
слушать музыку, песни,
А солнце встает и для
нас...
(«Мы как и все»)

Тогда рождается его «Феллах» — прекрасные стихи, глубокое раздумье о судьбе своего народа. За портретом феллаха встает картина народной жизни, народного горя. Картина печальная и страшная. Но стихи звучат торжественно, оптимистически: пусть тяжка доля народа, пусть кошмарны сны его — поэт верит, настанет день, когда его народ проснется для новой жизни и переделает мир.

Перекликается с «Феллахом» поэма «Бидонвилль» — обличение колонизаторов, которые довели его народ до беспросветной нужды. Но поэт полон уверенности, что «солнце, одевшись в парчу и золото», засияет для бедняков, и они тоже «наденут свои праздничные одежды», чтобы выйти из мрака к свету навстречу мечте, надежде, свободе. Надо лишь «выпрямиться», протянуть друг другу руки, «гордо посмотреть жизни в глаза».

И поэт пишет гимн свободе, которая принесет народу желанное счастье:

...мы горим твоим
пламенем,
мы живем для тебя,
мы умрем, если надо,
и прольем свою кровь за
тебя,
свобода!
(«Да здравствует свобода!»)

В 1956 году была наконец провозглашена независимость Марокко. «Здравствуй, независимость!» — так назвал поэт стихотворение, посвященное национальному празднику:

Еще вчера небо
хмурилось,
и эхо вторило нашим
горьким жалобам ..
Магриб носил траур, и в
небе стояло черное
солнце...
Сегодня заря заблестела
на горизонте,
Здравствуй, свобода,
здравствуй, независимость!
Весь мой народ привет-
ствует тебя!

Народ хочет «залечить свои раны», и вместе с ним поэт живет его мечтой, его верой.

На знамени независимого Марокко — два цвета:

Оно красное,
красное, как кровь
наших мучеников
с зеленой эмблемой,
...зеленой, как наши
долины ..
(«Арафа уходит»)

И когда поэт видит, как гордо реет это знамя в бездонной голубизне неба, ему хочется верить, что свобода и радость «пришли к народу навсегда». Ничто не должно омрачать счастья людей, никто не должен украсть у неба звезды, у солнца — тепло, у лета — улыбку. Никто не хочет больше слышать воя военных сирен и рыданий матерей. Пусть те, кто готовит новую войну, увидят гнев народа, услышат, как бьет тревогу поэт и призывает всех, у кого не зажили еще раны прошлой войны, всех, кому дорог мир на земле, остановить поджигателей и «навсегда уничтожить вой их зловещих сирен».

Долой и тех, для кого жизнь — абсурд! В мире должны царить весна и радость. Поэт обращается к молодежи всех стран, всех рас, к тем, кто страстно любит жизнь, верит в свое завтра,— в ней видит он силу, способную «изменить землю», «вернуть миру улыбку». Он твердо уверен, что будущее земли — это свобода для всех, это «царство справедливости и торжество гуманизма».

С. ПРОЖОГИНА

ВНУК УЧИТСЯ ПИСАТЬ

Элфред Хатчинсон. Путь в Гану. Сокращенный перевод с английского С. Р. Майзельс и Ю. М. Полякова. С предисловием и под редакцией А. Б. Давидсона. Москва, Издательство восточной литературы, 1961. 227 стр.

Человек бежит из страны, которую пылко любит.

Он — обвиняемый на процессе о «государственной измене». Ему угрожает тюрьма, а может быть, смертная казнь.

Но даже если он останется на свободе, здесь, на земле своих отцов, он никогда не сможет жениться на любимой женщине. Он — «цветной», Хейзл — англичанка. Свою любовь они хранят в тайне. Иначе ему грозит судебный процесс и тюрьма. И ему и Хейзл.

Человек бежит из родной страны — ничего страшнее быть не может.

Газеты Южно-Африканского Союза (ныне Южно-Африканской Республики) пестрят сенсационными сообщениями о заседаниях судов — специальных судов, созданных для установления... точного цвета кожи. В ходе «судебного разбирательства» задаются сугубо интимные вопросы. Суд расторгает браки только потому, что у одного из супругов кожа чуть темнее, чем у другого. Если кожа детей имеет иной оттенок, их отнимают у родителей. На языке южноафриканских расистов это называется апартеид — раздельное развитие рас. В полном соответствии с арсеналом гитлеровских «антропологических исследований» в стране действует комиссия по «исследованию крови»

— Можете ли вы представить свою дочь замужем за черным?

— Я бы предпочла, чтобы ее съели крокодилы.

Это интервью и тысячи ему подобных опубликованы в южноафриканских газетах.

И человек бежит на чужбину. Имя его Элфред Хатчинсон. Добравшись до Ганы, он пишет книгу. Она так и названа: «Путь в Гану». Прогрессивный журнал ЮАР «Файтинг ток» назвал Хатчинсона «одним из лучших, может быть, самым лучшим южноафриканским писателем нашего времени».

Это очень простая книга. Автор не рассуждает, не нагнетает ужасов, не ищет эффектов. День за днем описывает он свой опасный путь, впечатление за впечатлением, встречу за встречей.

Опутанная паутиной расистских законов Южная Африка, Родезия, белые властители которой мало чем отличаются от южноафриканских, задавленный португальскими колонизаторами и залитый кровью Мозамбик, голодный Ньясаленд, Танганьика с ее поднимающимся национально-освободительным движением и наконец независимая Гана — Хатчинсон повествует обо всем, что произошло с ним в пути, на который ушло два месяца.

Ему удалось обмануть южноафриканскую охранку. Он — в поезде, грязном поезде, который уносит его из Иоганнесбурга на север, в пустыню. Поезд набит африканцами. У каждого за плечами годы страданий. Люди возвращаются из Южно-Африканского Союза к себе на родину. Да, там на родине — тоже голод и унижения. Здесь, в ЮАС, можно было хоть что-нибудь заработать. Что же они заработали здесь, на рудниках и шахтах золотоносного, алмазного Витватерсранда, под Иоганнесбургом?

Вот Мвели, болезненного вида парень. Шесть лет провел он здесь. Теперь он возвращается домой, заработав туберкулез. «В соседнем купе ехал человек, который вез жену и двоих детей из Южно-Африканского Союза домой в Ньясаленд. На детей и их мать страшно было смотреть. Дети все в болячках, полуслепые от гноя и грязи. Вокруг их глаз роились мухи, а женщина, измученная голодом и нуждой, даже не пыталась их отгонять от больных детей. Муж сидел рядом. Отчаяние подкосило и его». А рядом — хилый старик. Он тоже из Ньясаленда. 14 лет он не видел семью. Что болтает этот выживший из ума нищий старик? С самодовольным видом «читает» он Хатчинсону «целую лекцию о Ньясаленде». Он ни в чем не виноват, этот бедный старик: английские колонизаторы внушили ему, что его народ — почти «британцы», а это — «высокая честь»!

«Англия — не то что Португалия,—пыжится старик.— У нас поезда водят сами чернокожие... Можешь напиться пьяным, брат, и спи себе посреди дороги, и никто тебя пальцем не тронет... В Ньясаленде управляет народ...»

Так хвастает старик, отдавший 14 лет своей жизни каторжному труду в ЮАС ради того, чтобы потом не умереть с голоду в Ньясаленде.

На одной из станций — толпа шахтеров: ежегодно сотни тысяч африканцев, «завербованных» Витватерс-

рандской ассоциацией по использованию туземного труда, спускаются в шахты под Иоганнесбургом. У этих срок контрактов кончился. Их сопровождает конвой. Шахтерские штаны сплошь в заплатах. «На ногах разномастные драные носки, от которых порой уцелела лишь верхушка». Им повезло — они живы. Они не погибли в одной из многочисленных катастроф. Правда, в легких у них силикатная пыль, теперь им долго не протянуть, но зато они возвращаются домой.

Меняются поезда. Грязные загаженные вагоны, предназначенные «только для черных». сменяются еще более грязными и загаженными. И всюду шныряют полицейские с наручниками у пояса — в ЮАС, в Родезии, в Мозамбике, в Ньясаленде.

«Путь в Гану» — не первое произведение тридцатичетырехлетнего Элфреда Хатчинсона. Все, что написано им, журналистом и писателем, направлено против расизма и колониализма. Многие годы Хатчинсон был активным членом АНК — Африканского национального конгресса, наиболее массовой политической организации коренного населения Южно-Африканской Республики. Именно антиправительственная деятельность привела его в декабре 1956 года на скамью подсудимых во время процесса о «государственной измене», который передовая печать мира очень точно определила как южноафриканский вариант процесса о поджоге рейхстага. Это скандально нашумевшее судилище длилось до 29 марта 1961 года. Обвинение так и не сумело доказать виновность ни одного из 156 обвиняемых. Воспользовавшись одним из перерывов в процессе, когда у прокурора Пироу иссяк очередной запас «аргументов», Хатчинсон на исходе 1958 года совершает побег в Гану.

Этот Освальд Пироу — откровенный фашист, которого сообщники встречали возгласом «Хайль, Пироу!». Его единомышленники до сих пор господствуют на юге Африки.

Но над африканским континентом веет ветер перемен. Не успел мир прочесть книгу Хатчинсона, а многое, описанное в ней, уже ушло хоть и в недалекое, но все-таки прошлое.

Танганьика, например, где Хатчинсон столкнулся не только с мощной организацией — Африканским национальным союзом Танганьики, но и с «гуманными» британцами, которые на две недели упрятали его в тюрьму, эта Танганьика теперь обрела политическую независимость. 9 декабря 1961 года на вершине Килиманджаро загорелся факел — символ свободы. Его водрузил Александер Гвебе — первый африканский офицер в танганьикской армии.

Символом перемен в Африке может быть и судьба самого Элфреда Хатчинсона. «Мой дед,— пишет он,— вождь Матсамо, охранял восточные подступы к Свазиленду, месту, куда изгоняли колдуний и колдунов. На заре его правления impis (отряды зулусов.— *А. П.*) совершали набеги на соседние племена... Когда я был малышом, мать возила меня в его крааль, и Матсамо, впавший на старости лет в детство, поил меня молоком из королевской калебасы и благодарил дочь за то, что она родила ему внука, который будет «писать за него буквы».

Элфред научился не только «писать буквы». Он стал писателем, одним из тех, чья беззаветная борьба и талант, как факел над Килиманджаро, освещают путь Африки к новой жизни.

А. ПОЛИЩУК

БАРЬЕРЫ ВИДИМЫЕ И НЕВИДИМЫЕ

Alan Paton. Debbie Go Home. London, Cape, 1961.

В сборнике рассказов «Дебютантка, отправляйся домой!» Алан Пейтон, видный южноафриканский прозаик и публицист, автор романов «Плачь, любимая страна» (1948) и «Слишком поздно» (1953), вновь обращается к разоблачению расовой дискриминации в ЮАР и жестокости расистских нравов, к проблеме разлагающего влияния буржуазной цивилизации на коренное население Африки.

Действие большинства рассказов — «Полпенни», «Смерть одного из цоци», «Дом, разделенный надвое» и другие — происходит в стенах исправительного заведения для несовершеннолетних преступников - африканцев. Они написаны от лица гуманного тюремного воспитателя, в котором легко угадывается автор: Пейтон был одно время директором исправительного дома. Наряду с малозначительными психологическими этюдами в сборнике есть по-настоящему глубокие рассказы, в которых сбившиеся с пути подростки показаны не просто преступниками, а скорее жертвами преступно организованного общества, обрекающего африканскую молодежь на нищету, невежество, воровство.

Разве стал бы красть малыш по прозвищу Пол-

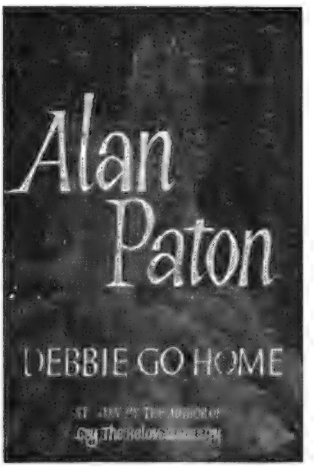
пенни, будь у него пища, кров и семья, о которой он страстно мечтал? Полпенни — смешное и грустное прозвище... Наверно, не раз ему приходилось протягивать руку, выпрашивая такую монетку. Мальчик умирает от туберкулеза на тюремной койке, так и не узнав детства и материнской ласки.

Все мудрые рецепты и наставления в добродетели, которые уносит с собой выпущенный на свободу Эбрегем Молтисейн, оказываются бесполезными. С трагической неизбежностью погибает он от рук «цоци» — своих бывших сообщников по банде.

Вряд ли удастся порвать с преступным миром и другому юноше, Джекки, в сущности хорошему парню. Подобно сотням своих сверстников, он с детства отравлен наркотиками и не в силах избавиться от проклятой привычки. Чтобы курить дагга, нужны деньги, много денег. И Джекки снова ворует, и снова попадает из так называемых свободных общежитий исправительного дома в другую, тюремную часть его.

Лучшие рассказы сборника — «Дебютантка, отправляйся домой!», «Жизнь за жизнь», «Угощение в коридоре» — построены на типичных конфликтах, порожденных сегрегацией. В них ощутимо дыхание народного гнева, они динамичны, их образы четки и контрастны.

В муниципалитете затевают бал для девушек-африканок, на котором чиновное лицо обратится к темнокожим «дебютанткам» с напутственной речью. Молоденькая Джейни де Вильерс, дочь скромного фабричного служащего, жаждет пойти на бал — потанцевать, повеселиться. Мать, с трудом скопив несколько фунтов, шьет ей новое белое платье. Но Джон де Вильерс не желает, чтобы его жена и дочь лизали бьющую их руку, он знает цену красивым фразам колонизаторов. «...Важные персоны из белых будут принимать наших девочек,— говорит он.— Им будут улыбаться, пожимать руки, и администратор наговорит кучу вздора о братстве людей. Но если на будущей неделе какая-нибудь из девочек вздумает войти в этот дом, ее впустят только с черного хода». Старший брат Джейни, студент университета, идет в своем протесте дальше отца. «Дебютантка, отправляйся домой!», «Кто украл у меня право голоса?» — с такими красноречивыми плакатами он и его товарищи выйдут на демонстрацию против фарисейского бала.



Убит богатейший в округе овцевод, африкандер Флип, которого ненавидят все работники на ферме. В притихших хижинах люди с тревогой наблюдают зловещий съезд родственников и знакомых Флипа. После издевательского допроса полицейский детектив Робертс, маньяк и садист, и его подручные уводят пастуха Маармена. Им все равно — виновен тот или нет. Смерть белого должна быть отмщена, и Маармен не вернется домой — таково «правосудие» расистов. Овдовевшую Сару Маармен наследник Флипа Гисберт выгоняет на улицу. Обезумев от горя, позабыв страх, она тщетно пытается узнать в полиции правду о смерти мужа.

Пейтон пишет в подчеркнуто сдержанной, лаконичной манере, но, читая рассказ «Жизнь за жизнь», никто не заподозрит его в бесстрастии.

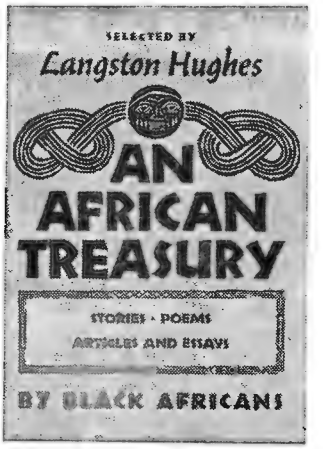
Расизм преграждает людям путь друг к другу не только с помощью полицейских рогаток. Он возводит невидимые глазу барьеры, отравляет сознание людей, уродует их чувства. Ван Ренсбург, молодой человек из небогатой африкандерской семьи, далек от звериной ненависти и пренебрежения к чернокожим. Каждый вечер он приходит полюбоваться скульптурой «Африканская мать и ребенок», выставленной в окне книжной лавки. Ее изваял талантливый африканец Саймлейн, удостоенный первой премии на конкурсе (устроители по рассеянности не включили в условия стандартное «только для белых»). Случайно столкнувшись с Саймлейном и не предполагая, что перед ним скульптор, Ван Ренсбург стремится как-то выразить свое доброе отношение к народу, к которому принадлежит замечательный художник. Он приглашает Саймлейна к себе домой и распивает с ним заветную бутылку коньяка, хранившуюся для семейных торжеств. Он в восторге от собственной смелости, он ждет изъявлений признательности от африканца, ищет следы умиления на его лице. Но, не решившись пригласить своего гостя в комнату, он угощает его в коридоре...

Осуждая расовую дискриминацию, Пейтон не раскрывает ее тесную связь с интересами эксплуататорских классов. Тем не менее его рассказы вносят новые штрихи в созданную реалистической литературой ЮАР картину общества, изувеченного колониализмом.

А. ПЕТРИКОВСКАЯ

«АФРИКАНСКАЯ СОКРОВИЩНИЦА»

An African Treasury. Selected by Langston Hughes. Stories, poems, articles and essays by Black Africans. New York. Crown Publishers, 1960.



Сборник «Африканская сокровищница», составленный известным американским поэтом-негром Лэнгстоном Хьюзом, очень разнообразен по содержанию. В книге читатель найдет короткие рассказы и стихи, политические статьи и выдержки из выступлений видных общественных деятелей, эссе, народные сказания. Л. Хьюз ставил своей целью показать Африку такой, как она есть, во всех ее сложных противоречиях — молодую и древнюю, мудрую и наивную, героически борющуюся за свободу и человеческое достоинство и опутанную цепями ужасающих суеверий. Он стремился раскрыть внутренний мир африканца наших дней в его неповторимом своеобразии.

Любопытна история появления этого сборника. В 1954 году редакция иоганнесбургского журнала «Драм» («Барабан») объявила конкурс на лучший рассказ, причем участником его могли быть лишь коренные африканцы. Лэнгстон Хьюз, приглашенный журналом в качестве одного из членов жюри, прочитал множество материалов — частью принадлежащих профессионалам, частью нацарапанных безвестными авторами на измятых и грязных листках. Заинтересовавшись этим, Хьюз обратился во все страны Африки с просьбой прислать аналогичные материалы и из тысяч полученных им страниц отобрал наиболее яркие, с его точки зрения,— они-то и послужили основой для «Африканской сокровищницы».

Во вступительной статье Лэнгстон Хьюз отмечает, что при всем разнообразии и противоречивости помещенные в сборнике произведения пронизаны чувством, которое выразилось в могучем кличе участников Конференции солидарности стран Азии и Африки в Аккре: «Да здравствует Африка!»

Наибольшее количество страниц отведено в сборнике публицистическим материалам. События в Африке наших дней развиваются стремительно, и потому многие статьи, написанные в 1958—1959 годах (например, «Дневник конференции в Аккре» Эзекайла Мпашлеле и «Африканская свобода» Тома Мбойи), сейчас уже представляют, в основном, исторический интерес.

Но вот статья Филлис Нтантала «Вдовы резервации» — она не утратила своей актуальности и сегодня. Это горький и правдивый рассказ об участи тысяч женщин в резервациях Южно-Африканской Республики, женщин, навсегда разлученных с мужьями, которые вынуждены уезжать на заработки в город, чтобы прокормить свои семьи. Скорбь о больных и умирающих с голоду детях, непосильный труд, преждевременная старость — таков удел африканских женщин, загнанных в резервации.

Важную тему поднимает нигерийский автор Дж. Коинде Воген в статье «Киноложь об Африке» *. Он раскрывает шовинистическую сущность многих коммерческих фильмов об Африке, выпускаемых в Европе и США.

С различными сторонами жизни африканцев, их обычаями знакомят читателей статьи «Негры племени ибо — как они есть» Онайнейкия Удиэйгу, «Похороны кита» Дж. Бенибенгора Блея, «Рабочие песни африканцев» Теннисона Макиване и другие.

Из прозаических произведений особенно остры по своему социальному звучанию два рассказа южно-африканских писателей: «Скамейка» Ричарда Райва — страстный протест против колониализма и «Случай в малайском лагере» Питера Абрахамса, показавшего расистскую практику во всем ее отталкивающем безобразии.

Привлекает внимание своей самобытностью талант таких писателей, как Эфуа Теодора Сазерлэнд (Гана) и Амос Тутуола (Нигерия), которые нередко черпают сюжеты для своих произведений из фольклора.

Горячей любовью к родине, стремлением видеть ее счастливой проникнут поэтический раздел сборника. В нем выделяются «Африканское небо» талантливого ганского поэта Фрэнсиса Паркса, два стихотворения Абиоси Никола (Сьерра-Леоне) под общим названием «Возвращение», задумчивая, глубоко лиричная «Песня» Питера Кумало (ЮАР), отличающаяся простым и изящным ритмическим рисунком.

Задачей сборника, говорит Л. Хьюз в предисловии, было показать, что думают о судьбах своей родины африканские писатели. Большой труд Лэнгстона Хьюза увенчался успехом. Голос новой Африки привлекает читателя своей свежестью и силой.

С. МИТИНА

* Статья Дж. Коинде Вогена публикуется в этом номере.

«ПЕСНЬ ДЛЯ ЛОКОЛЕ»

Kalanga Abdalla. Cîntec peutru Lukuli. Bucureşti, Editure tineretului, 1961.

В середине прошлого года в книжных магазинах Румынской Народной Республики появилась любопытная книга. Она называется «Песнь для локоле», и автор ее Каланга Абдалла пишет о жизни африканских народов, но мы нигде не найдем на обложке указания, что книга эта является переводом. Загадка разрешается просто: Каланга Абдалла—конголезка, родом из Катанги, уже давно живет в Румынской Народной Республике, где она окончила медицинский институт; пишет она на румынском языке. Это вторая ее книга. Первая — под названием «Статуя из слоновой кости» — была опубликована несколько лет назад.

«Песнь для локоле» — сборник новелл о жизни народов Африки. Как в калейдоскопе, проходят перед читателем события истории и наших дней. Мы видим первые вспышки возмущения африканских народов против белых колонизаторов, положившие начало борьбе за независимость. Обращаясь к далекому прошлому, Каланга Абдалла рассказывает, как путем обмана, грабежа и убийств колонизаторы завоевали власть на континенте.

Вполне естественно, что в книге чувствуется влияние африканского фольклора, и это придает ей своеобразие, пленившее румынских читателей.

Несколько слов о заголовке книги. Локоле — название музыкального инструмента у народов экваториальной Африки, под аккомпанемент которого народные певцы исполняют песни и легенды. Таким образом, автор как бы дает в этой книге сюжеты песен для локоле. Каждому рассказу предпослан отрывок из народной африканской песни, подчеркивающий основную его идею.

Иногда автор вторгается в ход повествования, предсказывая, подобно хору в античной драме, трагический финал. В новелле «Братья по крови», когда вождь племени Мааса, обманутый лживыми обещаниями колонизаторов, предоставляет им возможность обосноваться на землях свободных африканцев, мы слышим голос рассказчика, предупреждающего, что небо покрылось черными тучами, похожими на стадо диких быков. И когда колонизаторы приводят в исполнение свои захватнические планы, рассказчик возвещает, что разъяренное «стадо» облаков полонило небосвод. «О небо, небо! Что случилось? Почему душа моя полна страшных предчувствий?»

Следует отметить, что благотворное влияние современной румынской литературы, чуждой декадансу, помогает Каланге Абдалла сохранить реалистическое отношение к фольклору. Взгляд писательницы устремлен в будущее, ей не свойственно реакционно-романтическое любование прошлым.

Наряду с рассказами, где манера повествования явно навеяна фольклором, в книге есть и новеллы, написанные в духе классического реализма. И здесь следует упомянуть рассказ «Карандаши», где ощущается горьковское влияние.

Каланга Абдалла рисует светлые образы борцов за независимость: Мааса, подымающего свое племя на борьбу против колониализма, героя рассказа «Павианы на плантации», который, раскрыв бесчестные планы хозяев, уходит, уводя за собой всех батраков.

Особо следует сказать о последнем рассказе «Машина 47-18».

В двух полицейских машинах едут закованные в цепи африканцы, которые должны были участвовать в Марше свободы пяти городов. Жители деревень, через которые они проезжают, освобождают арестованных. Одна машина уничтожена, другая конфискована в пользу Марша свободы. Книга «Песнь для локоле» заканчивается сценой: юноша, у которого на руках еще остались обрывки цепей, садится за руль, чтобы вести машину. Символ новой, борющейся Африки.

Ал. ОПРЯ

г. БУХАРЕСТ

СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ

Муга Гикару. Страна солнца. Перевод Ю. Анина. Москва, «Молодая гвардия», 1961. 207 стр.

Желтый солнечный диск и в лучах его — черный человек, простерший руки к солнцу. Это обложка книги «Страна солнца», книги о далекой Кении, где шесть миллионов населения составляют африканцы и только шестьдесят тысяч — европейские посе-

ленцы. Но именно им принадлежат все богатства в стране.

Англичане, захватившие Кению более семидесяти лет назад, отняли у коренных жителей самые плодородные земли, лишили их элементарных человеческих прав. «Белый человек пришел к нам с библией в руках и увидел, что у нас есть земля. Он отдал нам библию и забрал землю»,— с горькой иронией замечает автор «Страны солнца» Муга Гикару, первый человек из народа кикуйю, написавший книгу.

«Страна солнца» — автобиографическая повесть. Муга Гикару рассказывает о себе, о близких ему людях. Он пишет о природе Кении, где под щедрым солнцем щедрая земля дает обильные плоды, о преданиях и поверьях своего племени. Личные переживания автора все время отходят на второй план: для него собственная судьба не отделима от судьбы его народа. Поэтому многие страницы книги — актуальная публицистика.

Муга Гикару берет большой отрезок времени — с конца XIX столетия, момента прихода белых, и до середины 50-х годов XX века.

Чудовищный полицейский произвол, ужасы концентрационных лагерей на острове Манди, издевательства и унижения, которым подвергают исконных жителей Кении английские колонизаторы,— такой встает Кения со страниц книги молодого кикуйю. «Моему народу дозволено только издали любоваться землей, которая породила его, тучной землей, которая приняла останки его предков»,— с гневом восклицает Муга Гикару. Белые колонизаторы загнали его народ в резервации, где на землях, выжженных знойным солнцем, не растет злак, где человек, какой бы титанический труд он ни затратил, не соберет зерна, чтобы накормить своих детей.

Кения — это рай для белых и ад для черных.

Это страна, где мужчины за свой труд получают гроши, а женщина гнет спину бесплатно.

Африканец не может появиться на улице без пропуска, свидетельствующего, что он работает на белого плантатора; если такого пропуска нет, человек попадет в полицейский участок, где будет зверски избит, а может быть, и не выйдет оттуда живым. Один из членов Верховного суда Восточной Африки, говорит Муга Гикару, не так давно заявил, что «полиция сама себе законы пишет».

Однако жители Кении не хотят больше подставлять свою спину бичу колонизаторов. Народ борется. В 1952 году в стране было даже введено чрезвычайное положение: англичане стремились всеми средствами подавить национально-освободительное движение, широким потоком разлившееся по стране.

Муга Гикару рассказывает, как жадно стремятся люди Кении к образованию. Родители отдают последние крохи своих нищенских заработков, чтобы послать детей учиться, создают школы на пожертвования. «Тернист путь в науку черного юноши»,— с болью отмечает автор. А получив образование, он не может найти работу «потому только, что он сын своего чернокожего отца».

Представления молодого кикуйю иногда наивны, роль образования в освободительной борьбе он порой преувеличивает. Однако эта книга — взгляд на многострадальную Кению глазами африканца — ценна обличением колониального рабства, уверенностью автора в том, что «господству белых придет конец», что в борьбе его народа «единственно возможный путь — это социалистическое общество, гарантирующее всем своим членам равные возможности во всех областях жизни».

А. ГРУЗИНОВА

ВСТАВАЙ И ДЕЙСТВУЙ!

Взглядом сердца. Стихи поэтов Анголы, Мозамбика, Островов Зеленого Мыса, острова Сан-Томе. Перевод с португальского Ф. Кельина, Л. Некрасовой, И. Тыняновой. Составитель Н. Я. Тульчинская. Предисловие Г. И. Потехиной. Москва, Издательство восточной литературы, 1961. 144 стр.

Звон кандалов на дорогах,
Пенье птиц
В зеленой прохладе леса,
В сладостной музыке
пальм...
. . . . . .
Ритмы в движенье,
Ритмы в шагах окровавленных ног,
Ритмы в крови,
Текущей из-под ногтей,—
И все это ритмы...
Ритмы...
О голоса истерзанной
Африки!

(«Пламя и ритмы».
Перевод Л. Некрасовой)

Так рисует трагедию народов португальских колоний африканского континента известный ангольский поэт и общественный деятель Агостинью Нету.

Поэзия африканских поэтов, пишущих по-португальски, трагична, как судьба колониальных народов Африки. Вспоминают ли поэты об истории порабощения их земель, обращаются ли к

современности — в стихе слышится звон кандалов и глубокая боль души, ставшая песней.

Наш сын уехал на остров,
Который зовут Святым...
Против воли его
разлучили —
Айюэ!
С домом родным.
. . . . . .
Наш сын уехал на остров,
Который зовут Святым...
Волосы сыну остригли —
Айюэ!
А был он кудрявым таким!
. . . . . .
Умер он. Домой не
вернулся...
Айюэ!
Он умер совсем молодым!

(Марию ди Андради «Песня Сабалу». Перевод Л. Некрасовой)

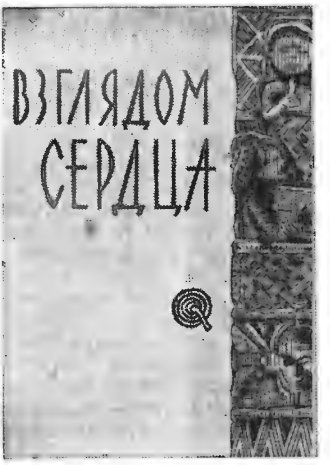
Черная мать убаюкивает младенца и поет песню, которую пели далекие предки, печальную колыбельную песню, и смотрит на небо, где нет ни белых, ни черных, ни желтых, ни краснокожих (Агиналду Фонсека. «Черная мать»), негр из племени гамба под палящим солнцем обрабатывает землю для своих белых хозяев (Антониу Жасинту. «Монангамба»), а вот плывет вниз по реке на каноэ молодой Шангана, он призывает своих африканских братьев восстать (Марселину дус Сантус. «Шангана»).

Поэзия стала оружием в национально - освободительной борьбе. Поэзия не могла оставаться в стороне.

Она не голосом поэта,
А голосом была народа,
И криком целого народа,
И стоном целого народа.
И плакали ее стихи,
Как сам народ, и вместе
с ними
Поэт, когда писал их,
плакал.

(Агиналду Фонсека «Поэт и народ». Перевод Ф. Кельина)

Письменная поэзия Анголы, Мозамбика, Островов Зеленого Мыса и острова Сан-Томе — совсем еще молодая поэзия. Да и поэты молоды. Это наши современники. Старейший из них — Руи ди Норонья, один из зачинателей литературы Мозамбика, родился в 1909



году. Эта поэзия современна в самом буквальном смысле — и по времени возникновения, и по своему существу. В условиях жесточайшего салазаровского режима поэты португальских колоний борются за свободу своих народов. Застенки и каторжные лагеря бессильны задушить эту поэзию. Борьба за освобождение из тюрьмы Агостинью Нету стала фактом международного значения. Брошен за решетку и самый молодой из ангольских поэтов Мариу Антониу ди Оливейра, который, будучи португальцем по происхождению, стал одним из активнейших борцов за независимость Анголы.

Уже в творчестве Руи ди Нороньи встречаются остросоциальные, гражданские мотивы. Задолго до того, как антиколониалистское движение в Мозамбике приняло открытый характер, ди Норонья писал: «О Африка, пора! Вставай и действуй!»

Столетья колониального рабства помешали возникновению письменности на родных языках. Большинство поэтов Анголы, Мозамбика, Островов Зеленого Мыса и острова Сан-Томе вынуждены писать на португальском языке.

Но поэзия порабощенных народов сумела сохранить свой неповторимый национальный облик. Ритмы, образы, краски, интонации, весь характер мышления — все это создает строй поэзии, совсем не похожий на европейский. Читая стихи в русских переводах, подчас поражаешься своеобразию, неожиданности поэтического видения африканских поэтов. Вот, например, строки Франсиску Жозе Тенрейру — поэта с острова Сан-Томе:

Где ты, Африка,—
свободные дали,
рокот стрел, прорезающий
воздух?!
Где ты, Африка, —
бурливые реки,
волны, клокочущие, как
кровь в жилах?!

(«Эпопея». Перевод И. Тыняновой)

Рассказывая о страданиях африканца, заброшенного на чужбину, поэт пишет:

И в долгой ночной тиши
тосковал о родной земле,
что осталась там, далеко...
И долгие песни пел,
подернутые слезой!..

(Там же)

А вот стихи совершенно другого и по манере, и по темпераменту поэта — Агиналду Фонсеки (Острова Зеленого Мыса):

Вот явилась Луна
по дорогам неведомых
дальних миров
(Гибкими тенями пальм
забросала уснувшую
память).

(«В квартале бедняков». Перевод И. Тыняновой)

Глаза поэзии — а у этой поэзии глаза зоркие! — ясно видят причину несчастий народа:

Одежда пропитана пылью,
Все люди в черной пыли...
А ноги иностранцев
Топчут лицо нашей земли!

(Марселину дус Сантус. «Шангана». Перевод Л. Некрасовой)

Поэзия верит в силу жизни, в силу народа:

Если колос маиса
Злобный ветер ломает —
Зерна падают в землю,
и вновь
Поднимается поле маиса!

(Марселину дус Сантус. «Мать-земля». Перевод Л. Некрасовой)

И поэзия призывает: «Вставай и действуй!»

АЛЕКСАНДР РЕВИЧ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДЕРЕВЯННОМ КОНЕ

Efua Sutherland. Playtime in Africa. Photographs by Willis E. Bell. Ghana, 1960.

Перед нами книга известной ганской поэтессы Эфуа Сазерлэнд — «Играют дети Африки». Мы уже знакомы с Сазерлэнд по сборнику «В ритмах тамтама»*. Даже в этом сборнике, столь богатом своеобразными стихами, ее маленькая поэма «Спасенная» обращает на себя внимание высоким поэтическим мастерством.

С интересом открываем книгу: о чем думают, в какие игры играют дети независимой Ганы, дети, для которых крокодилы и обезьяны — такие привычные животные, дети, которые никогда не видели снега? Книга интересна еще и потому, что это — первая попытка создать в Гане национальную детскую литературу.

Перелистываем страницы, рассматриваем фотографии. Улыбаются веселые лица, сверкают белые зубы. Жизнь так интересна и многообразна — успеть бы побольше, поторопить детство, увидеть свою страну, промчаться по ней хоть на деревянном коне, лишь бы скорей!

Поскачет ли когда-нибудь
мой качающийся конь,
Как настоящий?
Как бы мне хотелось,
чтобы, пролетая милю
за милей,
Он вставал на дыбы!
Что я увижу, когда
помчусь на коне?
Маисовые поля и озера
кувшинок,
Диких хищников и
антилоп,
Мосты и поезда.
Я вижу — весь мир спешит
мне навстречу

И навстречу нам со страниц книги спешит незнакомый мир, где реальное сплетается со сказочным. Сгущаются черные сумерки, лица сливаются с листвой, и только глаза сверкают во тьме. Звезды дрожат от страха, неподвижно застыла луна, в сказку со всех сторон сходятся черепахи, крокодилы и мудрые старые крабы. И в этом волшебном царстве, иногда в темноте, иногда в призрачном свете костра, Ананси — хитрец-паук, герой многих африканских сказок — распевает с детьми удивительную песню.

Еще несколько миль на деревянном коне, еще несколько страниц, и перед нами торжественное шествие: почтительная свита сопровождает роскошно убранного вождя семи лет от роду.

Ликующая дробь тамтамов сменяется тревожной — из Сахары налетает стремительно знойный харматтан, сжигает листья, испепеляет траву.

Из Сахары идет харматтан,
листья, трава и побеги
становятся сухими,
острыми и ломкими.
Ветер харматтан иссушает
и оттачивает их.

Дети выходят на защиту садов и огородов — поливают маис, ананасы, превращают работу в игру. Где кончается сказка и начинаются будни? Как отличить чудесное от обычного?

Разбужу ксилофонные
гонги, все сверху донизу,
Каждый спит под своей
пластиной, пока я не
коснусь
Их молоточком.
Они проснутся и начнут
петь все, что попросят
мои руки.
Сегодня они вызванивают
танец оленя
Это особый танец.
Руки, будьте точными:
если пальцы ошибутся,
Музыка зазвучит неверно!

И руки будут точными, точными и искусными,— детские руки, пробуждающие пластины ксилофона, руки, которые превращают обыкновенный ком мокрой глины в лягушку, павлина и мотылька или сплетают тростниковый ковер. Эти руки вместе с попутным ветром приведут в тихую бухту заблудившиеся в море лодки — всех отставших, всех пропавших, всех отчаявшихся; эти руки спустят на воду маленький парусный кораблик, и он, не страшась ветра и волн, пустится в опасное плавание, навстречу большим кораблям.

Закрываем книгу и чувствуем, что стали богаче, что еще одна страница жизни открылась нам, теперь для нас ближе и понятнее лицо далекой Ганы. Может быть, не все еще там так гладко и красиво, как в этой книжке для детей, но так будет, потому что люди хотят этого. Гана делает первые самостоятельные шаги. И ее будущее улыбнулось нам со страниц этой книги, мы верим в него.

Н. ВОРОНЕЛЬ

* Рецензия на этот сборник опубликована в № 11, 1961 г. журнала «Иностранная литература».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника

КНИГА О ДЖАМИЛЕ БУПАША

О трагической судьбе алжирской девушки, арестованной в феврале 1960 года французскими колониалистами в Алжире и подвергнутой чудовищным издевательствам и пыткам в полицейском застенке, рассказывает книга «Джамила Бупаша», недавно вышедшая в парижском издательстве «Галлимар».

На обложке — воспроизводимый здесь портрет Джамилы Бупаша работы Пабло Пикассо. Авторы книги — известная французская писательница Симона де Бовуар и Жизель Халими — парижский адвокат, защищавшая Джамилу в Алжирском военном трибунале и добившаяся пересмотра дела.

В этой книге, которую еженедельник «Леттр франсез» называет «книгой чести», речь идет не только о трагедии алжирской патриотки—это, по словам Симоны де Бовуар, «звучало бы слишком банально. Ведь убийства и пытки давно перестали быть во Франции из ряда вон выходящим событием...» Авторы показывают, что беззакония и обман народа возведены в ранг государственной политики. Свидетельские материалы и документы проливают свет на преступные действия высших чинов армии и государства.

«Есть только одна альтернатива,— пишет Симона де Бовуар.— Или вы, сокрушающиеся по поводу преступлений (Анна Франк, Варшавское гетто), встанете в ряды палачей тех, кто страдает сегодня, молча согласившись, чтобы от вашего имени, почти у вас на глазах, мучили тысячи таких, как Джамила... Или вы откажетесь не только от некоторых методов, но и от конечной цели, во имя которой все это совершается. Вы откажетесь от войны, которую даже не осмеливаетесь назвать ее настоящим именем, от армии, которая как духовно, так и материально кормится за счет этой войны, от правительства, которое склоняется перед армией. И вы сделаете все для того, чтобы ваш отказ был эффективным. Третьего пути нет. Я надеюсь, что наша книга убедит вас в этом. Правда атакует вас со всех сторон, и вы уже не можете смущенно бормотать: «Мы не знали...» Или, зная обо всем, делать вид, что не знаете, либо ограничиваться пассивными причитаниями. Надеюсь, что дальше вы не сможете так поступать».

Джамила Бупаша. Портрет работы Пабло Пикассо.
(Еженедельник «Леттр франсез»)

Адвокат Жизель Халими сообщает, как ей удалось узнать подробности чудовищного злодеяния, которое власти старались замять, всячески мешая даже следователю вести следствие.

«Начав эту битву, казалось бы, заранее обреченную на неудачу,— отмечает рецензент еженедельника «Экспресс» Франсуаза Жиру,— Жизель Халими сумела пробудить общественное мнение Франции. Вмешательство Симоны де Бовуар, создание Комитета Бупаша,

многочисленные протесты французских граждан сделали свое дело. Джамила переведена во Францию, ее дело передано из Алжирского военного трибунала французскому судебному следователю».*

Далее Франсуаза Жиру заявляет: «Книга «Джамила Бупаша» — история преступления».

«Извините, мадемуазель,— обращается в заключение Франсуаза Жиру к Джамиле Бупаша,— если при мысли о ваших страданиях наши глаза остаются сухими. Мы сгораем от стыда. В то время как ваша нация находится в процессе становления, наша — разрушается».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗ КОНЦЛАГЕРЯ

Парижское издательство «Эдисьон сосьяль» опубликовало книгу Абдельхамида Бенжина «Лагерь» с предисловием Анри Аллега. Это — волнующее свидетельство очевидца о страшных буднях в концлагере Богари, где заключены алжирские патриоты, которых французские власти упорно отказываются признать военнопленными. В январе прошлого года сюда был переведен Абдельхамид Бенжин, бывший сотрудник газеты «Альже репюбликэн».*

Адом назвал Бенжин этот лагерь. Охрана состояла из солдат «иностранного легиона», в числе которых были преступники из разных стран и бывшие эсэсовцы. Оскорбления и побои не прекращались. Охранники старались главным образом унизить человеческое достоинство заключенных, заставить их забыть о том, что они — люди. Ударом хлыста или другого предмета заключенных будили среди ночи, принуждали до изнеможения выполнять какое-либо бесполезное дело; заставляли языком чистить обувь охранников и лизать их грязные ноги, есть нечистоты, кричать «Да здравствует Гитлер!», «Да здравствует Эйхман!»...

Абдельхамид Бенжин.
(Еженедельник «Франс-нувель»)

«Колонизаторы оправдывают пытки тем, что это, по их мнению, единственный способ получить нужную информацию,— пишет Бенжин.— Здесь же, в Богари, никто не задавал вопросов и не требовал ответов. Все допросы мы уже пережили. Тогда зачем же эти мучения? Нас терзали просто так, чтобы насладиться нашими страданиями...»

Адвокату Бенжина удалось добиться создания специальной комиссии, которая посетила лагерь. В составе комиссии оказался честный человек. Благодаря его стараниям легионеры были заменены французскими солдатами, которые, стесняясь своей мерзкой роли, говорили заключенным, что́ они думают об этой грязной войне, и подчеркивали, что «в их сердцах нет ненависти к алжирскому народу». Однако, по словам выступавшего на страницах еженедельника «Франс-нувель» Владимира Познера, на которого, как известно, бандиты ОАС совершили покушение, это отнюдь не счастливый конец страшной истории. Ведь люди продолжают оставаться в лагере, и каждую ночь их сон может быть прерван ударом хлыста. Кроме того, трудно предположить, что Богари — единственный лагерь подобного типа.

«Эту книгу надо непременно прочесть, продумать и сообщить о ней другим,— подчеркивает газета «Либерасьон».— Она даст новые силы тем, кто борется за мир в Алжире. Она откроет глаза тем, кто еще не прозрел».

ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Сборник стихов Малека Хаддада «Слушай — и я тебя позову» вышел с предисловием автора, в котором он рассказывает о трагическом положении алжирских литераторов, пишущих на французском языке. Называя писателей обездоленными, поскольку основная масса алжирского народа их не читает, Хаддад высказывает надежду на появление в будущем алжирского писателя, который, «вооружившись обновленным языком предков, будет алжирцем, настоящим алжирцем». «Мы с нетерпением ждем появления этого писателя,— продолжает Малек Хаддад,— и гордимся тем, что можем считать себя хотя бы авторами предисловий к тем романам, которые он напишет, чтобы отомстить за нас».

Комментируя это предисловие, газета «Либерасьон» заявляет, что в независимом Алжире арабский язык должен занять полагающееся ему по праву место. Однако вовсе не следует, что в ожидании какого-то гениального реформатора современные алжирские писатели должны спокойно писать на французском языке; они и сами, воспользовавшись опытом своих предшественников, почти современников — Бен Бадиса и Шабби (Шабби — тунисский поэт, умерший в 1933 году, и Бен Бадис — алжирский писатель, умерший в 1940 году, писали на арабском языке), могли бы заняться проблемой создания алжирской национальной литературы на арабском языке.

Что касается алжирской литературы на французском языке, то, по словам автора статьи в «Либерасьон», ее роль в независимом Алжире

* На основании соглашений в Эвиане французские власти начали освобождать арестованных алжирских патриотов (среди освобожденных — Джамила Бупаша).

На собрании в районе Сиди-бель-Аббес. Рисунок французского художника Бориса Таслицкого.

(Еженедельник «Франс-нувель»)

должна сохраниться на время, необходимое для ликвидации неграмотности алжирцев, возрождения национальной культуры и создания современного арабского литературного языка.

Стихи, напечатанные в сборнике «Слушай — и я тебя позову», повествуют о страданиях алжирского народа, однако, по мнению автора статьи в «Либерасьон», эти стихи сами по себе — яркая иллюстрация драмы, переживаемой алжирскими писателями. Речь идет даже не о французском языке, а о словаре, о поэтических образах, присущих исключительно французской поэзии. Таким образом, вред, причиненный алжирскому народу колониализмом, гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд,— подчеркивает автор статьи в газете «Либерасьон». Таково одно из наиболее трагических последствий преступной авантюры французских колониалистов в Алжире.

СТИХИ АБД АЛЬ-КАДЕРА

Мало кому известно, что вождь героического восстания алжирского народа против французских оккупантов в XIX веке эмир Абд аль-Кадер был также выдающимся поэтом.

В столице Сирии был издан диван (собрание стихов) Абд аль-Кадера. В рецензии, помещенной «Журналом Академии арабского языка в Дамаске», литературовед аль-Джинди называет стихи Абд аль-Кадера «поэзией чистоты, искренности и героизма» и сравнивает их со стихами прославленного древнеарабского поэта-витязя Антара.

АНГЛИЯ

ТРАГЕДИЯ УДОМО

В Лондоне недавно была поставлена пьеса «Венок для Удомо», созданная по мотивам одноименного романа южноафриканского писателя Питера Абрахамса.

Это — пьеса о борьбе африканских народов за свободу и независимость, о трудностях, которые они испытывают в своей борьбе. Действие развертывается в вымышленной стране Панафрике.

Выходец из этой страны Майкл Удомо отправляется учиться в Англию, здесь он возглавляет движение студентов родной страны за предоставление ей независимости. Возвратившись в Панафрику, он включается в борьбу. С помощью своего товарища Абедхоя Удомо основывает новую газету, в которой публикует передовую статью, горячо призывающую к независимости. За это, по приказанию английского губернатора, его бросают в тюрьму, где он окончательно решает посвятить жизнь борьбе за счастье своего народа.

Борцы за освобождение Панафрики основывают свою политическую партию, под руководством которой народ добивается наконец предоставления независимости. Удомо становится первым премьер-министром независимого государства... Из соседней колонии, где ему грозит смерть за участие в выступлениях против колониалистов, в Панафрику бежит его старый товарищ Мхенди. Колонизаторы требуют его выдачи, обещая взамен предоставить Панафрике финансовую и техническую помощь в выполнении планов Удомо по индустриализации страны. Удомо предает друга, считая, что тем самым действует на благо родине. Это, естественно, вызывает гневное осуждение со стороны многих членов его партии.

Пьеса кончается трагически: Удомо теряет былую популярность, пост премьер-министра, а затем — и свою жизнь.

Как отмечает печать, труппа, успешно поставившая этот спектакль, почти целиком состоит из негритянских артистов, выходцев из Западной Африки и Вест-Индии.

НЕСМОТРЯ НА ТЕРРОР КОЛОНИЗАТОРОВ

Португальские колонизаторы не смогли заглушить голоса ангольского народа, создавшего собственную литературу в исключительно тяжелых условиях.

Начало ангольской литературе, говорится в статье, опубликованной в бразильском ежемесячнике «Журнал ди летрас», положил в 90-х годах прошлого столетия Кордейру да Матта, ангольский негр, писавший как на родном языке кимбундо, так и на португальском. Книга его стихов «Исступление», так же как сборник «Ангольские пословицы», наряду с составленным им словарем языка кимбундо были первыми ласточками национальной литературы. Многие из ангольских писателей начали свою литературную деятельность в органах периодической печати, издававшихся и в прибрежных городах и в населенных пунктах, расположенных внутри страны. Один из ангольских журналистов, Антониу ди Ассиз Жуниор, создал первый в стране роман «Тайна мертвой», в котором была описана жизнь этой португальской колонии прошлых лет.

В более активный этап своего развития ангольская литература вступила сравнительно недавно, с 1948 года. Тогда молодое поколение национальных поэтов и прозаиков, участников движения «Будем открывать Анголу», пробудило в литературной жизни страны живую мысль, которую старались усыпить колонизаторы, — писатели стали создавать произведения о своей родине, о своем народе. Два года спустя было организовано движение «Новые деятели культуры Анголы», представители которого выступали на страницах журнала «Менсажем» («Послание»). К сожалению, им удалось выпустить лишь два номера журнала и провести один литературный конкурс. Из этой группы вышли широко известные талантливые писатели, такие как Вириату да Круз, Антониу Жасинту, Агостинью Нету, Мариу Антониу. А их стихотворения «Только святой», «Великий вызов», «Пламя и ритм», «Лунные ночи над холмами Маианги» быстро завоевали популярность в ангольском народе и ныне включены во многие антологии поэзии.

Заметный вклад в ангольскую поэзию и прозу сделали и другие писатели, например, Айрис ди Алмейда Сантус, Кошат Осориу и Лилиа да Фонсека.

«Новые деятели культуры Анголы,— пишет автор статьи в «Журнал ди летрас»,— вынуждены были замолкнуть, но влияние их произведений осталось. Огонь может уничтожить траву, однако корни остаются, и трава поднимается вновь. И вот она опять зеленеет среди пепла — так возрождается надежда среди пустынного пейзажа ангольской литературы. Спустя несколько лет, в 1958 году, возникла новая группа молодых, примерно двадцатилетних писателей, рупором которых является «Култура» — бюллетень Общества культуры Анголы. Новеллисты, поэты, эссеисты, критики, этнографы, художники — Луандину Виэйра, Арналду Сантус, Антониу Кардозу, Коста Андради, Мариу Герра, Элдер Нету, Энрике Абраншис, Адолфу Мариа, Самуэл ди Соуза, Жоан Абел, Энрике Герра, Мануэл Лима, Ребелу ди Андради... — сегодня представляют собой новейшее поколение ангольской культуры...»

Несмотря на жесточайший террор португальских колонизаторов, на земле Анголы, обильно политой кровью ее патриотов, упорно пробиваются к солнцу ростки национальной литературы.

БОЛГАРИЯ

В ЗАЩИТУ АНТУАНА ГИЗЕНГИ

«Болгарские писатели присоединяют свой голос к протесту всей болгарской культурной общественности, всего болгарского народа по поводу нового произвола колонизаторов в Конго — ареста верного сына конголезского народа Антуана Гизенги»,— говорится в открытом письме Союза болгарских писателей в ООН, опубликованном в болгарской печати.

«Мы возмущены отношением представителей ООН в Конго к выполнению резолюции Совета Безопасности от 24 ноября 1961 года. Вместо того чтобы содействовать ее выполнению и положить конец разъединению конголезского государства, представители ООН на практике помогают колониалистам, передав в руки наемных бандитов верного сына конголезского народа, конголезского патриота Антуана Гизенгу.

Жизнь Антуана Гизенги в опасности.

Организация Объединенных Наций не должна допустить повторения позорного случая с убийством великого конголезца — Патриса Лумумбы.

Болгарские писатели настаивают, чтобы ООН предприняла необходимые решительные меры и вовремя предотвратила преступные намерения врагов конголезского народа — физически уничтожить Антуана Гизенгу».

ПРОТЕСТ ПОЭТЕССЫ

Поэтесса Лиляна Стефанова опубликовала в еженедельнике «Литературен фронт» взволнованную статью в защиту Антуана Гизенги.

«Тревога конголезского народа, поднявшего черной рукой светлый факел свободы,— пишет Лиляна Стефанова,— становится и нашей тревогой. Мы не можем быть равнодушными... Антуан Гизенга в опасности».

Лиляна Стефанова в заключение заявляет:

«Жизнь Антуана Гизенги, жизнь вдохновенного африканского борца в опасности! Новая, свободная Африка в опасности! 17 января 1961 года (день убийства Патриса Лумумбы.— Р е д.) не должно повториться. Расстояния сегодня теряют свое значение. Наши крепкие руки берутся за решетку, за которую брошен Антуан Гизенга, нестихающая буря наших гневных голосов сливается с мощным голосом Конго: «Свободу смелому патриоту! Свободу Антуану Гизенге!»

ВЕРА В ПОБЕДУ КОНГОЛЕЗСКОГО НАРОДА

Писатель Никола Ланков в статье «Опомнитесь, каннибалы!», напечатанной в еженедельнике «Народна култура», пишет: «Много черных туч закрывало солнце, много бурь вставало на пути его лучей, но ни тучи, ни бури не могли остановить восхода солнца. Так никто — ни Чомбе, ни Мобуту не смогут помешать конголезскому народу стряхнуть с себя колониализм... С именами Патриса Лумумбы и Антуана Гизенги народ Конго будет идти к полному освобождению от колониализма. Прислужники империализма и колониализма еще могут причинить много зла, могут вырвать из рядов народа новые жертвы, но и эта возможность со дня на день становится все меньше и меньше, так как народы мира уже не те, какими были несколько лет назад».

ВЕНГРИЯ

В будапештском издательстве «Магвете» вышел сборник современной африканской поэзии. «На разных наречиях и с разным темпераментом говорят в этом сборнике поэты Черного континента, но одно их объединяет — страстная жажда свободы»,— отмечает рецензент газеты «Мадяр немзет». Стихи сборника «Пробуждающаяся Африка» вышли в переводах венгерских поэтов Шандора Веореша, Имре Чонади, Дердя Раба и других. Здесь воспроизведена одна из иллюстраций венгерского художника Белы Кандора к этому сборнику — «Колониализм».

(Газета «Мадяр немзет»)

СПЕКТАКЛЬ И... ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ

В дни празднования годовщины провозглашения независимости Верхней Вольты, в столице этой республики, городе Уагадугу, состоялось первое театрализованное представление, текст к которому написан вольтийским автором.

В Верхней Вольте нет театральных зданий, и поэтому представление давалось под открытым небом, на берегу искусственного озера. Свет прожекторов выхватывал из темноты ночи то декорации внутреннего помещения дворца, то деревушки, то джунгли или поля, где развертывалось действие пьесы. На противоположном берегу для многочисленных гостей, приехавших на празднование, была устроена трибуна. Вокруг нее собрались тысячи жителей Уагадугу и окрестных деревень.

Автор пьесы «Дочь Вольты» — Мусса Савадого, генеральный секретарь национального собрания Верхней Вольты — в основу своего произведения положил местную легенду о возникновении королевства народности мосси, существовавшего в средние века на нынешней территории страны. По преданию, правящая династия этого королевства пошла от Яенненги — дочери реки Вольты. В спектакле были широко использованы красочные танцы и песни мосси, и поныне составляющих большинство населения Верхней Вольты.

Однако автор вышел за рамки легенды и довел действие пьесы до нашего времени. Зрители, особенно из числа местного населения, бурно реагировали на появление артистов, изображавших захватчиков-колонизаторов, и горячо приветствовали сцену, символизировавшую провозглашение независимости страны. Характерно, что это представление вызвало... протест французского посольства в Уагадугу.

ХВАТИТ АНГЛИЙСКИХ РЕЦЕПТОВ!

В одной из передач Британской радиовещательной корпорации (Би-Би-Си) на страны Африки «обосновы-

вался» тезис, что искусство не связано со временем, не имеет национального и тем более классового характера. Цель подобной широко разрекламированной передачи очевидна: способствовать духовному закабалению африканских народов, препятствовать развитию национальных культур народов этого пробуждающегося континента.

Однако авторы передачи не учли того, что сами африканцы ныне в состоянии разобраться в ее подлинной сущности.

С резкой критикой этой передачи выступила гамбийская газета «Гамбиа экоу». Обозреватель газеты отмечает, что культуре каждой страны присущи специфические черты. Русскую или французскую музыку нельзя спутать с китайской или индийской, произведения европейских скульпторов — со статуями, созданными народными мастерами африканских племен. Нельзя, не впадая в абсурд, считать современную американскую живопись проявлением какого-то мирового стиля...

В статье указывается, что следование английским рецептам нанесло бы удар по творчеству каждого африканского художника во всех областях культуры, привело бы к пренебрежительному отношению к сокровищам национальной культуры.

Вместе с тем автор статьи подчеркивает, что он вовсе не отрицает необходимости и значения культурных связей между различными народами.

АФРИКАНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Как сообщает газета «Ганиен таймс», в одном из своих последних выступлений президент Ганы доктор Кваме Нкрума призвал ученых страны еще более энергично развивать все отрасли знаний.

Одной из первых и главных задач, поставленных президентом перед ганскими учеными, является создание «Африканской энциклопедии», посвященной истории, экономике и культуре стран континента.

Доктор Кваме Нкрума выразил надежду, что в создании энциклопедии примут активное участие ведущие ученые стран Африки.

«ЙЕРМА» ГАРСИА ЛОРКИ В АККРЕ

Совет искусств Ганы поставил в помещении столичного клуба «Роджер клаб» Аккры пьесу Федерико Гарсиа Лорки «Йерма». Роли в спектакле исполняли студенты учебных заведений страны.

Напоминая, что пьеса Федерико Гарсиа Лорки относится к шедеврам мировой драматургии, рецензент газеты «Ганиен таймс» отмечает, что ганские зрители тепло восприняли показанную впервые в Гане трагедию великого испанского поэта.

СОЗДАН ПЕРВЫЙ ТЕАТР

«Иностранная литература» уже сообщала о том, что в Гане ведется работа по созданию первого в стране драматического театра (см. №№ 5 и 6 за 1961 год). Недавно, как сообщает ганская печать, благодаря усилиям таких энтузиастов театрального искусства, как писательница Эфуа Сазерлэнд, строительство театра было закончено. Он очень прост по своей конструкции, вмещает около 300 человек.

На торжествах открытия театра-студии присутствовал президент республики доктор Нкрума. Была показана пьеса «Одасани», поставленная ее автором Э. Сазерлэнд. В пьесе, основанной на ганских народных традициях, нашел свое яркое отражение образный и богатый язык народа акан. Премьера прошла с большим успехом.

В ближайшем будущем коллектив намерен показать зрителям другие постановки. При театре-студии создана своя группа драматургов, тесно связанная с Обществом писателей Ганы.

ИНДИЯ

БЕСЕДА С РЕЖИССЕРОМ

Недавно на гастроли в Южно-Африканскую Республику приехал известный индийский режиссер Кришна Шах, показавший здесь свою постановку пьесы Р. Тагора «Король темного покоя».

В беседе с автором статьи в журнале «Файтинг ток» Сесилем Уильямсом Кришна Шах с восхищением отозвался о виденной им в Лондоне постановке «Кинг-Конг» (см. «Иностранную литературу» № 6 за 1961 год). Индийский режиссер намерен создать в Южно-Африканской Республике творческую группу из прозаиков, поэтов и журналистов, по происхождению африканцев и индийцев, которая под его руководством будет изучать основы драматургии и сценического мастерства, в том числе творческое наследие К. С. Станиславского и В. Э. Мейерхольда.

Эта творческая литературная группа, по словам Кришны Шаха, будет тесно сотрудничать с формируемым театральным коллективом. Их объединит одна цель — ставить национальные пьесы, написанные национальными авторами на темы жизни народа.

ИТАЛИЯ

АНТОЛОГИЯ НЕГРИТЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Римское издательство «Эдитори риюнити» выпустило в свет большую антологию негритянской литературы, в которой собраны произведения писателей-негров как Африки, так и Латинской Америки и Соединенных Штатов. Антология вышла в двух томах. Первый состоит из поэтических произведений (составитель — Мариу ди Андради), второй — из прозаических (составитель — Леонард Сэнвиль). Общий объем антологии около тысячи страниц. Предисловие написал известный итальянский писатель Пьер Паоло Пазолини.

Как сообщает газета «Унита», это наиболее полный сборник произведений негритянских писателей из издававшихся в Италии.

СБОРНИК СУДАНСКОЙ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ

В Болонье опубликован сборник произведений суданской народной поэзии. В книгу вошло свыше ста стихотворных произведений, созданных племенами шиллук, динка, ндого и другими.

Тексты стихотворений, посвященных воинским подвигам, любви и смерти, жизни и быту племен, опубликованы на местных национальных языках вместе с переводом на итальянский язык и комментариями составителя.

Сборник, как сообщает журнал «Африка», дает возможность итальянскому читателю ознакомиться не только с произведениями суданской поэзии, но и с музыкой суданского народа. Учитывая, что стихи, включенные в книгу, обычно распеваются на определенный мотив, составитель — итальянский исследователь Ливио Тескароли — включил в антологию в виде приложения нотные записи музыки к большинству стихотворений.

В НЕКОЕЙ АФРИКАНСКОЙ СТРАНЕ...

Писатель Пьер Паоло Пазолини решил снимать фильм на тему об Африке. Идея создания фильма возникла у режиссера-писателя после работы над предисловием к двухтомной антологии негритянской литературы (см. информацию «Антология негритянской литературы», помещенную выше).

В этом фильме, по сообщению газеты «Унита», будет участвовать только один белый актер, все остальные действующие лица — негры.

— Я постараюсь рассказать историю, происходящую в наши дни, со всеми личными и социальными проблемами, стоящими перед неграми, рассказать об их нищете, тревогах и чаяниях,— говорит писатель.

Действие фильма будет происходить в некоей вымышленной африканской стране, и, по словам Пазолини, она может походить на Конго или на Гвинею.

С КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ

В Найроби прошла премьера фильма «Железнодорожный путь». Газета «Ист африкэн стандард», выходящая в Найроби, сообщает, что в этом фильме показано строительство в 1901 году железнодорожной линии из Уганды до озера Виктория. Для воссоздания обстановки того времени потребовалось участие некоторых племен в национальных одеждах. Однако жители одного из племен отказались участвовать в киносъемках, хотя и прислали свои щиты, копья, страусовые перья и обрядовые предметы.

Что касается «героя» фильма сэра Джорджа Уайтхауза — главного инженера строительства железной дороги, то на эту роль был приглашен Робин Адэр, председатель железнодорожного кооперативного общества в Найроби.

Как выясняется из рецензии, опубликованной в «Ист африкэн стандард», этот фильм создавался с прямой коммерческой целью. По словам рецензента, продюсеры фильма надеются, что фильм послужит не только тому, чтобы рассказать о Кении, ее природе, ресурсах, ее трудолюбивом народе, но и «сумеет вызвать интерес у туристов, привлечь капиталовложения» (!) Само собой разумеется, что роль британских колонизаторов в фильме сведена к «просветительской» деятельности. Тщетно искать в этом фильме правду о положении народа Кении, страдающего под гнетом английского колониализма.

КИТАЙ

УСПЕХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АФРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

«Мы, китайцы, интересуемся борьбой наших братьев из Черной Африки и любим их литературу. Подобно набату нашего времени, она находит живой отклик в сердцах людей всего мира»,— писал известный китайский писатель Лю Ба-юй в предисловии к книге сенегальского автора Сембена Усмана «Родина моя, прекрасный мой народ».

Впервые китайские читатели познакомились с прогрессивной африканской литературой после победы народной власти. С тех пор издательства неоднократно выпускали переведенные на китайский язык лучшие произведения африканских писателей, неизменно встречавшие восторженный прием у читателей. Как отмечает рецензент журнала «Чайниз литерачер», «из каждого хорошего произведения африкаиских литераторов мы можем узнать что-нибудь новое о народах Африки, об их упорной кровопролитной борьбе за национальное освобождение».

Разбирая произведения Питера Абрахамса, Фердинанда Ойоно, Сембена Усмана, Мухаммеда Диба, Ахмеда Аккаша и других писателей, чьи произведения переведены в Китае, рецензент журнала подчеркивает, что «они имеют огромную художественную силу, своей правдивостью они волнуют читателя».

«Африканские писатели,— говорится в заключение статьи,— живут и борются вместе со своим народом, вот почему их произведения отражают дух времени. Сама жизнь заставляет африканских писателей быть не только литераторами, но и борцами».

ПОЭЗИЯ НАРОДА ЙОРУБА

Вышел в свет сборник «Поэзия народа йоруба», изданный министерством просвещения Нигерии. Стихи собраны, прокомментированы и переведены на английский язык Бокаре Гбадамоси и Улли Бейером.

Переводчики столкнулись с немалыми трудностями, вызванными особенностями йорубских стихов, не имеющих размеров и рифм, изобилующих живыми образами народной речи.

В антологию вошли песни-заклинания, свадебные и похоронные песни, стихи для детей, пословицы, стихи местных охотников.

Сборник, как сообщает печать, дает возможность широкому кругу читателей различных стран ознакомиться с поэзией народа йоруба.

ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ

Выходящая в Ибадане газета «Найджериан трибюн» опубликовала статью нигерийского публициста Болы Айджа под названием «Культурны ли мы?».

Среди населения Нигерии, пишет Бола Айдж, наблюдается огромная тяга к зрелищам, к театральным представлениям, но в Ибадане еще нет подходящего помещения для театра. Обращаясь к министерству социального обеспечения, Бола Айдж задает вопрос: «Не пора ли построить в Ибадане настоящий театр? Когда устраиваются спектакли в школьных зданиях, на них публика стекается огромными толпами, и интерес к ним все возрастает. Мы остро нуждаемся в хорошем театре».

В статье приводится пример постановки в ибаданской женской школе спектакля «Товия и ангел». Сюжет заимствован из старинной библейской легенды, однако место действия... Ибадан и Гана, герои пьесы — вожди племен и их семьи. Удивляться избранию библейского сюжета не приходится, так как это дело рук английских педагогов и постановщиков, решивших «нигеризировать» библию, чтобы она была более доходчивой для зрителя, любящего театральные представления. В связи с этим Бола Айдж справедливо замечает: до каких пор руководство культурой будет оставаться в руках англичан? Нам нужны, заявил он, нигерийские постановщики и режиссеры, «нужна инициатива со стороны людей из нашего народа».

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Популярный нигерийский писатель Киприан Эквенси, обычно писавший для взрослых, опубликовал недавно две книги для детей.

Жизни слепого мальчика посвящена повесть «Маленький барабанщик», другая повесть, «Маллам Илиа», рассказывает о странствиях человека, поклявшегося отомстить за смерть своей жены.

Повесть «Маллам Илиа», по мнению литературного критика журнала «Найджириа мэгэзин», наиболее удалась автору.

Критик высоко оценивает достоинства языка, которым написана эта повесть, умение писателя ярко отображать народные обычаи, увлекательно строить сюжет и считает, что «дети несомненно полюбят эту талантливую книгу».

ОБЩЕСТВО ДРАМАТУРГОВ

Вторая конференция писателей стран Азии и Африки, проходившая в Каире, вызвала живой интерес в литературных кругах ОАР. По сообщению египетских газет, вскоре после окончания конференции в Каире состоялось собрание драматургов, на котором было принято решение создать общество драматургов.

Участники собрания (более 50 человек) утвердили устав новой организации.

Председателем общества был единодушно избран крупнейший египетский писатель Таха Хусейн, а заместителями председателя — Тауфик аль-Хаким и Азиз Абаза.

«Иджипшн газетт» отмечает, что подобная организация создается впервые не только в ОАР, но и вообще на Ближнем Востоке.

В печати сообщается также, что министерство культуры и национальной ориентации ОАР совместно с Высшим советом по делам литературы и искусства рассматривает предложения о пересмотре закона 1954 года об авторском праве писателей и композиторов.

ШЕКСПИР НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

По инициативе египетского писателя Таха Хусейна, переводчика полного собрания сочинений Софокла и многих трагедий Эсхила, Объединение арабских писателей решило выпустить в свет перевод на классический арабский язык полного собрания сочинений Шекспира. Как сообщает газета «Жён Африк», шесть томов перевода уже вышли из печати, в каждом томе — две пьесы великого драматурга.

Объединение арабских писателей намечает опубликовать переводы произведений многих европейских классиков и литераторов стран Востока.

БЕСЕДА С ФАРИДОМ АЛЬ-АТТРАШЕМ

Фарид аль-Аттраш, видный египетский певец, киноартист и кинорежиссер, пользуется на Среднем Востоке большой популярностью. Фарид аль-Аттраш является также и продюсером — он выпускает по фильму в год. Последняя его картина «Жизнь без завтрашнего дня» с участием известной артистки Мариам Фахреддин идет с успехом на экранах ОАР.

«В ответ на мои вопросы,— сообщает корреспондент «Ревю де Либан»,— Фарид аль-Аттраш рассказал, что намерен снять свой первый цветной фильм, до сих пор он снимал черно-белые фильмы.

— При поисках сюжета,— сказал он мне,— я несколько ограничен, так как мне приходится не забывать, что я певец и на мои фильмы публика идет, чтобы прежде всего слушать, а не смотреть. Таким образом, сюжет фильма неизбежно связан с жизнью певца. Было бы как-то нелогично и даже сентиментально включать песни в фильм, не имеющий никакой сюжетной связи с персонажем певца. Я варьирую музыкальную драму с музыкальной комедией, а иногда даже прибегаю к водевильной форме, как, например, в фильме «Последняя ложь» с участием Самии Гамаль».

Фарид аль-Аттраш.
(Журнал «Ревю де Либан»)

Фарид аль-Аттраш отметил, что в египетском киноискусстве еще очень мало новых талантливых актеров, и особенно мало молодых артисток. В Каире недавно открылись консерватория и драматическое училище, однако молодежь пока неохотно идет учиться. Обычно родители протестуют против артистической карьеры для своих детей. «На Среднем Востоке,— с сокрушением сказал артист,— артистическую карьеру еще не считают для женщин уважаемой профессией, рассматривая ее лишь как путь к гибели».

Молодую художницу Зейнаб Абдель Азиз арабская критика называет «одной из больших надежд мира искусства Объединенной Арабской Республики». Она уже прославила свое имя не только картинами, написанными преимущественно на темы крестьянской жизни, но и скульптурами. Многие произведения, экспонированные на недавно устроенной выставке в Каире, были выполнены ею в творческом содружестве с ее мужем, профессором-археологом и художником Лутфи аль-Танбули. Перу Зейнаб Абдель Азиз принадлежат талантливо написанные рассказы На снимках: Зейнаб Абдель Азиз и выполненный ею скульптурный портрет сына.
(Журнал «Ле скриб»)

Касаясь своих планов, Фарид аль-Аттраш заявил: «Для меня в жизни главное — моя работа. Она безусловно важнее, чем моя личная жизнь. Я почувствую себя подлинно счастливым в тот день, когда арабская музыка завоюет международную аудиторию. Я был чрезвычайно рад узнать, что в России певец в сопровождении оркестра исполнил по-арабски одну из песенок моего фильма «Любовь моей жизни» и в его исполнении песня записана на пластинку».

В студии Радио-Каир. Момент передачи радиоспектакля.
(Фото департамента информации ОАР)

ПОЛЬША

Весной этого года в Варшаве состоялся конкурс на лучший политический плакат, организованный Союзом польских художников. Первая премия была присуждена художникам Рославу Шайбо и Станиславу Загурскому за плакат, посвященный борьбе народов Африки за свободу и независимость. Наши польские друзья любезно прислали в редакцию «Иностранной литературы» этот плакат, который мы здесь и воспроизводим.

Эпиграфом к нему взяты слова из речи Владислава Гомулки на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН об освободительной борьбе колониальных народов: «...На их стороне стоят могучие силы — все, кому дорого дело свободы и мира...»

РИТМЫ И ТАМТАМЫ

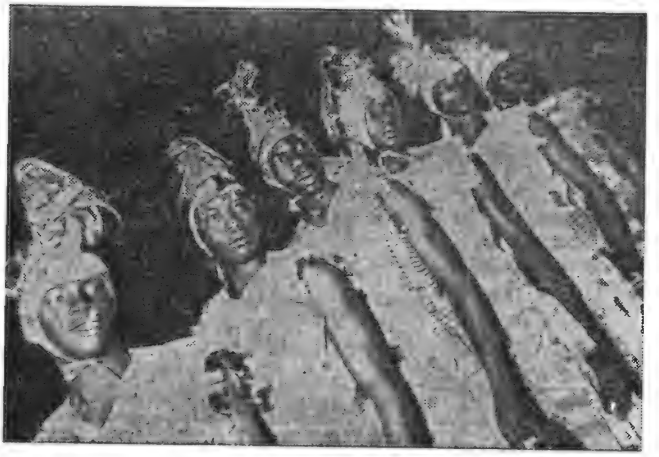
Сенегальский коллектив песни и танца с успехом выступает в странах Северной Африки и Среднего Востока. В статье «Ритмы и тамтамы Сенегала», опубликованной журналом «Ревю де Либан», отмечается великолепная слаженность и хореографическое мастерство участников ансамбля.

Руководитель этого коллектива Морис Сенгор, формируя основную группу, подбирал танцоров и певцов не профессионалов, а народных плясунов, запевал, тех, которые лучше всего могли бы познакомить зрителей с красочным фольклором страны.

Почти все артисты, вызывающие неизменное восхищение зрителей, пишет рецензент журнала, это—охотники и рыбаки, жители отдаленных поселков, которые привыкли выражать свои чувства посредством танцев и песен. Танец их не только музыкален, но и пластичен, изобразителен. Своей игрой сенегальские артисты умеют передать сложную и многообразную гамму чувств и переживаний человека.

Народные мотивы песен, древние традиции в рисунке танца создают подлинно национальный спектакль, знакомящий зрителя с древним и в то же время молодым народом Сенегала — жизнерадостным и трудолюбивым.

Музыкант играет на народном сенегальском инструменте кора. (Вверху.)
Танцор — солист сенегальского ансамбля. (В центре.)
Пляска сенегальских воинов-охотников. (Внизу.)
(Журнал «Ревю де Либан»)



США

УБИИЦА ЧОМБЕ АПЛОДИРУЕТ ДОС ПАССОСУ

Американский писатель Джон Дос Пассос, некогда считавшийся прогрессивным, ныне строит свое благополучие на махровом антикоммунизме и на прославлении одной из наиболее омерзительных фигур мировой реакции — палача конголезского народа, убийцы Лумумбы — Моиза Чомбе.

В критический для Чомбе момент американские колониалисты создали так называемый «Комитет помощи борцам за свободу Катанги», иными словами — организацию помощи Чомбе. В дорогостоящем объявлении на целую полосу в газете «Нью-Йорк геральд трибюн» устроители этого «Комитета» истерично взывали: «Экстренный призыв ко всем свободным людям! Остановите убийство!» Оказывается, спасать надо не просто головореза Чомбе, а «выдающегося прозападного, антикоммунистического» деятеля и его наемных молодчиков.

Под этим позорным документом в одном ряду с известными погромщиками стоит подпись и писателя Джона Дос Пассоса.

Фашистская «Лига молодых американцев за свободу», недавно собравшись в Нью-Йорке, как сообщает печать, признала своим единственным другом в Африке все того же Чомбе. И опять-таки Дос Пассос не упустил случая, чтобы выступить на этом собрании.

Усердие ренегата не остается незамеченным. Моиз Чомбе послал ему и другим заправилам «Комитета» свою благодарность. Что же касается «Лиги», то из четырех наград, которыми она отметила «заслуги» наиболее ретивых мракобесов США, одна была вручена Дос Пассосу...

Комментарии излишни.

В Нью-Йорке вышла книга врача и художника-любителя Фредерика Франка «Африканские зарисовки». Записи впечатлений от поездки по странам Африки Франк иллюстрировал собственными набросками, которые, по отзыву критики, прекрасно дополняют текст. Одна из зарисовок здесь воспроизводится.

(Газета «Нью-Йорк геральд трибюн»)

«ВИШНЕВЫЙ САД» В СОЛСБЕРИ

В интервью для газеты «Родезия геральд» режиссер Фреда Кит сообщила, что она готовит к постановке в театре «Рэпс» в городе Солсбери пьесу А. П. Чехова «Вишневый сад». Театральный зритель Солсбери, как сказала Фреда Кит, впервые познакомится с Чеховым.

Корреспондент «Родезия геральд» подчеркивает, что «театр отлично сделает, поставив эту замечательную и трогательную пьесу».

ПОД ДАВЛЕНИЕМ НАРОДНЫХ МАСС

До недавнего времени в кинотеатры крупнейших городов Южной Родезии имели доступ лишь европейцы. Черным и «цветным» вход в них был категорически запрещен.

Как сообщает газета «Ганиен таймс», не так давно кинотеатры Южной Родезии стали ареной борьбы народных масс против политики апартеида. У кинотеатров происходили массовые демонстрации черного и «цветного» населения, требовавшего сделать кинотеатры доступными для всех жителей страны.

Власти вынуждены были пойти на уступки. Формально черным и «цветным» было разрешено посещать кинотеатры. Правда, осуществить это право на деле будет, вероятно, не так легко: предстоит еще напряженная борьба с расистами. Не случайно газета напоминает, что около половины всех кинотеатров страны принадлежит одному из ярых расистов.

НАГЛАЯ ПРОПАГАНДА КОЛОНИАЛИСТОВ

«Приключения в Катанге» — так называется эта книга. Под именем автора — Жан-Поль Жак — скрывается некая польская аристократка, эмигрировавшая в Элизабетвиль. Книга повествует о приключениях двух мальчиков, белого и негра, горящих желанием бороться... в рядах банд Чомбе за дело колониализма. Палачи и профессиональные убийцы в этой книге изображены благородными людьми, а сторонники независимости Конго и солдаты ООН — грабителями. Книге предпослано предисловие некоего полковника Тренкье, который с беспримерным цинизмом восхваляет «подвиги» колонизаторов и их наемников.

Эта насыщенная ядом книга—отнюдь не подпольное издание ОАС, сообщает газета «Либерасьон», а одна из многих книг для юношества, выпущенных издательством «Эдисьон Альзация».

Как отмечает прогрессивная печать, подобные книги издаются массовым тиражом.

ПЕРВЫЙ РОМАН

Танганьикская газета «Санди ньюс» высоко оценивает первый роман местного писателя Дэвиса Би, в недавнем прошлом государственного служащего.

В романе «Дети вчерашнего дня» рассказывается о судьбе четырех детей — представителей различных рас: зулуса, «цветного» и двух белых. Действие происходит в Южной Африке, Родезии и Танганьике.

По мнению рецензента газеты, книга дает читателю полное и живое представление о жизни тех стран, в которых развертывается повествование, и «является одним из лучших африканских романов».

Что же представляет собой «Альзация»? Это — крупное издательство, выпускающее порой книги по вопросам религии, но в основном специализирующееся на литературе для молодежи. Прежде оно принадлежало клерикалам, а в настоящее время большинство акций находится в руках крупных эльзасских промышленников.

Наглая пропаганда колониализма, распространяемая «Альзацией», вызывает законное возмущение демократических кругов Франции.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ДЕСЯТЬ НОВЕЛЛ»

Издательство «Ческословенски списователь» выпустило книгу «Десять новелл», в которую вошли произведения писателей Африки и Азии. В подготовке выпуска этого интересного издания принимали участие коллективы сотрудников Института востоковедения чехословацкой Академии наук и кафедры востоковедения Карлова университета.

В послесловии к сборнику Олдржих Краль пишет о том большом значении, которое имеют новеллы для развития литератур народов, борющихся за свою независимость, за освобождение от пут колониализма.

«Этот жанр — наиболее революционный, лучше всего отвечающий важнейшим проблемам общественной жизни и менее всего связанный старыми традициями, свободный от штампов и эстетических канонов,— пишет О. Краль.— Во всех этих литературах новелла в настоящее время сосредоточивает усилия в борьбе за новый литературный язык, который значительно ближе к народному разговорному языку, чем старый литературный».

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ АФЭУОРКА ТЕКЛЕ

В Аддис-Абебе была устроена выставка произведений крупнейшего художника и скульптора страны Афэуорка Текле. Художнику всего тридцать лет, но он успел уже создать ряд монументальных работ, в том числе фрески и мозаики собора св. Георгия, витражи в зале Африки, бронзовую конную статую раса Макконнена и витражи для Военной академии имени Хайле Селассие в Харраре.

Текле участвовал во многих выставках в Англии, Чехословакии, Франции, Шотландии, в Германии, Индии и на Мадагаскаре. Его работа «Аида» была экспонирована на выставке современного искусства Эфиопии в прошлом году в Москве.

Газета «Эфиопиан геральд», сообщая о торжественном открытии выставки императором Хайле Селассие, подчеркивает значение творчества Афэуорка Текле, знаменующего собой важную веху в истории современного изобразительного искусства Эфиопии.

Художник не отворачивается от жизни, его волнуют происходящие в мире события, и это нашло свое отражение в картине «Ужасы войны» — одном из самых впечатляющих, по мнению критика «Эфиопиан геральд», произведений на выставке.

«КНИГА, КОТОРАЯ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНА»

«Ни один писатель, который хочет написать серьезный роман о сегодняшней Южной Африке,— замечает рецензентка журнала «Африкен эфферс» Мерседес Маккей,— не может обойти в нем молчанием вопрос о расовых взаимоотношениях».

Тема отношений между расами является основной в новом романе «Свидетельство любви» писателя Дэна Джекобсона.

Дэн Джекобсон хорошо знает действительность своей родины. Здесь, в Юж-

С большим успехом в Кейптауне идет музыкальная комедия «Мистер Палджас» по либретто Гарри и Бэриэл Блум, которые написали текст комедии «Кинг-Конг» (см. «Иностранную литературу» № 6, 1961) Действие происходит в рыбачьем поселке.

(Газета «Кэйп таймс»)

ной Африке, жили его родители, здесь он родился и получил образование. Это знание жизни в сочетании с литературным талантом автора делают, по мнению рецензентки, последний роман Джекобсона захватывающе интересным.

Сюжет его не сложен: белая южноафриканская девушка и «цветной» юноша, любящие друг друга, горячо надеются видеть родину свободной и счастливой. Поженившись, герои решают вернуться на родину в Южную Африку, несмотря на то, что решение связано с большим риском.

Джекобсон разоблачает раболепие перед белыми господами некоторых представителей старшего поколения «цветных», рассказывает о все растущей ненависти к угнетателям со стороны молодого поколения. В романе показано, что и белое население страны далеко не однородно по своим взглядам: наряду с ярыми расистами в нем выведены и те, кто свободен от расовых предрассудков и мужественно борется против апартеида.

«Хотя книга,— пишет в заключение статьи Мерседес Маккей,— будет неизбежно запрещена в Южной Африке, она имеет огромное значение: без какой-либо навязчивости и политических предубеждений она сумеет вызвать возмущение читателя положением в Южной Африке».

«УЗЫ КРОВИ»

На сцене «Тиэтр уоркшоп» в Натале, как сообщает газета «Натал меркюри», с огромным успехом идет пьеса южноафриканского драматурга Атоля Фугара «Узы крови». Автор играет одну из главных ролей в своем произведении.

В стране, где бесчинствует расизм и где узаконен

Сцена из спектакля «Узы крови».

(Газета «Натал меркюри»)

апартеид, проблема цвета кожи — острая, актуальная тема. Сколько трагедий разыгрывается в ЮАР, сколько семейных драм, сколько разрушенных очагов и разбитых сердец из-за того, что «обследователи» установили наличие капли «черной» крови у мужа или жены! Смешанные браки в Южно-Африканской Республике караются, как уголовное преступление. Бесправие людей с цветной кожей приводит к тому, что белая кожа становится объектом вожделения, несбыточной мечтой, ключом к призрачному счастью. Эта тема и легла в основу драмы «Узы крови», написанной Атолем Фугаром с отличным знанием обстановки в стране.

Герои пьесы — два брата, которые воспитывались в разных условиях, с детства не виделись, а потом неожиданно встречаются. По странной прихоти судьбы оба брата, дети смешанного брака, совершенно не похожи друг на друга, более того, один из них по внешнему облику почти типичный белый, а другой — типичный чернокожий. Светлокожий, помня о матери и нищенском детстве в трущобах порта Элизабет, приезжает посмотреть на лачугу, в которой он родился и где до сих пор живет его брат. Так братья встретились. Завязывается сложный психологический конфликт: светлокожий терзается тем, что не может найти общего языка с родным братом, а темнокожий сначала воспринимает пришельца, как «бааса» — белого хозяина, а потом проникается чувством ненависти порабощенного к поработителю.

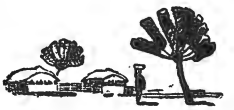
«Тем из нас,— признает рецензент,— кто занимает более привилегированное положение, чем оба брата, пьеса является серьезным обвинением».

Эпилог пьесы, когда оба брата, невзирая на различие цвета кожи, достигают полного взаимопонимания и решают делить горькую долю вместе, тоже красноречив и многозначителен. Характерно и название рецензии в «Натал меркюри»: «Пьеса, которая заставит южноафриканцев призадуматься».

АВТОР «ЮЖНОАФРИКАНЦА» ВЫСЛАН

В прошлом году в Лондоне шла с успехом пьеса южноафриканского драматурга Тома Шарпа «Южноафриканец», в которой автор подверг резкой критике человеконенавистническую политику апартеида, проводимую в Южной Африке.

Для Тома Шарпа эта постановка имела весьма печальные последствия. По сообщению печати, автор пьесы, по профессии учитель, был вскоре уволен с работы, и ему предложили в десятидневный срок покинуть пределы Южно-Африканской Республики.



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ДЖОН ОКАЙ
JOHN OKAI
(род. в 1941 г.)

Ганский поэт, лауреат президентской Премии поэзии 1960 года.

Публикуемое стихотворение прислано автором в рукописи.

■

К. К. БАИДЕН
K. K. BAIDEN

Ганский поэт.

Стихотворение, которое печатается в этом номере, взято из журнала «Гэнаниан».

■

СЕМБЕН УСМАН
SEMBÈNE OUSMAN
(род. в 1923 г.)

Сенегальский писатель — прозаик, поэт и драматург. Автор романов «Черный докер» («Le docker noir», 1956), «Родина моя, прекрасный мой народ!» («O! Pays, mon beau peuple!», 1957, в 1959 году роман был издан на русском языке).

Публикуемый роман «Тростинки господа бога» («Les bouts de bois de dieu») вышел в 1961 году.

■

КР. БЕДЖО
KR. BEDJO

Индонезийский поэт. Стихотворение «Из глубины взволнованного сердца», публикуемое в журнале, взято из сборника «Индонезия поет об Африке и Азии» («Indonesia Sings of Afro-Asia», 1962).

■

УОЛТЕР ЛОУЭНФЕЛС
WALTER LOWENFELS
(род. в 1897 г.)

Американский поэт и публицист, автор сборников стихов «Американцы за мир», («Americans for Peace», 1954), «Сонеты любви и свободы» («Sonnets of Love and Liberty», 1955), «Американские голоса» («American Voices», 1959) и других.

Стихотворение «Говорит Патрис Лумумба» получено от автора в рукописи.

■

ЭЛОЛОНГЭ ЭПАНЬЯ ЙОНДО
ELOLONGUÉ EPANYA YONDO
(род. в 1930 г.)

Камерунский поэт. Автор написанной в тюрьме поэмы «Вспомни!» (1948) и сборника стихов «Камерун! Камерун!», из которого и взяты публикуемые стихи.

■

МАЛЕК ХАДДАД
MALEK HADDAD
(род. в 1927 г.)

Алжирский писатель — прозаик и поэт. Автор романов «Я подарю тебе газель» («Je t'offrirai une gazelle», 1959), «Ученик и урок» («L'élève et la leçon», 1960), «Набережная цветов не отвечает» («Le Quai aux Fleurs ne reponds plus», 1961) и сборников стихов «Несчастье в опасности» («Le malheur en danger», 1956), «Слушай — и я тебя позову» («Ecoute et je t'appèlle», 1961).

Роман «Последний отпечаток» («La dernière impression»), который публикуется в этом номере, вышел в 1958 году.

■

ЛУАНДИНУ ВИЕЙРА
LUANDINO VIEYRA
(род. в 1935 г.)

Ангольский писатель. Два его рассказа, публикуемые в этом номере, взяты из сборника «Город и детство» («Cidade e a infancia», 1960).

■

МУХАММЕД АЗИЗ ЛАХБАБИ
MOHAMMED-AZIZ LAHBABI

Марокканский поэт. Автор сборников стихов «Песни надежды» («Chants d'espérance», 1952) и «От мрака к свету» («Misères et Lumières», 1958), за который ему в 1959 году была присуждена Большая премия независимого Марокко.

Стихи, публикуемые в настоящем номере, взяты из последнего сборника.

■

САРА ЛИДМАН
SARA LIDMAN
(род. в 1923 г.)

Шведская писательница. Ее произведения переведены на несколько языков, по некоторым из них поставлены фильмы. Автор романов «Смоляная долина» («Tjärdalen», 1953), «Край морошки» («Hjortronlandet», 1955), «Ростки под дождем» («Regnspiran», 1958), «Под омелой» («Bära mistel», 1960).

Публикуемый роман «Я и мой сын» («Jag och min son»), вышел в 1961 году.

■

БЭЗИЛ ДЭВИДСОН
BASIL DAVIDSON

Английский писатель и публицист. Автор книг «Отчет о Южной Африке» («Report of Southern Africa», 1952), «Африка пробуждается» («The Africa Awakening», 1955), «Вновь открытая старая Африка» («Old Africa Rediscovered», 1960) и других антиколониальных произведений. Ему принадлежат также вышедший в СССР роман «Речные пороги» («The Rapids», 1955) и роман «Линди» («Lindy», 1958).

Статья об Анголе, публикуемая в этом номере, взята из французского журнала «Презанс африкен».

■

АБД АР-РАХМАН АШ-ШАРКАВИ
(род. в 1920 г.)

Египетский писатель. Автор романов «Земля» («Аль-Ард», 1954) и «Улицы на окраине» («Аш-Шавари аль-Халфийа», 1958), сборников очерков «Маленькие сны» («Ахлам сагира», 1956), «Бандунг и мир во всем мире» («Бандунг ва-с-салам аль-алими», 1956).

Статью «Встреча на берегах Нила», которая печатается в этом номере, автор написал для нашего журнала.

■

ДЖ. КОИНДЕ ВОГЕН
J. KOYINDE VAUGHAN
(род. в 1927 г.)

Нигерийский писатель.

Публикуемая статья взята из сборника «Африканская сокровищница» («An African Treasury»).

■

КОНДОТТО НЕНЕКХАЛИ-КАМАРА
CONDOTTO NENEKHALY-CAMARA
(род. в 1930 г.)

Гвинейский поэт и журналист. Занимается проблемами африканской культуры. Постоянно сотрудничает в журнале «Презанс африкен», выходящем в Париже. Автор сборника стихов «Лагуны».

Статья «Поэзия и национальное сознание» прислана в рукописи.

■

АЛЕКСАНДР ОПРЯ
ALEXANDER OPREA
(род. в 1931 г.)

Румынский литературный критик.

Статья «Песнь для локоле» прислана автором в рукописи.

■

Главный редактор **А. Б. Чаковский**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, В. И. Верховский (отв. секретарь), **Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов** (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Художеств. редактор *М. М. Милославский*

Технический редактор *В. Л. Шачнев*

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

А 04847. Сдано в производство 8/III 1962 г.
Подписано к печати 14/IV 1962 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л., печ. л. 24,66 + 2 вкл.
Зак. 486.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

ЧУКС АНИАНВУ (НИГЕРИЯ) Африка приветствует дружбу с Советским Союзом.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО *За рубежом*

САИД АБУ АС-САУД (ОАР). Рабочий

ЮСУФ ФРАНСИС. Из серии рисунков «Арабские художники ко Второй конференции писателей стран Азии и Африки».

Воины на боевых слонах (Здесь и далее мы публикуем рисунки конголезских народных художников.)

Композиция со зверями

Праздник в конголезской деревне

Сражение в челнах

Деревня в Конго

Композиция с крокодилом

Наша деревня

В классе

Перед началом танца вокруг огня

Танец с копьями

Растения с птицей

Озеро духов в джунглях

Советский трактор на полях Гвинеи

Модница

Гвинейская деревня Кояйяк

Работницы банановой плантации

Портовые рабочие. Конакри

У своего врача. Абиджан

Парикмахерская на базаре. Абиджан

На улице Дакара

На рынке в Абиджане

У машины. Гвинея

У овощных лотков. Сенегал

Учительница

Селение в пальмовой роще

Из путевого альбома

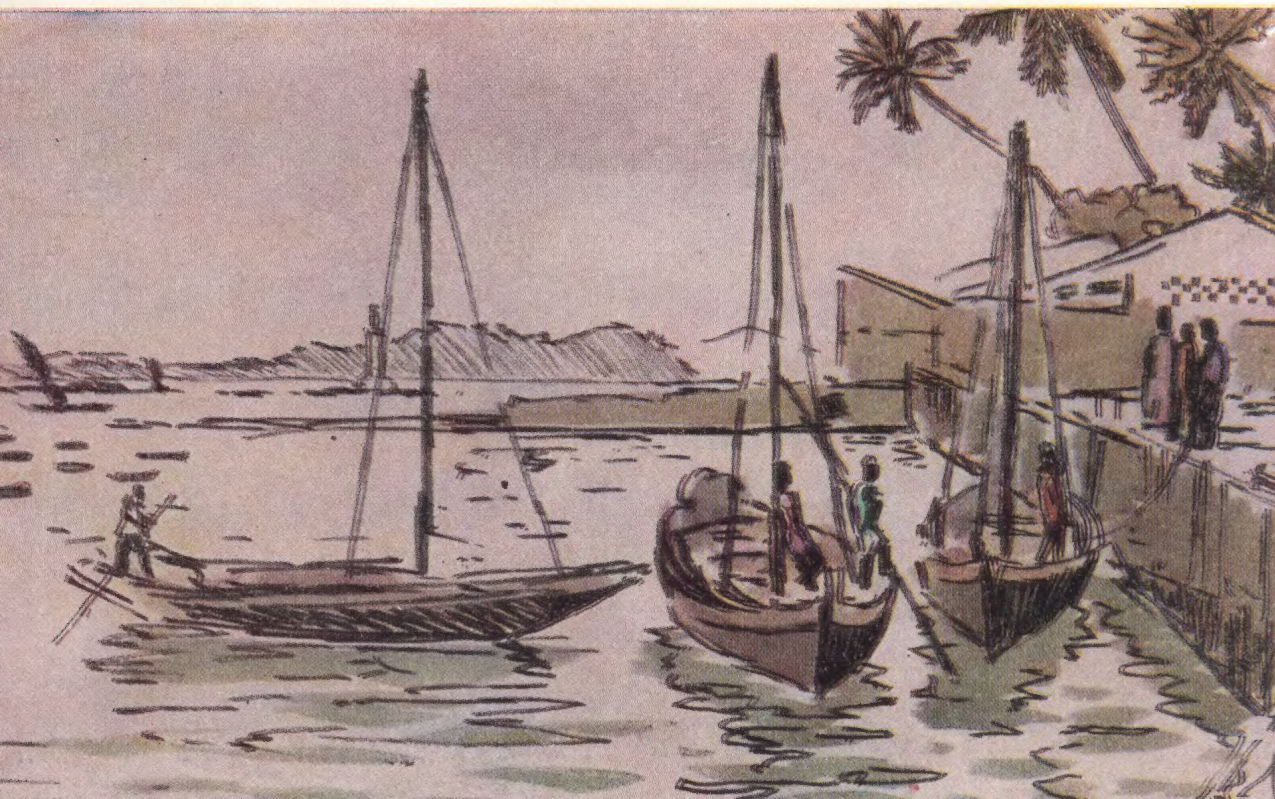
А. КРАСИЦКАЯ

СДЕЛАТЬ ДАЛЕКОЕ БЛИЗКИМ

Еще недавно для меня, северянки, Гвинея, Сенегал, Марокко были где-то за тридевять земель, и, признаться, мне даже как-то странно было читать об этих странах уже не в приключенческих романах, а в сообщениях телеграфных агентств на страницах газет. Но вот я сама наяву за тридевять земель — и не в переносном, а в буквальном смысле слова: в наши дни с небывалой быстротой сокращаются расстояния не только между странами, но даже между планетами.

...Белые города, руины древних крепостей... Ажурные минареты, аллеи стройных пальм, апельсиновые рощи... Синяя беспредельность океана и палящее дыхание пустыни... Лабиринты узких улиц и экзотические базары. Марокканки, закутанные в белые покрывала, и иссиня-черные сенегальцы... Но нет, я не смогу не то что рассказать об этом незабываемом путешествии, но хотя бы даже перечислить то, что я видела. Пусть лучше за меня рассказывают мои зарисовки с натуры. Сделать далекое близким — одна из важнейших задач как писателей, так и художников. И если мне хоть в малой степени это удалось, мое путешествие не было бесплодным.

У рыбаков. Конакри



В порту. Дакар

Жители гвинейской деревни

Цена 80 коп.